ISSN 0012-6756

Дружба народов

4/2022

В номере:

Размыкая круг

Чеченская война, «младореформаторы» и олигархи, приватизация, девальвация рубля, умирающие НИИ, обнаглевшие братки, взрывы домов… Время действия романа Александра ГРИНЕВСКОГО «Кондратьев и Лёля» — вторая половина 90-х. Герои — мечтающий уехать в Канаду сотрудник столичной посреднической конторы и странная женщина с кукольным лицом, смахивающая на городскую сумасшедшую. Он — о ней: «Психолог. Пытался расспросить, где работает, — темнит. Сказала, что время от времени консультирует несколько фирм по разным вопросам. Когда мы с ней встречаться стали, со мной что-то странное приключилось: я ей поверил». Она — ему: «Не расслабляйся, не верь никому и главное — никаких дружеских отношений. Заработаешь свой первый лимон — тогда можно думать, что делать дальше…» Роман детективный и психологический, подробный и стремительный. История пути к себе и навстречу друг другу.

«Где ты там обитаешь теперь?..»

О поиске света, о слепоте времен, движущихся по кругу, размышляет, вглядываясь в лабиринт судьбы, Ефим БЕРШИН, «пройдя сквозь боль, врачуемую болью», и готов «влюбить в себя врага/ и не убить./ Или убить любовью». В балладах Сухбата АФЛАТУНИ — актуальных, жестких, эмоциональных — ощущается натянутый нерв времени: «мы идём под ливнем/ да — мы знаем куда идти/ и это нас отличает от разных хороших других». Тема времени — одна из вечных тем поэзии, и Мариам КАБАШИЛОВА видит: «Время к вечности жмётся, врастает, стежок за стежком».

Демографическая контрреволюция

«Япония совершила фантастический рывок в экономике, за счет чего простые японцы значительно повысили свой уровень жизни. Но сама эта жизнь стала совсем другой». Колоссальные изменения, произошедшие за последние десятилетия в японском обществе, затронули не только институт семьи, ее численный состав, но и картину мира в целом. Об удивительном феномене в японской демографической политике, случившемся в беспрецедентно короткий по историческим меркам период, рассказывает известный российский ученый-японист, переводчик и писатель Александр МЕЩЕРЯКОВ.

Театр внутри театра

«В конце спектакля «Моцарт “Дон-Жуан”. Генеральная репетиция» наступает темнота, и из рук Главного режиссера выскальзывает светящийся телефон. Он тихо и плавно поднимается вверх, куда-то к потолку (к небу), и исчезает. Зал замирает в изумлении. Нельзя проще и понятнее сказать о душе — и о смерти ее. Душа, заключенная в коробочку “устройства”, со всеми ее “контактами”, связями, информацией, ежедневным расписанием и новостями мира, куда-то улетает — да, это мощный символ». В рубрике «Правила игры» Борис МИНАЕВ делится впечатлениями от последних спектаклей Дмитрия Крымова и его книги «Своими словами: Режиссерские экземпляры 9 спектаклей, записанные до того, как они были поставлены».

Дружба народов

4'2022

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария АНУФРИЕВА
Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Ольга ЛЕБЁДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Илья ОДЕГОВ
Валерия ПУСТОВАЯ
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Александр ЧАНЦЕВ
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.02.2022.
Подписано в печать 28.03.2022.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 1494/22. Цена свободная.

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сухбат АФЛАТУНИ. Новые баллады ***3***

Александр ГРИНЕВСКИЙ. Кондратьев и Лёля. *Роман* ***9***

Ефим БЕРШИН. Больные времена. *Стихи* ***115***

Пётр ВОРОТЫНЦЕВ. Заведение. *Повесть* ***118***

Денис СОРОКОТЯГИН. Эссе вокруг театра ***166***

Алексей АЛЁХИН. Зимние хокку ***173***

Игорь КОРНИЕНКО. Чернее чёрного. *Рассказы* ***175***

Мариям КАБАШИЛОВА. Плыви на быстрых парусах. *Стихи* ***199***

Григорий РЯЖСКИЙ. Идиотик. *Рассказ* ***201***

Сергей ЗОЛОТАРЁВ. Небесная Твердь. *Рассказ* ***211***

Алексей МАЛАШЕНКО. Женщина и Бог. *Рассказ* ***220***

Александр ОРЛОВ. Во всём исчезнет суета. *Стихи* ***225***

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Александр ВАСЬКИН. «Возможно, мне дадут Госпремию».
Советские писатели в очереди за наградами ***227***

ЧЕРТА ГОРИЗОНТА

Диана СВЕТЛИЧНАЯ. Туда и обратно. *Эссе* ***247***

НАЦИЯ И МИР

Александр МЕЩЕРЯКОВ. От многодетности к долголетию.
Демографический опыт Японии ***257***

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Верлибр, и снова верлибр ***265***

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Дон-Жуан прощается ***269***

Summary ***272***

© «Дружба народов», 2022

Сухбат Афлатуни

Новые баллады

Баллада о нелюбви

нас не любят
нас не любят за всё
неясно за что нас можно вообще любить
мы не верим в Дарвина
мы чушь несём
мы грузим
и учим жить

мы не верим в Дарвина
да — мы
полагаем что Земля на черепахе
и трёх китах
ещё мы бездарны
мы люди тьмы
сами в страхе
и сеем его всюду
страх

ещё мы строим большие
безвкусные храмы — да
вместо школ лепрозориев и библиотек
потому что на трёх китах — см. выше — у нас Земля
а кругом вода —
и за это любить нельзя —
и что не верим в Дарвина
великий же человек

Сухбат Афлатуни (Евгений Абдуллаев) — поэт, прозаик, переводчик, критик. Родился 1971 году в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Автор нескольких книг стихов и прозы, среди них — «Русский язык» (М., 2019). Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодёжной премии «Триумф» (2006). Постоянный автор «ДН». Живёт в Ташкенте.

ещё напиваемся
садимся в мерседесы и давим детей
а потом выходим в телевизор
и учим жить
а ещё мы не вылезаем из соцсетей
и такое там пишем
просто жуть

как такое можно
писать в 21-м в.
и как Бог — если Он есть — может нас терпеть
с нашими иконками на лобовом стекле
потёмками в голове
есть конечно нормальные
но их единицы ведь

а мы и сами не знаем
как может Он нас терпеть
маленьких грязных
не ведающих что творим
мы идём под ливнем
вдоль реки и продолжаем петь
и слова наших песен
горьки
аки кадильный дым

и всплывают в этой реке
три кита
и черепаха голову высовывает свою
и голенький Дарвин
на скользкой спине кита
плывёт Ионой-пророком
и научную песнь поёт свою

мы идём под ливнем
да — мы знаем куда идти
и это нас отличает от разных хороших других
и за это нас невозможно любить
почти
за наши слёзы молитвы
и солнце в конце реки

Баллада о воздухе

воздух есть — но уходит свет
воздух есть — но бледнеют силы
наступает долгая ночь
наступает
уже наступила

главное — что воздух есть
происходят вдох и выдох
что пока не скомкан весь
и не выжат
до капли

воздух есть — но дышать трудней
воздух есть — но ловишь губами
пустоту — как бы дышишь ей
привыкая

главное — что дышать
не мешают
не запрещают
есть для вдоха — стол тетрадь
и для выдоха — чашка чая

воздух есть — он стоит вокруг
золотистый
и золотушный
воздух есть — это наших губ
и ноздрей хлеб насущный

главное — это наших тел
золотистый обмен кислородный
и любовь — аппарат ИВЛ
безвозмездный
природный

воздух есть — пристегнуть ремни
затянуть пояса
надеть маски
«на ещё вдохни» — и плывут огни
в небесах
отражаясь в солдатской каске

Баллада о композиторе и лётчике

композитор садится в кабину
самолёта «У-2»
пот покрывает спину
плохо ведёт себя голова

лётчику дали задание
за полчаса
товарищу из филармонии
показать небеса

композитор боится пилота
с запахом смерти изо рта
композитор боится полёта
и самолета «У-2»

лётчик ничего не боится
смерть — баба
он с бабами — асс
предложит и ей прокатиться
в небесах
потом — на матрас

композитор глядит в затылок
пилота — тот сел впереди
потом на дрожанье закрылок
шепчет *господипомоги*

лётчик не верит в Бога
только в технику и азарт
машина бежит по полю
и возносится в небеса

набрав высоту выполняет
мёртвую петлю — глядя назад
лётчик смеётся
композитор понимает —
это ад

экскурсия окончена — налетались
рукопожатие
одна-две
фразы — композитор шатаясь
по выгоревшей траве

как пьяный — он и есть пьяный
небо тот ещё алкоголь
в голове си-диез фортепьяно
ре-бемоль

композитор напишет сюиту
озаглавит её «Полёт»
на премьеру пригласит её
пилота и пилот придёт

в той же лётной форме
с тем же запахом — в зал
областной филармонии
и в кресло
как за штурвал

лётчик слышит знакомые звуки
вот заработал мотор
дирижёр поднимает руки
вступает небесный хор

лётчику делается страшно
от привычных но каких-то других
звуков — бегут мурашки
шепчет *господипомоги*

композитор всё машет руками
вот и тема мёртвой петли
лётчик шевелит губами
композитору в затылок глядит

сюита окончена — оттарахтели
аплодисменты
две-три
фразы — всю ночь в постели
лётчик будет курить

до зари — композитор премию
получит через год
пилот попадёт в авиа-
катастрофу — но не умрёт

Баллада о славе

слава приходит к тому кто её не ждёт
как горьковатый мёд
дым
золотая отрава
слева приходит — или же наоборот
справа

или бросается сзади и душит пыхтя
в потных объятиях — нравы
у неё простоваты — или вопит как дитя
браво!

или как ветер холодный горячий любой
мечутся травы
или как медь оркестровая
нежной
и
глухонемой
державы

и нападает на того кто не ждёт её
а живёт обычной
тихой и не кровавой
встаёт на работу
раз в неделю меняет бельё
ест котлеты
исполняет заветы минздрава —

а бывает что и на того
кто живёт как спичка
чиркающая непрестанно
о сырой коробок — не в силах вспыхнуть —
настигает она и его
слава

нападает — да — как насильник
валит на пол
сдирает трусы
что-то быстрое и мокрое шепчет в ухо
а потом оставляет
уходит
и жужжит забившись в часы
муха

сгоревшие спички
угасающие лучи
остатки ужина и горькой приправы
и в соседней комнате
кто-то
по-детски кричит
браво!

Александр Гриневский

Кондратьев и Лёля

Роман

Россия. 1996

Январь.	Захват боевиками Салмана Радуева больницы в Кизляре. 3700 человек взяты в заложники.
Март.	Сбор подписей для выдвижения Бориса Ельцина на второй срок. МВФ выделил России самый большой кредит в истории — 6.9 млрд долларов.
Апрель.	Чечня. 245-й мотострелковый полк попадает в засаду. 53 погибших.
Июнь.	Москва. В вагоне метро на станции «Тульская» произошёл взрыв. Выборы Президента России.
Июль.	Борис Ельцин избран Президентом России.
Август.	Операция «Джихад» — боевики Масхадова захватили г. Грозный. Хасавюртовское соглашение. Приведён в исполнение последний смертный приговор.
Сентябрь.	Начался вывод войск из Чечни.
Ноябрь.	Взрыв девятиэтажного жилого дома в Каспийске. 67 погибших.

Глава 1

Кондратьев

В дверь подъезда — плечом, сильно, так, что отдалось...

Вот он я, Мир! Принимай!

Мир предстал в виде голых кустов за низенькой железной оградкой, тянущих в стороны корявые ветки, сидящей на асфальте кошки и вереницы машин, припаркованных вдоль проезжей части. Серым был Мир: осенне-бесснежным.

Мне тридцать девять. Отягощён женой и ребенком.

Гриневский Александр Олегович— прозаик. Геолог, преподаватель МГУ им. М.В.Ломоносова. Автор книг: «Зыбкость» (2008), «Истории с приставкой “гео”» (2012), «Ненужные» (2016). Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — авантюрный роман «Кыш, пернатые!» (2020, № 7).

Кошка — чёрная с белым.

Два шага — быстро. Не думать. Не смотреть по сторонам.

Ногой, с оттягом!

Кошка перелетела ограду, отделявшую кусты, распласталась в воздухе, перекрутилась телом и приземлилась на лапы. На секунду замерла, сжавшись в комок, и метнулась сквозь кусты к цоколю дома, вдоль него, и исчезла.

Только сейчас выдохнул. Что чувствую? Что чувствовал?

Всё-таки сделал, как хотел. Гадливость... к кошке? к себе? Нет... это я сейчас чувствую. А в момент удара? Оборвалось что-то. Пустота. И в этой пустоте — точка ярости. И... заполнение пустоты, будто клапаны открыли — всё могу!

Только сейчас огляделся. Никого рядом. В стороне, по тротуару шли люди. Кто? Какая разница? А если бы стоял кто-то возле подъезда — ударил бы? Если бы соседи?

А ведь тебе кошку жалко... Ну и что? Жалко. Но хотел же попробовать? Хотел что-то почувствовать? Почувствовал? Да!

Если бы ты, как обычно, вышел из дома, погладил мимоходом, ведь ничего бы не почувствовал? А сейчас? Смотри, ты до сих пор тяжело дышишь, словно стометровку пробежал.

С этой кошкой — интересно...

Кошка

Кошка появилась года два назад.

Красавица пушистая. Сразу видно, что домашняя: не шарахается, не убегает, испуганно распластавшись животом по земле. Усядется на спинку лавочки возле подъезда — хозяйка! Все с ней разговаривают, гладят. Марина — жена — её «королевишной» называла.

Почему наш подъезд облюбовала — загадка. Уже и подкармливать начали. На этажах, на лестнице — блюдечки с кормом и молоком выставлять. Потом выяснилось, что у кошки есть хозяева. Живут в соседнем подъезде на первом этаже, окно всё время открыто — вот она сутками и гуляет.

В один прекрасный день её постригли. Голова — как чёрный шарик с белыми пятнами, лапки в мохнатых унтах-сапожках, кисточка пушистая на кончике хвоста, а тельце выбрито до голой кожи. Сидит на спинке лавочки, ну как тут пройдёшь мимо? Весь дом соплями изошёл от умиления.

И тут-то и открылось, что не кошка это, а кот! Вовсе не «королевишна», а Феликс — такая же кличка, как у того котяры из рекламы.

Мне по барабану — кот или кошка. Другое задело. Не захотел народ признать реальность: для большинства соседей Феликс так и остался милой кошечкой, которую можно погладить, шейку почесать. Смотрю я на этого кота — всеобщего любимца-любимицу — и думаю: «Хорошо устроился, собака! Нашёл применение своей смазливой морде: и ласка со всех сторон, и пожрать всегда...» А где-то внутри понимаю, что похожи мы с ним чем-то. Я ведь тоже всех обманываю, стараюсь казаться не тем, кто есть на самом деле. Ладно, пускай и для меня кошкой остаётся...

Капюшон поверх шапочки — и побежали. Давай, втягивай воздух лёгкими, отпихивайся от асфальта. Утренняя пробежка — вот что заряжает на целый день. Профессиональные спортсмены — идиоты. Положить жизнь, чтобы развить в себе единственный навык управлять телом так, как другие не могут? Бред. Зачем?

Да чтоб тебя! Растопырилась со своей клюкой на всю дорожку, не оббежать.

Надо просто чувствовать тело, как сокращаются мышцы, как учащается дыхание и выступает пот на коже. Заставить тело поработать, чтобы потом, стоя под душем, ощутить себя целиком — плечом пошевелить и чувствовать, как напрягаются мышцы, словно волна под кожей прокатывается. Хорошо... Всего лишь требуется обрести гармонию между умом и телом.

Ладно, проехали. Вдох-выдох. Мимо магазина. Блин! Ещё не рассвело толком, а синюшные уже возле входа толкутся. Помрут, если не опохмелятся. Ненавижу алкашей! Моя бы воля — расстреливал бы без малейшего сомнения. К стенке этих сук и из пулемёта.

Теперь в проход между гаражами. А-а-а! Грязища какая! Кроссовки опять мыть придётся. Здесь — шагом — не разбежишься. Пути железнодорожные. Налево-направо посмотреть, капюшон с головы скинуть, а то поездом сметёт.

Вот он — лес. Осенний, неухоженный, пустой. Листва осклизлая под ногами. Банки пивные, пакеты полузасыпанные — выглядывают. Всё равно хорошо. Свежо и сыро. Дышится легко. Ну-ка, боксёрскую двоечку! Подбородок к груди, правой-левой, раз-два. Ветви у берёз чёрные, голые, капельки повисли. Промокли, бедные, насквозь. Вот и поляна сквозь деревья уже видна. Ещё двоечку: раз-два.

Лес

Лес я люблю. Там, где родился, он не такой — предгорье. Лезут деревья вверх по склону, кажется, до вершины хотят добраться. Не получается у них — голые стоят вершины. Да и какие это горы — так, холмы пологие с голыми макушками. Внизу, у самого подножья, речка течёт — мелкая, но широкая. Бурлит вода, облизывая камни, мокрыми горбами выпирающие посреди русла. Чистая, холодная, зачерпнёшь в ладонь напиться — зубы ломит.

Нет, здесь лес не такой... Какой-то он здесь старый, серый, голый. Может, потому что осень? Или потому что ёлок и сосен нет? Чернолесье. Берёзы да осины и ещё им подобные... Нет зелени, не радуется глаз. И молодняка нет. Зато светло и просторно среди отдельно стоящих стволов, что тянутся в серое дождливое небо. Тропинки не нужны — бреди куда хочешь, загребая ногами пожухлую листву, перешагивай через поваленные стволы. Я, когда Алиска родилась, часто сюда с ней ходил. Перетащишь коляску через железнодорожные пути (вот жена ругалась-то...), и кати, толкай её перед собой. Зато тихо — никого. Только птица порой вспорхнёт.

Блин! Денег же я с собой не взял! Обещал вчера Марине молока купить. Будет опять свои мюсли с утра замешивать. Как это жрать можно?

Возле железки пришлось ждать, пока пронесётся электричка. В Москву — набита под завязку.

Перешёл железнодорожные пути, оскальзываясь на крупном щебне.

Шпалы-то бетонные. Не то что у нас в посёлке — деревянные, грязно-чёрные, креозотом воняют. Ушлые мужики их воровали — на сараи, подсобки, а кто и бани строил. Они же вечные. Не гниют и не горят. А то, что воняют, так ко всему привыкнуть можно.

Между гаражами, по обломанным доскам, уложенным в грязи. А теперь снова бегом.

У подъезда кошка на спинке лавочки застыла чёрно-белым столбиком. Интересно, что будет?

Заметила, когда уже совсем близко подошёл. Спрыгнула. Замерла на мгновение, на асфальте распласталась, будто вжаться в него хочет, и метнулась в кусты, и дальше — вдоль цоколя дома.

Помнит, сучка! Или сучок...

Марина

Марина — она умная. Я её уважаю. Не прошло и года после свадьбы, она меня раскусила. Сволочь, говорит, ты, Кондратьев. Какая же ты сволочь!

Уже беременна была...

И говорит проникновенно, слова растягивает, будто сама к ним прислушивается, на языке катает: «Сволочь ты, Кондратьев...»

Я не разубеждаю, только смеюсь в ответ. Раз понимает — хорошо. Меня это устраивает, да и её... раз живёт со мной до сих пор. Вот за то и уважаю, что понимает.

Да, нужна была! В Москве надо было остаться. Любым способом зацепиться. Слово себе дал: кроме Москвы — нигде больше жить не буду. Сейчас, правда, о заграница подумывать стал: свалить из этого грёбаного совка навсегда. Жить там хорошо, но вот деньги-то здесь делать надо. Время сейчас такое... Там — только копейки собирать.

Марина — она москвичка. Из хорошей семьи. Единственная дочь. Мама, папа — всё как у людей. Квартиру нам сразу двухкомнатную купили.

Ребёнок через год.

Зацепился за Москву. Остался.

Любовь? Какая, к чёрту, любовь? Живём вместе, и ей удобно, и мне.

Дверь подъезда распахнулась. Навстречу молодая девушка — на порыве, в движении. Алиска! Вся в меня.

Остановился, улыбаясь, стянул капюшон.

— Привет, пап.

— Привет, дочь. Опять опаздываешь?

— Ага, — на ходу чмокнула в щёку. — Пока. Побежала.

Смотрел вслед. Крупная, не в Марину, в меня пошла. Чуть толстовата. Вон какую задницу отрастила. А так ничего. Куртка приличная, джинсы в облипку, рюкзачок. Только на хрена она всякие висюльки детские к рюкзачку привешивает? Марина оправдывает, говорит, ещё ребенок. Какой ребёнок? Скоро семнадцать. Я в её годы был голодный и злой. Общага. На одну стипендию разве проживёшь? За любую подработку хватался. Даже дворником. Джинсы мечтал хорошие купить. А эта — ухожена, папа, мама есть. Английский, музыкалка. Москва. Летом на море. Маринин ритуал: ребёнку нужно солнце и море.

Криво улыбнулся, вспомнив, как лет пять назад ездили на дачу к знакомым. Там речка рядом, пошли купаться. Алиска окунулась и закричала: «Мама, мама, здесь вода несолёная! Разве так бывает?»

Дом

Дом как дом. Девятиэтажка панельная, таких в Москве сотни. Подъезд ухоженный, лифт новый с огромным зеркалом. Хороший дом, но не мой. Квартира не моя. Продать к чёрту!

Квартиру тесть подарил на свадьбу. На Марину записана. Как-то сразу почувствовал: дочку они обустраивают. Я — так... потому что рядом прилепился. Радость показывал, благодарную улыбочку выжимал: что я, идиот, что ли? кто ж у дарёного коня зубы рассматривает? Спасибо, благодетели!

Молодой был, верил ещё во что-то... Рассказал Марине, какой вижу эту квартиру. Пустая, минимум мебели, дневное освещение — яркое, светом всё заливающее, кровать — низкая, почти на полу стоит. Никаких шкафов, книг, безделушек. Ковролин с высоким ворсом, чтобы босиком ходить. Обои светлые. Не дослушала.

— Кондратьев, — говорит, — ты что, в офисе жить собрался? Тогда не со мной.

Я и заткнулся.

Теперь у нас уют. Шкафы от вещей и от книг ломятся, картинки по стенам, обои в цветочек, бра над двуспальным супружеским ложем, жёлтым покрывалом застеленным. Не говоря уж про Алискину комнату — склад мягких игрушек.

И пыль — я чувствую её, — везде пыль.

Поднимался на шестой этаж по лестнице, стараясь не сбить дыхание.

Под душ. Пропотевшее скинул, потом на балконе развешу. Воду горячую включил — люблю, чтобы пар, чтобы зеркало запотевало. Бритва, пена для бритья — скребу щёки. Голый стою — тело своё чувствую. Хорошее тело, сорваться и бежать в любой момент готовое.

Столько лет прошло, а горячая вода всё чудом кажется. В любой момент включил, а она льётся. И экономить не надо — не кончится. Теперь зубную щётку в рот и контраст: холодная-горячая, холодная-горячая.

Зеркало запотело. Полотенцем. «Ну, здравствуй, Лёша!» Да... уже мужик... не пацан. Идёт время. Жирок поднакопился, живот наметился. Двигаться надо больше, иначе совсем заплыву... Что сутулишься? Развернул плечи, поиграл мускулами спины. И плечи какими-то покатыми стали. Роста бы добавить не мешало. Не красавец, одним словом. Приблизил лицо к зеркалу, взъерошил жидкие волосы — вот уже и залысины со лба пошли. У-у-у, морда рязанская! Круглая, как блин. Хорошо хоть не рябой... А вот взгляд злой, настороженный. Ну, это мы сейчас очочками поправим, уже проходили.

Посёлок

Вдоль реки дома часто. А вверх по склону разбросаны реже. Дорога гравийная по самому берегу.

Посёлок длинно вдоль реки вытянут. Ближе к краю — площадь, где останавливаются автобусы. Две двухэтажные бетонные коробки. Здание партийного руководства и магазин с рестораном на втором этаже. Ленин на постаменте рукой в просвет между горами тычет. Остальные дома — деревянные развалюхи — утопают в снегу, лишь тропинки от калитки к дверям протоптаны. Ещё котельная — приземистый кирпичный сарай с торчащей трубой и грудой угля у входа. В баню — в соседний город, два часа на автобусе. В котельной есть душ, можно договориться, но после душа выходишь ещё грязнее — весь в угольной пыли.

Время делилось на тепло и холод. В школу осенью пошёл — начался холод; кончился учебный год — тепло пришло, лето наступило — согрелись. Вечный насморк, зелёная сопля под носом. Зимы не такие и холодные — не Сибирь, даже не

средняя полоса. В жизненном укладе всё дело было, в привычке, а может, и в повальной бедности — это я уже потом понял.

Дома хлипкие, из доски сколочены. Окна однорамные. Такие домики в Подмосковье летними называют. Тепло из них выдувается на раз. Печку топишь — тепло, протопил — через час — холод собачий. Мать, пока пить не начала, печку на автомате топила. Утром и вечером. Даже если жрать нечего было.

Зимой не раздевались, спали в одежде, в шапках. У меня круглая была, коричневая, меховая, на боку проплешина — на печке подпалили. До сих пор тесёмки, туго завязанные под подбородком, чувствую.

Мать первая вставала. Выбиралась из-под груды тряпья, охая растапливала печь. Я сразу просыпался, лежал, ждал, когда разгорится. Потом грелся возле открытой дверцы, пока мать не гнала умываться. Вода еле тёплая в ковшике. Пальцы намочишь — и по глазам: умылся. Хлеб с вареньем, чай. Ранец — и на улицу, на холод. Хлопнула за спиной дверь, заскрипел снег под ногами, а сам ещё пахнешь теплом и дымом. Идёшь, оскальзываясь по дороге, темно, тихо, снег не белым, а серым кажется, тени длинные от заборов, дымы из труб в чёрное небо, испещрённое звёздами, и только окна в домах весёлым светом.

Лес кругом, а дров вечно не хватало. Мы, ребятишки малые, щепки собирали, домой несли. Хоть чуть-чуть тепла добавить. Возвращаешься из школы — дорога ледяным накатом блестит, камушки чёрные из-под ледяной корки выглядывают, речка шумит, она зимой не замерзала, и по сторонам глазами шаришь: щепка, палка, вмёрзшая в снег, — всё сгодится. Самой лихостью у нас, у малолеток, было пяток полешек у кого-нибудь из поленницы спереть и домой притащить.

Марина вошла на кухню, когда я хлеб для бутербродов резал. Причёсана, улыбчива. Клетчатые красно-зелёные домашние шорты с бахромой, майка с глубоким вырезом — ложбинка видна между чуть провисших грудей.

Но я-то знаю... помню. Я на неё сейчас по-другому смотрю. Вчера она сразу заснула, а я маялся — не спалось. Ночник зажёг, книжку, что мне Лёля подсунула, взял. Читаю, разобраться пытаюсь в этих психологических премудростях. На жену случайно глянул — Господи! она же мёртвая! Умерла? Лежит на спине. Лицо белое, чуть в желтизну. Кожа натянулась. Глазные яблоки под веками — буграми. Рот приоткрыт, и губы — розовые гусеницы — в рот заползти пытаются. Я долго рассматривал... Чужая она. Почему я должен с ней рядом лежать?

Стараюсь в этой утренней Марине ту, ночную, разглядеть. Не получается. Спряталась мёртвая за живой...

— Кондратьев, — говорит, на меня не смотрит, в окно глядит, будто что интересное видит. За окном серость. В этой серости берёза голые ветви развесила. — Может, нам пора прекратить эти ночные игрища?

— Что это вдруг? Тебе вчера не понравилось?

Она последнее время всё чаще эту бодягу заводит. Сейчас злиться начнёт. Меня не прошибить. Сижу, посмеиваюсь.

Колбасу нарезал, на хлеб положил. Завтрак: чай, один с сыром, два с колбасой.

Марина повернулась, смотрит, как я жую с набитым ртом и чай прихлёбываю. Губы поджала. Как же она меня ненавидит, когда ем! За все годы привыкнуть не смогла.

— Понимаешь, Кондратьев... — оперлась о подоконник. — Наши постельные игры мне всё больше физкультуру напоминают. Для тебя это вроде как пробежка перед сном.

— А что, — говорю, — в спорте плохого? Спорт — это великая сила.

— Спорт-то да... Вот только постель к спорту не имеет никакого отношения.

Решил отмолчаться. Стою у раковины, посуду мою. На работу пора, а тут эти тёрки никчёмные. Я-то для себя давно всё решил. Ей кажется, что она выше, культурнее, образованнее, поэтому что-то решить сама может. А вот хрен тебе по всей роже — я буду определять, как тебе жить дальше.

— Заведи на стороне какую-нибудь бабу. Вот с ней спортом и занимайся.

Ведь умная же. Зарабатывать умеет. Подать себя может. Уже под сороковник, а вон как выглядит! Что же из неё это бабское прёт?

— Кондратьев, слышишь? Или я со стенкой разговариваю?

Я же знаю, что это только слова. Только дёрнись в сторону, такое получишь! В самой женской сущности заложено — поковырять, разбередить, чтобы набежали, приласкали, уверили, что ты единственная и лучшая. И никакая логика здесь не работает. Всё стирает это желание.

— Я тебя услышал. — А что ещё сказать? — Но зря ты так...

На меня не смотрит, в окно глядит.

Ну и ладно, думаю, может, ПМС у неё?

Женщины

Не складывается у меня с ними. Не понимаю — что там интересного? Любовь напридумывали... Может, она, конечно, и есть — не отрицаю. Но вот только я её не чувствую. По мне, так любовь — временный сбой системы, разжижение мозгов.

Нет, я придерживаюсь традиционных правил. Тут всё ясно, могу объяснить. Выбрал женщину — твоё! Ухаживай, береги — твоя! Рожайте детей — физиологическая совместимость заложена природой. Детей поднять и воспитать надо, чтобы по жизни не мыкались. Выполнили природную обязанность, удобно жить вместе — живите, нет — разойдитесь спокойно. В этом процессе присутствует логика.

Я не понимаю любовную дёрганку, эти метания-страдания. Женился, а через три года встретил смазливую бабёнку — и переклинило. Страсти шекспировские, заламывание рук, бессонные ночи, сопли и слёзы. Съёмные квартиры, трах по углам, вечное враньё. Семья — побоку, всё разваливается. Скандал на скандале. Дети заброшены.

Допустим, вырвался. Женился на этой, новой. И раз — года не прошло, она на сторону ходить стала. Теперь у неё любовь, а у тебя только ненависть и ревность. Дальше? А дальше — всё снова: страдания, поиск, влюблённость, обладание. Замкнутый круг.

Ну и зачем?

Слякотно на улице, серо. Спины чёрные. Обгоняешь, а новые впереди. Почему наш народ так любит чёрное?

Маршрутка до метро. Битком. В проходе, согнувшись в три погибели. Хорошо, что хоть подошла быстро. Ехать две остановки. На лица лучше не смотреть — каменные лица.

Месиво у входа в метро. Ещё не давка, но уже вот-вот... Просочился и стекаешь вместе со всеми по эскалатору, словно в воронку засосало. В вагоне светло. Качает. Ехать двадцать пять минут. Я люблю это время. Передышка. Думать можно о чём угодно. Ты один. Люди вокруг, а один. Модель общества: вроде все вместе — куда-то вперёд, а на самом деле, каждый сам за себя и на месте. В метро особенно чувствуешь

отчуждённость и одиночество. Вот поэтому на машине и перестал ездить. Стоит во дворе, вросла в асфальт намертво. Ну и Лёля ещё подсказала...

У меня нет друзей — не нужны. В детстве приятели были. Сейчас и приятелей нет. Дружба — это что? Духовная близость? Враньё! Жизнь припрёт — никто не поможет. Сопливое сочувствие получить? Так его на хлеб не намажешь. Вот только Лёля выбивается из этой схемы. Лёля — она для меня кто? Не знаю... Не пойму.

Лёля

Странно познакомились. Странная женщина. Интересно: начинаю о ней думать — и сразу всплывает слово «странно».

На выставке. Случайно занесло: время пустое выдалось между клиентами в офис возвращаться не хотелось, морды эти видеть. Зашёл. Современная фотография. Хожу, картинки рассматриваю.

На неё сразу внимание обратил. Одета аляповато: юбка тёмно-красная, длинная и ярко-жёлтая кофта с широким коротким рукавом. А главное — перчатки чёрные по локоть. Не кожаные, а нитяные, тонкие, такие дамы в прошлом веке носили. Ещё бы шляпку с вуалью — решил бы: городская сумасшедшая. Только обычно это тётки, которым о-го-го сколько, а она молодая, лет тридцать, может, чуть больше. Причёска тоже странная: половина головы под мальчика острижена, на другой — волна тёмных волос почти до плеча. Лицо какое-то кукольное: скулы широкие, глаза распахнуты. Уже потом разглядел, что и губы у неё тоже накрашены необычно: чтобы рот маленьким казался.

Она первая заговорила.

— Вы, — волосы со лба отвела, пальцы тонкие, длинные, ногти фиолетовым покрашены, — фотографии пришли смотреть или меня разглядывать?

Честно скажу, растерялся. Только и сумел пошлый комплимент из себя выжать:

— Ничего более интересного, чем вы, я на этой выставке не вижу.

Хмыкнула и отвернулась. Ну, я и пошёл дальше вдоль стены с развешанными фотографиями.

В гардеробе столкнулись. Пришлось поухаживать. Помог надеть что-то короткое, широкое и меховое. Как это называется — не знаю. Может, пелерина?

— Что ж, — говорит, — весьма любезно с вашей стороны помочь незнакомой даме. Позвольте, в таком случае, пригласить вас на чашку кофе в ближайшем кафе, если вы располагаете временем.

Я прямо офигел от такой любезности. Не хотелось в какую-нибудь историю вляпаться — уж больно видок у неё странный, но любопытство разыгралось. А уж когда в кафе за столик сели и она мундштук длинный костяной из сумочки достала, — тут я приплыл окончательно.

Офис у нас в хорошем месте расположен. Площадь с одиноко стоящим Маяковским, перейти, вдоль Садового и во дворы. Там здание — четырёхэтажное, дореволюционной постройки, грязно-жёлтого цвета. Хорошее место: метро рядом и двор тихий. Детская разломанная песочница, тополя голые ветви по небу раскинули. Мамаши с детьми здесь не задерживаются, а вот бомжи — те наш двор любят. Но и бомжи свои, можно сказать, знакомые, привыкли уже к ним. Четверо. Предводительница у них — баба азиатской национальности: лет под сорок, морда круглая, как блин, глаза заплывшие — щёлки, вечный синяк на пол-лица, но мужики её слушают — авторитет!

Наша контора в полуподвале, зато вход отдельный. Жильцы дома другим пользуются. Окна на уровне земли, решёткой ржавой забраны. Никакой вывески на старых, с облупившейся краской, двустворчатых дверях. Ни к чему нам светиться. Кому надо — найдёт.

Внутри всё по-другому. За железной дверью — пост охраны. Стоит мальчишечка молодой в белой рубашке, бейджик к кармашку пришпилен. Вежливый, предупредительный. Он, конечно, не нужен, нечего у нас охранять, но мода пошла на охранников, ничего не поделаешь. Ну, а дальше — комнаты. Работники мельтешат. Столы, компьютеры, бумаги. Светло, картины по стенам. В каждой комнате мебель современная, по стилю подобрана. Словно в другой мир попадаешь. На окна только смотреть не надо — там, за решётками, всё другое: грязное, враждебное.

Москва

Я Москву не люблю. Зря сюда рвался. Тёмная, грязная, холодная. Разукрасят под Новый год, попьют-повеселятся неделю и сдерут праздничную иллюминацию, как кожуру с мандарина. Снова темень, ветер из подворотен и снежная слякоть под ногами.

Центр — ещё куда ни шло... Красная площадь, Тверская. Помпезно, вылизано — отголоски империи, которую походя развалили. А всё, что рядом, усыхает, скукоживается. Марина твердит с придыханием: «Старый Арбат, переулки, московские дворики». Это у них болезнь, у москвичей, такая — как о Москве заговорят, так сразу арбатские слюни пускают. Конечно же, Окуджава с его троллейбусом — и ну подвывать хором. Да ты зайди в любой арбатский двор — разруха! Нет... По мне так новостройки куда симпатичнее. Там всё понятно: бетон, стекло, — широко и просторно. От центра, от метро далеко? Плевать! Зато жить, дышать можно. Хотя... Этим воздухом лучше совсем не дышать — затхлый.

Не верю я, что в этой стране что-то изменится. Какая, к чёрту, демократия? Из застойного социализма в светлый капитализм за один день. На тебе свободу! Свободу грести под себя всё, до чего дотянуться сможешь. Высокие слова с трибуны, а вокруг шуршание — тащат, тащат всё что можно.

Москвичи — странный народ. Глубинка, та вообще застыла, не понимает ничего, судорожно выжить пытается. А эти нет! Всё им кажется, что с переменой власти блага на них посыплются. Ха! Идиоты! Ничто их не берёт. Вера вбита, что о них позаботятся. Раньше — мать родная партия, теперь — добрый дядя капитализм. «Чара», «Властелина», сейчас вот «МММ» — пора бы уже понять, что стригут как баранов. Так нет. На одни и те же грабли — раз за разом... А дефолт? Мало? Красиво! Всю страну кинули легко и непринуждённо. И это ещё не конец, что-то грядёт — чувствую.

Нет, сваливать отсюда надо. Без сомнений. Семью вывезти. Там лучше. Поездил, повидал. В Канаду хочу. Городок какой-нибудь тихий, и жить спокойно. Дом — свой, двухэтажный, со всеми удобствами. Чтобы лужайка перед домом. Две машины в гараже. Тихо и чисто. Главное — чисто! Бомжей этих поганых нет, ларьков, возле которых алкашня толпится. Чтобы снег белый, а не грязное месиво под ногами. Осенью там клёны повсюду жёлто-красными свечками.

Только мне отсюда никак. Сейчас здесь, в этой стране, можно лёгкие деньги делать. Время такое... Я чувствую. Моё время! Марину с Алиской отправлю — пускай

обустраиваются, а сам здесь. Если что — с открытой визой всегда быстро свинтить можно.

Я в офис не вхожу — врываюсь. Это у меня стиль такой — спешу всё время, дел у меня невпроворот. Здороваюсь с теми, кто на пути попадается, прошу Лидусю-секретаршу чай приготовить и — к себе в кабинет.

Комнатка у нас небольшая. Двое нас, так называемых менеджеров высшего звена: я и Виктор. Прошу прощения — Виктор Виленович, он любит, чтобы по отчеству. Это я — Алексей или просто Лёша. Так общаться проще. Его стол сейчас пустует, вот и хорошо. Опять табаком воняет! Окно нараспашку. Ведь договаривались же, что курить он в комнате не будет.

Лидуся появляется в дверях с чаем и факсами. Интересная девица. Некрасивая, с нестандартной секретарской внешностью, но расторопная, доброжелательная. К тому же ещё и набожная — иконка над столом прилеплена. Я сначала не понял — зачем такая? Потом сообразил — молодец, генеральный! — никаких заигрываний, скрытых ухаживаний, интриг, утечки информации, и работник прекрасный.

Что тут у нас? — закопался в бумагах. Ага... просят смету прислать — ожидаемо. Сдвинулось. Теперь это забота генерального, пусть ребятишек напрягает и вместе голову ломают, кого нанять и как подешевле сделать. Моё дело — общение с клиентом. Определить общую сумму договора, а главное — сколько назад откатить с этой суммы лично в руки заказчика.

Фирма

Рассказывают, что сначала пытались раскрутиться на простых отделочных работах: двери, окна, потолки и прочая мелочь. Я этот этап не застал. Оказалось, геморроя больше, чем заработанных денег.

Ввели в состав новых учредителей со связями, и завертелось!

Образовалась посредническая контора — между крупными банками и строительными фирмами. Всё основано на личных доверительных связях с учётом интересов заказчика.

К примеру, открывает банк новое отделение. Работы море. Начиная от простой отделки до установки броне-конструкций. Заказчику (банку) проще иметь дело с одной фирмой, чем с десятью, — обращается к нам. Мы становимся основным исполнителем. Дальше — это уже наша головная боль, как подрядить различные фирмы, которые выполнят заказ. Кажется, всё просто, но это только вершина айсберга. Самое главное теперь — убедить заказчика работать именно с нами.

И вот тут на сцену выходит Его Величество Откат! Время такое: каждый хочет урвать кусок пожирнее. Со стороны банка работы курирует сотрудник, которому ничто человеческое не чуждо: вот он — шанс самому заработать на этом заказе. Но ведь страшно, а вдруг раскроется афера? Тут и начинается наша с Виктором работа: убедить, втереться в доверие, чтобы поверил нам — не кинем, всё пройдёт без сучка и без задоринки. Поверил? Дальше всё просто.

Допустим, ориентировочная стоимость работ — пол-лимона зелени, и это уже с учётом интереса нашей фирмы. Представитель банка, смущаясь, предлагает накинуть сверху ещё сотку и размазать по смете, а он будет лоббировать нашу фирму и способствовать получению заказа. Дело сделано.

На счёт нашей фирмы падает шестьсот тысяч, мы обналичиваем, и я откатываю сотку налом в конверте представителю банка. Все довольны, и я в том числе, потому что только я общаюсь с представителем банка, только мне он доверяет — никаких

третьих лиц. А уж сколько при такой схеме прилипнет к моей ладошке — не ваше дело. Главное — не зарываться, и интересы всех будут соблюдены.

А вот и Виктор Виленович собственной персоной. В дорогой дублёнке нараспашку. Костюм-тройка, рубашка в тонкую полоску, галстук, дипломат Samsonite... Вальяжный, неспешный. Волосы назад зачёсаны, нос с еврейской горбинкой, губы поджаты, словно чем-то недоволен.

Руки пожали. Он на окно открытое покосился. Я промолчал — к чему день с брюзжания начинать? Да и без толку, я уже понял.

Ну конечно! Вот и Лидуся с чашечкой кофе спешит. Как же... Утренний ритуал Виктора Виленовича. Сначала кофе, все дела потом.

Мы не друзья и никогда ими не станем. Скорее соперники. Внешне это никак не проявляется и понять, кто на шаг впереди, невозможно. Он работает по своим банкам, я по своим. Кто сколько получает от сделки — не знает никто. Этим не хвастают. Можно только догадываться. Вот поэтому мы всё время приглядываемся друг к другу, стараясь уловить малейшие нюансы настроения. Только так можно угадать, насколько успешно идут дела. И мы оба зависим от генерального и учредителей: если зарвёшься и доходы фирмы поползут вниз, — вылетим со свистом. Незаменимых нет. Поэтому каждое действие, каждое слово — просчитаны и продуманы. Постоянное напряжение. Лёля говорит, не расслабляйся, не верь никому, и главное — никаких дружеских отношений. Заработаешь свой первый лимон — тогда можно думать, что делать дальше.

Лёля

Лёля — психолог. Пытался расспросить, где работает, — темнит. Сказала, что время от времени консультирует несколько фирм по разным вопросам. Туманное объяснение. В общем-то мне всё равно, чем она занимается.

Когда мы с ней встречаться стали, со мной что-то странное приключилось: я ей поверил. Я, который никогда и никому не верил! Почему так? Часто задумываюсь... не могу понять. Как нарыв гнойный прорвался. Нельзя ведь совсем одному? Эх, надо было собаку завести.

Какое-то странное ощущение: она мне родная. Всю жизнь чурался этого слова. Глупое. Чтобы я когда-нибудь с матерью, не говоря уж об отце, откровенно поговорил? Да и о чём с ними разговаривать? Как денег достать и где винище подешевле купить? Или с Мариной? О том, что я всё время на работе, семья заброшена? А с Лёлей можно обо всём: она слушает. Я, бывает, целые монологи закатываю, слюной брызжу, возмущаюсь, а она сидит и спокойно ждёт. Потом выдаст пару фраз, и всё мне ясно становится, успокаиваюсь.

Когда в первый раз к себе пригласила...

Квартира у неё странная, как и она сама.

Последний этаж старого обшарпанного дома, но подъезд вылизан до блеска.

Разделись в прихожей, в комнату зашли — берлога! Тёмная, все стены в книгах — пустого места не найти. Письменный стол с компьютером у окна, ещё один — низкий старинный на гнутых ножках, возле два огромных кресла в тёмно-коричневой коже и, главное, камин — настоящий, а не подделка электрическая, — с дровами, с трубой — через чердак, на крышу. Шторы на окне плотные, тяжёлые, свет не пропускающие.

Нагнулась к камину. Юбка чёрная, короткая, колоколом, ноги затянуты во что-то тёмно-малиновое. Всё так необычно... Чувствую — хочу её, как женщину хочу.

Она чем-то на дрова попрыскала, спичку зажгла — полыхнуло. Шторы задёрнула, свет погасила.

Сели в кресла, друг напротив друга. Отсветы пламени по корешкам книг гуляют. Лицо у неё при этом освещении чужое, отрешённое, вместо глаз провалы. Молчим.

Не по себе стало... давит. Вдруг печка — та, что дома была — перед глазами замаячила, дверца открытая — пламя гудит, мечется. Дымом, плесенью, тряпьём затхлым запахло. Стараюсь отогнать — не получается.

Почувствовала она, что со мной что-то не так, поднялась.

— Пойдём, — позвала, — квартиру покажу.

Дверь открыла, выключателем щёлкнула — белое! Потолок, стены белые, кровать огромная, белым мохнатым пледом застелена, тюлевые занавески на окне, даже платяной шкаф, и тот белый. Люстра на потолке распласталась — света много. В углу — трельяж зеркальный на низком столике.

— Нравится? — спрашивает.

Я только ошарашенно кивнул.

— Давай тогда здесь устроимся.

На кровать легла, руки за голову закинула.

— Ложись, — говорит, — не стесняйся.

Чёрная на белом... Вот, думаю, и приплыл ты, Лёшка!

Тапочки скинул, лёг рядом. Никакого желания уже не чувствую. Как телк*а* в постель уложили. Но деваться-то некуда — ситуация...

Повернулся к ней, руку на живот положил. Мне кажется, женщины любят, когда мужская рука у них на животе. По Марине сужу. Может, с деторождением как-то связано?

Она мою руку с живота сняла — не сбросила, аккуратно, рядом на покрывало положила.

— Лёша, ты уверен, что тебе сейчас это надо? Мне нет. Но если ты, правда, хочешь, я могу...

— Хорошо, понял, — пробормотал. — Давай не будем.

Больше мы к этому не возвращались: ни ей, ни мне не нужно было. Один раз, когда мы уже часто встречаться стали, спросил, как у неё с этим делом. Мне уже тридцать три, говорит, и замужем побывала, и попробовала всё. Тебе скажу. С мальчиками нравится, которые совсем молодые, у которых это в первый раз, понимаешь? Ничего не знают, не умеют, и меня и себя боятся — это заводит.

В тот первый день, в той белой комнате, рядом на постели, меня понесло... Как плотину прорвало. И про работу, и про Марину с Алиской. Только про детство не рассказал.

Она не расспрашивала, нет. Я сам.

У меня сегодня лёгкий день. Банк «Московский» окучиваю. Виляю хвостом изо всех сил, стараясь понравиться, а меня подозрительно обнюхивают. На пробу дали первый мелкий заказик: поклеить защитную плёнку на окна. Фирме этот заказ не очень интересен: так, рабочих подкормить. Но все понимают: пробный шар. На таком заказе и проверяется схема отката.

Сижу, смету на компьютере набираю. С генеральным мы вчера мельком переговорили: сколько сверху набросить. Здесь всё просто, даже сметчик не нужен, сам управлюсь.

Виктор вернулся. Когда я в офисе, он курить на улицу выходит. Сел за стол, в окно смотрит. Дождь моросит, капли на стекле.

— Слушай, — протянул. — Тут какие-то слухи нехорошие витают. Про дефолт, как в позапрошлом...

— Каждый день слышу. Напуган народ, сам себя стращает.

— Я не про народ. Серьёзные люди поговаривают.

Вот за это Виктора уважаю. Может напустить тумана в ясный день. Поза расслабленная, говорит не спеша, ручку пальцами вертит — сразу понимаешь: владеет человек информацией. Я так не умею и, честно говоря, завидую. Какие серьёзные люди? Что поговаривают? Ничего толком не сказал, а как весомо прозвучало. Здесь мне с ним тягаться сложно. У меня принцип общения на другом строится. Нет, Лёля молодец! Такой психологический образ для меня придумала. Вернее, даже не придумала — увидела, какой я, выделила нужное и построила образ. Работает! А главное — мне в этом образе удобно, напрягаться не приходится: моё это.

Лёля

— Вот смотри, Лёша...

Лето было. Гуляли с ней на Ленинских горах, смотрели, как внизу, по грязной Москве-реке пароходики взад-вперёд шныряют. Трамплин серый язык до воды раскатал, словно лизнуть хочет. Здание Университета гордо высится, окнами на солнце сверкает. На смотровой площадке не протолкнуться — рынок. Бурлят страсти, иностранцам матрёшки и шапки-ушанки с кокардами впаривают. Шум, гам, матерки летают. Пустые пивные бутылки под ногами перекатываются.

Толпу рыночную обогнули — вот и церковка обшарпанная, от неё — вниз, к реке. Тихо, людей нет, тропинки натоптаны между деревьев. Я здесь всё знаю. Университет заканчивал.

— Помнишь, когда мы первый раз встретились? Ты почему на меня тогда внимание обратил?

Устроились на лавочке под деревьями. Внизу — набережная гранитная, пустая. Солнце листву пронизывает, тени на траве.

— Не знаю... Наверное, одета необычно, стрижка...

— А что почувствовал? Только честно.

— Удивился.

— А ещё? Тут нюансы нужны. Вспомни.

— Я на тебя как-то сразу свысока стал смотреть. Ну... как на городскую сумасшедшую. Только они обычно старые, а ты молодая.

— Вот! — Лёля улыбнулась. — А теперь давай вычленим главное. Первое — тебе интересно; второе — ты сразу почувствовал, что ты «выше».

— Ну, допустим... — не могу понять, куда она клонит.

На тропинке появилась пара, совсем молодые, будущие студенты, наверное. Ведь и я так же когда-то... Какая эйфория была — поступил! Казалось, с прошлым: с домом, с интернатом — покончено навсегда. Вот он — шаг в новую жизнь.

Лёля замолчала. Ждёт, когда пройдут.

— Слушай, Лёль, а почему ты эти перчатки длинные перестала носить? Я, по-моему, ни разу больше на видел.

— Не знаю... Настроение было такое... достало всё. — И сразу же, меняя тему: —

Помнишь, ты про Виктора рассказывал? Второй менеджер у вас на работе. Что на него походить хочешь, а не получается?

— Ну?

— Не получится у тебя. И не надо. Ты другой. И вести себя должен по-другому.

— Интересно. Рассказывай.

— Какие у тебя главные качества? Я работу имею в виду. Энергия, уверенность в себе, желание добиться результата. Их и надо облечь в подобающую форму. Ты только не обижайся, дослушай. Вот твой Виктор... Дорогой костюм, хорошая машина, вальяжность, умение себя подать. Он — москвич из хорошей семьи, он этим живёт, дышит — он по сути такой. А ты? Деревенский парнишка, осевший в Москве.

— Да... не слишком лестный отзыв, — сунула носом в прошлое, в деревенское дерьмо, и хочет, чтобы я остался доволен?

Пропустила мимо ушей. Смотрит задумчиво перед собой. На реке буксир баржу толкает. Медленно. Кажется, не движутся, застыли на месте.

— Москвичом стать у тебя не получится. Для этого не только прописка нужна. Нужно, чтобы мамки-няньки за тобой ходили: на ёлку на Новый год, на выставки, в театры, в музеи. Чтобы рядом в песочнице такие же, как ты, в голубых комбинезончиках, лопатками ковырялись.

Я молчу, слушаю, но уже потихоньку заводиться начинаю. Вот сука! — думаю. Говорит всё правильно, но ведь обидно!

— Тебе это и не нужно. Надо самим собой быть, и тогда всё получится. Я понимаю, что ты сейчас злишься, но не обидеть хочу — помочь.

— Чем ты мне поможешь? Опустила ниже плинтуса, правду-матку в глаза? Этим?

— Нет. Попробуй по-другому на всё взглянуть. Что происходит сейчас? Приезжает на переговоры молодой человек. Рожа, прошу прощения, деревенская, чёлка до бровей. Костюм сидит как на корове седло, машина — старенькая иномарка. Щёки надувает, солидного из себя корчит. И к тебе сразу вырабатывается определённое отношение. А теперь, к чему я весь этот разговор завела. Надо всё поменять. Никаких костюмов. Свитер, джинсы. Машина пока не нужна — на метро приехал. Ты простой парень в очочках, который хочет попасть в обойму, урвать свой кусок пирога. Ты понятен! Вот так на тебя будут смотреть сначала — это первое впечатление, самое важное. Твой визави несколько удивлён и сразу неосознанно свысока на тебя поглядывать будет — это здорово, это-то как раз и нужно. А дальше он вдруг с удивлением замечает: смотри-ка, а ботинки-то на нём — баксов триста, и часы на руке из-под свитера выглядывают — Rolex, похоже, настоящий, портфель-сумка через плечо — натуральная кожа. Ох, похоже, непростой парнишка... Разговариваешь ты с ним на понятном языке, щёки от важности не надуваешь и, главное, убедительно доказываешь, что всё легко, всё получится. Любые возникающие проблемы ты берёшь на себя. Ему нечего волноваться. У тебя ни тени сомнения. Тут — звонок по мобильному телефону. Представляешь? Их в Москве — раз-два и обчёлся. Достанешь, я в тебя верю. Извиняешься, важный разговор, отходишь в сторонку.

— Подожди, — тут я не выдержал, — а кто мне звонить будет? Что за фигня?

— Лёша! Не тупи. Секретарше велишь в определённое время твой номер с городского набрать. Проще простого. И последний гвоздь. В разговоре, может быть, не сразу, где-нибудь в конце... Университет, кандидат наук. Всё. Он твой!

Налетел ветерок, зашелестели листья, и уходящий в излучину реки буксир вдруг загудел — басовито, раскатисто.

Раскачивался вместе с вагоном. Лица пустые, тревожные. Самому не по себе, как вспомнишь о взрывах в метро, о подорванных домах. Действительно тревожно, хотя и понимаешь: это массовый психоз. Вероятность попасть в такую переделку предельно мала. Но это математика, а в жизни...

Огромная страна, отлаженная система госбезопасности, а горстку террористов уничтожить не можем. Это с нашей-то непобедимой армией? Сталин за сутки такие вопросы решал! Не демократично, зато действенно. А мы демократично русские города сдаём, ребятишек молоденьких на убой посылаем. Неужели всё так прогнило? Навалиться один раз, всем миром — раздавим! Что мешает? Ельцина на второй срок выбрали. И что? Так и будет всё продолжаться? Нет, это хорошо, что его переизбрали. Стабильность, стабильность — вот что сейчас необходимо. А кого ещё? Явлинского? Так слабак он, чувствуется. Я уж не говорю о других — клоуны.

Битком, а середина пустая. На лавочке бомж развалился, спит. Разит от него, как из помойки. Штаны мокрые — обоссался. Люди глаза отводят, жмутся друг к другу, а ему хоть бы хны. Вот оно — личное пространство. Отвоевал. Едет с комфортом. А что? Тоже ведь способ выживания.

Передёрнуло от омерзения. Это уже не человек. Избавляться от таких, не раздумывая.

Можно на машину пересесть — не видеть это быдло. Только там, наверху, не лучше.

Вспомнил, как полгода назад подрезала «пятёрка» с дочерна тонированными стёклами. Еле по тормозам успел ударить. На клаксон надавил, справедливо возмущаясь. «Пятёрка» встала, перегородив дорогу, и вывалились из неё трое молодых, стриженых, в спортивных штанах с бейсбольными битами наперевес. Ведь испугался... С этими не поговоришь, просто не успеешь. Постучали битой в стекло. «Какие-то претензии, мужик? — спрашивают. — Что разгуделся?» Лепетал что-то просительно в ответ. Не за себя испугался, драться в интернате научили. Машину, козлы, изуродуют. Уехали. До сих пор стыдно за испуг, за этот лепет.

Страна поделилась на слои. Нет единого целого. Комфортно лишь в своём слое. Задача — прорваться в следующий, верхний, обустроиться там. И никакое образование не поможет. Это раньше на что-то влияло. Сейчас только природная изворотливость и деньги — вот пропуск. И не дай бог оступиться, покатишься вниз — не остановить.

Станция. Двери со стуком разъехались. Спрессованную людскую массу выплюнуло наружу, в вагоне стало свободней.

Тётка в проходе, в чёрной деревенской кацавейке, платком по глаза замотанная, девочку лет семи за руку держит. Заголосила привычное: «Поможите, люди добрые...»

Когда вошла, и не заметил.

Отвернулся. Не интересно. У мамы платок такой же...

Таганка. Площадь, забитая гудящими машинами. Небо серое, площадь серая, люди серые. И кажется, не вздохнуть — ватой забито горло.

Сквозь строй бабок, мимо картонных коробок с разложенной жратвой, мимо расхристанных ментов с наглыми рожами, вдоль ларьков с орущей музыкой — пересёк площадь — в переулки. Здесь тихо. Вот и банк. Сверкает вымытым стеклом фасад, тяжёлые двери с огромными хромированными ручками. Потяни на себя, открой, войди — и ты в другом мире, чистом и светлом.

Мама

Пока был жив отец, она держалась. Как мы жили в такой бедности? Как вообще можно жить в такой бедности? Одна ведь тянула. В грязи, в холоде. Огород. Копеечная зарплата. Зимой на одной картошке сидели. Отец всё пропивал. Последние два года не работал нигде. Возле магазина тёрся с утра до вечера.

Сорвалась. Устала. Заездила её жизнь. Это я сейчас понимаю. А тогда? Что я мог тогда понять? Её словно выключили. Тумблер повернули, и кукла перестала двигаться.

Зимой темнеет рано. Я в школе допоздна — тепло. Домой идёшь — готовишься — знаешь, что увидишь.

Сидит в темноте за столом возле окна. Платком замотана, валенки на ногах — хорошо хоть сапоги, придя с работы, сняла. Чекушка и рюмка маленькая на пустом столе. Не топлено. Сама не ест, и я голодный. Спросишь — молчит, а если и отвечает, то невпопад. Мне порой казалось, что она уже и не думает ни о чём — просто сидит, ждёт. Смерти?

Печку растопишь, картошку в мундире варить поставишь — она всё сидит. Клюнет из рюмочки — и замерла.

В тряпки зарыться, пока тепло ещё держится, не выдуло, и замереть, согреваясь. Спрятаться от темноты за окном, от холода, снега, а она всё сидит...

Чувствую ли я свою вину? Не знаю... нет, наверное. Всё правильно сделал. Если бы с ней остался — пропал. Жизнь — она жёсткая. Её прогрызать надо, иначе задавит. Маму задавила...

В интернат в соседний город поехал. Сам с директором договорился. После восьмого — либо работать, матери помогать, спиваться вместе с ней, либо в интернат — доучиваться, в институт потом. Записку на столе оставил и уехал. Бросил её. Да и она меня тоже... Пока в интернате был, ни разу не навестила.

Даже не знаю, жива ли? Хотел деньги высылать, как зарабатывать начал, но понял: ниточка к ней потянется... сам себя на длинный поводок посажу. Вычеркнул.

Стеклянный куб на втором этаже — переговорная, сейчас это модно. С улицы сюда не попадёшь — только по рекомендации. Банковских трое. Все в костюмах, словно близнецы однояйцевые, лишь я в свитерке и джинсах. Сели за стол, бумаги разложили. Моя задача — вычленить главного, который проект вести будет, присмотреться к нему.

Ого! Что-то новенькое: хозяин хочет на первом этаже картинную галерею устроить. Лестницу на второй этаж надо заменить: мрамор и перила латунные, поменять остекление и входную группу, отделка ещё. Жирный заказ намечается. Ну... кто хозяин, мы, конечно, знаем. Не так их и много сейчас настоящих в банковской сфере. Березовский, Смоленский да Гусинский — вот они, финансовые столпы нашего времени. Ну, до хозяев нам как до небес... Нам бы кого попроще, пожаднее.

Что же Лидуся не звонит? Пора бы уже, самое время.

Ага. Вот и звонок. Отлично Лёля придумала.

Извинился, отошёл. Трубу рукой прикрываю, разыгрываю серьёзные переговоры. Сейчас главное — не переборщить со временем, а то эти раздражаться начнут.

Дальнейшее развитие событий? Теперь будем долго перебрасывать мячик через сетку: факсы, сметы, встречи, телефонные звонки. Они станут давить проведением тендера, мы — уныло прогибаться, занижать стоимость. Нарыв должен созреть, чтобы прорваться. Как только будет скромно озвучена сумма отката, всё быстро закрутится.

Забудут о тендере, прикроют глаза на завышенную смету работ. Начнётся гонка: скорее сделать и, наконец, получить в руки аккуратную стопку новых зелёных банкнот, чуть маслянистых на ощупь.

Всё. Сегодня я отработал. Обнюхались.

Дождь моросит. Фонари зажгли, хотя и не стемнело. Пробка на Садовом. В свете фар капельная взвесь в воздухе. Не хочу в метро: толчея, час пик. Пешком до Курской. От Таганки вниз, к Яузе, потом — наверх — вот тебе и Курская. Идти-то — всего ничего... Я много пешком хожу — Москву ногами чувствую. Она действительно на семи холмах стоит. В метро или на машине этого не заметишь. Например, если от Университета — то вниз, к Москве-реке, потом вверх — на Пироговку, вниз — опять к Москве-реке, к Кремлю и дальше... к Проспекту Мира, а там снова вниз, к Яузе, и опять наверх, в сторону Мытищ. С горки на горку...

Иду, лужи обхожу, от зонтов уворачиваюсь. Ну конечно, возле моста через Яузу давка машинная — пытаются пролезть, просочиться с набережной на Садовое. Стоят впритык, только дворники время от времени туда-сюда по стеклу. Люди между машинами пробираются, и я — следом. Боковым зрением зацепил. Сидит на корточках, спиной к гранитной тумбе моста привалившись. Шапочка спортивная синяя с белым. Замер, и холодно, всему холодно, будто ледяным ветром дунуло. Отец?! И страшно на миг стало. Как он здесь? Почему?

Через секунду отпустило. Сознание прояснилось, мозг заработал. Присмотрелся. Бомж сидит. Картонку с надписью в руках держит. Я бы на него внимания не обратил... вот только шапочка на нём такая же, как у отца.

Отец

Солнечным был день. Небо синее, яркое, зимнее. Урок физкультуры на улице. Лыжня поблёскивает ледяным накатом, прямо со школьного двора за дома уходит. Лидия Сергеевна — толстая, в тулупе и валенках — командует. Мы толкаемся, орём, каждому хочется побыстрее отмучиться. Вон кто-то уже в снегу валяется. Лыжи у всех старые, крепления — кожаная петля на мысок да резинка на пятку. Только у Верки Приходько специальные ботинки и петля крепления с железным клювом. К Лидии Сергеевне жмётся — не любит её никто: плакса и воображала.

Последний урок был. Мы потом с пацанами пошли на горку. Часа два гоняли. Мокрые, как мыши — все в снегу. Потом гурьбой по посёлку, по домам. Весело. Солнце светит.

Подошёл к калитке — тропинка к дому натоптана, а снег вокруг на солнце подтаял, наст образовался — сверкает. Так и хочется шагнуть, проломить корочку.

Знаю, что никого дома нет. Мать на работе, отец, как всегда, где-то с дружками-пьяницами шляется. Прежде чем зайти в дом, пошёл в сарай лыжи поставить. Дверь на себя потянул — темно после улицы, свет сквозь щели тонкими лезвиями воздух режет. Нога в носке — на уровне лица, штанина... Валенок на полу, бутылка из-под портвейна блестит в луче света, этикетка яркая — на ней три большие семёрки. Полупустая мятая пачка «Примы», спичечный коробок на утрамбованном земляном полу. Наверх посмотрел. Висит. Отшатнулся, выйти хотел, о дверной косяк спиной стукнулся — по нему и сполз, сел на корточки. Глаза поднять боюсь, на бутылку эту смотрю...

Россия. 1997

Март.	Первыми вице-премьерами назначены А.Чубайс и Б.Немцов — ветвь «младореформаторы». Б.Березовский утверждает, что олигархи должны править страной. Чубайс — правление страной на выборной основе. Оттеснение олигархов от власти.
	Мировой банк предоставил России займы на общую сумму 3,4 млрд долларов.
Апрель.	Подписан Договор о Союзе Беларуси и России.
Май.	Подписан договор о мире и принципах взаимоотношений между Россией и Чеченской республикой.
	Подписан «Большой договор» — Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Россией и Украиной.
Июнь.	Принят Закон «О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества РФ».
Октябрь.	Массированная продажа российских акций иностранным инвесторами.
Ноябрь.	Отставка реформаторов.
Декабрь.	Центробанк России раздвинул «валютный коридор». Валютный рынок и рынок государственных ценных бумаг залихорадило.

Глава 2

Лёля

— Какая же ты всё-таки шлюшка, Лёля!

— Ага! Мне нравится такой быть. Но не Лёля, а Лялька — забыл? Вот из постели выберемся — снова Лёлей стану.

Всё-таки что-то со мной не так. Наплевать! Нормальных людей не существует. У каждого свои тараканы в голове. А как их приятно наружу выпускать! Пусть смотрят, головой качают, мол, с девочкой-то не всё в порядке. Что не в порядке-то?

Я часто на себя со стороны смотрю. Словно тело и душа — раздельно. Хотя нет... вру. Это сложно объяснить. Нас двое. Тело одно, а сознаний — два. Вот, например, сейчас. Я в стороне. Сверху? Да какая разница?

Смотрю на неё. Сидит голая на кровати, по-турецки ноги поджав, улыбается. Весело ей. Но это ведь тоже я! Это я сижу. И я же смотрю на себя со стороны. Оцениваю. Подсказываю, поправляю. Я — это она.

Мне она нравится. Раскрепощённая, бесстыжая: смотри, любуйся, впитывай. Сидит, ногу мужику поглаживает. Тот — лежит — руки за голову, отдыхает.

А мне в постели не только трахаться нравится. Мне разговаривать нравится. Глупости разные... Матом ругаться. И чтобы меня ругали. Не ругань это вовсе — откровенные постельные слова. Да, я такая и есть, открыто говорю. Я не Лёля сейчас. Я — Лялька!

Красивая? Есть в ней что-то притягивающее. Лицо неправильной формы — скулы широкие, а подбородок узкий. Губы припухлые, зацелованные. Глаза карие, с кошачьей желтизной. Странные глаза. Даже когда мимо смотрит, кажется, что всё равно тебя видит, душу твою рассматривает.

Смотри, как вписалась! Белое вокруг: стены, постель, тюль на окнах, свет из окна — и сама в белых чулочках. Покрывало — белым комом на полу. Только бутылка вина чёрным отливает, и два высоких бокала на тумбочке возле кровати.

Ах, как сидит! Худая, длинноногая. Волосы растрёпаны, грудь с маленькими сосками чуть провисла, и тонкая дорожка, выбритая на лобке, видна.

Стас лежит рядом — не укрытый, загорелый. Я его с детства знаю. Вот ведь как всё получилось... Можно сказать, в песочнице вместе играли. Хотя нет... он старше на пять лет, я на него снизу вверх смотрела. Вон какой стал... Широкоплечий, гибкий, руки сильные, подчиняться таким рукам хочется. А взгляд всё такой же шальной и весёлый. С ним легко.

— А что, Лялька, сделай-ка мне кофейку.

— Слушаюсь!

Стою, смотрю в окно. Жду, когда закипит кофе в джезве. Мне легко и бездумно. День набрал силу. Люди работают, куда-то спешат, нервничают. А мне хорошо! Постельное безвременье. Не люблю заниматься сексом вечером. Есть в этом что-то предопределённое и поспешное. Прибежали, выпили, одежду сбросили, слились, разлепились, под душ и спать. То ли дело утром... Нет, не проснуться вместе и... Проснуться одной, готовиться, ждать звонка в дверь. Встрече радоваться. Предвкушать и знать, что будет дальше. Главное — никуда не спешить: весь день впереди. Он наш, этот день.

Стоит у окна. Дом старый, подоконники широкие. Замерла, только время от времени ногами чуть-чуть переступает — холодный пол, тапочки возле постели остались. Может, ей совсем под мальчика подстричься? Да нет... Так хорошо.

Вот если задуматься — что она из себя представляет? В прошлом месяце исполнилось тридцать три. Возраст Христа. Интересно, а сколько Марии было в это время? Надо бы почитать... Что за спиной? Невнятная работа, неудачное замужество, беспорядочные влюблённости. Детей нет. Есть неудачный аборт и невозможность родить. Пустота.

Гнать эти мысли. Не раскисать — это потом, вечером, когда он уйдёт. Сейчас — не думать ни о чём, сейчас — праздник!

Муж

Смешное слово. Но к нему подходит. Сокращённое «мужчина». Пятый курс, институт ещё не окончили. Семья! Не знали ничего толком. Он у меня первый, и я первая у него. Время такое было... Время долгих ухаживаний, жеманства, неуверенности. А главное — негде встречаться. Ни к нему нельзя, ни ко мне. Родители. Разве что когда они на дачу уезжали. Три года в таком режиме. Свадьба. Всё как положено. Предки довольны. Мы тоже. Вот только до сих пор вопрос меня мучает: любовь юношеская привела к свадьбе или бытовые обстоятельства? Живи мы отдельно от родителей, думаю, до свадьбы дело бы не дошло.

С другой стороны — грех жаловаться. Москвичи. Как раньше было принято говорить — из приличных семей. Через год после свадьбы его родители отдельную квартиру нам построили — кооператив. Живи и радуйся, размножайся. Ага, как же...

Дальше — всё как в книжках по психологии. Со свекровью сначала душа в душу. А через полгода — достала своими поучениями. И вроде сюсюкает со мной, поддакивает, а её мальчик всё равно всегда прав. Если вдруг и случилось, что он виноват, всё равно

я — плохая. Тоньше надо быть, прощать, понимать и жалеть. Домашнее насилие в скрытой форме. Сама так привыкла жить, и меня — под ноготь.

Ладно... всё-таки скоро своя квартира появилась. И что? Я по наивности думала, сейчас заживём по своим правилам. Нет. Сломалось что-то. Как будто вместе с мебелью воздух из родительской квартиры привезли — душно. У него своя жизнь, у меня своя. Я сижу дома как дура, так положено, родителями в голову вбито, а он гуляет: друзья, попойки. Может, и бабы какие были, но случайные — я бы заметила, если б влюбился. Просто неинтересны мы друг другу стали — чужие. И, как назло, беременность. Я уже видела, что дело к разводу идёт, не поправить ничего. Это сейчас понимаю: юношеский максимализм. Перетерпеть надо было года два, может, всё и сложилось бы, стало бы как у всех. А тогда не захотела.

Аборт встряхнул, исчезли розовые очки. Не стало больше девочки, которую все любят, за которой ухаживают и присматривают. Окунули в ушат унижения и боли. Вышла, огляделась по сторонам — одна под серым хмурым небом.

Да что вспоминать...

— Хватит валяться! Я кофе в «каминной» подала. Пойдём!

— А я в постель хотел. Думал, буду лежать, кофе пить, смотреть... а ты мной займёшься. Ох, как хорошо мне будет.

Не хочу сейчас его слушать.

Изогнулась. Майку, белую, длинную, через голову натянула.

— Не капризничай, вставай. Поговорить о делах надо. Перерыв у нас в половецких плясках.

— Тогда я под душ сначала.

— Кофе остынет.

— А, чёрт! — рывком вымахнул поджарое тело с кровати. Потянулся, поиграл плечами: — Вот раскомандовалась!

Уселись в креслах друг против друга. Отстранились. Перешли из белого и светлого мира в тёмный, зашторенный и тревожный. Молчали, приспосабливаясь.

Первым заговорил Стас.

— Ну, что там делается в нашем инкубаторе?

— В инкубаторе всё в порядке. Я не об этом хочу поговорить. Ты не чувствуешь: что-то витает в воздухе?

— О чём ты, Лёля? В этой стране просто воздух такой.

Как ему объяснить, что я чувствую?

— Я серьёзно, Стас. Что-то грядёт. Грязное, тёмное... Все как с цепи сорвались, злоба сплошная. Политики, банкиры, бандиты — не различишь. Всё развалилось, заводы стоят, в деревнях голодают, братва рулит. Взрывы эти... теракты... Приватизация, ваучеры — что? Ком на нас накатывает. Неужели не видишь? Всех сомнёт, раздавит!

Ну вот... выговорилась. Зачем? Сотрясение воздуха. Смысла никакого.

Он сидит, кофе прихлёбывает. И правильно делает. Всё уже переговорено, и план намечен.

— Лёля! Перестань истерить. Что случилось?

— Извини. Устала, наверное.

Потянулся через столик, чуть чашку не опрокинул, погладил по голому колену.

Вот что я перед ним сижу, душу наизнанку выворачиваю? Кто он мне? Подельник? Всё равно — приятно. Двое полуголых: она истерит по-бабски, он лениво успокаивает. Идиллия почти семейная. Дура ты, Лёлька!

— Вчера к своим заезжала... — медленно выговариваю, успокоилась уже. — Странное зрелище. Знаешь, кого они мне напомнили? Рыбок в аквариуме. Плавают по своей квартирке, в своём мирке, пялятся сквозь стекло — снаружи какая-то жизнь идёт, что-то происходит... Не понимают, да и не хотят понимать. Насыпали им крошек — вот и хорошо, живут дальше. И знаешь что? Они ведь и раньше так жили. Просто тогда им усиленно в голову вбивали, что это и есть настоящая жизнь. Они гордились своим «аквариумом». А теперь спрятались в нём — боятся, что придёт злой дядька и сольёт последнюю воду. Задохнутся.

— Ох, Лёля... Не нравишься ты мне сегодня. Нельзя сейчас раскисать, знаешь же. Пойду-ка я за вином схожу, раз такое дело...

Встал, халат нараспашку.

Зачем рассказала? Ему всё это до лампочки — слушает, потому что положено слушать. Заканчивай ты, Лёлька, эту бодягу. В соседней комнате светло по-праздничному и постель нараспашку. Посмотри, какой мужик тебя ждёт!

Бокалы — высокие, пузатые, на тонких ножках, вино чёрным кажется.

Пьёт как воду. Кадык на шее перекатывается.

— А ты знаешь? — произнёс задумчиво. — Мы такие же рыбки в аквариуме, как и они. Единственное отличие — мы из этого аквариума в море перебраться хотим, а они смирились. Тут ничего не поделаешь. Нельзя научить хотеть — изнутри должно распирать. Хотеть, желать что-то очень сильно — это и значит жить.

Предки

Семья была правильной до оскомины. Папа, мама, дочка.

Папа работал в НИИ со сложным техническим названием. Парторг — уважаемый человек. Мама — учитель литературы в школе.

Интересно, как можно учить литературе? Математике, русскому языку обучать можно, там есть правила, которые необходимо знать. Какие правила в литературе? Всё очень индивидуально, на уровне чувств — понимаешь или нет, принимаешь или нет, любишь или нет.

Трёхкомнатная квартира в кирпичном доме на Большой Грузинской. Хрусталь в серванте. Даже машина, жигули пятой модели, ярко-красного цвета, была. И гараж во дворе, под раскидистыми тополями.

Вот только дачи не было. Вместо дачи — обязательный выезд в дом отдыха всей семьёй, по профсоюзным путёвкам. Как же я ненавидела эти поездки! Мне нужны были подруги, компания, а не чинные прогулки и храп отца на соседней кровати. Но дети — бесправные заложники представлений родителей о том, как надо...

Сейчас у бандюков появилось выражение «ровно». Мол, отношения между ними спокойные: ни эксцессов, ни претензий друг к другу. Вот и у нас в семье отношения были «ровными». Отец, как и положено, глава семьи — за ним последнее слово. Мама — серый кардинал — это культивировала, но только в том случае, когда была с ним согласна. На самом деле медленно и неспешно гнула свою линию, ткала семейную паутину. Со временем отлучила от дома друзей отца, оставив лишь одного — для «дружбы семьями». Отошли в прошлое лихие попойки и походы в баню. Однако понимала, что нельзя мужика совсем уж привязать к юбке: взбрыкнёт, отдушина нужна, свободы глоток. Но и этот глоток должен быть под контролем. Отцу был позволен «субботний гараж».

Обычный будний день в семье складывался из утренней суеты, работы и школы, обязательного семейного ужина. Потом я делала уроки (я ходила в школу с английским уклоном) или валялась с книжкой, а родители усаживались перед телевизором. В одиннадцать — отбой.

В субботу, за завтраком, у отца уже горел глаз: сейчас он пойдёт в гараж заниматься машиной, общаться с мужиками. Мать понимающе собирала ему нехитрую закуску, складывала в целлофановый пакет. Отец смущённо отнекивался, утверждая, что выпивать не собирается. Единственно, что она неукоснительно требовала — в три часа и ни минутой позже явиться домой к субботнему праздничному обеду. И я не помню, чтобы он когда-то опоздал.

Возвращался весёлым, мыл руки, садился во главе стола. Шутил — не смешно, было видно, что пьяненький. Мать, в переднике, разливала суп по тарелкам. Пахло пирогами. На столе уже стоял графинчик с водкой на донышке, на пару рюмок отцу. После обеда ложился спать. Вот и всё — праздник заканчивался. В воскресенье — поход по магазинам за продуктами, запастись на неделю.

А дальше случилось то, что случилось... По первости, когда Горбачёв объявил перестройку и ускорение, отец ещё ходил гоголем. Но валом посыпались разоблачительные статьи в газетах и журналах о роли родной коммунистической партии в уничтожении собственного народа, и он завял. Страна разделилась на тех, кто хотел как раньше, и тех, кто хотел жить по-новому. Он остался посередине, раздираемый противоречиями, не понимая, к какому берегу метнуться.

Дальше хуже. Развал НИИ, в котором работал. Ещё числился, но ходить туда уже не имело смысла. Мизерная зарплата, на которую не прожить. Ушли в прошлое субботние походы в гараж. Распалось мужское братство — переругались. Стал выпивать по вечерам. Мать не противилась, следила только, чтобы не больше четвертинки за вечер.

Она легче переносила свалившиеся невзгоды. Семья всегда была для неё главным. Жизнь изменилась — надо просто подстроиться, сохранить себя и близких в новых условиях. Моральные метания оставить в стороне, пропитание и атмосфера в семье — вот главное. Какая зарплата у учителя? Крутилась как могла: с утра до ночи.

Отец сдал. Постарел, обрюзг. Приходил вечером ко мне в комнату и затягивал бесконечный монолог: «Как же так, доча? Я же ничего не знал. От нас скрывали правду». И всё в таком духе. Пьяненький, жалкий, он стал вызывать у меня брезгливость. Молчала, делала вид, что занимаюсь. Он уходил.

А что я могла ответить? Что сам не хотел ничего знать? Я ещё в десятом классе «Архипелаг» — перепечатку на папиросной бумаге — прочла. Он увидел — глупостями себе голову забиваешь, сказал. Так что ж сейчас-то плакаться, мол, обманули?..

Спина у него красивая... Не люблю, когда он ко мне приходит. Лучше я к нему. Пресыщение наступает. Сразу после хочется одной остаться. Но ведь не выгонишь. Если я у него, бывает, даже под душ не иду — быстрей домой.

Вот и сейчас — чего он тянет? Вышел из ванной — полотенце вокруг бёдер, — подошёл, обнять попытался. Отстранилась.

— Слушай, я у тебя в холодильнике мясо видел, давай приготовлю? Есть хочется.

Ну вот, так и знала. Это ещё часа два он здесь будет...

— Давай.

Зажёг газ. Загрохотал сковородками. Готовить он умеет — тут ничего не скажешь.

Только посуды грязной после его готовки — тьма. А мыть мне придётся. Такое уж у нас неписанное правило: он готовит, я — мою.

Зашипело мясо. Надо открыть окно, иначе вся кухня будет в дыму. Он на большом огне любит готовить.

Интересно всё-таки я устроена. Ждёшь, когда он придёт, фантазируешь, сочиняешь, как будет... Придумываешь, что на себя надеть, как встретить... Праздник придумываешь. И вот он приходит — радость! Вместе — здорово! Всё так, как и хотела. Он чуткий, для него важно, чтобы мне хорошо было, поэтому — всё для меня, он потом... Вот оно — счастье. Улетаешь!

И... раз, словно воздух выпустили. Ведь у других не так? Девчонки рассказывали: нежность, благодарность испытывают, прижаться хотят. Может, я не только рожать, может, я и любить теперь не могу? Вместе с ребёночком и любовь вычистили?

Стас

Родители семьями дружили. Дача у них была. Мы как-то летом приехали в гости. Это одно из моих первых детских воспоминаний. Утро солнечное, нежное. Я возле открытой калитки стою, а выйти опасаюсь: там, на улице, всё незнакомо. Трава у забора зелёная, высокая, в ней одуванчики жёлтые головки прячут. Мне пять лет. Косички мама утром заплела, платьице белое в горошек, короткое, носочки красненькие, сандалии. Стою, смотрю, скучаю. И тут — трое мальчишек, идут по тропинке вдоль забора. Один впереди, двое за ним, чуть отстав. Целеустремлённые, куда-то спешат.

Тревожно стало: мальчишки — привяжутся! Они почти взрослые, лет по двенадцать. Но смотреть интересно. Стою, где стояла, если что, в дом побегу. Гляжу исподлобья.

Стас первым идёт, ногой старается жёлтые головки одуванчиков сшибить. Я его сразу узнала. Вчера вечером, когда приехали, за столом вместе сидели. Мама его ругала всё время, чтобы не вертелся.

На меня посмотрели как на пустое место и мимо прошли.

Я вот помню... А его спросила — не помнит ничего.

Нет, я тоже потом забыла. Вспомнила, когда второй раз увидела, лет через десять. Мне пятнадцать только исполнилось. Импрессионистами увлеклась. Читала про них, книги в библиотеке брала.

Дружба между родителями стала сходить на нет, почти не общались. Но тут отец вспомнил, что у них библиотека хорошая — позвонил, выяснил, что есть какая-то серия про художников, договорился — и я поехала.

Дверь открыл Стас. Днём дело было, один дома, уходить куда-то собирался. Я застыла. Молодой парень, да нет... уже мужчина. Волосы длинные, волнистые, лицо узкое. Джинсы на нём клешёные, рубашка, приталенная по тогдашней моде, расстёгнута, на животе узлом завязана, длинные рукава с расстёгнутыми манжетами. Стоит в дверях, улыбается. У меня внизу живота заныло. В первый раз со мной такое случилось. Растерялась, ничего не соображаю.

Что-то спрашивал. Отвечала. Книжки смотрела, отобрала что-то... Правда, потом выяснилось, что две из них читала. Я ж говорю, не соображала ничего. От него какой-то уверенностью веяло. Лёгкостью, весёлостью. Как будто из другого мира, не из моего — домашнего, школьного.

Чай на кухне ещё пили... Тогда он и спросил:

— Сколько ж тебе лет-то?

— Пятнадцать.

Я на него не глядела. В чашку уткнулась. А тут глаза подняла.

Он улыбается, а смотрит жёстко, с прищуром.

— Жаль, что ещё такая маленькая, — говорит.

В окно ветви берёз лезли — ещё голые, но почки уже набухли. Весна. Чуть-чуть подождать, и слизнёт прорвавшаяся из-под земли зелень грязь на газонах, солнце высушит тротуары, ветер будет заметать пыль вдоль бордюров. Вечером свет фонарей сквозь листву. Скорее бы! Лета, тепла хочется. Уехать...

Ну что ты в окно уставилась? Посуду иди мой. Размечталась.

Он ушёл полчаса назад, уже темнеть стало.

Стою, смотрю, как струя течёт из крана. Посуда грязная на дне раковины. Выключила воду: не хочу мыть. Потом.

В комнату. Постель распахнута, одеяло комом. На тумбочке круглый винный отпечаток от бокала. Чулок белый на полу съёжился. Где второй? Ага, вот он — между подушками.

Всё убрать. Будто ничего и не было.

Люблю ли я его? Нет, наверное, хотя могла бы. А он меня? Дело не в любви, в свободе. Он самец — красивый, уверенный в себе, мечта многих. И я могу быть с ним. Свободна от всего. Одна.

Что ты на меня смотришь сверху? Да, могу!

Колечко, которое нравится, от которого на цыпочки привстаёшь, купить могу? Позволено? Пускай ненужное, но дух от красоты захватывает — моё, хочу! Вот и здесь так же... И не завидуйте, дуры, у меня свобода есть: ни мужей, усталых и пьющих, ни детей — я могу получить то, что хочу! На вас не оглянусь...

Что тебе ещё надо? Эй ты, смотрящая сверху?

Все праздники похожи. Новый год. Ёлка. Наряжаешь. Огоньки. Ждёшь. Веселье, конфетти цветное на полу, хлопушки, мишура. Шампанское, маски дурацкие, танцы. Из гостей — домой, тёмными ночными улицами, пустыми и тревожными. Светает уже. Усталость. Спать до обеда. Одиночество, включённый телевизор без звука — кончился праздник. Ещё неделя, и ёлка осыпаться станет — на помойку её. Всё!

Вот и сейчас прибираюсь — словно сухую хвою выметаю.

А как ты хотела? Долго, и счастливо, и умереть в один день? Не смеши. Тебе это надо? С ним?

Никто мне не нужен. Сама справлюсь.

Комнату за комнатой... с тряпкой в руке — чтобы следов не осталось.

Посуду помыла.

Куртку накинула, сигарету в мундштук, окно нараспашку. В доме напротив *о*кна жёлтым в темноте светятся.

Не раскисай. Делом займись.

В кресло, поджав под себя ноги. Блокнот раскрыт, кончик карандаша прикусила.

Так... Что там в нашем инкубаторе делается? Хорошее название Стас придумал.

Чиновник, Строитель и Кондратьев. Надо бы Кондратьеву тоже какую-нибудь кличку дать... да не приклеивается пока. С первыми двумя — ясно, прозрачные, они, как стекло. Их хоть сейчас в разработку. Но это пускай Стас решает, я своё дело сделала. А вот Кондратьев... По сравнению с этими двумя он мелочь пузатая. Я бы с ним не связывалась, мороки много, а выход нулевой. И Стасу об этом говорила, но он почему-то вцепился. Верит, что всё получится, что не ошибся, как тогда с Игнатенко.

Кондратьев

Не просчитывается слабое место. Настолько беспринципен, что ухватить не за что. Ускользает...

Хорошо, давай ещё раз по порядку.

Деревенский мальчишка, приехавший покорять столицу. За спиной — тяжёлое детство. Учился хорошо, но в багаже — культуры ни на грош.

Целеустремлён. Интуит. Повадки зверя — знает, что нужно лезть наверх, не задумываясь, зачем это делать.

Здоров. Женщинами на стороне не интересуется. Чувство любви к ближнему полностью отсутствует. На семью — плевать.

Абсолютно неприхотлив в быту. Неважно, что есть и где спать.

Жадный? Вроде нет... Скорее безразличный. Потребности минимальные, поэтому не сравнивает себя с другими.

Цель? Сейчас деньги. Но тоже как-то странно... Деньги не для того, чтобы что-то приобрести, поменять образ жизни, а деньги как некая абстракция — чем больше, тем лучше. Нечто подобное, как я понимаю, было, когда он занимался наукой: защититься, занять ответственный пост — лезть вверх по карьерной лестнице. Зачем? — такого вопроса перед ним не стояло. Интуитивное понимание: так надо — не требующее осмысления. Наука как таковая его не интересовала.

Ну, вот и за что здесь зацепиться?

Чёрт! Что за привычка грызть карандаш? Когда я от неё избавлюсь?

Чаю хочется. Горячего, крепкого.

Чашка белого фарфора, блюдце — кажутся настолько тонкими, что вот-вот звонко треснут, не выдержав тяжести налитого чая. Поднимается пар, закручиваясь дымчатой размазанной спиралью.

Первый глоток обжигает.

Я, конечно, могу его уложить в постель. Только зачем? Он и так открыт. Да ему и скрывать-то, похоже, нечего.

Надо с другого края зайти... Чем он гордится? Почему себя любит?

А вот это интересно. Гордится своей беспринципностью. Для него обмануть, схитрить, подсидеть, украсть плохо лежащее — подвиг, победа над идиотами и лохами, которые позволяют ему это делать. Ничуть не смущается, откровенно рассказывает, взахлёб. Сам про себя говорит: «Я такое говно, ты даже не представляешь!» Но как говорит! С гордостью: он не такой, как все, он — особенный. Вот это его греет.

И что мне сие даёт? Ничего...

С теми всё понятно. Один над карьерой трясётся, для другого семья — свет в окошке. А с этим как? Со Стасом поговорить. Надо выводить Кондратьева из разработки. Зря тратим время. Не на чем его подцепить.

Одна. В кровати. Калачиком. Стены расступаются, пропадают. Поднимаюсь в воздух, плыву комочком белым в темноте. Обступает ночной город. Я пушинка, подхваченная весенним ветром, плыву медленно. Тишина — ни звука. Над тёмным пустым переулком... Выносит на Садовое. Бесшумный поток машин внизу, тротуары, освещённые витринами, фонарные столбы согнули шеи. Редкие прохожие — тенью. Вижу капли, дождь моросит. Вижу, но не чувствую. Блестит чёрный глянец. Родное, знакомое, привычное. Пересекаю. Во дворы, над дворами — тёмными и бесконечными.

Соты, лабиринты — пустые и одинокие. Жёлтый свет в окне. Мимо. В темноту. Растворяется город, и я растворяюсь.

На что похоже утро? Утро похоже на море. На море под солнцем: тёплое, спокойное, ласковое. Я моллюск, лежащий на песке, на мелководье. Лучи солнца пробивают толщу прозрачной воды, по песку бродят лёгкие тени от ряби на поверхности, поднимаемой ветерком, дующим с гор. Створки чуть приоткрываются — это я открываю глаза. Свет! Утро.

«Вставай, Лёлька! — говорит мне та, сверху. — Тебя ждут великие дела!»

У многих утро не вызывает радости. Они просыпаются уже уставшими. Им нужно время, чтобы прийти в себя, соотнести себя с миром, в котором вдруг оказались. Они напуганы и раздражены. Мне их жалко.

Утром я не надеваю тапочки. Мне нравится шлёпать босыми ногами по полу, когда иду в душ. Голыми ступнями я проверяю твёрдость окружающего пространства. Вода льётся по лицу, заставляет закрывать глаза, не позволяет дышать — стекающая по груди, спине, с шелестом падающая на дно ванны, — ещё одно подтверждение реальности мира. Я — открыла глаза, я — живу! Я — моллюск. Один на песчаном дне — и это прекрасно!

Кофе. Каждый раз, глядя на кружку, наполненную ароматной чёрной жидкостью, говорю себе: «Лёля! Хватит! Не нужно этого делать. Пей, как все, жидкий зелёный чай. Пора уже о себе подумать — не маленькая...» А удержаться не могу. Как можно отказаться от кофе утром? Сидеть, греть о кружку руки, смотреть в окно, но ничего не видеть — думать о том, что предстоит сегодня сделать, выстраивать схемы передвижения. Сейчас я расслабленный спортсмен перед стартом, погружённый в себя, не замечающий ничего вокруг. Я ещё моллюск под водой на песке... но это — последние мгновения. Пора начинать двигаться.

Что у нас сегодня? Ха! Родительский день. И ещё овца — жена чиновника из мэрии. Тяжёлый будет день. Тупой и тяжёлый...

Овца

Середина дня. Мы сидим в «Грузине» на Маяковке, на террасе, выходящий во дворик, и шум Садового здесь почти не слышен. Это я настояла. Не хочу в зале, который сейчас почти пуст, под взглядами официантов, жмущихся по стенам. На террасе, кроме нас, никого. Тепло, солнце пригревает. Но она всё равно кутается в норковую шубку с широким рукавом. Рукав открывает худую руку с тонким золотым браслетом на запястье и кольцами на пальцах: обручальное и в стиле модерн из белого металла, в виде узкого длинного листа какого-то растения со скатывающейся капелькой росы из прозрачного зелёного камушка. Я не люблю украшения и не разбираюсь в них. Колечко красивое, но уж больно крупное для её пальца. Не могу понять, что ею движет: цепляет на себя вместе золото и серебро? Уж это-то просто... Хотя, вполне подходит, как дополнение к манерно оттопыренному мизинцу, когда поднимает чашку с чаем.

Овце нет и двадцати пяти, поэтому не отказалась пока от сладкого — ковыряет ложечкой здоровый шмат торта на большой белой тарелке, занимающей половину стола. Я маленькими глотками отпиваю красное вино из высокого бокала. Она тарахтит, а я — далеко. Смотрю, как меняет цвет вино под лучами солнца, если слегка вращать бокал, лениво переругиваюсь с той, что сверху, которая ворчит: «Что-то ты, Лёля слишком много выпивать стала».

Овца меня не интересует совсем. Мне нужен её муж. Нет, не как мужчина. Мне нужно разобраться, что он за человек. Какие слабости, чем дорожит? Смелый или слизняк? Моя задача — построить психологический портрет. Найти больное, незащищённое место. Туда вцепятся зубами намертво.

Вот я и слушаю эту дуру, стараясь выловить по крупицам нужные мне сведения.

Работа. Стас выявляет фигуранта, показывает мне. А дальше... как я с ним познакомлюсь, как вотрусь в доверие — моя забота. Считается, самое эффективное — через постель. Но это не моё. И, например, с её мужем не прокатит. Есть мужики, которым это просто неинтересно. Поэтому сейчас мы подруги. Дома я у них бываю, там с ним встречаюсь, разговариваю, наблюдаю. Да и у овцы язык без костей — всё выкладывает.

Стас — мужик весёлый, лёгкий, на первый взгляд. На самом деле это не так. Продумано у него всё. Насколько хорошо — не мне решать. Нечаев для него — свет в окошке. Как-то разоткровенничался... Обычно молчит как рыба, слова лишнего не вытянешь, а тут понесло. Основы конспирации, говорит, давно придуманы. Историю надо знать. То, чем мы занимаемся, может повлечь существенные негативные последствия со стороны криминала и органов власти. Поэтому, чем меньше мы друг о друге знаем, тем лучше. Нечаев в одном ошибался: не пятёрки нужны — это слишком громоздкая и рыхлая структурная единица, — а двойки... ну тройки, на крайний случай. И все они должны быть завязаны лишь на одного человека. Интересно, сколько у него ещё таких «Лёль»?

Иногда та, наверху, утверждает, что я обычная проститутка да ещё и с криминальным уклоном. Пусть. Где-то она права. Хотя... не так много у меня мужиков было. А для дела, для работы, всего с одним... Не оправдание, понимаю. Обиднее другое — когда та заводит свою бодягу, что я такая же овца, как эта, что сидит сейчас передо мной. Вот это пугает, потому что приходится с ней соглашаться. Все мы — овцы. Я делаю свою часть работы, но не вижу картины в целом. Стас не допускает. Да и сама не стремлюсь: так легче жить. Но мне приходится ему полностью доверять и в финансовом отношении, и в смысле физической безопасности. Не знаю, сколько они берут денег, не знаю, как давят на фигуранта. Я винтик в этой схеме. Выходит, что овца, а Стас — пастух. И пусть! Смирилась: это даёт возможность верить в мечту, верить — не лопнет, как мыльный пузырь, есть ничтожный шанс осуществления. Ради неё и мараюсь этим дерьмом.

Сейчас овцу зовут Вероника. А родилась Верой. В подмосковном городишке: то ли Лобня, то ли Одинцово, я не запомнила. Отучилась восемь классов, и за прилавок. Тут перестройка грянула — хватило ума в столицу податься. На что жила, чем занималась — дело тёмное, рассказывать не любит. Впрочем, и так понятно. И тут подскакал принц на вороном «мерине». Сбылась мечта: минуя стадию принцессы, сразу в королевы.

Извилина у неё одна, но очень прямая и глубокая. Не зря за прилавком отстояла. Чёткий товарообмен. Она — себя, ей — достойную, по её представлениям, жизнь. Слово «любовь» произносит легко и часто, но, по-моему, никогда не задумывалась, что же это такое. Прогулялась по рукам, нашла того, кто взял замуж, — значит, любовь. А что? Её папика это устраивает. Молода, глупа, длиннонога. Не то что прежняя... С этой можно и на люди выйти, и в постели покувыркаться — ценник на всё определён.

Мне не тяжело с ней общаться, просто скучно до оскомины. Но приходится. Мы «подруги» скоро год. И всё это время разыгрывается незамысловатая партия

престарелой девочки, стремящейся выйти замуж, и молодой светской львицы, которой всё удалось в жизни. Она упивается ролью. Смотрит свысока, презрительно обучает эту московскую неумёху из хорошей семьи азам женского выживания. Младше меня на десять лет, а разыгрывает из себя умудрённую жизнью матрону.

Вот и сейчас... я ловлю периферийным слухом в сотый раз повторяющуюся сентенцию о том, что взяла мужика за яйца — не отпускай! Делай, что он хочет, стелись под него, а сама медленно и методично гни свою линию, заставляй его привыкнуть, чтобы комфорт почувствовал, свыкся, и только тогда...

Я снова отключаюсь. Сижу, опустив глаза, и мелко киваю — этого вполне достаточно для поддержания разговора. Куда интереснее наблюдать за вороной, которая боком, опасливо, мелкими скачками подбирается к какой-то дряни на газоне. Замерла. Головой вертит. И быстро клювом — раз, другой. И опять из стороны в сторону головой завертела. Где опасность? Нет? Подхватила клювом и сразу на крыло, полетела среди редких деревьев, скрылась.

— ...Мне кажется, назревают какие-то неприятности. В политике — я не знаю... может, с деньгами... Но ты учти, в это время мужик нервничает, злым становится. Может не звонить по нескольку дней. Не вздумай обижаться, наоборот, ещё больше ласки надо дать, чтобы почувствовал, как ты ему нужна.

Так! Это что-то интересное. Уж если Вероника почувствовала, что что-то назревает... Включаюсь. Разыгрываю недоумение.

— Не пугай меня! Неужели опять всё подорожает? — вскидываю на неё удивлённые глаза. — Это Валерий Иванович сказал?

— Нет. Это я сама чувствую. Нервничают все. Покупают... как будто от денег хотят избавиться. Алка, подруга моя, своего на такое колье бриллиантовое раскрутила — закачаешься! Раньше бы он ей никогда не купил. Жмот потому что.

Нет, надо её останавливать, разговор в нужное русло переводить. Про шмотки и украшения она может трендеть бесконечно.

— А Валерий Иванович что по этому поводу говорит?

— Моему сейчас не до этого. У них запарка на работе. Какие-то деньги пришли. Распределяют. До ночи не появляется. Я уж забывать стала, как он выглядит. Зато знаешь, что пообещал? Если, говорит, всё пройдёт, как я думаю, — поедем с тобой в Эмираты на пару недель. Отдохнём, оторвёмся по полной.

Вот оно! По-моему, Стас этого ждал. Созрел клиент. Только хорошо бы самой убедиться, а не только со слов этой клуши.

— ...Там золото, знаешь, какое дешёвое! Алка была...

Не слушаю. Думаю. Повод нужен в гости напроситься, и хорошо бы в воскресенье, чтобы сам был дома.

Я стою на Садовом кольце. Мимо медленно ползут машины. Приближается конец рабочего дня. Знаменитая московская пробка — свернувшаяся кольцом, огромная механическая змея, пожирающая свой хвост, воняющая выхлопом. Оттопырилась металлическая чешуйка, заглотила Веронику.

Я стараюсь на такси одной не ездить — мне страшно. Днём ещё куда ни шло, а вот вечером... Уж больно лица у людей стали нехорошими. И в метро стараюсь как можно реже спускаться. Бомжи.

Сегодня мне везёт. Везде пешком. Центр, старая Москва, здания, переулки. Чтобы жить в этом городе, нужно полюбить его. Я люблю, я здесь родилась.

На той стороне Садового, если зайти в подворотню, — офис, где работает Кондратьев. Заходила к нему как-то раз, нужно было приглядеться, как он себя среди сослуживцев ведёт. А по Красина, в сторону зоопарка, выйдешь к Малой Грузинской — там школа, в которой училась, чуть дальше — родительский дом. Туда я сейчас и направлюсь.

Только приезжим кажется, что Москва большая. Может, и правда, большая... Но для меня она вся состоит из знакомых островков — отдельных и связанных между собой тонкими перешейками, — застывших среди раскинувшегося до горизонта массива серых зданий. Я островитянин. Я живу на этих островах.

Предки

Подхожу к дому, стараюсь что-то почувствовать. Специально стараюсь. Здесь моё детство прошло: дворики, игровые площадки, школа в глубине за деревьями, костёл на вечной реставрации, как и раньше, забором огорожен. Во двор вхожу — окна нашей квартиры на третьем этаже. Отцовского гаража отсюда не видно, но знаю: он вон там... Мел, крошащийся об асфальт, классики, резиночка, мороженое в вафельном стаканчике, сандалии на плоской подошве и школьная форма. Здесь я упала, коленку разбила, кровь текла, а я ревела от страха. Ничего не чувствую. На той лавочке с будущим мужем сидела, никак нацеловаться, расстаться не могли. Умиление должно быть... сладкая горечь, что всё кануло в никуда. Дом, отчий дом... Почему не чувствую? Странно.

Квартира, в которой последние два года живу, не моя — Стаса или кого-то из его друзей, я не знаю, меня это не касается. Он сказал: «Пока вместе работаем — живи здесь». Вот и живу... Думала, вместе жить будем. Попробуем — вдруг получится? Нет. Он редко появляется, пару раз в месяц. Но так даже лучше...

Смотри-ка, у родителей дверь в подъезде поменяли — теперь железная с кнопками кодового замка. Но замок всё равно не работает — приоткрыта. Копаюсь в сумке, ищу ключи. Тяну за ручку, оглядываюсь на двор — пустой, словно вымер. Только старуха на дальней лавочке сидит, на палку опирается. Перестали детей одних гулять во двор выпускать.

Своим ключом открыла. Кричу:

— Это я!

Куртку вешаю. Вот и мама — из кухни, в фартуке. Располнела, оплыла. Всё те же химические кудряшки. Сейчас начнётся.

— Лёленька! Как хорошо, что ты пришла! Я фарш говяжий вчера купила. Котлеток наготовила. Садись, сейчас я тебе подогрею.

— Мама, мама, успокойся. Я не хочу есть — не голодная. Мы с подругой в кафе были.

И так каждый раз. Кажется, что мамин мир сократился до размеров кухни: достать продукты, приготовить, накормить. Даже школа отошла на второй план.

— Давай мы с тобой чаю попьём. А папа где?

— Отдыхает.

Губы поджала. Значит, папа опять выпивал за обедом. Разрушилась воскресная разрешительная система — теперь папа выпивает и по будням.

Кухня окнами во двор. Ветви деревьев — рукой достать можно. Подоконник уставлен банками и кастрюльками с едой, никогда раньше такого не было — как я это

ненавижу! Всё какое-то неопрятное, словно квартира постарела. Постарела вместе с родителями.

— Что у папы с работой?

— Всё то же... Зарплату не платят уже почти полгода. Да и что это за зарплата? Курам на смех.

Я молчу — сказать нечего. Слова о том, что надо потерпеть, что скоро всё изменится, давно сказаны. Вздыхаю — показываю, что переживаю вместе с ней.

— Знаешь, Лёля, — перестала чай наливать, повернулась, заговорила тихо, проникновенно, словно тайну мне открывает, — если бы не частные уроки, мы бы не выжили. Только они и спасают. И за тебя очень волнуемся. Мы-то своё прожили... А ты как? Ведь ничего не рассказываешь. Что у тебя на работе, зарплату платят?

Жалко её. Я сколько раз предлагала деньги — куда там... Руками машут, отказываются. Ты молодая, говорят, тебе нужнее, тебе жизнь строить.

— Мама! У меня всё хорошо. Зарплату, хоть она и небольшая, выплачивают регулярно, мне хватает. У нас частная фирма, не государство... Ну, ты же сама видишь: одета, обута, не голодаю. Расскажи лучше, что у тебя в школе делается?

— Ой! Зря ты про это... Плохо всё. Учителя разбегаются, платят-то копейки. Марья Ильинична ушла. И Верочка, да ты её помнишь, химию вела, — тоже. Преподавать некому. Но это — ладно, это временные трудности, не выдерживают люди. Я их не виню. Но ты мне вот что скажи... Сейчас обсуждение идёт — программа внеклассного чтения... Знаешь, кого рекомендуют? Ерофеева! Эти его «Москва — Петушки». Представляешь? Этот бред алкоголический! Зачем про это надо детям знать? Чему там можно научиться? У меня руки опускаются.

Что ей ответить? Что литература бывает разной и пишется не для всех? Не поймёт. Начнёт приводить в пример своего любимого Толстого. Хотя... здесь я с ней согласна, Ерофеева девятиклассникам — какой в этом смысл?

Хлопнула дверь. Папа встал. Мама замолчала сразу. Обернулись, ждём. Вот и он. Лицо после сна красное, редкие волосы растрёпаны, след от подушки на щеке. Кофта растянутая о трёх пуговицах, спортивные штаны, раздутые на коленках, шлёпанцы. Помятый, неухоженный. По-моему, он с каждым годом всё меньше и меньше ростом становится.

— Здравствуй, доча! — нагнулся, поцеловал в затылок. Обдало несвежим, затхлым: — Налей-ка, мать, и мне чайку.

У него в последнее время манера появилась передо мной бодрячка-балагура разыгрывать, мол, всё ему нипочём. Плохо получается.

— А что, дочка, может, мне в челноки податься? — прихлёбывает из чашки жадно, обжигается, пить хочет.

Я молчу, жду продолжения. Он всё ещё изображает главу семьи, который держит ситуацию под контролем. На маме всё держится, и он это понимает, и она. Игра, оставшаяся с прежних времён.

— Вон, Геращенко с Витковским, из нашего отдела, уже раз пять в Китай смотались, шмоток разных навезли, продали. Теперь у нас же в НИИ помещение арендовали, компьютерами, говорят, будут торговать. Начальный капитал нужен...

Я жду, что мама на это скажет, но она молчит.

Не понимаю, всерьёз он это говорит или так, воздух сотрясти, пофантазировать. Смотрю на него: смешно — какой из него челнок? С его-то интеллигентностью... Его же любая баба с клетчатой сумкой через плечо затопчет. А бандиты? Сбыт на рынке? Ограбят и разведут, как лоха. «Черкизон», «Лужа» — это же ад кромешный.

— Папа, — говорю, — поверь мне, время челноков прошло. Теперь уже вагонами из Китая барахло возят. Надо было год назад начинать, а сейчас — поздно.

— Да, доча. Наверное, ты права.

Не расстроился ничуть. Всё-таки это фантазии. Вот и хорошо.

Темнеть за окном стало. Надо бы свет зажечь, но сидим так. Может, чтобы лиц не видеть? Стыдно нам друг перед другом? За то, что поменялось всё, что мы такими стали?

Я не такая! Я — не сдалась. Это они сдались. Жалко их, но что я могу сделать? Только навещать и следить, чтобы глупостей не наделали.

Ага, пожалела. Ты лучше себя пожалей.

Это та, что наверху, проснулась, голос подала.

Посмотри на них — они жизнь прожили, тебя родили. Теперь от тебя внуков ждут. Продолжения своей жизни. А ты их жалеешь. Они по общечеловеческим правилам смогли прожить, это не они сдались, а ты!

Уже и свет зажгли, и говорили они что-то, теребили меня...

Захлестнуло — ушла от них в свою комнату. Там всё по-прежнему, словно живу здесь. И полка с книжками, и даже куклы мои старые на кровати сидят, на меня таращатся, и лампа на столе возле окна.

Слёзы к глазам подступают. Сдерживаюсь. За стол села. Смотрю на своё отражение в чёрном стекле. Кто я? Зачем?..

Ладно. Слёзы вытри, пора уходить. Темень за окном несусветная.

— Мама, папа! Мне пора, я ухожу, — кричу им из прихожей, надевая куртку.

Забегали. Прощание, топтание в прихожей. Мама со стеклянной банкой в руках. Тёмная масса с прослойками грязно-белого жира.

— Лёлечка! Я тебе котлеток положила, дома разогреешь на ужин.

— Да-да, спасибо!

Запихнуть в сумку и скорее на улицу!

Тёмный двор. Шаги — гулко. За спиной бабахнула дверь — доводчик не сработал. Вздрогнула. Я не из боязливых. Скорее фаталистка — будь что будет, поэтому обычно в панику не впадаю. Но тут что-то другое — странное ощущение: двор словно поджался, превратившись в чёрный сгусток за спиной, в кошку, переступающую лапами, — готовится прыгнуть, вцепиться в спину.

За угол дома. Редкие фонари и деревья вдоль проезжей части. Машины — слепящий свет фар — одна за одной. Пронеслись. Пустынно и тихо. Надо выбираться отсюда. Время девять, а людей не видно, словно вымерли все.

Мимо дома Высоцкого. Громадный чёрный контур костёла навис справа. Даже руины могут быть величественными. Грязный дощатый забор, что на тротуар заваливается, с проломанными досками, облепленный рваными объявлениями, — он тоже руины, но из другого мира. Даже разруха может быть разной.

Машина притормаживает. Тёмно-красная, старая. Что за марка? Не разобрать. Музыка в салоне ревёт — окно нараспашку. Харя молодая скалится, и голая рука с сигаретой наружу. Соседнее стекло тоже поползло вниз. Ещё один высунулся — с чёлкой до бровей.

— Эй, красавица, садись, покатаем! — и ржут, будто что-то остроумное выдали.

Иду, делаю вид, что не замечаю, а сама руку в сумку, там газовый баллончик. Если не обдолбанные, поржут, покуражатся и отстанут. А вот если совсем вдрабадан...

— Х... выёживаешься? Садись, тебе сказали, подвезём.

Машина медленно катится рядом.

Останавливаюсь. Улыбка во всё лицо.

— Excuse me! I have lost may way, how can I go to metro station? I need to find Canadian embassy.

Почему Канадское? Как-то само вырвалось. Может, и хорошо, пусть знакомое слово услышат.

Недоумение на харях, но быстро проходит.

— Слышь, Хлоп, никак иностранка! — Тот, что на заднем сиденье, опомнился первым: — Кайф! Я иностранок ещё не...

— И не будешь! На ... нам этот геморрой? Такой кипеж из-за этой шмары поднимется. Тебе что, своих блядей мало?

Вот на что я и рассчитывала. У этого в голове на одну извилину больше, и он, видимо, потрезвее. Отвернулся, я ему уже не интересна. А второй так и ест глазами.

С визгом шин сорвалась машина с места. Вылетел окурок, рассыпался по асфальту искрами. Пронесло.

Огни впереди — Пресня. Светло, машины, жизнь!

Встала на углу, закурить хочу, а руки дрожат.

Пресня

Пресня — странное место. Вроде обычная Москва, даже не центр. Вот, напротив — приземистый куб спортивного магазина «Атлант»; универмаг возле метро «Девятьсот пятого года»; а если к Садовому — зоопарк с бронзовой пантерой, вытертой до блеска, на старой территории — ни один ребёнок мимо не пройдёт, залезет; вот и сталинская высотка шпилем в небо уткнулась. Это Пресня — мирная. Но есть и другая... Отрезок булыжной мостовой возле высотки. У «Девятьсот пятого» — памятник кубанскому казаку, как его называют в простонародье. Облепила свора разъярённых рабочих всадника, стараясь сдёрнуть со вставшего на дыбы коня. Чуть в стороне — Ваганьковское кладбище, сгусток темноты внутри Москвы, усеянный могилами. Белый дом гордо выступает впереди из-за спин девятиэтажек, освещён прожекторами. Эта Пресня дышит разбоем, беспорядками, вывороченными из мостовой булыжниками, выхлопами танков, цоканьем копыт и шарканьем тысячи ног. Кровавая Красная Пресня.

Усмехнулась. Как же быстро всё забывается, стремительно уходит в прошлое. Спокойная жизнь будто ластиком стирает кровавые пятна с асфальта, оставляя едва заметные штрихи в памяти. Прошло-то совсем ничего...

Дым от сигареты висит в воздухе. Опять пальцы табаком будут пахнуть — не люблю. А мундштук доставать на улице — как-то не так...

Действительно каша в голове. Какие-то отдельные кадры — как вспышки от фотоаппарата. Защита Белого дома, захват Белого дома — всё перепуталось.

Экран телевизора... и эти сидят. Старые, каменные. «Лебединое озеро» уже отыграло — зажались все. Не суть в том, что говорят, суть в том, что всё изменится сейчас. И чёрт с ним, что продуктов в магазинах нет, зато вздохнули свободно.

Не верится, что это было здесь и совсем недавно. Кабак огнями светит. Машины на светофоре стоят. Люди. Вон крашеная на мужике виснет — пьяная. Мужик руку вскинул, такси ловит. Уедут сейчас. Вдвоём останутся.

А ты, Лёля, придёшь домой, и никто тебя там не ждёт.

Ну вот, завела волынку. Давай, пожалей себя. Слезу ещё пусти, бедная одинокая девочка. Распричиталась. У тебя мечта! Забыла? Ты же знаешь, что делать.

Знаю — окурок надо выбросить, а урны поблизости нет. Ладно, сейчас найду.

Дом, милый дом... только не мой. Да мне этот и не нужен. Мой дом будет не здесь! Просто нужно немного подождать и доделать все дела. И чтобы повезло. Мне очень нужно, чтобы повезло! Я смогу, знаю. Раньше — это при Брежневе, когда родители молодые, а я — маленькая... — не мечтали. Смысла не было. Хотеть — да. Хотеть машину, отстояв многолетнюю очередь, хотеть новую квартиру — опять очередь из таких же, как ты сам, привычно ждущих, что кто-то добрый и всемогущий швырнёт крошки со своего стола.

Поднимаюсь по лестнице на пятый — лифт отсутствует, зато лестницы широкие и чистые. Шаги гулко в тишине. Цветы на подоконниках. Коляски стоят. Тётки их на себе по лестнице туда-сюда тягают — материнская физкультура.

Железная дверь. Мода в Москве появилась железные двери ставить. Если так дальше пойдёт, бронированные ставить будем и стёкла на окнах пуленепробиваемые. А что? Кондратьев по знакомству сделает — как раз его профиль.

Свет — в прихожей и на кухне. В комнатах пока не зажигать. К пространству нужно привыкать постепенно, начинать обживаться в малом. Чайник заурчал — вот и хорошо.

Куртку — на вешалку, джинсы — на вешалку, свитер — на полку в шкаф, колготки — стирать. Рубашку мужскую, тёплую, большую до колен — накинуть. Волосы за ухо. Всё. Чай и с ногами в кресло, смотреть в распахнутое зево камина. Ты на него, он на тебя. Блин! Котлеты мамины в холодильник убрать забыла. Ладно, потом...

Дурацкий день. Только утро было хорошим. Потом овца, родители, уроды на машине... Ноги гудят, и в голове пусто. Надо спать ложиться.

Если лечь на бок, свернуться калачиком, а одеяло натянуть так, чтобы ухо прикрыть, то и дышать можно, и сама как в домике, но одновременно и снаружи. Я люблю так... Наверное, что-то потаённое из меня лезет — вторая сущность. Как улитка, только чуть-чуть выглядываю — готова сразу спрятаться. Мне дом, свой дом нужен, чтобы прятаться. Только не здесь. Зима, серость, у людей в глазах злоба плещется. Солнца, тепла хочу! И чтобы океан или море. Песок на пляже. Жизнь спокойная, неспешная. Испания или Италия? Домик — пускай маленький, но деревья вокруг листвой шелестят. И чтобы она просыпалась и меня будила. Сидела бы в кроватке и игрушки перебирала, разговаривала бы на своём птичьем языке. И солнечные пятна на полу в комнате. Я бы босиком шлёпала, кашу ей варила. Гулять на берег моря. Меня за палец держит, переваливается на толстых кривых ножках с детскими складочками. Медленно идём, ходить учимся. Сбудется? Стас говорит, сейчас всё возможно. Деньги нужны, очень много денег. Он поможет. Обещал. Выехать и дом купить — не такая и проблема. А вот ребёнка усыновить и вывезти — это уже посложнее. Но, опять же, будут деньги — всё решаемо, особенно при нашем бардаке, где всё продаётся. Уехать и забыть про всё и про всех, затеряться. Нет меня — пропала. Никаких мужиков, только я и она. Жить и смотреть изо дня в день, как растёт, меняется... косички ей заплетать, книжки читать перед сном. Хорошо бы океан дышал за окном, волны о песок тёрлись, чтобы каждый день был солнечным и был похож на предыду...

Россия. 1998

Январь.	Террористический акт в Москве на станции метро Третьяковская. Для сдерживания инфляции проведена денежная реформа.
Март.	Отставка Черномырдина с поста Председателя правительства РФ. Финансовая пирамида ГКО зашаталась. Задержка по выплатам зарплат. Акции протеста с требованиями отставки президента и правительства. Противостояние Ельцина и Госдумы по поводу назначения премьер-министром Кириенко.
Апрель.	Назначение Кириенко Председателем правительства РФ.
Май.	Шахтёры «сели на рельсы».
Июнь.	Палаточный лагерь шахтёров на Горбатом мосту, Москва. Под их давлением депутаты создают комиссию по импичменту Ельцина.
Июль.	В Петропавловском соборе Санкт-Петербурга захоронены останки царской семьи.
Август.	Резко обострился экономический кризис — обвальное обесценивание рубля. Торги в РТС пришлось остановить, цены на российские ценные бумаги обрушились до небывало низких отметок. Финансовый обвал принял неуправляемый характер, курс рубля вышел за рамки валютного коридора, остановить его падение правительство не в состоянии. Отставка правительства.
Сентябрь.	Инфляция возросла с 3.7% в августе до 38% в сентябре. Госдума утвердила Примакова премьер-министром.
Ноябрь.	Депутат Старовойтова расстреляна в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге.
Декабрь.	Девальвация рубля обрушила сбережения населения. Тем, кто хранил сбережения в долларах, девальвация дала шанс подняться.

Глава 3

Кондратьев

Происходящее вызывало радостное недоумение. Это чувство было замешано на неверии в реальность — этого не могло, не должно происходить, ан нет — вот оно перед глазами! И возникал пугающий вопрос: что дальше?

День был солнечным, по-августовски жарким. Девять утра, а никакой утренней прохлады нет и в помине. К обеду Москва раскалится, захлебнётся выхлопами стоящих в пробках машин, пропотеет. Сейчас дышать ещё можно.

Сигаретный киоск, рядом ещё один: продуктовый. Люди останавливаются, переговариваются, никто ничего не покупает — смотрят. Ценники завораживали. Во сколько же раз всё подорожало со вчерашнего дня? Почти в четыре раза, ничего себе! Обалдеть! Вот молодцы! Что же они с нами делают? Доигрались... Интересно, какой курс доллара?

Завернул за угол, прошёл вдоль дома — в торце, в подвале, обменник. На вынесенном рекламном щите цифры отсутствовали. Железная дверь, которая всегда приветливо нараспашку, заперта. Ладно... возле метро ещё один есть.

Началось! — затолкалось в голове. Говорили про это, говорили... Вот, похоже, и произошло. Не паникуй, спокойно. Деньги у тебя в долларах, в банковской ячейке.

Шёл к метро пешком, через Воронцовский парк. Навстречу — молодые мамаши с колясками да старушки с сумками. И так хотелось пробежаться, упруго отталкиваясь кроссовками от асфальтовой дорожки, почувствовать сокращение мышц, напряжение сухожилий, но мешал туго набитый бумагами портфель, болтавшийся на плече.

Почему я перестал бегать по утрам? Образ жизни изменился? Да. Теперь один. Но ты же всегда этого хотел? Вот и делай то, что считаешь нужным, что не так?

Съёмная квартира. Спартанская обстановка. В комнате — старый диван, стол и стул. Даже шкафа нет, одежда в сумках, чемодане и на стенной вешалке возле двери. Про кухню и говорить нечего... Плита, стол, две табуретки. Телевизор, правда, есть — маленький, чёрно-белый — «Юность». Сплошные помехи на экране, если включить. Такая жизнь ему нравилась. Убогое существование не давало расслабиться, позволяло ощутить себя на перепутье, работать — собирать деньги.

Всё сделал, как и планировал. Марина с Алиской в Канаде. Уехали в начале июня. Обживаются. Им пока нравится. Дом у них вроде ничего, не жалуются, по крайней мере. Марина на работу должна вот-вот выйти. Этот дом мы с ней приглядели, когда весной ездили. До Торонто меньше получаса на электричке. Квартиру продали. Деньги — им, на обустройство. Денег, конечно, извели много. Так хотелось себе отщипнуть от той суммы, но сдержался. Не моя это квартира, пусть забирают.

Какое-то странное ощущение возникло и не отпускает. Вроде семья, дочка — просто уехали, расстались на какое-то время. И вместе с тем — свобода, нет никакой семьи, один. Раскачивающиеся чаши весов. Скучаю по ним? Хочу поехать, воссоединиться, так сказать? Нет! Сейчас совсем не хочу. Мне и здесь одному хорошо. Там — мирный тыл, запасной вариант, если приспичит или прижмут...

Обменник возле метро тоже закрыт.

Люди хмурые, спешащие. Дверь придержать, чтобы не зашибло, и под землю.

Стоял в набитом людьми вагоне, держался за поручень. Под стук колёс в голове бессвязно толклось: это дефолт, очередной дефолт. Насколько всё серьёзно — сейчас не определить. Кинули народ, суки! Рубль обесценится. Повальная нищета. Как бы до голода дело не дошло. Крик поднимется: кризис, экономический коллапс, — перетерпеть, Россия ещё не то переживала, возродим экономику на новом уровне, — и прочую лабуду станут гнать. Про мировые кризисы вспомнят, революцию...

Мужик грубо протискивался к выходу, расталкивал плечами стоящих. Злость накатила: какого хрена? Ты что, козёл, аккуратнее не можешь? Напряг спину, закаменел телом, мешая пройти.

В Москве-то ещё ладно, как-нибудь. А в глубинке? Зарплаты? Ведь всё встанет. Старики? Пенсия? Нет... это эпидемия! Экономическая эпидемия, охватившая всю страну. Всех коснётся, никто в стороне не останется. Вовремя Марину отправил, как чувствовал. Да, конечно, ещё и не такое случалось, понятно. Чума в Европе, население повымерло. Но ведь возродилось заново? Какое мне дело, что и когда возродится, если я сдохну? Плевать мне на мир и народы, на высокие слова. Я жить хочу! И не просто жить, а хорошо жить.

Маяковка встретила глухим шумом проезжающих машин и солнцем, бьющим в глаза. Псевдофилософская дребедень, что лезла в голову, осталась внизу, на эскалаторе. Ага, вот и ларьки. Ну-ка глянем... Ё-моё! Это цены так за час прыгнули, пока ехал? Или это центр? Здесь всегда дороже.

Офис. Участливо-жалостные глаза Лидуси. Столы пустые, только экраны

компьютеров светятся. Голоса с кухни доносятся — там, похоже, все собрались, обсуждение идёт.

— Генеральный у себя? — спрашиваю.

Вскочила.

— Был с утра и сразу уехал. Ему Емельянов позвонил... — шёпотом говорит, словно тайну выдаёт.

— Хорошо, — говорю. Делаю вид, что так и предполагал, мол, знаю, о чём у них разговор пойдёт. Ни хрена я не знаю. Понимаю только, что забегали все, как тараканы, когда в комнате свет зажгли.

К себе в кабинет вошёл. Накурено. Виктор Виленович, собственной персоной, с сигаретой во рту. Пепельница перед ним окурками топорщится. Глаз прищурил, смотрит сквозь дым. Ждёт, наверное, что я возмущаться стану.

Не сегодня. Сегодня мы это дело на тормозах спустим.

— Привет, — говорю. — Ты что? Домой не уходил?

— Почему так решил?

— Вон в пепельнице окурки не умещаются, — не удержался всё-таки.

— А... Это... — рукой неопределённо махнул. Через стол перегнулся, окно стал открывать. Что за идиот? Почему он раньше не догадался это сделать?

— Начальство ни свет ни заря позвонило. Пришлось ехать.

Ага, значит, ему позвонили, а мне нет? Это мы примем к сведению.

Он, как всегда, недоговаривает, многозначительно слова произносит. Да пошёл ты! Сам сейчас расскажешь.

Ручкой по столу постукивает, в окно смотрит.

— Да... Похоже, приплыли...

— Не мы одни, — говорю, — вся страна приплыла.

— Страна-то ладно... выживет как-нибудь. А вот фирма, похоже, накроется. Так что присматривай новую работу.

— Что-то ты очень пессимистично настроен.

— Сам посмотри... У нас в работе шесть крупных отделений, не считая разной мелочёвки. Деньги нам проплачены. С нас спросят по полной... не отвертишься, никаким дефолтом не объяснишь. А с некоторыми подрядчиками договоры ещё не заключены. Значит, что? Если останутся на плаву, — заломят цену согласно новому доллару. А наши-то деньги уже тю-тю! Сгорели, растворились.

— Тебе начальство объяснило, когда утром вызвало?

— Это и ежу понятно, объяснять не надо. А вызывали, чтобы переговоры с заказчиками срочно начинать. Понимать надо, какие настроения... Тебе тоже звонили, но ты недоступен был.

Точно! Я же звук у телефона на ночь выключил.

— Сам-то куда уехал? — спрашиваю.

— Собрание учредителей. Экстренное. Ладно... считай, что в курс дела я тебя ввёл — работай, флаг тебе в руки.

— Так конкретики никакой...

— Ты не конкретику выясняй, а настроения. Общайся, говори с людьми. Обещай, выкручивайся. Да что я тебе объясняю, сам всё знаешь.

— Ладно. Сейчас кофе выпью...

Лидусю напрягать не стал, сам на кухню пошёл. А там Вова Ильин и Серёга Молоцкий за столом расселись, оба технари от бога, начальство за них держится — они у нас за строительством на объектах следят. Говорят на повышенных тонах. На меня

ноль внимания. Только и слышно: а чем семью кормить? да где сейчас ты другую работу найдёшь? Димон — разъездной шофёр — тут же у стеночки притулился. Разброд и шатание. Время — одиннадцатый час, а они здесь прохлаждаются. Пока кофе наливал, понял: выпивают. Вон бутылка за холодильником спрятана. Похоже, мир действительно рушится. Молоцкий — он же вроде как непьющий?

Лидуся мышью проскользнула, на этих покосилась. Она тихая, слова лишнего не скажет. Ко мне обратилась:

— Алексей Валерьевич, вам Колупаев из «Кондорбанка» звонит.

Ага. Договор-то подписан. С одной стороны, это хорошо — возможно, дело сдвинулось с мёртвой точки, готовы проплатить, с другой — какие деньги? Ведь ясно же, что все сметы пересматривать надо. Рубль рушится и когда остановится, неизвестно. Сейчас никакие решения принимать нельзя. И главный, как назло, уехал. Ладно... будем время тянуть, посмотрим, что скажет?

Разговор ошарашил. Не было привычного хождения вокруг да около, только конкретика. И конкретика довольно жёсткая. Готовы встретиться и проплатить наличными по договору сегодня в 12:00. Попытки сослаться на отсутствие начальства, в связи с происходящим экономическом коллапсом, были отметены как пустой звук. Уже понимая, что его продавливают, заставляют принимать решение — всё же сделал попытку настоять, чтобы сумма была в долларовом эквиваленте. Только рубли — последовал однозначный ответ.

Думать надо было, думать!

Во двор, побыть одному.

Сидел на лавочке, в тени раскидистого тополя, смотрел на перепрыжки воробьёв возле мусорного бака, ждал, что вот-вот выйдет Лидуся: скажет, что дозвонилась до генерального, позовёт. Двор как вымер — пусто. Тени застыли, деля мир на светлый и тёмный.

Позвонить Лёле, посоветоваться? А что она может сказать? Нет... здесь надо самому решать.

Что мы имеем? Сначала по этому договору... Сумма большая. Двадцать, а то и тридцать процентов теряем только на конвертации. Даже если работу выполним, то прибыли никакой. И не надо забывать, что я сейчас исхожу из того, что происходит сегодня. Что будет завтра — одному богу известно.

Банк старается избавиться от наличных рублей — это понятно. И рыбку съесть, и на ёлке покачаться — все свою выгоду ищут. Возьмём деньги — вся ответственность на нас, не возьмём — потеряем заказ. На этом они и играют.

Не то... Всё не то! Не об этом думать надо. Не о банке, а об общей ситуации: как жить дальше?

Фирма прогорит. Может, какое-то время и останется на плаву, потрепыхается. Но! Заказов новых не будет. Банки либо зажмутся, либо тоже прогорят. Значит, фирма зарплаты будет урезать, народ разбегаться. Тупик. Придётся искать новую работу. Меня что-нибудь здесь удерживает? Люди? Отношения? Да плевать мне на них. Деньги держали, а сейчас их не будет. Это генеральный всё время щёки надувает, талдычит, мол, мы одна команда, надо чувствовать ответственность за каждого работягу, мы обеспечиваем рабочие места. Идиот! Романтик от бизнеса.

Так может... всё к черту? А что? Страна будет вылезать из этой задницы не один год. Пора сваливать.

Контуры паззла наметились, разрозненные бляшечки ещё не нашли свои места, но картина в целом начала вырисовываться.

А может, не торопиться? Вдруг всё наладится?

Квадрат двора с редкими тополями, туго сжатый уходящими вверх стенами домов. Убогая детская площадка с разломанным остовом песочницы. Шум машин с Садового просачивается через тёмную арку, выводящую на улицу. Оконные стёкла поблёскивают на солнце. Он один, замерший на низкой лавочке. Вытоптанная земля у ног, разбросанные окурки.

Неожиданно всплыл Ленин. Уж сколько пришлось проштудировать его работ и в Универе, и в аспирантуре. Везде: «Материализм и Эмпириокритицизм», «Шаг вперёд, два шага назад», и прочее, и прочее... Как там говорил ВИЛ? Вчера ещё рано, а завтра будет поздно? Так, кажется. Похоже, для меня «сегодня» наступило. Интересно, почему Ленин из подсознанки вылез? А почему бы ему и не вылезти? Молодец, мужик! Знал, что делает. Ни на кого ни оглядывался — гнул свою линию жёстко. Если по головам идти к цели надо, значит, по головам. Цель оправдывает средства. Это тебе не Фёдор Михайлович с его божеским слюнтяйством.

Посмотрел на часы. Уже опаздывал на встречу.

Ладно... надо ехать. Посмотрим, что скажут. Как там Наполеон говорил? Главное — ввязаться в бой, а там посмотрим... Как-то так. Что-то у меня сегодня одни цитаты на языке.

Вестибюль банка встретил необычной суетой и деловым гулом. Отсутствовала привычная неспешность и вальяжность персонала. Даже охранник на входе нервничал — раскачивался с пятки на носок, стреляя глазами из стороны в сторону.

В переговорную не пригласили, и это тоже насторожило. Колупаев спустился сам. Предложил пройтись. Был он весь такой крепенький, сбитый, и чувствовалось, что позавтракал хорошо, и зарядку, наверное, сделал. Костюм на нём тёмно-серый, а не чёрный, как у общей массы банковских клерков. Пиджак нараспашку, галстук отсутствует, верхняя пуговка на рубашке расстёгнута — вот она, свобода среднего звена, дослужился, вскарабкался на ступеньку, занял своё место. Пёрло из него это самодовольство. Но! Надо же соответствовать моменту. Поэтому, никаких дружеских похлопываний по плечу и радостных улыбок — губы скорбно поджаты: тяжёлое, сложное время настало. Будем работать ещё больше! Что ж, пришлось принимать новые правила игры, подстраиваться. Пошёл рядом молча, даже на часы раз взглянул, показывая, что тороплюсь.

Перед старым особняком, вылизанным реставрацией, небольшой садик. Зашли в приоткрытые резные ворота. Встали возле лавочки. Сесть он не предложил.

— Алексей, здесь полная сумма, согласно смете, без оговоренной нами части. Ну... вы понимаете? — поставил на лавочку целлофановый пакет, приоткрыл — там ещё один, увесистый, туго перемотанный скотчем. — Пересчитывать не надо — всё точно.

Брать или нет? А как тут не возьмёшь? Деньги — вот они. Сказать, что должен посоветоваться с начальством? Детский лепет. Не поймёт. Надо брать. Только не показывать растерянность, держаться как обычно.

— Хорошо. Владимир Иванович, но вы тоже должны понять — ситуация, конечно, далека от форс-мажорной, но с поставками комплектующих могут возникнуть проблемы.

Что я несу? Какие поставки?

— Это может сказаться на сроках выполнения. Но в любом случае мы будем держать вас в курсе и сделаем всё возможное.

— Лёша, я думаю, этот бардак скоро закончится, и всё войдёт в привычное русло.

Вот хорёк! Расслабился, повеселел. Свой кусок он получил, а дальше не его забота. Если что-то не так пойдёт — это уже наша вина.

— Будем надеяться, — отвечаю.

— Ну, раз консенсус достигнут, поставьте свой автограф.

Папка, лист бумаги, ручка.

Сумма цифрой и прописью, большая сумма... Ногу на лавочку, папку с распиской на колено. Подмахнул.

— Что ж, Алексей, желаю успехов! Всего хорошего.

Вот теперь улыбка у него на лице закрепилась.

Пожал протянутую руку.

Смотрел на удаляющуюся спину, пакет сиротливо стоял на лавочке. Вдруг понял, что с самого начала смущало. Выпадение из реальности! Всё было не так, как надо. Будто во сне, вязком и тягучем, когда от тебя ничего не зависит, и ты неведомой силой втянут в развёртывающийся вокруг тебя сценарий непонятного действа.

Потряс головой. Так... деньги — вот они. Огляделся по сторонам. Всё не так! Большие деньги доводилось получать и раньше, но обставлено было иначе. Кабинет или переговорная, охранник в дверях банка, офисная машина на выходе. Домчал до офиса, сдал генеральному, и ты — победитель, все радуются, руки пожимают. А сейчас? Один — и пакет на лавочке. Уходить отсюда надо! А если Колупаев кому шепнул? Подойдут сейчас...

Выныривал из этого дурного сна, словно липкую плёнку с себя сдирал.

Подхватил пакет, вышел из садика и по переулку — не в сторону метро, в противоположную. Куда? И сам не мог сказать. Главное, уйти подальше. Заставлял себя не оглядываться. Не получалось. Переулок голый, пустынный, лишь несколько прохожих застыли вдалеке, казалось, не движутся. Шёл быстрым шагом, почти бежал. Вдруг ощутил, что струйки пота текут по спине под рубашкой, что лоб мокрый. По правую руку, во дворе, заметил нежилой аварийный дом, зияющий провалами выбитых окон. Оглянулся — ничего подозрительного. Свернул во двор.

Затхлая темнота за деревянной обшарпанной дверью, болтающейся на одной петле, груда мусора на ступенях. Тишина и прохлада, только хруст отвалившейся штукатурки на полу, под ногами. Захламлённая мусором комната. Подошел к окну — распахнутая створка, с косым и мутным осколком стекла, распахнута. Встал сбоку — нужно видеть вход, но самого чтобы с улицы не было видно. Сейчас он напоминал зверя, который интуитивно чувствовал опасность, не сознавая, в чём она выражена, не понимая, что нужно делать, но всё равно был готов в любой момент сорваться и бежать. Тихо. Не обращая внимания на пыль, устилавшую обломки строительного мусора, поставил портфель и пакет на пол. Из коридора принёс деревянный ящик — заметил, когда шёл, — поставил на попа, кое-как обтёр носовым платком.

Сидел, смотрел через окно на прожаренный солнцем кусок двора, вдыхал запах пыли, успокаивался, думал. Скорее не думал, а перебирал, как чётки, возможные варианты действия, пытаясь просчитать последствия. Отвезти деньги в офис? Потянуть время, ожидая, что придёт правильное решение? Позвонить, вызвать из офиса машину, чтобы не шарахаться по городу с такой суммой? Или кардинально: рвать с фирмой — и в бега? Это значит, надо уезжать из страны и надолго. Готов к этому? Нет, пока не готов.

Постепенно выкристаллизовалось решение, позволяющее потянуть время. Курс рубля падает. Нужно срочно перевести рубли в доллары. Немедленно! Это надо

сделать в любом случае. Возвращаю деньги на фирму или нет, сейчас неважно. В конце концов, фирме можно и в долларах вернуть. В крайнем случае схлопочу за самоуправство — ну и что?

Куда звонить? В обменник на Красина? Стрёмно. Сумма слишком большая и как-то там всё... Давай-ка попробую в Сбербанк — Шихареву. Если есть возможность,— должен помочь.

Вот когда мобильник пригодился!

Дозвонился, пообщались...

— Только поспеши, — говорит. — Сам понимаешь, чем дольше едешь, тем больше теряешь, — хохотнул невесело.

Стало легче — появилось дело. Принимать решение потом.

Решил ехать на метро: чем незаметнее, тем лучше. По дороге встретился цветочный магазин — осенило — зашёл, купил три герберы, ярко-красные, в глаза бросающиеся, сунул в пакет, чтобы головки наружу торчали. Хорошо получилось. Словно пакет с подарком девушке несёт.

Удивительно, он, который всегда любил и умел считать деньги, сейчас относился к туго завязанному брикету в пакете как к некой абстракции. Не пытался перевести сумму в доллары — знал, что курс меняется ежечасно. Этот тугой свёрток, обмотанный скотчем, имел какую-то ценность, как, допустим, слиток золота непонятно какой пробы или старинное украшение — ясно, что дорогое, но насколько дорогое? Вот она, экономическая диалектика в действии.

И только выйдя из Сбербанка, уже не обременённый пакетом — пачки долларов легко уместились в портфеле, — почувствовал магическую притягательность зеленоватых купюр.

Ветерок перемешивал массу раскалённого воздуха. Гудели машины. Дети ели мороженое, и густые белые капли срывались со дна вафельного стаканчика и падали на асфальт. Обнимались влюблённые возле фонтана. Пацаны накручивали педали велосипедов. Старуха, сидя на лавочке, разбрасывала хлебные крошки, голубиное месиво копошилось возле её ног. Словно оказался на съёмках кинофильма — массовка в центре Москвы. Набранные статисты исполняют свои роли, заученные, навязанные кем-то перемещения, а он — сам по себе — случайный прохожий, угодивший внутрь этой массовки.

Резче обозначились тени домов, распластавшиеся по асфальту, движение замерло, деревья перестали шелестеть листвой, конфетный фантик, подхваченный ветром, застыл в воздухе. И пришло понимание, ещё не облечённое в слова: деньги он не отдаст!

Стряхнул наваждение. Зашумела Москва, задвигалась.

В голове навязчиво завертелось: теперь, главное, не ошибиться! И сквозь это «не ошибиться» стал медленно выстраиваться план дальнейших действий.

Из страны надо сваливать. Во-первых, будут искать. Пропажу таких денег на тормозах не спустят. Во-вторых, дефолт, экономика рухнет, и сколько страна будет вылезать из бардака, который начнётся, одному богу известно. Сваливать — однозначно! Куда? Тоже ясно. Просто надо продумать техническую сторону отъезда. Когда? Как можно скорее. Сегодня, я почти уверен, ничего не всплывёт. Завтра — уже под большим вопросом... А вот послезавтра меня точно начнут искать. Значит, завтра нужно улететь.

Так... подстраховаться... вести себя естественно.

Телефон. Звонок на фирму, на ходу. Это хорошо, пускай видят, что спешу, работаю. Тыкал пальцами, не попадая по кнопкам телефона.

— Лидуся, привет ещё раз. Генеральный появился?

— ...

— Нет? А что вообще на фирме делается? Виктор Виленович?

— ...

— Так, и этот уехал... Лидусь, вернётся генеральный, передай, что я с Колупаевым на объект поехал. Они какие-то изменения в смету хотят внести, надо на месте посмотреть. Если и появлюсь в конторе, то только вечером. Будет что-то срочное — звоните на трубу. Всё. Пока.

Телефон в боковой кармашек портфеля. Застегнуть. Есть хочу. Кофе...

Нет! Сначала в банк, деньги — свои деньги — забрать из ячейки и домой. Нельзя с такой суммой по городу мотаться.

Пельмени склизко елозили по тарелке. Ни сметаны, ни хлеба, только масло. И чай с сахаром. Ел жадно, обжигаясь, хватал открытым ртом воздух, стараясь остудить, по подбородку текло. Рядом с тарелкой, на столе — три пачки долларов, перехваченные красными канцелярскими резинками. Две пухлые, одинаковые, и одна чуть потоньше — посторонний, может, и не заметил бы, но он знал... И было немного обидно, не дотянул до круглой суммы.

Вернулся домой часа три назад. Скинул кроссовки в прихожей и босиком прошёл в комнату. Стянул пропотевшую рубашку, швырнул на пол. Сидел на кровати, раскладывал, пересчитывал купюры. Двести пятьдесят одна тысяча — банковские и сорок две — свои. Семи тысяч до трёхсот не хватало. Ещё осталось порядка восьмисот долларов мелочью, на билеты.

Лежал поверх покрывала, руки за голову, глаза закрыты. Улыбался. Чтобы собрать такую сумму, ему бы пришлось лет пять вкалывать, если не больше. А она — вот — на полу, только руку протянуть. Канада. Новая страна, новая жизнь. Можно свой бизнес попробовать закрутить или в банк положить под проценты. И пошли все на... Заснул как провалился.

Сейчас за окном всё залито жёлтым светом — солнце садится, но ещё не сумерки. Стемнеет часа через два. Станет прохладнее, зажгутся окна в доме напротив. Поднимется лёгкий ветерок и станет трепать занавеску на окне.

Надо всё-таки заехать на фирму, попрощаться... — усмехнулся. Компьютер нужно почистить. Там переписка с Мариной. Может, и канадский адрес есть. Не помню. Ни к чему хвост оставлять. Кто же знал, что всё так быстро случится? Сегодня они будут до ночи сидеть — это факт. Значит, ехать надо после двенадцати, тогда есть шанс никого не встретить. А пока... позвонить Лёле.

Телефон отозвался гудками.

— Алё.

— Привет, это я.

— Привет... — слово растянулось, прозвучало по-домашнему. И он представил, как она сидит, забравшись с ногами в кресло. В комнате полумрак, горит лампа на столе. — Давно тебя слышно не было.

— Так кручусь, сама знаешь. У тебя что нового?

— Кондратьев, зачем спрашиваешь? То же, что у всех, — смотрю, как рубль падает, и гадаю: выживем мы или передохнем с голода.

— Да ладно тебе нагнетать. Ещё и не такое бывало.

— Бывало... Знаешь, как надоело? Мы не живём, выживаем. Достало!

— Вот поэтому и звоню, Лёля.

— Уезжаешь, что ли? — не дала договорить, сняла с языка. — К жене, к детям?

— Да, Лёль. Нечего здесь ловить в ближайшее время.

— Ну и правильно! Поезжай.

И замолчали, и говорить больше не о чем. Не получалось разговора.

— Когда едешь?

— В порту уже. Через час вылет. И — как там говорится? — «Прощай немытая Россия!» — хохотнул.

Что-то зашуршало. Показалось, что с кем-то заговорила, прикрывая трубку. Зачем я ей соврал? Сразу концы обрубить. Чтобы не перезванивать больше.

— Ну, тогда счастливо. Пиши письма.

А голос у неё грустный, усталый.

— Лёль, я сказать хотел... — замялся, — спасибо тебе за всё.

— Кондратьев! Перестань мутатой заниматься. Не на век расстаёмся. Пока!

В трубке заметались гудки.

Зачем я ей соврал, что уже в порту? Покрасоваться захотелось, что всё схвачено, всё правильно сделал, есть куда отступить в трудный момент? Или потому, что враньё стало второй натурой? Да какая разница. Попрощался, чтобы больше к этому не возвращаться, чтобы не висело... И так дел по горло!

В контору решил ехать на машине. Поздний вечер — пробок не должно быть, а обратно уж тем более. Бросать машину было жалко. Продать не успеваю, да и сколько за неё можно получить? Долларов восемьсот? Вряд ли тысячу. Сейчас, когда в духовке, среди сковородок и кастрюль, лежал свёрток с почти тремястами тысячами, сумма, которую можно было выручить от продажи машины, казалась совсем незначительной. Усмехнулся. Смотри-ка, я начинаю мыслить другими категориями. Может, её Лёле отогнать — в подарок? А что? Выпишу генеральную доверенность, пусть катается. Можно ещё красивее сделать — оставить у офиса, с ключами и документами. Записку какую-нибудь написать... Пока ехал, проигрывал в голове варианты, хотя знал, что ничего делать не будет — суета это. Нельзя сейчас на это время тратить.

Припарковался на Садовом, во двор заезжать не стал. Из «Сатиры» к метро валил народ — спектакль закончился. Рано приехал. Сидят ещё, наверное...

Раззявленная чёрная арка, шаги гулко, двор пустой, тёмный. Ни одной машины. Неужели разъехались? Да! В окнах света нет.

Чтобы войти с парадного входа, там, где сидит охранник, нужно обогнуть здание, но есть ещё чёрный ход, через него удобнее и незаметней. Три ступеньки вниз, обшарпанная дверь. Долго жал на кнопку звонка. Наконец, с лязганьем отъехал засов, железная дверь приоткрылась и показалось насторожённое лицо парнишки-охранника.

— Привет! Ты один? Все разъехались?

— Да. Сергей Михайлович и Виктор Виленович полчаса как уехали.

— Жаль, что не застал. Иди отдыхай. Мне с бумагами поработать нужно.

Шёл по офису, зажигая свет в комнатах — не любил, когда темно. Пустая кухня, немытые чашки в мойке — Лидусе на утро работа.

Заквохтал чайник, пар из чашки, запах кофе.

Сидел за столом, смотрел в стену. Монитор светился синим. Сколько раз приходилось вот так же сидеть по ночам, разбираясь со сметами, срочно подготавливая

письма, которые нужно отвезти лично, с утра. Всё-таки живая была работа, и коллектив подобрался хороший. Ладно... всё ещё будет, всё впереди!

Удалить свою директорию — дело двух минут. Что ещё? Служебные записи, сметы, письма, договоры, которые вёл, тоже удалить. Блин, ведь не поможет! Найдутся умельцы... — восстановят. Нет, так дело не пойдёт, надо кардинально.

Сходил к охраннику, взял отвертку. Раскурочил компьютер и вытащил винт. Убрал в портфель. Разломать или может ещё пригодиться? Потом решу. Кое-как поставил крышку на место, прихватил одним винтом — сойдёт. Ну что? Поиграем в сентиментальность? Пройдёмся по офису — простимся?

Директорский кабинет. Как всегда, у него весь стол в бумагах, — места пустого нет. Как он во всём этом разбирается? Да... видать, сегодня тяжёлый денёк у них был. И дальше, я подозреваю, легче не станет.

Так... давай-ка посмотрим, что в сейфе делается?

В сейфе хранились папки с «чёрной» бухгалтерией, деньги на текущие расходы: на кофе, чай, на бензин для разъездной машины и на всякую прочую мелочёвку. Код сейфа знали трое: генеральный и они с Виктором. И ещё Лидуся, конечно.

Папки, папки, железная коробка из-под печенья с рублями, а тут что за конверт? Доллары! Ну-ка, ну-ка, сколько здесь?

Присел на корточки, раскладывал в стопки по десять купюр, прямо на ковролине. Одиннадцать тысяч! Это откуда же, с какого заказа? Что-то я пропустил... Или это зарплата работягам? А впрочем, уже неважно. Как там в «Иване Васильевиче»? — «Это я удачно зашёл!»

Раскачивался, сидя в директорском кресле. Пухлый конверт лежал перед ним на столе среди бумаг. Надо брать. Как раз круглая сумма получится. Только время... Банковская махинация завтра, может, ещё и не всплывёт, а если возьму эти деньги... И что? Утром в аэропорт, билет на самолёт — не достанут. А если что-то не так пойдёт? Не улечу? У генерального завязки в Шереметьево: он работал там раньше. Проверят по спискам — тормознут. Не дай бог какую-нибудь наркоту подсунут. Подстраховаться надо — вот что!

Выгреб из сейфа папки с «чёрной» бухгалтерией. Включил ксерокс — замигал огоньками, заурчал довольно.

Стоял, как рабочий у станка: открыть крышку, положить лист, нажать кнопку — отксеренные страницы с шуршанием ложились в бумагоприёмник. В подсобке нашёл пустую картонную коробку. С трудом, но всё поместилось. Вот теперь и поторговаться, в случае чего, можно.

На часах почти два. Домой! Надо хоть пару часов поспать — и в аэропорт.

Сидел в машине, нервное напряжение не отпускало. Пустые, залитые светом витрин тротуары, чёрная лента Садового кольца, отмеченная красными огнями удаляющихся машин, невысокие редкие деревца, воткнутые в асфальт по краю проезжей части. Коробка с документами стояла рядом, на переднем сиденье.

Вот и всё. Назад пути нет. Смотри, смотри на этот город. Неизвестно, когда сюда вернёшься.

Повернул ключ, выжал сцепление, чуть надавил на газ — переваливаясь на бордюре, съехал с тротуара на проезжую часть.

Катил по Садовому — американское посольство, в туннель, Смоленка — здание МИДа над Старым Арбатом, мост через Москву-реку, Парк Культуры, ушёл на «дублёра», поворот на Ленинский, справа — вычурные столбы ворот Академии наук, площадь с памятником Гагарину, словно из рогатки запущенному в небо...

Как ни старался разбудить в себе прощальную сентиментальность, город оставался чужим. Знаковые места, мимо которых сейчас проезжал, — будто магнитики, налепленные на холодильник.

Впереди замигал светофор — Ломоносовский, Университет...

Не расслабляться. Осталось последнее дело — важное — перебросить деньги на Маринин счёт. Канал есть. Уже так делали, через Латыпова, когда она уезжала. А почему на её счёт? Нужно свой открыть. Совсем ни к чему, чтобы она про деньги знала. Утром сразу этим заняться. И тут же брать билет на ближайший рейс — вечерний.

Зачем-то включил «дворники» — щётки всухую проскребли по стеклу.

С утра из фирмы трезвонить начнут. Охранника потрясут и быстро выяснят, кто ночью приходил. Придётся прятаться. Адрес квартиры, где сейчас живу, в конторе не знают. Только телефон... Могут по номеру определить местонахождение? Не уверен... Симку сменить первым делом, завтра с утра.

Повернул с освещённого Ленинского на утопающую в темноте улицу Новаторов — и в переулок, петляющий среди тёмных девятиэтажек. Место возле подъезда нашлось, машину поставить повезло. Настроение выправлялось — всё завтра быстро сделаю, и валить отсюда. Подхватил коробку с документами, хлопнул дверцей, пискнула сигналка.

Глава 4

Лёля

Эти дни она будет гнать из памяти, но они будут возвращать снова и снова. Два дня неразрывно сольются в один — длинный, контрастный, с резким переходом из света во тьму. Словно с горки заскользила, и не остановиться, а внизу, на выкате — грязь. Липко, не отмыться.

Проснулась поздно — разбудил телефон. Стас. Сказал, что сейчас заедет, что дело на сто миллионов. Чтобы деньги, какие есть, готовила.

Положила трубку. Потянулась всем телом, руки вверх, привстав на цыпочки. Майка с коротким рукавом задралась, обнажая полоску живота, помеченную пупком, над ночными шортами. Прошлёпала босыми ногами обратно в комнату, забралась в кровать, запахнулась одеялом. Комната залита светом, словно и нет задёрнутых штор на окнах. Там, за стеклом, день наливается жарой, пыльной духотой, шелестеньем листьев на слабом ветру — это во дворе, под домом... а что делается в городе, на улицах, среди увязших в пробках машин, думать не хотелось.

Может, его так в постели и встретить? А что? Сонная я, сплю ещё. Может? Хочу?.. Нет. Глупости. Сейчас он приедет, весь деловой, что-то придумал — одни деньги у него на уме. Придётся Потапыча распороть.

Потапыч — это медведь, большой, плюшевый. Игрушка из детства. С квартиры родительской забрала — вон, в углу на полу сидит, смотрит на меня. Странно... я с ним и не играла никогда. С куклами — да. Но они все куда-то пропали. Медведь этот... вроде подушки — под спину подложить, когда на диване валялась. Куклы растворились, а он — вот. Не волнуйся, миленький, я аккуратно, больно не будет.

Уселась на постели поудобнее, медведя пристроила на коленях, в руки — маникюрные кривые ножнички. Потерпи, потерпи, милый... Аккуратно, нитку

за ниткой, вскрывала шов у Потапыча на спине. Извлекла увесистую пачку долларов, туго замотанную в целлофан и схваченную резинками. Задумчиво подержала в руках и сунула под подушку. Потапыча на место, в угол, пусть пока посидит.

Под душ бы надо... но ведь как назло, только воду включишь, тут в дверь и позвонят. У него же есть ключи от этой квартиры, почему он ими не пользуется? Ладно, просто умыться и скорее кофе!

Стас ввалился в квартиру — шумный, возбуждённый — не один, а с Димоном, которого недолюбливала. Димон при Стасе то ли шестёрка, то ли правая рука — не разберёшь. Молчаливый, коренастый, неухоженный какой-то. На него бы спортивный костюм натянуть — точно бы за бандюгана сошёл, не на крутого, а который в своём дворе верховодит. И кепочку бы ещё...

— Ботинки снимайте! — велела, проходя обратно на кухню.

— Лёля! Не мелочись, — Стас, не обращая внимания, прошёл следом. Димон остался в прихожей, стаскивая с ног кроссовки. — Ага. Кофе! И мне налей. Димон, кофе будешь?

— Нет. Вы разговаривайте, я в комнате посижу.

— Лады, — Стас присел за стол, дожидаясь, пока налью ему кофе.

Доволен. Рот до ушей.

Стояла, караулила, чтобы кофе не убежал. Не выдержала:

— Рассказывай, с чем заявился? Сияешь, как медный пятак.

— Лёля, ты молодец! Вернее, мы все молодцы. Строитель-то наш — хорёк ещё тот! Умный мужик оказался. И жадный... но это даже хорошо. Всё как ты и предполагала. Он сразу фишку просёк.

— Подожди. Рассказывай по порядку.

— Встретились с ним вчера. Всё, как и планировали. Поговорили... Он выслушал. — Стас, обжигаясь, отпивал из чашки мелкими глотками. — Я опасался — крик, угрозы будут. Ничего подобного. Лицом только закаменел. Сидит, молчит, просчитывает. Я ему начал было втирать, что при разводе он всё равно всё потеряет, но он меня остановил. Не надо, говорит, всё ясно. Что вы хотите? Я ему бумажку с цифрами — через стол. Он глянул и обратно вернул. У меня встречное предложение, говорит, это вы даёте мне деньги. Честно тебе скажу, тут мне не по себе стало — уж больно спокоен был.

— Ну не томи! Чем дело закончилось?

— И сделал он нам, Лёля, предложение, от которого грех отказываться. Карт-бланш мы получили! Инвестируем деньги в его фирму, он вводит одного из нас в состав учредителей. Деньги идут на постройку элитного коттеджного комплекса на Пироговском водохранилище — это по Дмитровке. Работы там уже ведутся. Через полгода — сдаём объект и делим прибыль. По моим прикидкам — это много, даже очень много! И главное — совершенно законно. Ну, что скажешь?

— А если кинет?

— Не должен. Здесь прямая выгода и нам, и ему. В общем, я для себя всё решил, а ты сама думай — вкладываться или нет. Да, на какое-то время останемся без денег, зато потом всё вернётся с лихвой. Считаю, нужно рискнуть, и это притом, что большого риска не вижу. С юристом я уже встретился. Бумаги подпишем сегодня вечером и сразу передадим деньги.

— Ты мне вот что ещё скажи... Сколько я смогу получить от этой сделки через полгода?

— В три раза от той суммы, которую вложишь. Это я гарантирую. Может, и больше.

— Подожди.

Прошла в спальню, забрала пакет из-под подушки.

Всё отдать или часть оставить? Всё отдавать страшно. Привыкла, что есть... хоть и лежат мёртвым грузом. Зато защищённость чувствую. Если что... Без них как голая. Так и будут лежать? Они работать должны. Чего боишься? Не доверяешь? А кому ещё доверять, как не ему? С детства знаю. Одним делом занимаемся. Сплю с ним. Надо рискнуть. Или всё-таки оставить немного на всякий случай?

Вернулась, положила пакет перед ним на стол.

Взвесил увесистую пачку на ладони.

— Ого! Сколько здесь?

— Сорок три.

— Всё, что ли, выгребла? На чёрный день не хочешь оставить?

— Не хочу. Ты же сам сказал — ситуация под контролем.

— Лёля! Ты человек взрослый, знаешь, в какой стране живёшь. Стопроцентных гарантий здесь никто дать не может. Чай не Швейцария...

— Ладно, Стас, не пугай. Ты знаешь, зачем мне деньги нужны.

Они ушли, она осталась. Слонялась бездумно по квартире, а день набирал силу. В открытые окна дул ветерок, пока ещё принося мнимое ощущение прохлады. Знала, что через час город раскалится, задышит жарко и хрипло, окна придётся закрыть.

День был пустым — заняться нечем. Можно почитать, постирать, пройтись по магазинам, наконец... но лень. Даже не лень, а просто день такой — ничего делать не хочется, и это не тяготит.

Шуршание занавески, колышущейся на окне, детские крики со двора, неясный гул разогретого солнцем города — обволакивали, вызывали оцепенелое забытьё. Внутри образовались пустота и спокойствие. Теперь нужно ждать полгода, и тогда...

Наличие денег, хоть сумма и была явно недостаточна, заставляло перебирать варианты, сомневаться — пора или нет? Сможет она организовать ту жизнь, о которой мечтает? Теперь, когда их не стало, пришли облегчение, лёгкость. Можно спокойно жить, ждать и пока ни о чём не думать.

Из оцепенения вывело жужжание мухи, бившейся о стекло. Окна вымыть! Давно собиралась.

Сейчас мы устроим... Музыку! Вот, Дасен, — пусть мурлычет. Только бы кассетник опять плёнку не зажевал. Таз с мыльной водой, губка, ворох старых газет. Окно настежь, взобралась на подоконник. Подальше от края. Осторожнее, Лёля. «Ма-ма мы-ла ра-му». При чём тут рама? Хотя... раму тоже надо протереть.

Дальше время рассыпалось на сотню мелких осколков: пол вымыть, раз уж взялась за уборку, сходить в магазин — в ближайший, рядом с домом, сварить суп из цветной капусты, заняться руками — снять лак, нанести лак — и вот уже и вечер, и ночник горит, и она, небрежно прикрытая простынёй: жарко — в постели с книжкой в руках. Не читалось. Думалось.

Целый день одна. Стас с утра забегал — это не в счёт, это по делам. А так... Ни мне никто не позвонил, ни я никому. Почему? Меня это тяготит? Нет. Никто не нужен. Раньше, когда только развелась, тогда звонили. Подруги поддержать старались. Им всё казалось, что я страдаю: как же — без мужика осталась, не проживу. Оказалось, легко. Стас появился, работа, я словно в другой мир шагнула, на ступеньку поднялась.

Да, здесь бывает пусто и одиноко, но зато дышится свободно. И мечтать здесь можно, и верить, что мечта сбудется.

Ждала звонка Стаса. Но он так и не позвонил.

Не засыпалось. Ворочалась. То сбрасывала простыню — жарко, то укрывалась снова. Под утро приснилось что-то несуразное. Граница леса и поля. Поле заросло сухой высокой травой, грязно-жёлтой, поломанной и спутанной. Муж, стоя на коленях, с остервенелым лицом накачивает паяльную лампу, из раструба которой с глухим гулом рвётся едва видимое пламя, готовое плавить и жечь. Она рядом с ним, с ведром, в котором плещется вода — сразу тушить готова. На ней почему-то мужские трусы, широкие, спадающие, поддерживать всё время надо, а ведро мешает, нельзя воду расплескать. Гул пламени усиливается, истончается и преобразуется в телефонный звонок.

Открыла глаза — комната залита светом. Телефон заливался, настойчиво разрывая утреннюю тишину.

Да чтоб тебя, Стас! Была уверена, что он. День сурка какой-то. Вчера разбудил, сегодня... Путаясь в простыне — с кровати. Чёрт бы тебя побрал!

Мамин голос. Плачет. Ничего не разберёшь. Холодом окатило — отец! Всегда боялась такого звонка. И уже у самой слёзы подступают. Собралась. Рявкнула в трубку:

— Мама! Подожди! Говори связно. Что случилось?

Молчание — секундное — и полилось на всхлипе:

— Что же они с нами делают? Как можно? И так денег совсем нет. На всём выгадываем. Отцу зарплату полгода не платят. А на мою учительскую как прожить? И тут опять — это! В гроб хотят нас вогнать, чтобы передохли все!

Отлегло сразу — не отец. Фигня какая-то...

— Успокойся, ма, объясни связно, что произошло? Перестань плакать.

— Да ты что, ничего не знаешь? Я только что из магазина. Греча, хлеб, сахар — всё в шесть раз! В шесть раз! Я не знаю, что делать. Мы не сможем так жить.

— Ну, подожди... Подожди! Всё образуется. Может, это просто всплеск такой... Спекуляции или что-то ещё.

Вот и дождались. Говорили об этом, говорили... Опять дефолт. Совсем эти суки там, наверху, оборзели. Гробят страну. Ничего не могут, только воровать. Как теперь ей объяснить, что всё к этому шло?..

Почему всегда всё одно к одному? Вчера ещё была спокойная жизнь, размеренная и привычная. Но появился Стас, осталась без денег, вложила всё в какое-то сомнительное предприятие. И тут дефолт. Сейчас всё замрёт, вцепятся в накопленные кровные, выживать приготовятся. А мне как? Ни работы, ни денег. И в разработке у нас никого.

Стас не отвечал ни по-домашнему, ни по мобильному.

Решила дойти до ближайшего магазина. Нужно самой оценить размеры бедствия, а не полагаться на мамины истеричные оценки.

На улице — жара, ни ветерка. Дышать нечем. Липкая испарина по телу. Шла, стараясь держаться в тени домов.

У магазина толпятся люди. Крики, свара. Кадушкообразная баба в сарафане-балахоне, потрясая жирной рукой так, что отвисшая кожа болтается, орёт на всю улицу:

— Сволочь Ельцин, сволочь! Мы за него... Верили! А он? Что с нами делают, сволочи!

— При чём здесь Ельцин? — вопрошает распалившуюся бабу интеллигентный мужичок затрапезного вида. — Ельцин всё правильно делает. Команда у него не та. Кириенко — ставленник Госдумы. Вот откуда ноги растут.

— Да пошёл ты со своим Кириенко! — напирает на интеллигента работяга в синей выцветшей робе. — Кто правит? Ну? Кириенко твой? Ельцин, что ли?

— Кто же, по-вашему?

— Гидра у нас трёхголовая, ети её! Березовский, Гусинский да Смоленский — вот кто!

Молодой ментёнок застыл чуть в стороне. Худосочный, форма на нём, как на вешалке. Морда деревенская, детская, глупая. Рот приоткрыл, впитывает.

— Все сволочи! — снова заголосила тетка.

В магазине духотища неимоверная и рыбой воняет. Народ толпится возле витрины, гул невнятный. Продавщица застыла с опрокинутым бледным лицом. Теребят, спрашивают — молчит, перед собой смотрит. Только руки механически что-то режут, завёртывают, складывают. В дверях подсобки азер застыл. Весь в чёрном, с мобильным телефоном в руке. На него внимания не обращают, ни о чём не спрашивают, будто и нет его тут.

Прочь из этого бедлама. Домой!

Телефоны Стаса молчали.

Навалилась апатия. Задёрнула шторы, разделась догола и легла, укрывшись простынёй. Заснуть не получалось. Вертелась. Перебирала в голове что-то несущественное и мелкое, стараясь не думать о том, как жить дальше.

Телефон. Вставать не хотелось. А вдруг Стас? Сорвалась с постели. Схватила трубку.

Нет. Кондратьев. Тоска зелёная! Вот уж кто сейчас не нужен. Уезжает он... Из аэропорта звонит. Конечно, побежали крысы с корабля. И он в числе первых. Естественно. Спинным мозгом беду чувствует. Ну и катись к чёрту!

Лежала, смотрела, как едва колышется занавеска, прикрывающая открытое настежь окно. Было обидно. У этого всё хорошо — уезжает из нашего бардака. Там семья, ребёнок, другая страна. А она остаётся. Мечта опять отодвинулась на неопределённый срок. Всё упирается в эти поганые деньги, и ничего не поделаешь, только ждать.

Если честно, я ему даже завидую: делает только то, что ему выгодно. Предаст не задумываясь. Кого угодно — жену, ребёнка, друзей, которых нет. Таких людей ещё не встречала. Этим и интересен. Да ещё и обучаем. Придумывала для него образ. Лепила — податливый материал. Слушался.

Как мужчина не волнует. Да и я ему, похоже, не особо нравлюсь. Наплела какую-то хрень про молодых мальчиков, от которых без ума. Проглотил не задумываясь. Роковая эмансипированная женщина. Таких этот деревенский вахлак и в глаза не видел.

Улыбнулась.

И всё же есть в нём что-то симпатичное, какая-то детская открытость: большой ребёнок, для которого хорошо только то, что он хочет. Дай — и всё! Получить желаемое любой ценой. Но в главном он её переиграл. Не на чем было его развести. Единственная ценность — деньги. И ясно было — деньги не отдаст. Если брать, то только с кровью. А они так не работают. Стас ещё в самом начале объявил: физическое воздействие — табу! Только шантаж — умный и тонкий. Все согласились.

Почти год она провозилась с Кондратьевым. Только зря время потеряла. Уговорила Стаса вывести его из разработки.

Телефон. Опять мама. По поводу цен уже успокоилась. Как же быстро она перестраивается. Ничем нашего человека не проймёшь. Зато теперь треволнения

по поводу отца. Позвонил сослуживец — и побежал папа в свой НИИ обсуждать стратегические проблемы выживания в период становления анархического капитализма. «Ведь опять пьяный вернётся, доча! А завтра давление подскочит». Снова успокаивать. Как же всё это достало.

Такая жара, что даже есть не хочется. Чаем налилась под завязку, кажется, уже в горле плещется. Надо что-то съесть, надо... Яичница. Как раз один помидор в холодильнике завалялся. Газ, сковородка. Помидор порезать. Смахнуть ножом с доски на сковородку. Так... Теперь воды из чайника добавим — пусть выпаривается в кашицу. Посолить. Два яйца сверху. Перемешать, накрыть крышкой. Как же жарко у плиты!

Со сковородки — не буду тарелку пачкать. Сыр порезать... Одеться всё-таки надо. Буду сидеть и не спеша ковырять вилкой...

В кухне, за столом, в одних шортах. Ещё полчаса и навалится темнота — конец августа, конец лета.

Телефон. Да чтоб вас всех! Не хочу никого слышать. А если Стас?

Нет...

— Привет, ты даже не представляешь, мой совсем ох..л, орёт целыми днями и пьёт без продыху, а я-то здесь при чём, чем виновата? Может, про Вадима узнал? Не может быть! Мы же шифруемся, да и сказал бы уже давно... — Овца, вот только её не хватало.

На одном дыхании шпарит, слово не даёт вставить, да ей мои слова и не нужны. Отодвинула от уха. Подхватила телефон, пошла в комнату, легла. Трубка рядом — на подушке. Голос кажется тонким, писклявым. Это надолго. Она может говорить час не переставая. Надо только время от времени «ага» вставлять. Подругой меня считает. Какая я ей подруга? Из-за меня её мужика на деньги развели. Вот он и бесится. Знала бы она... Никакой вины я за собой не чувствую. Он — ворует, мы — отбираем. Порочный круг. Нет, не круг — цепочка.

За окном темно, в комнате темно, и свет зажигать не хочется. Почитать что-нибудь? Лень. Может, это у меня такая защитная реакция организма на внешние раздражители? Как в детстве: ладошки над головой сложила — я в домике. А ведь действительно в домике. Хорошо мне здесь и уютно, и выходить наружу совсем не хочется.

Переборола себя, встала, щёлкнула выключателем. Задёрнуть шторы или пусть так?

В дверь звонят. Стас! Что за манера — не предупреждая. Позвонить сложно? На ходу подхватила со стула майку, надела. Пригладила волосы. Распахнула дверь. Кто-то незнакомый, за ним — ещё... Спросить не успела. Выбросил вперёд руку. Сграбастал ладонью лицо, смял, палец на глаз нажимает — больно! Шагнул через порог, толкая перед собой.

Её будто поршнем выдавливало через коридор в комнату. Успела заметить, как следом в квартиру входили незнакомые люди.

Пихнул. Упала на кровать, но тут же села, опираясь на руки. Услышала, как один из вошедших произнёс:

— Гляди-ка, хата-то какая!

— Да и бикса, я смотрю, рабочая... — ответил кто-то со смешком.

Не различала лиц, не могла собрать происходящее воедино, но уже испугалась. Испугалась так сильно, что почувствовала резь внизу живота.

Четверо незнакомых и Димон, застывший в коридорном проёме. Плечи ссутулены, синяк заливает подглазье, нос распух. На неё не смотрит, в пол глядит. Он привёл! Поняла, но страх не ушёл, из острого превратился в тяжёлый, душный, безысходный.

Трое — молодые и коротко стриженые — как братья. На всех майки и штаны спортивные с лампасами, одинаковые. Морды наглые, бандитские. Хозяевами жизни себя чувствуют, как волки в стае. Прикажет вожак — порвут. Шестёрки и короли одновременно. А вот тот, что постарше... Слаксы светлые, рубашка светло-коричневая с коротким рукавом. Он и ростом ниже, и не накачанный, да и причёска аккуратная. Печатка на пальце. Кожа на лице серая, словно солнца не видевшая, и глаза серые, снулые, ничего не выражающие.

Казалось, всю комнату заполнили. Старший чуть впереди, а эти за спиной и по бокам.

Не рассматривала, не запоминала — просто видела, как чужое отражение в зеркале. Не поняла, да и не нужно было... кто хватал её за лицо, заталкивал в комнату. И говорить, спрашивать сил не осталось — только сухость во рту, кажется, язык о зубы ободрать можно.

— Шнифт, забирай этого... — Старший, не оборачиваясь, чуть повёл головой в сторону Димона. — Не нужен больше. Ждите в машине. Версача, стул организуй.

Неожиданно смешная кличка «Версача» позволила вынырнуть из кошмара происходящего — не до конца, чуть-чуть, только судорожно глотнуть воздух, прежде чем снова погрузиться в страх.

Димон мельком на неё глянул, когда уводили. Без жалости, будто и не знакомы вовсе.

Громко, с металлическим щелчком захлопнулась входная дверь.

Версача принёс стул из кухни, поставил возле старшего, а сам смёл на пол всё, что было на столике перед трельяжем, присел на край. Его действия были настолько по-хозяйски обыденными, что не вызвали у неё никаких эмоций.

Старший уселся, закинул ногу за ногу, не спеша достал сигареты, зажигалку, прикурил и, выпуская дым, негромко спросил:

— Паспорт где?

Сначала не поняла, что обращается к ней.

— Зачем? — выдавила из себя и тут же поняла, что сморозила глупость. — В прихожей, в сумке.

Оставшийся безымянным парень как-то очень уж услужливо метнулся в коридор и вернулся с паспортом и кошельком.

— Смотри-ка, не наврал... — старший рассматривал штамп прописки. — Квартира-то не твоя. Тогда что ты здесь делаешь?

— Живу, — и только сейчас заметила, что мизинец у него на руке мелко и противно подрагивает. Квартира... вдруг убьют? — окатило животным ужасом.

— Живёшь, значит... — старший замолчал, задумался. — Слушай меня, соска, — начал жёстко, неторопливо. Глазами своими стеклянными уставился, а кажется — мимо смотрит: — Ты сейчас пасть свою поганую не разевай, просто внимательно слушай. Повторять не буду. Кивни.

Заворожено глядя на узкие, почти не разжимающиеся губы, кивнула.

— Мужик твой, Стас, деньги у нас взял. Хорошие деньги. Должен был нашего человека свести с клиентом и пропал. Со вчерашнего дня найти не можем. Где он заныкался? Теперь говори.

Стас им нужен. Не квартира, не я! — заполошно пронеслось в голове. Пугает! Раз пугает, надо бояться, показать, что действует... Но вместо того, чтобы скривиться лицом, пустить слезу, само-собой вырвалось:

— Не знаю! Он мне о своих делах не рассказывает.

Лучше бы молчала...

— Версач, трахни её, — произнесено было так обыденно, что не среагировала на услышанное. И только когда тяжёлая ладонь обхватила шею и больно сдавила пальцами, до неё дошел смысл происходящего. Детский страх тёмных подворотен, шагов за спиной в подъезде — здесь и сейчас! Нет! Нельзя!

— Пожалуйста! Не надо! Я всё расскажу! — потекло из глаз по щекам, само...

— Не вздумай орать. Придушу, — отвернулся.

— Что задёргалась, овца? Тебе понравится, — ухмыльнулся Версача, уводя её в соседнюю комнату.

Шла молча, не пытаясь вырваться. Какой-то туман в голове — это не она, это не с ней... Сонная нереальность, оцепенение и невозможность противиться. Еле перебирала ногами, больно шее... Услышала, как безымянный спросил:

— Сергей Иванович, может, я тоже...

— К машине спустись, коньяк принеси, — последовал ответ.

Память услужливо стёрла подробности самого действа, подложив вместо — запах пота и алкогольный выхлоп. Этот запах преследовал её долго... и месяц спустя чувствовала его на себе, казалось, впитался в кожу.

Версача привел её обратно в комнату голой, но старший поморщился и велел одеться. Сидел, потягивая коньяк из пузатого бокала, спокойный и отрешённый. Машинально отметила, что бокал взяли из шкафчика на кухне.

Тупое безразличие, как после болезненной, страшной операции — вот она прошла, и всё позади. Навалилась усталость — лечь бы и уснуть. Пусть всё скорее закончится. Думала, что самое страшное позади. Что ещё могут сделать? Не убьют же?

Её, как и раньше, пихнули на кровать. Тонкогубый сидел напротив, и когда он заговорил, стало ясно: то, что уже случилось, — всего лишь прелюдия. Знала, что говорить нельзя — слушала.

Сначала ей объяснили, что если утаит или соврёт, заберут с собой, а пацанов в бригаде много. Найти Стаса в её же интересах, иначе долг ей придётся отрабатывать на пару с Димоном, а как отрабатывать, она уже знает.

Рассказала всё. Про Стаса... про схемы, фигурантов, полученные деньги. Попыталась объяснить, что сейчас в разработке никого нет — затишье. Такое и раньше бывало. О проекте Стаса вложить все деньги в строительство коттеджного посёлка. Устало рассказывала даже о том, о чём говорить совсем и не требовалось. Долго... Старший слушал внимательно, не перебивал, вопросов не задавал.

Наконец, поднял руку, мол, всё, замолчи.

Вычленил то, что ему важно сейчас. Выцедил:

— Подробнее про этого... как его... — поморщился, — Кондратьева. Адрес знаешь? Машина? Где ставит, под домом?

От неожиданности чуть не улыбнулась. Кондратьева вам подавай? Пожалуйста! Сколько хотите. Не достать вам его. В самолёте он, летит отсюда куда подальше. Ловите!

Рассказала всё, что знала. Только про отъезд промолчала.

Потом Версача с напарником перетряхивали квартиру в поисках спрятанных денег. На неё не обращали внимания — пустое место. Ждала, когда всё закончится и они уйдут — не может плохое продолжаться бесконечно. Зря ждала.

Тонкогубый распорядился:

— Версача, забирай её, вези на базу. Присмотри. Пока не трогайте.

Вскинулась:

— Как? Вы же обещали!

— Кто тебе что обещал? Радуйся, что пока не трогают. В эту квартиру уже не вернёшься. Вещи потом заберёшь, если отпустим. И молись, чтобы Стаса твоего нашли. Ты поняла?

— Да, — опустила голову. Не отпустят... даже если Стаса найдут, не отпустят. — Переодеться можно?

Раздолбанная коричневая девятка словно никогда не знала глушителя. Версача велел сесть рядом на пассажирское сидение. Машина прокурена насквозь — тяжёлый тошнотворный запах от окурков, не вмещающихся в пепельнице. Под ногами перекатывалась пустая бутылка. Подсвечивая асфальт одной фарой, вырулили из тёмного двора в переулок.

Врубил радио. Громко. «Наутилус» — «Крылья». Не понравилось. Переключил. Зашипело. Копается в бардачке, кассеты перебирает. Швырнул обратно. Нервничает. Что-то с ним не так...

Сознание раздвоилось. Вот привычно несётся навстречу знакомая улица — редкие прохожие, деревья хмуро выглядывают из провалов дворов, витрины — ярко... В голове — по замкнутому кругу: «Где твои крылья, которые нравились мне?..» А вот он — рядом, с сигаретой во рту — дым уносится в приоткрытое окно — одна рука небрежно на руле, другой — щетину на щеке дерёт, незнакомый, воняющий потом... везёт куда-то, он теперь главный, завишу от него, не вырваться. Будто из одной жизни в другую переезжаю.

— Слышь, подруга, да не переживай ты так. Подумаешь... дело житейское. Да тебя и не убудет, — хохотнул. — Что молчишь?

— Тебе спасибо сказать?

— А что? Можно и спасибо...

Весело ему. Развлекается. Поговорить хочет.

— Куда меня везёшь?

— Приедем — увидишь.

Нет, не разговорить. Так теперь и будет... всякое быдло станет командовать, и ничего не поделать.

— Куда ты лезешь, баран! — ударил по тормозам, и ну сигналить что есть мочи. — Не! Ты видала? Понаехали... Сама откуда будешь?

— Из Москвы.

— А я из Долгопы. Из Долгопрудного, — пояснил, увидев, что не поняла.

Ведь совсем молодой парень-то. Сколько ему? Двадцать? Двадцать пять? Только неухоженный, прокуренный и пропитой уже... Плечи-то какие... Что у него за душой? Восемь классов, ПТУ, армия — в бандиты? Раньше бы в милицию подался или на завод.

— А что до этого... Не бери в голову. Сергей Иванович приказал, я сделал. Сама виновата. Ты же баба, зачем в такие дела лезешь? Терпилой сделают, вот и будешь отрабатывать за своего мужика. Да не реви ты! Может, всё и обойдётся. Нет, всё-таки бабы — дуры.

Притормозил возле ларька. За стеклом, забранным решёткой, бутылки, сигареты, пакеты и пакетики со всевозможной заморской дрянью.

— Во! Пацанам — «Рояль», блядям — «Амарету»! — пошутил радостно. — Подожди, отоварюсь... — вывалился из машины, захлопнул дверцу.

Вздрогнула, словно проснулась. Запах — окурки, разогретое масло, железо. Из приоткрытого окна — свежестью с ночной прохладой. За ручку двери — подалась,

открывается. Он — рядом — головой в окошко влип. Задница какая большая... Медленно. Дверь не закрывать. Смотреть на него. Медленно, шажок за шажком... Только бы не обернулся. Голова — по плечи в окне. Не увидит! Не спешить. Обогнула ларёк, присела у задней стенки, замерла. Жёсткая, холодная. Не видел! Сейчас искать кинется. Не должен сюда... Тупой. По улице побежит, по дворам. Писать хочу. Только не двигаться. Ждать, когда уедет. Господи, мама, пусть он уедет!

Глава 5

Кондратьев

Гулкая пустота подъезда. Череда газетных ящиков на стене, как ниши колумбария. Разъехались в стороны двери лифта. Представил, как сейчас устало сядет на кухне, привалившись спиной к стене, будет ждать, когда закипит чайник. А на столе — туго спелёнутый целлофановый пакет с деньгами. Пакет надо ещё достать... — спрятан в кастрюле, в духовке — но это минутное дело. Аккуратно развернёт и доложит те деньги, что взял из сейфа в офисе. Ещё раз пересчитает, чтобы всё точно было.

Лифт остановился, поползли двери в стороны. Лампа дневного света под потолком привычно жужжала и помигивала. На ступеньках лестницы, свесив голову и привалившись плечом к перилам, спал пьяный мужик. Пустая бутылка из-под водки валялась возле ног. Передернуло от омерзения. Как же достали эти бомжи и алкаши! Хотя раньше в подъезде их не было — код на двери стоит, да и жильцы вроде приличные — чуть что в ментовку звонят. Странно. На бомжа не похож. Молодой, спортивные штаны, майка. Кроссовки хорошие. Соседи празднуют?

Мужик всхрапнул, пошевелил ногой, устраиваясь поудобнее, задел пустую бутылку — звякнула о ступеньку.

Да пошёл он! Сейчас привяжется, как банный лист. Шагнул к двери, полез за ключами, перехватил коробку с документами — мешала. Два оборота, язычок замка туго вышел из паза. Ручку — вниз, дверь — от себя. И всё — его не стало.

Темнота взорвалась болью — красной, горячей. От шеи к уху и по всей голове. Боль была всеобъемлющей, смешиваясь с темнотой, составляла субстанцию, подобную студню, в котором начинало медленно ворочаться сознание. И первым осознанным проблеском был страх — детский, ночной, кошмарный, — всплыло загадочное слово «инсульт». Ещё не включились память, моторика — желание открыть глаза, двинуть рукой, — а страх уже пронёсся вихрем, колыхая сгусток боли и темноты. Мгновенный промельк комнаты, слабо освещённой слепым от грязи окном, груда тряпок на которых стонет, иногда дико вскрикивая, привязанный к кровати дед. Худой до желтизны, с лысым черепом и заросшей седой щетиной щеками. Толстая врачиха — боком на стуле, непонятное и оттого ещё более страшное слово, повисшее в полумраке комнаты, среди монотонного жужжания мух, бьющихся в стекло. Дед умер, не приходя в сознание. Рвался и бессвязно кричал перед смертью так, что он — пятилетний, сопливый пацан — бился в истерике, отказываясь ночевать в доме, в одной с ним комнате. Донельзя вымотанная усталостью мать стелила ему в сарае на сене, и он, зарывшись лицом в душный отцовский ватник, служивший подушкой, изо всех сил жмурил глаза и затыкал пальцами уши, чтобы не слышать этот вой, доносящийся из дома.

Этот промельк страха заставил пошевелиться, открыть глаза, вынырнуть из всё затапливающего безволия. Он лежал на кровати, ничком — перед глазами горбом

складка одеяла. Со стоном приподнял голову. Резкой болью отдалось в ухе, сморщился, давя стон.

Ворох бумаг на полу — тех, что из офиса; одежда вывалена из чемодана. Диван, на котором лежит, развёрнут, подушку отшвырнули в угол. Две пустые бутылки из-под пива. Опрокинутый стул. И навалилась усталость понимания. Уже зная, что увидит, заставил себя встать — медленно, сначала на корточки, потом выпрямился. Пальцами к голове, за ухом, где пульсировало болью — здоровая шишка и, похоже, ссадина. Кончики пальцев измазаны кровью, но не течёт — запеклась коркой.

Застыл в дверном проёме. Черный провал окна и чуть сбоку — плита с распахнутой дверцей духовки, пустая кастрюля и клочья целлофана на полу.

Присел за стол. В голове пустота и боль. Хотелось плакать. Надеждой легко промелькнула бредовая мысль о милиции, но мгновенно затерялась среди горестного понимания: всё, что копил, собирал последние годы — коту под хвост! Отняли и не вернуть. Не важно, кто... Об этом он подумает после. Даже если знать — ничего не изменишь. Произошло. Сохранить не смог. Смотрел на распахнутый холодильник, но сил прикрыть дверцу не было, да уже и не имело смысла. Часы? Часов на руке не было. И накатила обида, детская, безысходная — жалко! Отдайте! Игрушка любимая, а их так мало в его жизни было. С Лёлей покупали. Она выбирала. «Сейка» — настоящая, родная, не какая-то китайская подделка — стоит немерено. Скривился, но удержал слёзы.

Кухонное полотенце — под струю холодной воды. Выжать. Приложить к саднящей ране за ухом. Потекло за шиворот. Что там... на столе? Что за обрывки? Загранпаспорт. Страницы выдраны и разорваны. Где обложка? Почему-то стало важно найти обложку. Под столом? Под столом валялся выпотрошенный портфель, на полу рассыпанная мелочь. Да где же она? А ключи от машины?

В прихожей одежда с вешалки сброшена на пол. Топтались по ней — видно. Поднял джинсы — ключи должны быть в кармане. Пусто. А это что? На гвоздике, вместо ключей от квартиры, наколота двадцатидолларовая бумажка. На приступку под зеркалом брошен российский паспорт.

Глава 6

Лёля

Услышала, как витиевато выругался. Хлопнул дверцей, но мотор не завёл — машина не двинулась с места.

Сейчас по улице метнётся, по дворам искать станет. Куда мне?

Не раздумывая, не сопоставляя с тем, что только что промелькнуло в сознании, отклеилась спиной от холодной стенки ларька и ринулась в тёмный провал арки, ведущий во двор. Только бы проходной!

За угол. И снова присела, прижалась к стене. Тихо. Не видел! Не бежит следом.

Огляделась.

Тяжело застыли стены домов, смотрели сверху глазами редких освещённых окон. Занавески. Словно прищурились. Злые!.. Деревья тяжело обвисают листвой в темноте. Туда надо — в темноту, под ветви.

Заметила, что прямоугольник нависающих стен в углу разломан — не соединяются. Проход между домами. Туда!

Переулок. Где я? Парочка идёт в обнимку по проезжей части. Машины замерли вдоль.

Бегом через дорогу, в проезд между домами, и снова во двор. Тупиковый. Прохода нет. Обратно. Оглядеться. Пусто. Бегом. В соседний. Насквозь, не останавливаясь.

Судорожным стежком бега сшивала лоскуты московских дворов, пока не вынесло на широкую улицу, ярко освещённую, запруженную машинами. Что за улица? Не узнаю... Неважно. И здесь не останавливаться. Пересечь. Он сейчас станет на машине круги выписывать — высматривать. Слава богу! — зелёный зажегся вовремя. В переулок. Снова во двор. И в следующий...

Всё! Успокоиться. Я уже далеко. Не найдёт. Если только случайно... Всё равно страшно. Что впереди? Переулок — вниз... к Москве-реке? К Яузе? Ничего не узнаю.

Тёмная полоса деревьев, освещённое здание. Да это же цирк! Старый цирк. Рядом тёмная громада центрального рынка. Бульварное кольцо! И только сейчас вдруг осознала, что вырвалась. Не найдут. Затерялась. Навалилась усталость. Трясёт — то ли от холода, то ли от нервов. Неважно... нужно посидеть, закрыть глаза, успокоиться. Подумать, как дальше.

Снова двор — узкий, как пенал. Кусты неряшливые — по центру. Бревно какое-то... Подошла. Вытоптано, окурки, бутылки пустые, шприц валяется. Дом справа, старый, смотрит пустыми глазницами выбитых окон. Бомжатник. Центр Москвы, и такое... Вдруг почувствовала, что не страшно. Успокоилась. Прежде к такому месту никогда бы близко не подошла, а сейчас... как будто в другой жизни, и в этой жизни стало возможно всё, что раньше казалось нереальным. Нет, теоретически она знала, что кого-то могли изнасиловать, заставить заниматься проституцией; кого-то могли разыскивать бандиты, заставлять прятаться и скрываться. Но этот «кто-то» не имел к ней ни малейшего отношения. Поменялось в одночасье. Теперь «кто-то» — это она. Хотелось на улицу, на свет. Чтобы машины — мимо, чтобы безразличные люди — мимо. Чтобы затеряться. Быть вместе с ними и одновременно одной, как привыкла. Чувствовать себя под их прикрытием, в безопасности. Отпихнула ногой бутылку — покатилась. Присела, съёжилась, прикрыла глаза. Что имеем? Думай, Лёля, думай!

Увидела со стороны. Сидит. Скорчилась, жалкая. Ну, давай, выкручивайся! Попала в передрягу, как выползать из неё будешь? Домой нельзя. У них твой паспорт, адрес знают. Захотят найти — найдут. Родителей нельзя подставлять — не переживут.

Только бы их не тронули! Не должны... Это уж совсем беспредел. Позвонить надо, предупредить, что уезжаю. Куда? Куда я уезжаю?

Не истери! Придумаешь. Тоже мне, проблему нашла. Посмотри, может, где мелочь завалялась?

Обшарила карманы — джинсы, ветровка — ни копейки. Ни денег, ни документов. Вот и живи теперь...

Не раскисай. Определись, кто сейчас наиболее опасен. Это главное.

Бандиты... И менты. Денег нет, документов тоже. Привяжутся — проблем не оберёшься.

Правильно. Вот их и бойся.

Стас? С ним-то что?

Забудь про Стаса. Нет его и никогда не было. Сунешься выяснять, разыскивать — пропадёшь. Поняла? Уезжай.

Куда?

Ты совсем, Лёля, поглупела. Куда угодно. Подальше отсюда. Через месяц вернёшься.

Месяц... Без денег и документов... Недалеко... К Ванштейнам, в Затеево! Давно звали. Хорошо у них. Водохранилище рядом. До «Проничей» — на электричке, потом пешком. Четыре километра всего. Доберусь как-нибудь. Ленка там сиднем с детьми сидит. Купаться вместе ходить будем.

Вот видишь, всё просто. Главное — не паниковать. Ну что? На три вокзала?

Да.

Встала, запахнула ветровку.

Лёля! Только аккуратно. На Садовое не суйся. Бережёного бог бережёт. Переулочками...

Москва если и спит, то в полглаза. Под утро, часа в четыре, затихает, забывается тревожным сном, но готова пробудиться от первой поливальной машины, вышедшей на линию. Сейчас ночь — нервная, сумбурная, разлившаяся по городу шныряющими такси, музыкой из ларьков, круглосуточно торгующих спиртным, стайками проституток на центральных улицах, пьяными выкриками и яркими светом, стекающим на асфальт из окон ресторанов.

Площадь трёх вокзалов — особое место: это сердце громадного мегаполиса, а сердце обязано биться без перебоев. Но если организм болен, то и сердце начинает сдавать, не выдерживая нагрузки. Два монументальных здания (рядом — куб метро), напротив, через площадь — ещё одно, забиты людским месивом. Провонявшие потом залы ожидания — на скамьях, обтянутых драным дерматином, на полу, на вещах, сидя и вповалку спят люди; усталые, унылые, кажущиеся бесконечными очереди к билетным кассам; перроны, по которым волокут свой скарб отъезжающие и приехавшие. Запах разогретого железа, машинного масла, смешиваясь с ночной темнотой, нависает над длинно застывшими поездами. Дешёвой бижутерией, украшающей сейчас площадь, — освещённые ларьки с пёстрым ширпотребом да фары машин, мечущихся по проезжей части: московские бомбилы на раздолбанных «пятёрках» ищут лоха, чтобы прокатить от одного здания вокзала до другого через всю Москву. На трёх вокзалах можно затеряться, можно жить — день, неделю, месяц, а то и год. И живут... Нужно только неукоснительно соблюдать законы и правила этого «общежития». Обычному человеку здесь надо быть вдвойне осторожным. Жизненный вектор этой территории направлен на отъём и отбор денежных средств у перемещающегося по нашей необъятной родине населения. Люди, покинувшие свои дома и ступившие на дорогу, наиболее беззащитны.

Она подходила к трём вокзалам со стороны Садового кольца. Мимо каменно-застывшего среди листвы Лермонтова, мимо закрытых дверей метро, мимо высотки, по тёмной улице — вниз, под путепровод... — вот и площадь. От Казанского, по грязному и гулкому подземному переходу, к Ленинградскому. Потолкалась у входа, возле расписания пригородных поездов. Первая электричка без четверти шесть. На часах — четыре с копейками. Надо ждать.

Завернула за угол — не стоять же у входа? Неудачно. Здесь, прямо на асфальте, развалились бомжи. И не разберёшь — одни мужики или бабы среди них тоже есть?.. Шарахнулась, прошла дальше, и сразу пусто — ни людей, ни машин. Только глухая стена здания грязно-жёлтого цвета, освещённая одиноким фонарём. Неуютно, тревожно. Впереди кто-то сидит на корточках, привалившись спиной к стене. Бомж? Да нет, не похоже. Что-то едва узнаваемое — на уровне интуиции — было в облике сидящего. Полуопорожнённая бутылка кефира возле ног, батон хлеба в руке и знакомый кожаный портфель на асфальте рядом. Он? Здесь?! До конца не веря, — ещё несколько шагов. Он!

— Кондратьев! Ты почему здесь?

— А? — ни малейшего удивления, словно договорились здесь встретиться. — Привет.

Блёклый какой-то... не в себе.

— Ты же улететь должен.

— Не улетел, как видишь.

Отхлебнул из бутылки. Усы кефирные отёр рукой. Движения замедленные, механические.

— Будешь? — бутылку протягивает.

— Нет, не хочу. Спасибо.

Присела на корточки, в глаза снизу заглянуть попыталась.

— Кондратьев! Что случилось? — уже догадалась, но гнала догадку, не хотела её принимать, надеялась, что не это...

— Отобрали всё, Лёля. Ограбили.

— Да говори ты толком! Кто? Что?

Поднял глаза. Словно проснулся.

— Просто, Лёля, просто. По голове шандарахнули, когда дверь открывал. Всё забрали. Я же улететь собирался — деньги в квартире были. Паспорт заграничный... тоже, — усмехнулся. — Вот и...

— Сколько забрали? Много?

— Много, Лёля, много. Всё. Двадцать баксов в насмешку оставили. А кто? Какая разница? Сама знаешь, как эти деньги доставались. Но мне кажется, это случайность — урла блатная. Ночь была... сам подставился.

Замолчали.

Прислушивалась к себе. Что чувствует? А ничего. Усталость. И вроде ясно, что виновата, но вины за собой не ощущала. Мясорубка. Просто эта мясорубка перемолола сначала её, а потом затянула в своё жерло Кондратьева. И что будет дальше — одному богу известно...

Вдруг он словно опомнился:

— Ты-то почему здесь?!

— Неприятности. Уехать на пару дней из Москвы надо.

— А-а-а... — вот и вся реакция. Снова замкнулся в себе, опустил голову. Даже обидно стало.

Нет, всё-таки растормошить его надо:

— И куда ты теперь?

— Куда... Загранпаспорта — нет, денег — нет. В Канаду не свалишь, да и не ждёт там меня никто... такого... В Москве оставаться нельзя. Поеду домой, отсижусь пару месяцев, может, что и придумаю. На родину поеду.

Носильщик вынырнул из темноты, с грохотом толкая свою тележку. Ждали, когда пройдёт, будто может их подслушать.

— Кондратьев, возьми меня с собой.

— С собой? — удивился. — Там ничего хорошего... Пожалеешь.

— Только у меня ни денег, ни паспорта, — не слушала его. Всё сложилось. Вот куда я поеду!

— Что, так прижало? Расскажешь?

— Потом.

Впервые за последние часы почувствовала: к ней возвращается уверенность, делает всё правильно. Сама принимает решение, а не кто-то за неё. Лишь бы не отказал. Не откажет. Знала: он привык её слушаться.

— Ну, пойдём за билетами в очереди толкаться, — отлип от стены, подхватил портфель, легко выпрямился, улыбнулся даже. — На плацкарту денег хватит. Только, боюсь, в разных вагонах придётся... Хорошо подумала?

— Поехали!

Круги на воде

Стеклянная матовая дверь подалась с усилием. Доводчик перетянут, — машинально отметил про себя. Комната захлёбывалась светом. Светло-коричневый Т-образный стол, казалось, сочился медово-жёлтым лаком — вот-вот закапает с краёв. Белое кожаное кресло с высокой гнутой спинкой.

В комнате двое.

Молодой, лет тридцати пяти, развалившийся в кресле, худой и малорослый, с серым нездоровым лицом, со странной стрижкой: виски и затылок почти выбриты, а то, что осталось сверху, светлой волной зачёсано набок. Пёстрая гавайская рубаха с коротким рукавом, поверх — чёрная расстёгнутая жилетка. Сразу видно — дёрганый, нервный. Дурацкая мысль промельком: если на него чёрный кучерявый парик надеть, за цыгана сойдёт. Это начальство — сынок... И за глаза его Сынком кличут.

Второй — сбоку, за длинной частью стола — застыл, положив руки со сжатыми кулаками на столешницу, в окно смотрит, вроде нет ему дела до вошедшего. Плотный, чуть обрюзгший, со стеклянным взглядом. Далеко за пятьдесят. Костюмчик серый на нём, ничем не примечательный. Лицо в оспинах. Лысина, разрастающаяся со лба, прикрыта тонкой прядью пегих волос.

Знал, кто это. И знал, зачем он здесь.

— Колупаев? — обратился сидящий во главе стола к пожилому.

Тот молча кивнул.

— Ну, рассказывай, мил-человек, что там у тебя приключилось? Только, — поднял зажатый в тонких пальцах карандаш, — коротко и внятно.

Швырнул карандаш на стол, и он покатился, покатился... и застыл.

Вошедший понимал, что сейчас решается его судьба. К этому разговору он готовился со вчерашнего дня, поэтому заговорил сразу короткими рублеными фразами. С армии впитал, что начальству такие доклады нравятся.

— Тверская, 23. Строительные работы по отделению № 7. Общая стоимость работ...

— Ещё короче. Все выкладки я и сам вижу, — приподнял, показывая, тонкую папку и бросил обратно на стол. — Что с деньгами?

— Вся сумма была передана фирме «Бронезащита» через представителя этой фирмы.

— И?..

— После телефонного разговора с генеральным директором фирмы выяснилось, что их сотрудник исчез вместе с деньгами.

— Как отреагировала фирма?

— Ищут.

— Я не о том, — поморщился. — То, что ищут, — понятно. Как расценивают сложившуюся ситуацию?

— Разговор не был конкретным. Прозвучали слова о том, чтобы отложить начало работ на неопределённое время до прояснения ситуации, а также было осторожно предложено рассматривать произошедшее в качестве форс-мажора. Но я думаю...

— Вот уж чего от вас совершенно не требуется. Константин Евгеньевич, ваши

вопросы? — обратился к пожилому, который всё так же безучастно продолжал смотреть в окно.

— Почему была передана вся сумма? К чему такая спешка? — спрашивает лениво, головы не поворачивая.

— Согласно установке, полученной свыше от Прокопьева — максимально быстро... — замялся, подбирая слово, — избавиться от наличности в рублёвом выражении.

— Проплачивать всю сумму — это ваша инициатива?

Сука! Копать начал. Конечно, знает, как такие дела проворачиваются. Мне свой откат нужно было получить. А как? Только со всей суммы можно взять.

— Да. Это моя инициатива. Я посчитал...

— Стоп! — молодой поднял руку. — Константин Евгеньевич, продолжайте.

— Ну... Осталось всего два вопроса. Кроме этой филькиной грамоты, — вопросительно посмотрел на сидящего в кресле — тот достал из папки лежащую сверху расписку и показал Колупаеву, — больше никаких документов, подтверждающих передачу денег? И второй вопрос: кто-то ещё присутствовал при передаче денег?

Совсем плохо! — почувствовал приступ панического страха. Они что, на меня хотят повесить?

— Больше никаких документов нет. Никто больше не присутствовал. Это обычная практика...

Договорить не дал главный.

— У меня вопрос к вам обоим. В сложившейся ситуации эта фирма сможет выполнить заказ и остаться на плаву. Да или нет? Колупаев?

— Если серьёзно нажать, — выполнит. А вот останется ли на плаву — не знаю.

— Константин Евгеньевич?

— Фирма мелкая, без своего производства — посредник. В сложившейся ситуации банкрот на девяносто процентов. Наш заказ выполнить не сможет.

Резюме прозвучало резко и однозначно.

— Колупаев, с тобой будем разбираться позже. И учти, если что выплывет... никакой родственник в лице Прокопьева не поможет. Ещё и с ним разберёмся. Устроили семейную богадельню. Работы должны быть выполнены в срок! Вы за это отвечаете. Константин Евгеньевич, подключайтесь. Разберитесь с деньгами. Потрясите фирму, выясните — не сказки ли про беглого? Если одиночка, — деньги вернуть и наказать, думаю, что вам это по силам. Выяснится, что деньги всё же попали на фирму — введём штрафные санкции. Все свободны.

Садовое было забито. Молчали. Колупаев — за рулём, тупо смотрел на вспыхивающие стопы впереди стоящей машины. Как назло, кондиционер опять не заработал. Ведь новая же машина, года нет... Жаркий воздух с примесью выхлопных газов хлестал по кабине, врываясь через полностью раскрытые окна. Гаранин К.Е. сидел рядом на переднем, то и дело поправляя жидкие волосы, с которыми забавлялся ветер. Ехали на фирму — разбираться.

Колупаев понимал, нужно собраться, сбросить отупение, срочно попробовать наладить отношения с Гараниным, постараться вызвать у него сочувствие, мол, вот как бывает... попал на ровном месте. И в то же время знал, не выйдет ничего, лучше даже и не пробовать — только навредишь.

С Гараниным раньше напрямую сталкиваться не приходилось. И слава богу! Одна кличка чего стоила — Абортарий. Легенды о нём ходили, шептались за спиной. Начальник службы безопасности. Где-то служил, где-то воевал...

Изнывая от жары, вползли в туннель под Маяковкой. Ушли от раздражающего солнечного света в полумрак.

— Совсем ничего осталось... Из туннеля выползем — вот и приехали, — проговорил Колупаев, обращаясь к ветровому стеклу.

— Слушай, как тебя там... Владимир Иванович, заруби на носу — я таких, как ты, насквозь вижу. Ручонки липкие суёте, куда не следует, радуетесь, когда прилипает по мелочи. Умными себе кажетесь. Смотри... выяснится, что ты с этим... таким же умным, на пару сработал, — закопаю.

Колупаев вскинулся, собираясь заверить, что он здесь ни при чём, что он ни сном ни духом... Не успел.

— Помолчи! Мне твои объяснения ни к чему. Сам всё выясню.

Россия. 1999

Май.	Отставка правительства Примакова. Назначение Степашина председателем правительства РФ.
Август.	Отставка Степашина. Назначение Путина и.о. председателя правительства РФ. Ельцин назвал Путина преемником. Взрыв на Манежной площади в ТЦ «Охотный ряд».
Сентябрь.	Буйнакск (Дагестан) — взрыв пятиэтажного дома. 61 погибший. Москва — взорван дом на Гурьяновской улице. 94 погибших. Москва — взорван восьмиэтажный дом на Каширском шоссе. 121 погибший. Волгодонск — взорван девятиэтажный дом. 18 погибших.
Декабрь.	Заявление Ельцина о досрочной отставке с поста Президента РФ.

Глава 7

Лёля

Снег старый, ноздреватый, с оплывшими вмятинами следов. Весна ранняя, солнце светит, но не греет. Небо налито синью. А вот радости нет.

Калитка нараспашку. Опять не закрыл. Ведь просила же... Забор совсем сгнил. Кажется, только снег и держит. Сойдёт снег — завалится. Наплевать. Кому надо, тот пусть и чинит.

Утро. Петухи орут, собаки лают, дети мимо в школу идут, бесятся: орут, толкаются, лупят друг дружку рюкзаками, трактор тарахтит где-то поблизости, и надрывно заходится кашлем сосед, вышедший курить на улицу. Жизнь продолжается, но какая-то не моя жизнь.

Стояла на крыльце, зябко кутаясь в пуховый платок, — идти некуда, а возвращаться в дом, в затхлое тепло и полумрак не хотелось. Но и себя обманывать бессмысленно: хорошо, если простоит здесь пять минут... дальше — скрип закрывающейся двери за спиной, разбухшая грязными боками печь, стол, заставленный немытой с вечера посудой, и тусклый свет, пробивающийся сквозь слепые окна. Сидеть и ждать. Вот только чего ждать? Кого? Не его же? Не знаю... Просто надо ждать. Единственное, что осталось.

Странная проходит жизнь, — усмехнулась, — спячка. Всю зиму. Медведь?

Нет, едведю лучше — лапу сосёт и сны видит. А у меня затянувшийся с открытыми глазами сон, в котором ничего не происходит. Говорят, весной природа просыпается. А я проснусь? Интересно...

Посуда, посуда... Печь растопить. Слава богу, щепу он с вечера приготовил, не забыл — тогда быстро... И сидеть, смотреть на ярко-красную полоску поверх дверцы, ждать, когда закипит вода в баке. Кстати, вода-то в нём есть? Есть. Почти половина. Но к колодцу всё равно идти придётся. Позже. Не хочу мёрзнуть. Что за тупая крестьянская жизнь? Животное выживание. Жрать, гадить и спать. Только сон и остаётся отдушиной, единственным развлечением. Но, прежде чем тебе позволят окунуться в небытие, обязана работать — зарабатывать жалкие копейки или вести убогое хозяйство, чтобы иметь возможность жрать всякое дерьмо и испражняться им же, поддерживая существование. Только тогда — получи сон в награду! О, какими словами ты, Лёля, заговорила, раньше себе такого не позволяла. Забудь что было раньше. Плюнуть и растереть. Я бы его и на метр к себе не подпустила, а теперь сплю с ним, говорю, как он, скоро чавкать начну. А про размножение забыла? Вот именно что размножение... Правильное слово. Любовь? Смешно. Моемся раз в неделю. Это мы. Остальные, я думаю — раз в месяц. Своих бань здесь нет. Не заведено. Одна на всех — общественная. Сходила раз. Эти как уставились — подумаешь, подбрита — проститутку увидели. А ещё говорят: в бане все равны. Ну и чёрт с вами. Дома в тазу помоюсь. Он пускай ходит, если нравится. С каких это пор ты, Лёля, эту хибару домом называть стала? Ладно... Оговорилась. Не придирайся.

Давай вставай. Начинай крестьянское существование. Сама здесь осталась, винить некого. В любой момент уехать можешь. Если он денег на билет даст... Даст, конечно, куда он денется?

Когда приехали, интересно было. Экскурсия? Да. Похоже... Дом вскрыли. Доски, что на окнах набиты, вдвоём отдирали. Мать его, оказывается, уже два года как умерла. А он и не знал. Во мужик даёт! Я бы так не смогла. Надо бы своим позвонить. Как они там? Почта на другом конце посёлка. Пусть зарплату получит, тогда и схожу. Мама опять будет рваться приехать, навестить. Ага, вот интересно, что сказала бы, увидев, где обитаю. Думает, я в городе, с мужиком, за которого замуж собралась, как сыр в масле катаюсь. Надоело врать. Перестань! Всю жизнь врёшь, должна привыкнуть. Давай-ка, Лёля, переодевайся в рабочее, бери вёдра и шуруй к колодцу.

Штаны с начёсом — надевать страшно, но тёплые, кофта без одной пуговицы внизу, телогрейка, побелевшая от долгой носки, валенки на резиновой подошве, если платок ещё повязать, то баба бабой, от деревенской не отличишь. Вот вам! Не дождётесь. Лыжную шапочку — синюю с красным. Готова! Четыре ведра — бак наполнить — и два — на кухню. Давай, Лёля. Пошла! Дело сделаешь, а потом можешь сиднем сидеть и себя жалеть.

Колодец — общий на четыре дома, старый, почерневший. Деревянный барабан с намотанной цепью со сплющенным ведром на конце. Крути ручку, наматывай цепь. Хорошо, что вода близко. Главное — не облиться, переливая из ведра в ведро. Плеснёшь в валенки, полдня сушить будешь. До дома недалеко, но два ведра зараз не унести — тяжело. Вот и приходится по обледенелой тропинке: туда-сюда.

Весна — это хорошо. Тепло скоро станет, деревья листвой зашумят. Надоела зима. Никак не ожидала, что так тоскливо будет. В шесть уже темно. Чем заняться? Телевизора нет. Десяток книжек, что он притащил, давно прочитаны. Разговоры разговаривать? С ним? Нет уж, лучше молча лежать, в стену смотреть. И холодно! Бесконечное ощущение холода. Присядешь на корточки у печки, дверцу

приоткроешь — вроде согрелась, даже жарко. Отойдёшь на два шага — опять мерзнёшь. Только и остаётся, лежать, свернувшись калачиком, навалив на себя кучу тряпья. Лежать и думать, что зима никогда не кончится, что прошлая жизнь — всего лишь сон, а настоящее — вот оно, под кучей вонючего тряпья.

Может, я просто наказываю себя? А что ты, Лёля, натворила такого уж плохого в той, прошлой, жизни? Натворила... Людей обманывала, бывало, спала не по любви. И всё? Родителям мало помогала. Перестань! Время такое. Посмотри вокруг — если хочешь жить, а не выживать, как сейчас, зубы нужно стиснуть и рвать свою копейку. Это ты и делала. И жила! Ну хорошо... Свалим всё на время. А аборт? Что замолчала? То-то...

Давай ещё раз по порядку: как здесь начиналось? Почему осталась? Ведь и в мыслях не было. Думала, месяц — это крайний срок. Уляжется всё в Москве, и вернусь. Дом этот деревенский... Начала в хозяйку играть. В вещах старых копаться интересно. Своих-то нет. Матери его одежду примеряла — смешно было. Готовить на печке, самой растапливать — ведь раньше ни разу не пробовала. Тепло было, на солнышке грелась, на деревенскую жизнь смотрела. Москву не вспоминала, бандитов этих... а потом сентябрь, дожди заполоскали, похолодало. Родители паспорт прислали. Мамина ученица бывшая в паспортном столе работает, через неё паспорт и восстановили. Человеком себя почувствовала. Уезжать собралась. Пора. Кончился отпуск. Вот тогда мы с ним серьёзно и поговорили.

Я ему:

— Кондратьев, пора возвращаться. Нечего в этой дыре делать. Нужно как-то жизнь налаживать.

Он на меня смотрит, а будто не видит. Вечером дело было, на крыльце сидели.

Я опять за своё:

— Знаю, что денег на билеты нет. Но, может, займёшь у кого-нибудь? Или на электричках попробуем добраться.

Молчит.

— Ну хочешь, я родителям позвоню, попрошу прислать? Навру, что парень мой подлецом оказался, бросил в чужом городе. Пришлют.

— Не надо никому звонить, — заговорил всё-таки. — Деньги на билет я тебе через пару дней достану.

— Подожди! Почему только мне? А сам?

— Я остаюсь. До следующего лета точно, а дальше — посмотрим, — твёрдо говорит, не сомневается. Выходит, давно решил. Обидно стало. Почти месяц здесь мыкаемся: денег нет, на одной картошке сидим, уже видеть её не могу, — а решение принимает, со мной не советуясь.

— Ну и оставайся, — говорю. — Околеешь тут с голода.

— Всё нормально, — отвечает, — не околею. Я на работу в школу устроился. Аванс должны на днях выдать.

Оба-на! Ещё одна новость.

— Ну, как знаешь... — говорю. — Тогда одна поеду.

— Лёля, ну что ты обижаешься, как маленькая. Я тебе уже объяснял: нельзя мне возвращаться, да и некуда... Ищут меня. На большие деньги попал. И люди серьёзные с меня спрашивать будут.

— Подожди, Кондратьев, так ты что, не только у фирмы деньги забрал? Рассказывай, давай!

Молчит. В сторону смотрит. Я не тороплю. Бессмысленно давить. Не захочет —

не скажет, я его уже изучила. Это в Москве мне в рот смотрел и слушался, а здесь — за главного.

Рассказал всё-таки.

Про фирму я и раньше знала. А вот то, что он банк кинул, только сейчас услышала.

Сижу, молчу, перевариваю. Что тут скажешь? Действительно, нельзя ему возвращаться. Квартиру продал, деньги потерял. Нечем расплачиваться. И опять во мне сомнения зашевелились: виновата я в том, что это по моей наводке его ограбили? Уже решила для себя, что нет, а тут опять полезло... Он же сам позвонил, сказал, что улетает. Его не должно было быть в Москве, он в самолёте в это время должен был быть. Откуда я могла знать? Нет. Нельзя ему об этом рассказывать. Если узнает, кто... как бы глупостей не наделал. Да я толком и сама не знаю, что это за бандюки. Версача, козёл вонючий из Догопрудного — вот и вся информация.

Совсем стемнело.

— Пойдём в дом, — говорю, — поужинаем. Подожди, что-нибудь придумаем...

А что тут придумаешь?

Сели за стол. Над головой лампочка под самодельным картонным абажуром на перевитом шнуре болтается. Свет от неё неживой, тусклый. И так называемый ужин у нас — чай с хлебом. Чай по кружкам разлила, два куска хлеба отрезала — себе поменьше, ему побольше. Кружки все в выщерблинах. Мама такую посуду сразу выкидывает дома — примета плохая.

— Поезжай, — говорит, — действительно, нечего тебе здесь делать. Дом, родители, на работу через месяц устроишься. Наладится жизнь. Тебе есть куда вернуться.

Я молчу, на чай дую — горячий. Что он знает? Думает, я с начальством разругалась и работу потеряла. Сама ему эту версию озвучила. Считает, я сюда нервы успокоить приехала, блажь такая на меня напала. Надо ему хоть часть правды рассказать. Таким, как он, когда им плохо, нужно, чтобы и другим тоже плохо было, — это их успокаивает. А меня не убудет... Версача так говорил.

— Знаешь, Кондратьев, меня ведь бандиты изнасиловали. Да если бы только изнасиловали... Проституткой хотели сделать, чтобы деньги, которые у них мой начальник увёл, отрабатывала. Сбежала по дороге. Паспорт забрали, знают, где прописана. Поэтому я здесь.

Голову вскинул, лицо страшное — свет от лампы так падает, тени чёрные под глазами. Вот только жалеть меня не надо. А чтобы не жалел — на! С подробностями, как за шею брали и согнутую в комнату вели. Получи! Не одному тебе плохо. Не одного тебя зацепило. Злость проснулась, и чувствую, на него злюсь, словно он во всём виноват. Сидит такой несчастный... жизнь ему поломали.

— Лёля, а ты уверена, что тебе стоит возвращаться?

Вот какой, блин, заботливый. Конечно, не уверена. Конечно, боюсь. Повезло сбежать в тот раз, в следующий — не убежишь.

— Кондратьев! Ну откуда я знаю?

Произошло что-то... отодвинулись друг от друга. Испарилась игривая лёгкость борьбы с убогим бытом, навалилось будущее, и было оно безрадостным. Расползлись по своим углам, по постелям. Лежали в темноте, и каждый думал о своём.

Утром молчали. Он ушёл, не сказав, куда. Я выгребла заначку — мелочь копеечную, которая осталась от походов в магазин, и пошла на почту, домой звонить. Пусть деньги на билет вышлют. Не хотела у Кондратьева брать. Зарплата учителя —

слёзы. Может, хоть поест по-человечески. Раз решила вернуться, всё равно придётся объяснять родителям, что случилось. Стану брошенкой. Пусть жалеют.

Номер набрала, трубку к уху прижала, «здравствуй, мама» не успела сказать — сразу получила:

— Лёля! Хорошо, что позвонила! Какой-то странный мужчина приходил. Ну... как бы сказать, на бандита похож. Синяк под глазом, представляешь? Плюнул прямо на пол. Я испугалась!

— Мама! Что он хотел?

— Про тебя спрашивал, — зачастила. — Сказал, что тебе прятаться не надо, а надо позвонить по телефону. Бумажку мне дал, на которой номер написан. Тебе продиктовать? Лёля, кто это? Что случилось? Почему он говорит, что ты прячешься? Мы с папой волнуемся! Почему ты молчишь?

— Мама! Остановись! Ты мне слово вставить не даёшь.

А сама, что сказать, не знаю. И холодом мурашки по спине, как тогда... когда за волосы меня держал и тянул. Опять! Выбросила из головы, забыла. Снова... Надо говорить что-то, объяснять.

— Алло! Алло, Лёля, ты здесь?

— Здесь, мама. Не волнуйся. Это просто недоразумение. Конечно, я не прячусь. От кого мне прятаться? Я здесь с Лёшей. У нас всё хорошо. Мы машину стиральную купили. — Какую машину? Что я несу?! Только не останавливаться. — А, поняла. Я телефон мобильный перед отъездом потеряла. Этот человек нашёл. Деньги за него, наверное, получить хочет. Не обращай внимания. Мне Лёша новый уже купил. Расскажи лучше, как папа? Что у него с работой?

Она говорила. Я не слушала. Деньги кончились, связь прервалась. Так и осталась сидеть в душной кабинке за стеклянной дверью, сжимая трубку в руке. И вдруг захотелось к Кондратьеву, чтобы был рядом.

Глава 8

Кондратьев

— Дети растут идиотами! Сопляки- шестиклассники! Мы такими не были — это я точно помню. Представляешь, делаю перекличку в классе. Называю: «Волосова». Молчание. И тут Пилепенко — пакостник мелкий, от горшка два вершка с вечной соплёй под носом: «Нет её. У неё эти!» — говорит, а сам от смеха давится. Я не понял сначала. «Какие "эти"?» — спрашиваю. Уже полкласса ржёт — особенно мальчишки радуются. Но и девчонки некоторые улыбаются тоже. «Ну... эти... Сами знаете». Такой злобой окатило! Подойти бы и затрещину этому говнюку! Я его за шкирку — и к доске. Стоит весь перекошенный, голову опустил, но ногу отставил — старается независимым казаться. «Ну, давай, рассказывай нам всем, что это за "эти"? Просвети, раз ты такой умный». Молчит. И класс притих, но вижу — интересно всем, чем дело кончится. А я стою и что делать не знаю. Не рассказывать же им, как женский организм устроен. Но говорить-то что-то надо. Спрашиваю: «Мамку любишь?» Удивился. Голову вскинул, смотрит... «Ну...» «Что — ну?» «Ну... люблю», — носом шмыгает. — «Так вот, у мамки у твоей — тоже "эти". И у сеструхи. И у бабки тоже. У всех женщин! Если бы их не было, и тебя бы, сопляка, на свете не было. Да и вас всех тоже...» это я уже классу. «Спасибо должны сказать природе, что "эти" существуют. Понятно вам?»

В парты уставились, на меня не смотрят.

«Иди, — говорю, — садись на место». И только тогда почувствовал — схлынула злоба. Смотрю на них — дурачки малолетние. А ведь барахтаются... Этот Пилепенко, он же не просто так сейчас выступил. Ему нужно девочку унизить, чтобы на её фоне постараться среди сверстников на иерархическую ступеньку повыше подняться. Всё как у взрослых. Скажешь — не так?

Ничем не проймёшь. Кому рассказываю? Сидит напротив, а как будто нет её здесь. Не слышит, а может, не слушает. Ну и чёрт с ней!

Поднялся, накинул телогрейку, вышел на крыльцо. Дверь прикрыл аккуратно — словно крышку гроба опустил.

Весна, весна рвётся наружу. Выворачивается из-под наброшенного зимнего тулупа. Ещё неделя — и заскачет, забарабанит капелью, растечётся ручьями и лужами, зализет до голой земли снежные заносы. А там, глядишь, и лето. Отмотал срок, пора на волю. Ладно... сейчас об этом думать рано.

Прохватило ознобом. Запахнул ватник. В дом возвращаться не хотелось. Синее небо над головой требовало действия. И самому хотелось размяться, почувствовать тело — чтобы заиграло мышцами, согрелось, залоснилось потом.

По ледяному накату тропинки, оскальзываясь, — к сараю. Ногой в обрезанном валенке сбил снег с чурок, что с осени были навалены под хлипким навесом. Кидал по одной к колоде, стоящей среди раскисшей щепы. Колол. Промороженные чурки легко разваливались, с треском и едва слышным звоном. Запахло деревом. Поглядывал на сучковатое, лежащее сбоку. Примерял к себе. Браться за него не хотелось, оставил на потом.

Гнать её! Только мешает. Такие мысли посещали не впервые. С силой, с оттягом, пробуждая в себе злобу, опускал колун на угодливо подставленное темя чурбака. Тот безропотно принимал удар — разваливался.

Это там, в Москве, она была недостижима. Казалась умной, да даже мудрой, всё понимающей и знающей: что делать и как выжить в этом мире денег, влиятельных людей, офисов, дорогих машин, постмодернистской литературы, картинных галерей и дорогих ресторанов. Здесь она сдулась, превратилась в ничто. Всего-то и надо — пересидеть, переждать год. Всего год! Стиснуть зубы и приспособиться. Мне по первости в Москве было ничуть не легче. Но ведь не раскис, как она.

Зачем она здесь? Почему я должен её кормить, деньги тратить, которых и так нет? Кормить-то — ладно. А вот видеть её кислую рожу... С утра — лежит, из школы придёшь — лежит. Сплю с ней? Этим повязала? Бред! «Чистые четверги» выдумала. Секс по расписанию. На хрен мне это надо? Я, может, сейчас хочу! Вот сейчас, пойти и трахнуть. Распалял себя. Но знал, что не пойдут. Что-то удерживало. И злился не на неё, а на то, что его удерживает... Она сломалась. Кукла сломалась. Помнил, какой эта кукла была раньше.

Не понимаю. Ведь проще простого... Ну да, жрать было нечего, но через месяц-то более-менее наладилось. Подумаешь, горячей воды нет. Можешь хоть каждый день себе греть и в тазу мыться, если баня тебя не устраивает. В чём проблема? Холодно? Ты ещё не знаешь, что такое «холодно»!

Для него всё было ясно с самого начала. Как только схлынула оторопь от событий, произошедших там, в Москве, как только закачался на верхней полке внутри плацкартного вагона среди пахнущих и храпящих тел, понял: наступил новый этап жизни. Продолжительность этого этапа в лучшем случае год. Забыть, стереть из памяти всё, что было. Начинать заново. Крутиться, устраиваться. Стараться заработать

деньги, чтобы снова вырваться из болота, куда закинула судьба. Врать, изворачиваться, цепляться зубами. Один раз получилось, сможет и во второй.

Они сошли с поезда ранним утром. Предпоследний вагон. За спиной, из серой предрассветной мути выползало приземистое здание вокзала. Им туда не надо. Им — вдоль путей, вдоль мокрых и блестящих от росы рельсов, через переезд, и — вот она, петляющая по берегу дорога к дому.

Из соседнего вагона, цепляясь за поручень, неуклюже спустились по лесенке две тётки. Длинные юбки, куртки, платки — одинаковые, не различить. Обе приземистые, раздутые, видно, что пожилые. Подхватили на плечо перевязанные в ручках сумки. Всё как раньше: из города, продукты добывали. Одна всё время оборачивалась, смотрела в их сторону, отставала.

— Далеко идти? — спросила Лёля.

Резкий, короткий гудок. Лязгнули, сдвинувшись с места, вагоны. Не расслышал.

— Что?

— Я спросила: далеко идти? — прокричала в ответ Лёля.

— Полтора километра. Недолго...

Поезд прогрохотал мимо, навалилась ватная тишина. Едва различимый шум уходящего поезда только подчёркивал. Начал накрапывать дождь, и казалось, что рассвет уже не наступит; мир, в котором они оказались, так и останется серым.

Нагнали медленно идущих тёток. Та, что шла сзади, остановилась, дожидаясь, когда подойдут. Произнесла с удивлением:

— Лёшка, ты, что ли? Ну и ну... Иванна, погоди! — окликнула подругу.

— Я. Здравствуйте.

Лицо тётки было смутно знакомым, а вот имени вспомнить не получалось. Вроде, мать Серёги Коржука, одноклассника, а может, и нет... Тётя Маша — точно!

— Где ж тебя носило-то? Клавдию два года как схоронили. Даже на похороны не приехал.

Первое, что почувствовал — облегчение: всё сложилось, свободен.

О матери он думал, пока трясся в поезде. Жива или умерла? Если жива — какая она? Лежит больная, не встаёт с постели? Спилась окончательно? В одном доме с ней он жить не сможет. Куда тогда деваться? Лёле ничего не говорил, а она и не спрашивала.

Надо было что-то отвечать, объяснять этой тётке.

— Далеко я был, тёть Маш, в Африке. Пять лет. Связи не было. Папуасы одни кругом. Вот... только вернулся.

Враньё лилось легко, будто заранее готовился. Главное — говорить, не останавливаться. Даже что-то вроде вдохновения ощутил, представляя себя в африканских джунглях с мачете в руке, но случайно переведя взгляд на Лёлю, осёкся. Удивлённо смотрела на него, по-бабьи прижав кулачок ко рту.

— А с тобой-то кто? Жена? — всматривалась в стоящую чуть в стороне Лёлю.

Вот оно, извечное крестьянское любопытство: кто помер, кто чем болеет и кто с кем спит.

— Жена, тёть Маш, жена. Лёлей зовут. Вот, приехали... посмотреть — что да как? Да почему стоим-то? Давайте сумки. В город за продуктами ездили?

— Не надо, Лёша. Не тяжёлые... мы сами... привычные.

— Тёть Маш, без разговоров! — отобрал сумки, перекинул через плечо. Портфель отдал Лёле. Двинулись вдоль железнодорожных путей под моросящим дождём.

Подстраивались под неспешную ходьбу тёток. Вдруг понял, что испытывает возбуждение, даже радость. Это было странно: сюда он не собирался возвращаться никогда.

Лёля шла последней. Прислушивалась, о чём говорили Кондратьев и тётя Маша. Устала. Вымотала дорога, вымотали бесконечные вопросы — как и что дальше? Хотелось поскорее дойти и лечь. И чтобы одной — никого рядом. Злилась на Кондратьева за его интерес и непрекращающиеся вопросы. Как живёт Серёга (сын тёти Маши)? Цел ли дом? Работает ли почта — можно позвонить в Москву? И когда услышала:

— Маму где похоронили? — вздрогнула.

— Рядом с отцом твоим, где же ещё? — удивилась вопросу тётя Маша.

Дом показался маленьким, раньше он был больше... Чёрный и кособокий. Окна досками забиты. Рубероид на крыше скукожился и мхом покрылся там, где ветви ивы нависают низко. Пристройки как бородавки. Крыльцо совсем сгнило, наступить страшно. Забор вот-вот завалится. На картофельном поле, что за домом, трава по пояс.

— Ну вот, Лёля, это наше пристанище теперь, — старался открыть калитку, вросшую в землю. Не получалось. Наконец образовалась щель, в которую можно протиснуться: — Прошу! — и первым зашагал, приминая высокую траву, к дому.

С крыши капало. Дверь забита намертво. Инструмент нужен, а он в доме, если не растащили. Сарай, он же курятник, — там тоже что-то должно быть. Замок на соплях держится, петли прогнили. В запале рванул посильнее, выворотил, обламывая ржавые гвозди. Распахнул дверь. Пригнул голову, чтобы не зацепить притолоку. Шагнул и замер. Пахнуло затхлостью и холодом. Свет распластался кособоким прямоугольником на земляном полу с ошмётками гнилой соломы; валяется бутылка из-под портвейна, отсвечивая зелёным боком, и вскрытая пачка «Примы». Задохнулся. Моргнул. Пропало.

Лёля присела на крыльцо, с краешка, привалилась плечом к стене. Глаза закрыла, ждёт. За закрытыми веками в черноте закружились головки золотых шаров. Вот они, у самого крыльца, рукой можно дотронуться. Единственное украшение этого запущенного места. Вымахали в человеческий рост, покачивают жёлтыми головами на тонких стеблях.

Первую неделю занимались домом. Выгребли хлам, вымыли окна. Лёля в старой детской ванне бесконечно стирала занавески, затхлое бельё, перебирала и проветривала одеяла и куцую одежонку. Смеясь, показывала покрасневшие от стирки руки: вода холодная, колодезная. Протянули от сарая до дома верёвки, бельё тяжело свисало, роняя редкие капли. Он косил траву во дворе ржавой косой, которая нашлась в сарае. Получалось не очень, но это неважно. Понимал, что для неё это только игра. Ну и что? Пускай. Даже старался подыгрывать. Помогает сейчас с домом — и ладно. А сам думал, перебирал в голове варианты. Не хватало информации. Нужно было устраиваться на работу. Куда? Кем? Она поиграется и через неделю уедет в Москву, а ему тут жить. Зима впереди...

Сходил на кладбище. Ползая на коленях, обрывал траву с едва заметного могильного холмика, украшенного деревянным крестом с двумя металлическими пластинками друг под дружкой. Ничего не почувствовал.

С кладбища, вниз по косогору, к реке. Замывал грязные штаны. От холодной воды ломило пальцы. Конец лета — вода низкая; камни, камни — вдоль узкого русла, по которому несётся поток. Осенью — дожди, вода немного поднимется, а тут

и зима — схватятся льдом лужицы между камнями, перекинутся в узких местах снежные мосты через поток. Не хватит сил у зимы, не затянет реку льдом — вырвется, будет всё так же нестись вода вниз, выдыхая морозный туман. А уж весной разрезвится, разольётся вольготно, затопит камни и валуны, подступит к дороге, что проходит вдоль берега, лизать станет. Придут самосвалы, вывалят очередную груду камней там, где вода подойдёт совсем близко. Будет ребятня сидеть на этой куче и швырять камни в воду. Это он помнил... Сидел, смотрел на воду.

Заходили соседи. Он извинялся, что не приглашает в дом: идёт уборка, сами понимаете... Сдержанно кивали, мол, конечно, всё понимаем. С интересом рассматривали подходившую поздороваться Лёлю. Те, что помоложе, оценивали городскую, примеряли к себе — бесхитростно, открыто. Присаживались на брёвна, сваленные бог знает когда у забора, вросшие в землю. Уже через минуту звучал основной вопрос: «Надолго ли приехали? На постоянку или так... отдохнуть месяцок?» Вспоминали мать и отца, но в основном присматривались: что за люди объявились, с кем придётся жить рядом.

Потом — как с горки покатилось... Почти месяц она играла в игру под названием «Наш дом». Надоело. В Москву засобиралась. Я к тому времени о работе в школе договорился. Деньги, конечно, смешные, но на первых порах сойдёт. Потом что-нибудь ещё придумаю. Не удерживал — пусть едет. Мне легче будет. Одному всегда легче. Злила она меня всё-таки... Расхаживает хозяйкой по дому, указывает, что надо сделать. Кто она такая? Шлея бабе под хвост — приехала на недельку... Потом она в Москву позвонила — и словно кожуру содрали, обнажился нерв. Легла. Сдулась.

Я-то думал, она сильная. Наносное всё: городское, московское. Не стержень внутри, а только обёртка снаружи. Откуда ему взяться? Папа, мама, квартира — жизнь не била.

Да понимаю я всё! Попала в передрягу — поиздевались над ней по полной. Сломалась. Вот одно мне непонятно: что сломало? Ведь вроде ожила после того, как её там... Месяц вида не показывала. Выходит, сломалась, потому что к маме с папой вернуться не может? Только и всего? А перетерпеть?

До ноября ещё как-то тянулось, а потом — всё. В один день туман с гор сполз, растёкся по долине. Заволокло, крыш соседних домов не видно. Морось повисла в воздухе. Чёрные ветви из тумана в каплях прозрачных. Только нереально громко вода журчит, если на берегу стоять, — вырывается из ниоткуда, из серой мути, и течёт в никуда.

Она словно в этот туман нырнула, захлебнулась, пошла ко дну, утонула. Сначала думал — заболела. Может, женская хворь, о которой не рассказывает? Приставал, расспрашивал. Без толку. Молчит. Отвернётся к стенке и лежит. Злился первое время, так хотелось ударить, пинка дать, задницу выставит — так и просится! Нельзя распускаться. А как её ещё встряхнуть? Орал... Не помогает. Снулая. Смотрит, а в глазах пусто. У меня к тому времени налаживаться стало... Школа, суета, зарплата. Дом потихоньку в порядок приводить начал.

Идёшь домой — в окнах темно, знаешь: лежит там одна, в стенку смотрит. Понимаю умом, гнать надо: обуза, не дай бог, что с собой сделает... Надо мне это? Жалко...

А потом из этого тумана — снежинки ворохом, в одночасье землю покрыли. Растаяло к утру. Холод и слякоть. Только в сапогах и можно ходить. К вечеру — снова полетели. Раскачиваются зимние качели, никак не остановятся.

Что-то там внутри неё происходило. Вынырнула раз перед Новым годом. Я уже и не ждал. Лучше бы не выныривала... такую хрень понесла!

Прихожу — сидит за столом — даже чай заварен и чайник горячий.

— А давай, Кондратьев, выпьем? — говорит.

Здрасьте! — думаю, вот уж что-что, а выпивать — это не по мне. Ну ладно, раз хочет...

— Только самогонка есть. Макаровне дверь перевесил — теперь закрывается. Расплатилась.

Пошёл, достал бутылку, заткнутую газетной пробкой. От одного вида передёргивает.

— Наливать? Учти, я не буду, — предупредил.

— А наливай! — чашку подставляет.

— Подожди, сейчас тебе закусить что-нибудь соберу.

Хлеб, капусту квашеную — на стол. Сковороду со вчерашней картошкой на печь разогреваться поставил. Ждать не стала. Пока копошился — выпила, сморщилась, рот ладошкой прикрыла.

— Вот гадость! — выдохнула.

Развезло сразу. Платок развязала, с головы на плечи сбросила, кофту расстегнула — жарко ей. Сидит, тупо в стол смотрит. Лицо серое, круги под глазами.

— Лёля, — говорю, — плохо выглядишь. На свежий воздух тебе надо — гулять, а не самогонку трескать.

— Подожди, Кондратьев. Не до моралей. Знаю, что тебе надоела. Скажи: ты жену любишь? Как её? Марина? А дочь?

Началось. Понеслась душа в рай! Только пьяных бабских выяснений отношений мне не хватает. Придётся слушать... или уйти?

— Что ты молчишь? Если ты их любишь, почему ты здесь, а не там?

— Сама знаешь, обстоятельства так сложились... Давно бы уехал.

— Ты бы к ним уехал или просто уехал?

— Какая разница? Главное, свалить отсюда.

— Вот и я о том... Тебе не к ним надо, тебе туда надо, в жизнь красивую. Никого-то ты, Кондратьев, не любишь: ни жену, ни ребёнка. Себя ты любишь. Зачем семью заводил?

Злиться начал. Какого хрена привязалась? Кто ты вообще такая?

— А тебя просят в моей жизни копаться? В своей разберись. Любовь найти хочешь? У себя поищи... От большой любви ты со мной трахаешься? Ну, что молчишь?

Глаз не поднимает, ковыряет капусту вилкой.

— Ну... мы — дело особое... Нас только двое на необитаемом острове. И не о том речь...

Эк как всё повернулось! Оказывается, мы на острове, да ещё и на необитаемом. Что в голове у бабы? Ум отлежала. Люди вокруг, дети-идиоты, Лариса, что у младших ведёт, глазки строит, и меня к ней куда больше, чем к тебе, тянет, — нашла остров!

— Кондратьев, ты не заводись. Я же просто понять хочу.

— Что понять, Лёля? Что?

— Только не злись и не смейся. Сама знаю, что вопрос глупый и ответа на него нет, но всё-таки... Для чего ты живёшь?

Ха! Нашла вопрос. Я для себя давно эту формулу вывел и не заморачиваюсь. А ведь раньше умной бабой казалась...

— Свобода, Лёля, свобода! А свобода — это деньги. Всё просто. Будет много денег — станешь свободным. Делать можно что хочешь, брать что захочешь. И как жить, будет только от тебя зависеть.

— Красиво... А я ещё выпью.

Плеснула чуток в чашку.

— Не смотри, — попросила.

Торопясь, закусывала картошкой — подцепляла вилкой со сковородки, подставляла ладошку, чтобы не уронить на стол. Научилась... совсем по-деревенски.

— А что? Без денег свободы не бывает? — спросила.

— Конечно, нет. Деньги — первичны. Я же говорю тебе, а ты не слышишь. Сначала деньги — потом свобода.

— Нестыковочка... Критериев в твоих рассуждениях не вижу. Сколько нужно денег для свободы?

— Чем больше, тем лучше.

— Подожди, не перебивай, дай сформулирую. Смотри... на твоём примере. Гол был, как сокол. Москва, институт, квартира, дочь, жена, работа, бизнес — деньги. Деньги-то у тебя уже появились. И кой-какая недвижимость была. А свобода-то твоя где? У тебя вместо свободы — крутёж, чтобы ещё больше денег стало. Круг замкнутый, не вырваться. И смысл жизни уже — не обретение свободы, а тупое зарабатывание денег, которых всегда будет мало.

— Глупость, Лёля, глупость! Деньги дают свободу — это я точно знаю. Об одном жалею: опоздал. Надо было науку раньше бросить, в самом начале, когда только закрутилось, — кооперативы первые, компьютеры, обналичка... Легко подняться можно было. Если бы тогда начал, у меня бы сейчас уже свой банк был. А я опоздал. Всё, хватит этих пьяных разговоров, давай укладываться.

Лежали в темноте. В окно сочилась мутная белёсость от свежевыпавшего снега.

Может, мы и правда на необитаемом? Нас только двое здесь... Но всё равно мы порознь — чужие. Судьба так распорядилась. Прибило волной к берегу.

— Ты печку проверил? — из темноты её голос.

— Да. Заслонку закрыл.

Тихо. Снова тихо до звона в ушах. И темно.

— Кондратьев? Не спишь?

Вот неймётся-то...

— Нет.

— Хочу тебя спросить: у тебя что-нибудь похожее на любовь в жизни случалось?

Не хочу отвечать.

— Хотя... какая у тебя может быть любовь? Ты же только о себе думаешь, о своей свободе. Вот и у меня не было... Это я только сейчас отчётливо поняла. Привязанность, благодарность, восхищение, даже гордость, что так могу, испытывала — но всё это не любовь. Мешанина из чувств, которым можно найти объяснение, разложить по полочкам, подправить, подретушировать. Понимаешь? Эй, Кондратьев? Как у тебя с женой было?

Рассказать ей или не стоит? Зачем? Но ведь помню... Нет, не жалею. Сколько уже прошло? Десять? Двенадцать?

— Могу рассказать... если хочешь. Это не про жену... с женой всё просто происходило. Про другое... Только я не хочу слово «любовь» употреблять, не уверен, что это то самое было. Ну... понимаешь?

Молчит. Это хорошо, что молчит.

— Алиске четыре исполнилось... С Мариной всё ровно — довольны друг другом. В институте, где работал, тоже всё хорошо — предзащита прошла. Карьера засветила... Кандидат, загранка, поездки, а там, глядишь, и завлаб. Я к чему это говорю — к тому, что жизнь спокойная и размеренная шла, перспективы были... И доволен я был этой жизнью, и никаких эксцессов и треволнений мне не требовалось. На улице её встретил. Просто на улице. Никогда так не знакомился. А тут... стоят две девицы, на меня посматривают и смеются. Возле метро «Кропоткинская» дело было. Август. Жара. Что меня толкнуло подойти? Мне бы уйти сразу, а я остался. Подруга её ушла.

— Подожди, Кондратьев. Извини, мне надо...

Свет не зажигала, копошилась в темноте. Дверь заскрипела. Звякнуло что-то в сенях. Представил, как она, оскальзываясь на ледяной тропинке, придерживая рукой распахивающийся ватник, спешит к туалету. Самому холодно стало.

— Рассказывай дальше, мне правда интересно.

— Да нечего рассказывать. Встречаться стали. Нет, не то. Какое-то сумасшествие на меня нашло. Затмение. Всё, чем жил до этого дня, из головы выдуло. От встречи до встречи жил, ни о чём другом думать не мог. До того дошёл, что на работу к ней приезжал, стоял в подворотне, ждал, когда появится. Со мной встречалась, спали, когда квартира подворачивалась, а у самой парень был, который год за ней ухаживал — знаешь, из этих... не мытьём, так катаньем, упорный и правильный. Ха! И фамилия у него была подходящая — Иванов. Жениться хотел. Вот я и смотрел из подворотни, как он её встречает, как она его в щёку целует. В общем, крышу мне сорвало по максимуму. И ты знаешь, никакой ревности не испытывал. Это как приложение к ней шло. Не до ревности. Главное — её увидеть, пусть она с другим даже... До сих пор не понимаю, как со мной могло такое случиться. Это ведь ненормально. Нет, не то я тебе рассказываю. Не это главное. Я видел, какая она... Никогда мне такие женщины не нравились. Плотная, коренастая. Волосы русые, растрёпанные всё время. Лицо круглое. Веснушки. Рот большой. Кисти рук большие. Деревня деревней. Откуда-то из-под Вологды она, год как в Москве, медсестрой в больнице. В общежитии жила. Я сам такой же, но за пятнадцать лет в Москве пообтёрся. Веселится всё время, смех дурной, натужный, ужимки... Чуть что не так — губы надует: «Я женщина, мне можно!» — твердит. Всё это вижу, понимаешь? Не моё это! Ну никак не моё. А ничего поделать с собой не могу. Хочу к ней, хочу с ней — и всё тут. Словно под гипнозом, когда хочешь слово вымолвить, а не можешь. Умом всё понимаешь, а произнести не получается. Вот и я так... Уже про химию, про запах этот женский, про который говорят, думал... А что толку? Тянет меня к ней, и всё. Видел, понимал, что только меня так безудержно тянет. А для неё что я, что этот Иванов — так... развлечение.

Устал, выдохся. Не получалось рассказать. Не подбирались правильные слова. Замолчал. Лежал с закрытыми глазами. Хватит разговоров на сегодня.

— А дальше что?

— Всего три месяца встречались. Потом у неё на работе какой-то конфликт мутный случился: то ли уволили, то ли с начальством поцапалась — я уже сейчас не помню. Уезжать в свою Вологду собралась. Говорит: «Бросай жену, снимай квартиру, тогда останусь, вместе жить будем. А нет — уеду». И смеётся, как всегда... легко ей. Умом понимаю — ясно понимаю, никаких сомнений нет: приступочка я для неё, наступит, оттолкнётся и дальше пойдёт, так же посмеиваясь. Нельзя с ней связываться. А сам уже планы строю, как жить вместе будем. И жена, и Алиска маленькая отодвигаются куда-то — не до них. Головой потрясу, очнусь — сам себе твержу: что ты делаешь? Остановись! Нельзя свою жизнь рушить. А в глубине души: не хочу, чтобы

уезжала, хочу, чтобы рядом была. Всегда считал себя прагматичным, а тут... в омут с головой готов. До последнего не знал, как поступить. На вокзал провожать поехал — всё решить не мог. Ключи в кармане от пустой квартиры — у приятеля взял. Качели, весы — туда-сюда, туда-сюда. Полный раздрызг чувств.

Замолчал. Темнота вязкая, осязаемая. Казалось, можно руками мять.

— И что?

— Что — что? Уехала. И никакая это не любовь... Сумасшествие! Другого слова я не могу подобрать. Всё. Пустой разговор. Спать давай, — заворочался, поправляя старый тулуп, наброшенный поверх одеяла.

— Любовь — не любовь... спорить не буду. Не знаю я, какая она. Только... всё равно, завидую тебе, Кондратьев. У тебя хоть такое в жизни было. Слушай, а может, от невозможности любить и рождается сама любовь?

— Нечему тут завидовать. Спи!

Утро определилось звоном будильника. За окном всё та же ночь. Заворочалась укрытая тряпьём Лёля.

— Кондратьев, дай воды! — попросила, тихо постанывая.

Принёс. Привстала, опираясь на руку. Взяла из рук кружку. В тусклом свете настольной лампы лицо казалось одутловатым, серым.

— Кондратьев, анальгина у нас нет? Голова сейчас лопнет.

— Откуда?

— Тогда убей меня, — завозилась в постели, затихла.

В школе задержали допоздна. Потемну из дома, потемну домой. Я уже и забыл про вчерашний разговор, и о ней не вспоминал — отлёживается, наверное. Прихожу — сидит, ворох бумаг исписанных на столе разбросан. Дом протоплен. Неужели и пол вымыла? Рта не успел раскрыть, как она выдала:

— Кондратьев! А я тут рассказ написала. Как бы про тебя. Хочешь послушать?

— Подожди, — говорю, — дай я разденусь, поем... С утра ничего не ел.

Метнулась к печке, загремела кастрюльками. Смотри-ка, неужели пожрать сготовила? Медведь в лесу сдох. Щи из кислой капусты. С тушёнкой! Пар от тарелки поднимается. Сижу напротив, хлебаю, обжигаясь, вижу: не терпится ей, перебирает исписанные листы, ручку взяла — вычёркивает, дописывает что-то.

— Ладно, — говорю, — читай свой рассказ.

— Сейчас. Только я его пока не закончила. «Пятнадцать минут» называется.

Волнуется. Удивительно. Не ожидал от неё.

— Ну, слушай:

«Худым стремительным телом ввинчивался в толпу рывками, почти бежал, обгонял, уворачиваясь от сумок, баулов, чемоданов, что лезли под ноги, спешил.

Освещённое пространство вокзала наполнено людьми и неясным гулом.

Табло, далеко впереди, выводило на чёрном фоне ядовито-зелёные цифры — 19:40.

У меня пятнадцать минут. Да за пятнадцать минут я... Что я могу? Надо сказать, надо ей всё сказать! И никуда она не уедет, просто не сможет. Ведь не могу без неё. Как я здесь буду? Сама она — как? Зачем ей всё это? Нет... не то. Надо душу вывернуть наизнанку, уговаривать, убеждать, не дать уехать, и всё. Пятнадцать минут — это много, это ой как много, успею.

Люблю и не смогу без тебя. Нам надо быть вместе. Детей нарожаем, и там остальное... Всё устрою, всё переверну. Сделаю так, что будешь счастлива. Только не уезжай.

Спаренные рамки металлоискателей.

Сбились в очередь. Суют сумки, толпятся. Какие-то иностранцы крутят головами, вцепились в длинные ручки чемоданов на колёсиках.

Ну, скорее же!

А может, пусть едет? Да и хрен с ней. Спокойнее будет. Что я, не переживу? Только надо сразу для себя решить — всё! Никаких писем и звонков. Умерла так умерла. И ей сказать... Тяжело будет, конечно, поначалу. Как я тут без неё? Но зато ведь спокойно? Думать не надо, дёргаться не надо. Свобода. Что я, замену не найду? Да как два пальца...

Не такую... Такую, как она, не найду.

Вон уже двери — туда-сюда. Темнота за ними. Перрон уже... поезда. Сбоку, пёстрым промельком, ларёк с журналами, ещё один с едой, а на табло — зелёным — 19:43.

А если оставить всё как есть? Может, ничего страшного и не происходит? Уедет — приедет. Ведь можно рассматривать этот отъезд как проверку временем. Что страшного? Просто подождать. Одумается. А не одумается, ну так что ж... судьба, значит.

Ну?! Ну?! Да иди ты, что раскорячился? Блин! Не обогнать. Что ты смотришь? Спешу я!

Какая, к чёрту, судьба?! Самому надо... Не отпускать и всё. Ведь люблю её.

Вот есть у тебя пятнадцать минут, так расшибись, наизнанку вывернись, но не дай ей уехать!»

— Ну как? Концовку ещё не придумала.

Что ей сказать? Хрень какая-то бабская. Сопли и переживания. Не так всё было. Она по полочкам разложила: вернуть; наплевать; пустить всё на самотёк. Не было у меня таких мыслей, не мог ничего сформулировать. Растерянность захлёстывала — пусто в голове.

— Ничего так... Мне понравилось. Хотя, сама знаешь, я в литературе... но ярко, образно... только это не про меня.

— Почему, Кондратьев? Мне показалось, ты вчера об этом рассказывал.

Как бы поаккуратнее... Чёрт меня дёрнул разоткровенничаться.

— Лёля, мы же с тобой похожи. А в твоём рассказе сплошная бабская сентиментальность, ты уж меня извини. Откуда это взялось? Ты же циничная, жёсткая, знающая, что от жизни хочешь. Сама же в Москве учила: отсортировать главное, взвесить риски, принять решение и действовать. Куда это ушло? Что ты лежишь целыми днями? Делать что-то надо. Помнишь про лягушек в молоке? Так барахтайся!

Понимаю, что завожусь на ровном месте, а остановиться не могу. Орать начал.

— Вот и поговорили... — сникла, словно ударил, сгорбилась.

Бумаги собрала, на корточки возле печки присела, дверцу щепочкой открыла, суёт по одному листы в пламя. Вспыхивают, свёртываются.

Смотрю на неё — и жалко, и злюсь одновременно.

— Ладно, — говорю, — проехали. Извини, был неправ.

Молчит.

С рассказом, что она написала, какая-то странная хрень происходила: ещё раз всплыл, прямо в Новый год. И опять руганью закончилось. Отдельная история. Оливье крошили: она — картошку, я — морковь и огурцы. Злой был, как собака. Ещё и палец порезал. Два дня её уговаривал Новый год в гостях отметить. Ни в какую... Дома — и всё. А мне уже этот дом — во где! Надоело друг на друга пялиться, даже телевизора нет. Думал, один пойду... школьные пригласили. Остался.

Промаялись весь вечер. Она какой-то старый журнал мусолила, я с приёмником

возился, всё пытался музыку весёленькую поймать. Время подошло — за стол сели. Как положено, пробку в потолок. Шампанское и кой-чего из жратвы я заранее прикупил — не скажу, что богато, но всё-таки празднично. Выпили, пожелали, чтобы следующий год по-другому отметить. «А теперь подарки!» — говорю. Пакет красивый у меня заранее был приготовлен. Протягиваю.

Раскрыла. А там — бельишко женское, бордового цвета. У нас коллектив в школе бабский, они и уговорили купить. Не хотел сначала, а потом подумал: а вдруг встряхнётся, порадуется? Я же не знаю, что у неё внутри происходит. Повертела в руках. «Спасибо!» — сказала. И обратно в пакет.

— Может, примеришь? — спрашиваю, растормошить её хочу.

— Кондратьев, ты это для себя купил? Тебе на меня в этом смотреть хочется?

Я смешался. Не ожидал такого вопроса. Мямлить что-то начал, мол, это ей, мне по барабану, что на ней надето. Понёс какую-то околесицу, до сих пор стыдно.

— Вот то-то и оно... — тянет задумчиво, — что тебе ничего не надо.

Как из ковша холодной воды в морду плеснули. Я же для неё... как лучше хотел.

— Ладно, — говорит, — не расстраивайся, устроим тебе ночь Клеопатры.

Что там с этой Клеопатрой? Надо бы у школьных спросить, да всё забываю.

— Подожди, — из-за стола вышла и на улицу.

Снеговичка маленького на деревянной подставке принесла — заранее из снега слепила. Вместо рук — веточки еловые.

— С Новым годом, Кондратьев! И пусть все наши проблемы растают, как этот снеговик. В центр стола поставила. — Давай смотреть, как таять будет.

Сидим, ждём, каждый о своём думает.

— Кондратьев, — говорит, — у меня для тебя ещё подарок есть. Я рассказ тот дописала. Помнишь?

Достала листок. Развернула.

— Тут всего несколько строчек. Слушай:

«*Где-то высоко, под потолком, заворковал динамик: “К сведению провожающих и опоздавших: в связи с неблагоприятными погодными условиями скорый поезд "Москва — Зурбаган" отправлен со второго пути на четверть часа раньше назначенного срока”*».

Сижу, тупо в стол смотрю. Ничего не понял. Злостью наливаюсь. Умная, да? Тонко чувствующая? А мы, значит, лаптем щи хлебаем? И понесло меня:

— Какие метеоусловия, Лёля? Что за бред? Поезд это, Лёля, поезд! Что за город? Никогда о таком не слышал.

Вздохнула тяжело, из-за стола встала.

— Есть такой город, Кондратьев. Только ты о нём не знаешь...

Глава 9

Лёля

Я лежебока... Странное слово, хотя подходит. Что-то вроде диагноза. У меня лежебокость второй степени. Это когда встать ещё можешь, но совсем не хочется. Вот у Ильи Муромца была лежебокость последней, третьей степени — сам встать уже не мог. Правда, потом поднялся... Может, и я так? Ещё немного полежу, потом как!..

В комнате полумрак и вонючесть, только окно яркой прорехой в другой мир, в весну, но туда совсем не хочется — там двигаться надо, делать что-то, говорить,

смотреть. Капель с крыши, как будто часы тикают. Это если глаза закрыть и слушать. С перебоями — то чаще, то реже.

Ощущение липкости после вчерашнего. Воду надо согреть, вымыться. Что он после говорил? Звал куда-то... В город. Да, в город. В интернат, где учился, съездить хочет и меня с собой тянет. Надо мне это? Не хочу, пусть сам...

Интересно, сколько это состояние будет длиться? Ведь не тяготит... Комфортно. Он уйдёт — и свобода. Свобода лежать и ничего не делать. Даже не думать. Полудрёма наваливается, образы какие-то неясные: родители, школа, куда-то иду, солнце, деревья, море, муж и Стас порой всплывают, какие-то мужики незнакомые — то ли из фильмов, то ли случайно встреченные, но это редко. Хорошо. Всё размыто, нет чётких контуров и конкретных действий. Плыви...

Вставать надо.

Медленно, по-старушечьи, спустила ноги с кровати, сидела, чуть раскачиваясь. Ночнуха перекрутилась в поясе, мешала.

Обрезанные валенки — на ноги, с гвоздя — телогрейку. Сначала до туалета добраться, мыться, одеваться — потом.

Замерла на пороге, так и не прикрыв за собой дверь. Весна. До весны дожили. Ещё холодно, ещё снег, но уже солнце высвечивает по-утреннему белёсое небо, на котором ни облачка. Туманная дымка стелется над землёй. Дымы из труб тянутся вверх. Тихо и бессмысленно радостно. Только капли, срываясь с крыши, бьются в заполненную водой, пробитую ими же канавку во льду.

Теперь растопить печь и согреть воду. Ватник не снимала: выстудился дом за ночь. Со скрежетом отъехала заслонка. Щепа, газета, спичка — загудело, заметалось пламя. Четыре полешка: два вниз, два сверху — утренняя протопка, экономить надо.

К печке она относилась уважительно, даже побаивалась её. Казалась почти живым существом, хозяйкой дома, от которой зависит их жизнь. Если что не так, может и наказать — как тогда, на второй день после приезда. Кондратьев до ночи возился во дворе по хозяйству, уработался до такой степени, что засыпал во время ужина. Лёг сразу, успел только буркнуть, чтобы за печкой присмотрела, и отрубился. Она тоже устала, поэтому прикрыла заслонки, чтобы тепло не выдувало, и легла следом. Очнулась в сенях, куда её выволок Кондратьев. Дико, до крика, болела голова, глазные яблоки, казалось, вывалятся из глазниц, и тошнило. Угорели бы насмерть, но повезло. Топчан, на котором спал Кондратьев, стоял возле окна — в окне щель, в щель дуло. Проснулся. Сообразил сразу, подхватил под мышки, волок по полу, она уже ничего не чувствовала. С тех пор сам следил за печкой, ей не доверял.

Воду в чайник. Электрический чайник — это первая совместная покупка. Прежний, Кондратьев говорит, как и многое другое, растащили соседи. Из сарая принесла детское оцинкованное корытце, прислонила к тёплому боку печки — пусть хоть немного согреется. Хорошо, что много воды не нужно, вчера мылась, сегодня так, подмывка. Плеснула горячей на дно корытца, чтобы не стоять босыми ногами на мёрзлом железе. Ночнуху не сняла — холодно, подобрала и завязала узлом на животе. Присела.

Несмотря на навалившуюся апатию и безразличие ко всему происходящему, два правила она соблюдала неукоснительно. Никакого ночного поганого ведра — только туалет, неважно, что темно и холодно, а порой, и страшно. Второе — близость раз в неделю и обязательно после мытья. (Вот так и появились чистые четверги, как их называет Кондратьев. Он — в баню, она — в корыто. Знала, что если хоть раз отступит, то покатится вниз необратимо.)

Вот кто ты, Лёля? Проститутка? Нет. Не за деньги же... Но живёшь-то в его доме, он кормит. Нет, не то. Здесь другое. Но ведь без любви? А там, в Москве? Стас мне нравился. С ним хорошо, весело было. А любовь? А с тем, которого разрабатывали? Так один раз всего... Такой экземпляр — настоящий мужик: здоровый, злой, уверенный в себе. Никогда у меня с таким не было... Интересно, попробовала. Просто случилось так... После «чистого четверга» накатывала «пятница самокопания». Привычно, как затёртую колоду карт, перебирала свои постельные отношения с мужчинами, пытаясь понять: почему с ними?

Кондратьев... Случилось, когда решила остаться, до этого даже в мыслях не было. Ровные приятельские отношения — от слова «дружба» он как чёрт от ладана шарахается. После звонка в Москву всё безразлично стало: где я, с кем я, как дальше? Аморфное состояние: скажешь идти — пойду; скажешь сидеть — сяду. Хотела только одного: чтобы в покое оставили.

Сидела на крыльце, смотрела, как дрова колет. Голый по пояс, потный, белый, как сметана. Мышцы на спине перекатываются. Последнее время всё чаще замечала, как сквозь московский налёт проступает что-то крестьянское, земляное... В том, как походя, не задумываясь, по-хозяйски подпирает укосиной завалившийся забор, как вытирает руки после работы первой попавшейся тряпкой, как, умываясь, споласкивает не только лицо, но и обязательно шею. Это вызывало смутное уважение, но и отодвигало его, делало незнакомым. Это «незнакомство» и побудило задуматься о своём статусе. Кто она ему? Почему с ним? И ещё... смутно... не могла себе связно объяснить. Сейчас она чувствовала в нём мужика, который крепко стоит на земле, который, не сознавая, живёт по правилам, придуманным задолго до его рождения. И эти правила подразумевают женщину рядом — помощницу по хозяйству, по жизни. А кто она? Для всех считается женой, а на самом деле? Эти мысли метались в сознании, пока однажды вечером не оказалась возле его постели. «Подвинься, Кондратьев», — произнесла в темноту.

Он всё же уговорил, чуть ли не силой заставил поехать.

Шли к станции. Он впереди, она чуть подотстав. Злилась на него, на себя. В город! Москва — это Москва, Питер — это Питер, а это — просто город. Как и то место, где они сейчас живут — просто посёлок. Безликое скопление людей и домов, затерянное в пространстве. И мы полностью соответствуем безликости, бредя по блестящему накату дороги, где сквозь протаявшие дырки во льду чернеют разбросанные камушки.

Раннее утро, семи ещё нет. Тепло и влажно. Тает. Туман вязкий, серый, затопил округу. В двух шагах очертания предметов размываются, в десяти — белёсый занавес опустился. Тихо, даже собаки не лают. Мы в пустом прозрачном шаре — туман сюда не проникает, а за пределами уже ничего нет. Бредём внутри этого шара, наступаем на стенки, и катится он вместе с нами. Здесь ещё можно дышать. Лопнет — и навалится туман, забьёт ватой горло, пропадёшь, исчезнешь, как и всё вокруг.

Стояли на перроне, блестели уходящие в никуда рельсы. Понятие «перрон» — условное: полуметровая изогнутая дугой приступка из бетона, выползающая из тумана и ныряющая обратно. Пусто, никого больше... Мёрзли ноги в кроссовках. Не в сапогах же ехать. Длинно прокричал поезд, казалось, помощи просит. На серой занавеси тумана медленно проступало изображение, как будто чёрно-белую фотографию печатали. Лязгнул железом, остановился.

Этот поезд местные называют смешно — «Кукушечка». Три вагона, пропитанные запахом половой тряпки. Скамьи из обшарпанной по краям фанеры, покрашенные

коричневой краской. Сидела нахохлившись, отрешённо смотрела в окно. Кондратьев напротив — спит, запрокинув голову и приоткрыв рот. В вагоне ещё двое. Мужик в ватнике, похоже, мающийся с похмелья: волосы на голове как войлок, вертится на лавке, то так сядет, то эдак, никак не устроится; и тётка, замотанная платком, лица не видно, — в сумке своей копается, перебирает что-то. На стекле капли, за стеклом серая муть. Куда-то еду... Зачем? Проплыли приземистые строения с выбитыми окнами, бетонный забор с обрушенной секцией, поезд выполз на простор, и из тумана мутно проступил тёмный контур леса, разреженный белыми стволами берёз. Закрыла глаза — не на что смотреть.

Город определился площадью, открывшейся за зданием вокзала, запруженной разномастными автобусами, редкими машинами, едва ползущими по разбитому асфальту, залитому талой водой, ларьками с облупившейся краской, остатками сугробов, покрытых чёрной коростой грязи, и хаотично пробирающимися среди луж людьми, обременёнными поклажей. Солнце, разогнавшее туман, весело поливало светом.

— Пешком или на автобусе? — спросил Кондратьев.

— А далеко? Сколько по времени?

— Пешком — минут сорок.

— Пошли.

В привокзальную площадь упиралась центральная улица. Четырёх- и пятиэтажные дома старались стыдливо укрыться голыми ветвями деревьев. Вывески магазинов; словно игрушечный, стадион в глубине; детская площадка, обрамлённая остатками снега, с вытаявшими боками бутылок; широко раскинувшиеся ступени, ведущие к проходной какого-то производственного здания; вереница побелённых стволов деревьев вдоль проезжей части. Не так всё и плохо... — подумала. — Просто ранняя весна — вся грязь наружу. Зазеленеет, уютно станет. Похоже, симпатичный городишко. И километра не прошли, как дома стали терять этажность. Пошли барачного типа, двухэтажные, почерневшего дерева. Два ряда окон, в каждом третьем — герань на подоконнике. А они закончились — раскинулся низкорослый частный сектор, поделённый проездами и проулками, закрывшийся от чужих глаз глухими заборами.

Дорога протяжно забиралась в горку и наконец уткнулась в распахнутые настежь, вросшие в землю створки ворот на монументальных кирпичных столбах, тронутых временем. Впереди, за частоколом мощных сосновых стволов, возвышалось трёхэтажное здание. Именно возвышалось — гордо смотрело окрест вытянутыми арками окон, а две полубашни по краям делали его похожим на средневековый замок. Козырёк над входной дверью, куда вела широкая лестница, покоился на двух колоннах, и вверх, на два этажа, до самой крыши — огромная арка с затейливой мозаикой сверкающего на солнце стекла. Здание казалось застывшим, безжизненным.

Никак не ожидала. По его рассказам представляла интернат обычным зданием школьного типа — казённым и серым. А тут такое! Почти замок! Постмодерн с налётом готики.

— Ну как? — спросил Кондратьев.

— Да... Слов нет. Неожиданно... Это усадьба чья-то?

— Да, дворянская усадьба, только не помню, чья. Спросим. Когда учился, мне это совсем не интересно было. Знаю, что после революции здесь размещалась психбольница для неизлечимых, а во время войны — госпиталь. Интернат уже после... Нам, пацанам, всегда было любопытно — куда психов дели, когда война началась? Колька Свищ божился, что их в парке закопали, и директриса знает, где.

Створка двери медленно приоткрылась — в образовавшуюся щель просочились двое мальчишек в одинаковой форме мышиного цвета. Слетели вниз по лестнице, смешно размахивая руками.

— Пацаны курить за угол побежали, — пояснил Кондратьев, — всё, как и раньше. В туалете не покуришь — отловят. Мы тоже на улицу бегали.

— Ты же не куришь.

— Пару раз, за компанию, пробовал. Гадость!

— Пойдёшь? — спросила с усмешкой. — Или издали поностальгируешь?

— Зайду. Зря, что ли, ехали? Посмотреть хочется, что и как... С Марией Николаевной поговорить — это директриса. И ещё... завхозом Надежда Валентиновна была... она меня почему-то выделяла, наверно, жалела. Даже домой на выходные забирала — подкармливала домашним. Хорошая тётка.

— Кондратьев! Ты бы хоть тортик захватил, а то с пустыми руками.

— Не подумал как-то... не сообразил.

Видно было, что расстроился. Стоял, ковырял слежавшийся ноздреватый снег носком кроссовки. Исчезла привычная уверенность к себе. Сейчас, в старой кургузой курточке неопределённого грязно-серого цвета, он походил на зашуганного интернатского пацана-переростка, который опять провинился, сделал что-то не так.

— Пойдёшь со мной?

— Нет. Здесь подожду. Прогуляюсь. Ты надолго?

— Полчаса.

Легко взбежал по ступеням, потянул за ручку двери. На фоне монументально застывшего здания казался маленьким.

Медленно огибала «замок» по круговой дорожке. Наткнулась на куривших ребят. Заметив её, спрятали дымящиеся сигареты, ждали, когда пройдёт.

Солнце пригревало, но ноги в кроссовках мёрзли — машинально притоптывала время от времени. Всё-таки это парк — только уж больно неухоженный. Если от молодняка, что разросся среди больших деревьев, очистить, то просторно станет, красиво. Снег здесь и не думал таять, лежал плотным настом, обсыпанный рыжими сосновыми иглами и сбитыми ветром сухими ветками. Только возле стволов образовались круглые проталины, заполненные свинцовой водой, будто закопанные в землю кадки, куда когда-то давным-давно посадили слабые саженцы, а они со временем налились силой и вымахали до самого неба.

Обогнув здание, удивилась, увидев Кондратьева. И пятнадцати минут не прошло, что-то он быстро...

Махнул рукой, она ответила.

Рядом стояла женщина, едва достающая ему до плеча, в накинутом на плечи потёртом мужском пальто с каракулевым воротником — полы почти до земли. Из-под пальто — белый халат, надетый поверх фиолетовой кофты. На ногах толстые шерстяные носки и галоши — сто лет таких не видела! Полная, с выпирающим животом. Шестьдесят? Семьдесят? Не определишь. Нет возраста — пожилая. Лицо широкое, доброе. Морщины по лбу и возле глаз. Улыбается открыто. Жидкие волосы с обильной проседью собраны в «дульку» на затылке и прихвачены аптекарской резинкой.

— Это моя жена, Лёля. А это — Надежда Валентинна. Я тебе говорил...

— Да, да! Лёша много о вас рассказывал, вспоминал с теплотой, спасибо вам! — затараторила, включив дежурную улыбку на лице.

Смотри-ка, всё как и раньше, не разучилась.

— Какие же вы молодые и красивые! Молодцы! Теперь детишков вам надо... ну да успеете, какие ваши годы. Ухватила за рукав, в глаза заглядывает. И ведь радуется, видно, что по-настоящему рада — вон как с гордостью посматривает на Кондратьева. Удивительно! Есть же люди, которые его любят. Хотя... тогда он маленький был...

Медленно шли по дороге, блестящей ледяным накатом, обильно посыпанной жёлтым песком. Надежда Валентиновна держала Кондратьева под руку, висла на нём, а он склонялся к ней, что-то отвечая.

Она шла сзади. Было немного завидно, совсем чуть-чуть. Это была не её жизнь. Его...

Едва заметный промельк возле ближайшего дерева. Остановилась. Белка! Серая спинка с рыжей подпалиной, пушистый хвост. Ловко перебирая лапками, цепляясь коготками за кору, взлетела по стволу на два метра, замерла, распластавшись.

— Белка, Кондратьев, белка! — старалась не кричать громко, чтобы не спугнуть.

— Где? — обернулся.

— Вон! Правее. На дереве!

Белка вертанулась на месте, зигзагом, вниз головой, ловко скользнула вдоль ствола и скрылась на противоположной стороне.

Ну вот... спугнули.

— Тут их много развелось, — объяснила Надежда Валентиновна. — Есть которые прямо из рук семки берут, не боятся.

Белка появилась неожиданно. Невесомым пушистым комком заскакала по насту до ближайшего дерева, метнулась по стволу вверх, затерялась среди ветвей.

— Когда здесь жил, их не было, — с сожалением произнёс Кондратьев.

— Много чего изменилось... — уклончиво произнесла Надежда Валентиновна. — Дальше я с вами не пойду, вы уж сами, а мне ещё бельё раздавать — банный день сегодня, — пояснила. — Лёша, ты же помнишь? Вниз по этой дороге, прямо в дэцэпэшный и упрёшься.

Распрощались. Расцеловались трижды. Стояли, смотрели вслед. Не торопила. Его время. Вдруг почувствовала, что довольна сегодняшним днём: парком, белкой, солнцем, этой женщиной, простой и доброй. И всё хорошо, и улыбаться хочется, даже смеяться, вот только ноги замёрзли.

— Кондратьев, а пойдём куда-нибудь погреемся?

— Замёрзла? Сейчас, тут недалеко...

— Нет, только ноги. А дэцэпэшный — это что?

— Дети дэцэпэшные лежат, ну... больные. Корпус больничный небольшой здесь, на территории.

— Зачем нам туда?

— Директриса, которая меня в интернат устраивала, сейчас там работает. Из интерната то ли сама ушла, то ли её ушли... Тёмная история. Я пока не понял. Но повидать надо. А потом домой поедем.

Впереди показалась женщина в дутом малиновом пуховике, толкающая перед собой коляску. Поравнялась. Девчонка — двадцати нет — лицо серое, измождённое, в прыщах. Коляска старая: корытце, где ребёнок лежит, проволокой к раме прикручено, в колёсах спиц не хватает. На нас не глядит, как и нет никого здесь. Толкает с остервенением коляску по ледяному накату. Бормочет что-то. Не на ребёнка, перед собой смотрит. «...Этому козлу...» — донеслось, когда проходила мимо.

Тоскливо стало под синим небом.

— Кондратьев, это то, о чём говорил? — разворотом головы указала на удаляющуюся мамашу с коляской.

— Да. Куда только мы с пацанами не залезали... Но к этому корпусу никто не подходил. Табу. И не потому, что страшно. Просто... — замялся, подыскивая слова, — там было совсем плохо... ещё хуже, чем у нас. Никто не хотел на это смотреть.

Показалось длинное одноэтажное здание, выкрашенное жёлтой краской, под металлической крышей, блестящей на солнце. Рядом беседка весёлой расцветки, две припаркованные машины возле возвышавшихся сугробов. Удивилась — пластиковые окна?! Они в Москве-то редкость. Вынесенный входной тамбур с закрытой дверью, обитой старым дерматином. Пусто, людей не видно, спросить не у кого. За зданием, почти вплотную, бетонный забор с приоткрытыми воротами — цепь и замок, но щель довольно широкая.

— Рассказывали, здесь раньше конюшня была, а теперь под больницу приспособили. Как-то неудобно с чёрного хода соваться, — неуверенно проговорил Кондратьев. — Давай через ворота выйдем и зайдём как нормальные люди? Там проходная должна быть.

Протиснулись, посмеиваясь над собственной неуклюжестью. Действительно, проходная рядом. Деревянная времянка, выкрашенная выгоревшей на солнце белой краской с розоватым оттенком, окно, забранное решёткой, за которым ни черта не видно, железная дверь с глазком и грязным вертикальным потёком, чёрная пуговка звонка сбоку. Самодельная скамейка на ножках-чурках под окном. На стене казённая вывеска: «Детская психоневрологическая больница» — золотыми буквами на синем фоне.

Перед проходной — раскатанная машинами до грязного месива площадка, дальше дороги нет — конечная...

Охранник с толстым лицом, таким же мятым, как униформа, грыз семечки, шелуха налипла на нижнюю губу, мешала говорить. Лениво стараясь сдуть её, объяснил, как найти заведующую. Лязгнула дверь за спиной.

Они оказались там, откуда пришли, только с другой стороны здания. Двустворчатая входная дверь. Маленький тесный тамбур, проход и ещё одна дверь в большую квадратную комнату — по стенам и посередине рядами шкафчики, как в детском саду. Знакомые до боли картинки на дверцах: ёлочки, яблочки, вишенки. В приоткрытых дверцах видна детская одежонка. Закуток — кладовка, с уложенными друг на друга чемоданами и набросанными сверху куртками, пол заставлен обувью — не детской, взрослой. Теснота и сырой запах одежды.

— Раздеться, наверное, надо...

Разделись, тщательно вытерли ноги о мокрую тряпку из грубой мешковины, разложенную перед дверью.

Коридор, куда попали, выйдя из раздевалки, казался бесконечным — туннель, труба. Окно в торце с расстоянием теряло форму, превращалось в светлое размытое пятно. Редкие плафоны на потолке, казалось, установлены не для освещения, а лишь для обозначения длины коридора. Двери, многократно повторяющиеся белые двери по обе стороны — закрытые и распахнутые. Женщины в цветных домашних халатах, с детьми на руках, в броуновском хаотичном движении заполняли пространство. Многоголосый шум, прорезанный редким детским плачем. Тёплый застоявшийся воздух со сладковатым запахом мочи и медицины обволакивал, мешая свободно дышать. Инородными телами, безликими и незамечаемыми, уступая дорогу, добрались до конца коридора, к двери с латунной табличкой: «Заведующий отделением».

Мария Николаевна была женщиной дородной, с пугающим размером бюста. Вереница деревянных, отливающих чернотой бус струилась железнодорожным составом по холмистой местности. На широком расплывшемся лице, казалось, навсегда застыла гримаса презрительной усталости. Скала среди набегающих пенных валов неразрешимых проблем: либо разобьются и отхлынут, либо, огибая, покатятся мимо.

— Лёша! Да неужели?.. — тяжело поднялась из-за стола.

Смотри-ка, улыбаться умеет. Неприязнь почувствовала сразу. Заложено судить о людях по первому взгляду. Сработало определение «свой-чужой». Всегда интуитивно чувствовала: с этим человеком возможен духовный контакт, а с этим — нет. Ошибалась часто, но ничего с собой поделать не могла. Вот и сейчас... Сидящая за столом шестидесятилетняя женщина с распирающими синий жакет телесами и застывшим властным лицом явно относилась к категории тех, кого она не понимала и не любила. Такое выражение лица и осанка бывают у продавщиц в продуктовых, у администраторов гостиниц, в паспортном столе, в бухгалтерии. Люди, которые умеют легко сказать «нет», навязать в приказном порядке свою волю, требовать неукоснительного выполнения правил.

Опять дежурную улыбку на лицо, опять при нём... опять жена, не являясь женой. Предложили сесть, один стул для посетителей возле стола, остальные вдоль стены — опять в стороне, у него за спиной, разговаривают, меня нет, скучно и противно.

— Прошу прощения, — вклинилась в разговор, ждать, когда закончат, сил не было, — если позволите, я на улице Алексея подожду? Что-то нехорошо мне... душно.

— Я сейчас форточку открою, — участливо предложила Мария Николаевна, но с места не сдвинулась.

— Нет, что вы, не надо! Я пойду... — тихо затворила за собой дверь.

Коридор опустел. Из-за закрытых дверей раздавались детские голоса, где-то, не разобрать за какой, ребёнок монотонно выплакивал одну и ту же ноту. Несмотря на обволакивающую духоту, на улицу выходить не хотелось, ноги всё ещё не согрелись. Встала у окна, опёрлась локтями о широкий подоконник. Сквозь мутное стекло проглядывал угол строения с зарешёченным окном, ствол дерева в морщинистой коре, криво воткнутая в сугроб детская лопатка с красной ручкой. Словно пули, промелькнули птицы.

Шаги за спиной. Обернулась.

В перевалку, по-утиному, приближалась пожилая тучная женщина в криво сидящем белом халате.

Что-то не так с ногами — болеет или инвалид.

Морщинистое лицо с большой коричневой бородавкой под глазом оживлял взгляд — смотрела цепко, с интересом.

— На усыновление? У заведующей была? Первый раз, что ль?

Ошарашила вопросами. Здороваться не сочла нужным. Сразу на «ты».

— Да. Вот жду... — договорить не успела.

— Пойдём, покажу, что ж с тобой поделаешь? Халат только тебе надо... Сейчас, в шкапчике... Приходють, уходють, цирк развели. Сучкины дитёнки не виноваты, что мамашки сучки. А ведь и верно, кто спросит-то? Ох ты, горе горькое... За этими хоть уход, а те так и лежат окатышами.

Пошла за ней, как привязанная, подстраиваясь под неспешную валкую походку. Бубнёж завораживал. В голове образовалась звонкая пустота.

— Сама-то откуда будешь, приезжая, што ль? На, держи... — кряхтя, согнулась в пояснице, держась рукой за открытую дверцу тумбочки у стены. Сунула в руки

сложенный белый халат. — Можешь не надевать, накинь просто. А бумажек-то, бумажек сколько нужно... ах ты, Господи! Но ты с Марией-то поговори, поговори... она такая... Вот ведь получается: одним Бог даст, да не берут, другим... на всё воля Божья. Вон, гляди, какие окатыши, — распахнула одну из створок высокой двери под потолок.

Как во сне, смотрела на руку в старческих пигментных пятнах, на матово поблёскивающую медную ручку скобой, на потёки белой краски, застывшие возле замочной скважины.

Комната большая, светлая. Три окна, забранные жалюзи, широкие подоконники. Стены выкрашены бледно-зелёной масляной краской, высокий белый потолок. Возле двери раковина со следами ржавчины, торчащий сосок крана, украшенный вентилем. И кроватки... Металлические кроватки с решётчатыми бортиками. В каждой, посередине, на застиранной до невидимых цветочков простыне, лежал ребёнок, запелёнутый, только головка видна. Перекинутое через спинку шерстяное одеяльце в клетку — грязно-синее с белым. Закутанные полешки, окатыши, как их определила тётка, среди прозрачных воздушных кубометров пустой комнаты, в застывшей тишине казались ещё не родившимися, а только ждущими своего появления на свет.

— Как много... — выдавила из себя.

— Шесть. Больше таких не берём — полна коробочка, — показалось, произнесла с гордостью, как грибник, скупо гордящийся собранными белыми. — Посмотрела? Это не для тебя, да и не нужно такого... выживет ли, а если выживет — какой будет? Ох, отказнички, отказнички... Пойдём, девка, я тебе других покажу, старшеньких. — Неуклюже развернулась, задев раковину умывальника. Ребёнок в ближайшей кроватке сморщил личико, задвигал губами, ловя что-то невидимое в пустоте.

Пропустила «девку» мимо ушей, приняла как должное.

Шаркающие шаги внутри коридора. Ещё дверь.

Показалось, комната больше, хотя, наверное, такая же. Восемь кроваток насчитала — первое, что сделала, когда вошли. На детей не смотрела, лишь мазнула взглядом, боялась увидеть. И только потом... Разные. Кто сидит, вертит в ручонках игрушку, кто стоит, держась за решётку. Одинаково коротко стриженные, где мальчик, где девочка, сразу не различишь. Вон тот, странно держит голову, наклонив набок, словно шейка не разгибается, и взгляд бессмысленный, подбородок в слюнях, мокрый. В ближайшей кроватке — лежит на спине, распорки между ног, теребит ручонками, комкает простыню. Мальчик, девочка? Те, что стоят, держатся за спинки-решётки. Колготки приспущены, с вытянутыми у стопы пустыми концами, похожими на червяков. Сверху то ли кофточки, то ли платьица короткие надеты, застиранные до безцвета. Вон тот лежит на животе, игрушку жёлтую сосёт, ножки между прутьями решётки — наружу.

— Ах ты батюшки, опять ножки выпростал. От, егоза! Не лежится ему, — подковыляла, подхватила под мышки, уложила. Ребёнок никак не реагировал — так игрушку изо рта и не выпустил. — А ты что слюни пускаешь? — это она тому, с повёрнутой шеей. — Вон, мокрень какую развёл! Так и останешься на мокром лежать, никто тебе простыню менять не будет, — рукавом халата отерла слюну.

Вдруг поняла, *что* пугает, не даёт ступить в комнату, подойти к детям: тишина! Даже приход посторонних не вывел их из внутреннего оцепенения. Казалось, каждый поглощён только собой, и нет им дела до внешних раздражителей.

Так и застыла в дверях. Присматривалась к каждому — разные и в тоже время одинаковые. Одинаковость во взгляде — пустом и скорбном. Детское одиночество.

В кроватке возле окна, вцепившись ручонками в прутья решётки, стояла девочка. Что это девочка, определила сразу, несмотря на короткую стрижку и такую

же одежонку, как у всех: обвисшие на попе колготки, кургузая байковая рубашечка в бледно-зелёных разводах. Худая, болезненно худая. Тонкие ножки засунуты в огромные чёрные ботинки, высокие, под колено. Воткнули её в эти ботинки и поставили. И шага в них сделать не сможет — будет стоять, пока не снимут. На измождённом бледном личике огромные скорбные глаза, грустные, как у спаниеля. На нас не смотрит, в окно глядит. Только видит ли она там что-то?

Подошла, встала рядом с кроваткой. Надо бы на корточки присесть, чтобы глаза в глаза, на одном уровне. Что-то мешало. Так и осталась стоять, глядя на стриженую детскую макушку, на ручки, вцепившиеся в решётку, на пальцы с крохотными ноготками.

— Это у нас Таня, — протяжно пояснила нянечка из другого конца комнаты. — Таня у нас упрямая и ленивая. Да, Таня? Ходить Таня не хочет и разговаривать Таня не хочет. А ей уже почти два годика, — многократное повторение имени звучало как мантра, рушащая безликость, но девочка не реагировала, так же отрешённо смотрела в окно.

— Вот вы где! — заполнила дверной проём Мария Николаевна. Из-за плеча смешно торчала голова Кондратьева. — Кузьминична, ты зачем её сюда привела?

— Так, Мария ж Николавна, я ж думала, дитёнка брать хочет. За этим пришла... Вот...

Неудобно. Словно через замочную скважину чужую жизнь подсматривала, а они поймали. К выходу! Уйти отсюда!

— Да, да, пойдёмте. Извините, что так получилось. Спасибо вам, Мария Николаевна, до свидания!

Женщины остались стоять в дверях палаты, о чём-то беседуя. Ухватила Кондратьева за рукав, потащила за собой на выход, к двери. На улицу, скорее! Прочь от этих пустых взглядов, запахов, гулкой тишины детской палаты.

Скучающий толстомордый охранник с горстью неизбывных семечек показался родным — он из этого мира, из привычного, не из того... Захлопнулась дверь, щёлкнул замок. Запрокинув голову, стараясь сдержать слёзы, вдыхала холодный воздух, смотрела на высокое синее небо, на голые ветви деревьев, чуть раскачивающиеся на ветру. Что-то говорил Кондратьев. Не слышала, не слушала. Мир обрушился — черепаха нырнула, слоны утонули.

— ...Автобуса дождёмся, через двадцать минут должен подойти, — прорезался голос Кондратьева.

— Подожди меня, я сейчас... — обратно к двери, надавила на кнопку звонка.

Глава 10

Кондратьев

Вдоль забора, по узкой тропке... Грязь чавкала под ногами. Пахло оттаявшей землёй и сыростью. Апрель разлился лужами по дорогам, освободил пучки прошлогодней сухой травы от навалившегося снега, пробудил реку — забурлила, понеслась, загудела, перекатывая по дну камни. Дневное солнечное тепло тормозило всякое движение — хотелось замереть, закрыв глаза, подставляя лицо льющемуся свету. Замельтешила птичья мелочь. В одночасье возникли вездесущие сороки — заполошно орали, перелетая с ветки на ветку, скакали по крышам. Вечерами апрель отступал, наваливался

промозглый ночной холод. Вот и сейчас: солнце ещё не зашло, а уже пробирало до лёгкого озноба. На сапогах по пуду налипшей грязи. Раздражал целлофановый пакет с кроссовками — как в детстве, «сменка» в школу — рука мёрзла. Через плечо портфель, всё тот же — московский, но уже потёртый, оплывший, с белёсым нестираемым пятном от жвачки — прилепили малолетние уроды! Ничего... уже недалеко, там тепло протопленной печки и яркий свет лампы под абажуром над столом. О том, что ночью придётся плестись домой по этой же грязи в темноте, не думал. Это будет потом.

Головой повредилась — точно. Всё-таки бабы — это нечто отличное от мужиков. Хрен просечёшь, что у них на уме. Зачем ей это нужно? А может, и к лучшему, из ступора выйдет? Тебе-то что? Почему злишься? Сам же хотел, чтобы валила отсюда, уехала. Не, ну а как она директрису развела?! Ведь кремень-баба была, насквозь всех видела. Постарела, что ли? Умеет! Этого у Лёли не отнимешь. Без мыла, в любую щель... Хотя... на такую копеечную зарплату хрен кто работать пойдёт. Но всё равно... Нянечка при дебилах. Карьера, твою мать! Подвижница. Мать Тереза. Или так достало совместное проживание? Тогда валила бы в свою Москву. Почти месяц уже прошёл, как она там сидит безвылазно. Съездить, что ли? Поглядеть на эту дуру. Сама сбежит, не выдержит. Чего я о ней думаю? Кто она мне? Пошла на...!

Шёл к Ларисе. Сошлись через неделю, если это можно так назвать, после возвращения из города. Она давно на него глаз положила. И раньше не смущало, что женат и дома ждут. Простенькие ужимки, якобы случайные касания, горячее дыхание возле уха, когда склонялись над столом, разбирая в учительской детскую писанину, — приторно, смешно, навязчиво. И было неудобно: коллектив маленький, все видят и замечают, посмеиваются. Пока рядом была Лёля, внимание на это не обращал. Лариса не обижалась, но и примитивных ухаживаний не прекращала. Добилась всё-таки своего, сучка! Усмехнулся, стряхивая ошмёток прилипшей грязи с сапога. Прусь теперь к ней... А что? Дома одному лучше, что ли?

Затянуло, как в омут. Сразу. Зазвала к себе домой — и всё... Да, в общем-то, и не сопротивлялся, свысока посматривал на эту дурёху, посмеивался про себя. Проста, как правда. И так же скучна.

А в доме — светло, тепло и телевизор урчит. Тарелки на столе. Салатница с оливье, хлеб порезан, в хлебницу аккуратно сложен — ломтик к ломтику. Мясо скворчит на сковороде, дух мясной по всей комнате. Бутылка красного вина, рюмочки, и фигуристки мечутся по льду на экране. Смешно смотреть на её потуги — готовилась, волнуется, но так приятно расслабленно сидеть, вытянув под столом ноги, чувствуя себя желанным гостем. Да и не уютом она взяла... а тем, как слушала. Развезло, разморило после еды в тепле и понесло — начал рассказывать. Про Москву, как учился в Универе, про защиту, про фирму, деньги и квартиры. И привирать не требовалось, рядом с ней крутым себя чувствовал. Только про Марину с Алиской не рассказал. Слушала. Приоткрыв рот, внимательно. Видно было, и половины не понимает, да и не нужно понимать ей... но остановиться не мог. А она, то ногу на ногу положит — халатик распахивается, обнажая полное бедро, спохватится, одёрнет, то грудь поправит, будто что-то тянет там, то до руки дотронется — сопереживает якобы и при этом в глаза смотрит.

Лариса разведёнка. Молодая, тридцати ещё нет. Красивая? Может быть, по деревенской мерке... но не в моём вкусе. В платьях всё время ходит, а ноги толстые. Ей бы в брюках... Лицо широкое, улыбчивое, но из-за того, что всё время с учениками... хмурится по привычке, серьёзность на лицо нагоняет. Оттого и ранние морщины

на лбу. Светлая родинка над верхней тонкой губой. Крашеные рыжие волосы — то распустит, то — в пучок на затылке. Туфли на низком каблуке. Учительница, одним словом. В руках указка, под мышкой — журнал. И этот стандартный образ строгой училки тщательно поддерживается.

Улыбнулся, вспомнив: одногруппник Васька Пестов, отслуживший в погранвойсках кинологом, частенько характеризовал определённый тип женщин едким «уральская низкожопая». Лариса, пожалуй, из той же породы. Удивительно, но это её не портит, скорее, наоборот, добавляет своеобразную сексуальность. Странно, что детей нет. Спросить? Лучше не лезть. У них здесь как? Замуж — и рожать сразу.

О муже бы узнать... почему разошлись? Ладно, потом как-нибудь...

Про постель тогда и не думал. Думал — просто посидим, о делах школьных побеседуем. Не пошёл бы к ней, но сам подставился, случайно похваставшись, что немного разбирается в технике. Вот и вляпался сразу.

Посуду со стола убирала, а я всё соловьём заливался... Сзади подошла, навалилась, прижалась, обвила руками. Грудь мягкую шеей почувствовал, дыхание горячее возле уха. И уже не дёрнешься. Не отпихивать же? Глупо. Замолчал. Делать что-то... Руками обхватил за задницу. Почувствовал под халатом резинку трусов, врезавшуюся в мягкое.

— Сейчас, — прошептала, — подожди.

Легко освободилась. К стене. Щёлкнула выключателем. Темно. Только поблёскивает стекло в окне — фонарь со двора светом оглаживает.

За руку потянула, заставляя встать со стула.

Постель. Поверх покрывала... И закрутилось бесстыже и открыто. Словно не в первый раз, словно в тридцатый — вожделенный. Целовала, ласкала, шептала слова — без остановок, без пауз, заставляя отвечать, поддаваться этим рукам и губам, податливому и раскрытому телу. Такого с ним ещё не случалось, не подозревал, что можно так бездумно провалиться в слепое блаженство. Лёгкость единения вымывала остатки разумной оценки происходящего. Только потом дошло... учили пользоваться дозволенным, а дозволено было всё.

Ни с Мариной, ни с Лёлей такого не было.

Марина... Как-то сразу, само-собой разумеющимся, установились правила семейной жизни — что в быту, что в постели. Это — можно, а вот это делать не следует. И со временем, выстроенная по чужому проекту стенка не становилась тоньше, наоборот — превращалась в монолитную. Каждый обитал на своей территории. Результат предопределён. Но как же красиво она меня кинула! Может, не она? Может, это я их?.. Какая, к чёрту, разница, кто кого!

Захлестнуло злобой на жену, на себя, дурака. Вспомнил телефонный разговор с отцом Марины — засел саднящей занозой. Тот говорил с ним словно нехотя, не скрывая презрения — это ещё можно понять, не давал о себе знать почти полгода. А вот информация огорошила: Марина не хочет его видеть и просит при первом же удобном случае оформить развод. Да, у них всё в порядке — обустроились, Марина работает, Алиса учится. И гудки в трубке. Вот тебе и прикрытый тыл. Сам всё неправильно сделал. Нельзя было всю сумму от проданной квартиры ей отдавать. Поделить. Чтобы на подсосе была, от меня, от моих денег зависела. Хотя, как тут поделишь, квартира-то на деньги тестя куплена.

С ожесточением тряхнул ногой. Ошмёток грязи, прилипший к подошве, тяжело отлетел в пожухлую траву, торчащую из снежного наста у забора. И вдруг увидел себя, улыбающегося, идущего рядом с Лёлей по освещённой огнями реклам улице, среди

спешащих людей, мчащихся машин. Асфальт под ногами, огни отражаются в лужах. Усмехнулся. Пропало. Выбирал, куда поставить ногу, чтобы не соскользнуть в грязь.

Лёля... С ней совсем непонятно. Вернее, наоборот — прозрачно так, что глаза режет. Обстоятельства швырнули, вот и сплелись волей случая, стараясь уберечься от одиночества. Без любви, без тяги, без желания — физиологическая механика приспособленных друг для друга тел.

Ха! Интересно. Это ведь я её мысли пересказываю, а кажется, что свои... Во, как вошло! Лёля ещё в Москве объяснила, почему семьи разваливаются и откуда любовники и новые жёны берутся. Из-за стенки этой. В кафе тогда сидели. Злой был. С Мариной поругался. Достала! Ну и рассказал...

— Кондратьев, — говорит, — что ты как маленький? Сядь, подумай, проанализируй, попробуй на эту ситуацию со стороны посмотреть. Вместо этого ты обижаешься, скандалы закатываешь. Бессмысленно, поверь мне. Ситуация проста, как варёное яйцо. Хочешь, рассмотрим классический случай? Если не против, можно и на твоём примере.

— Ну, давай, — буркнул неохотно.

Сигаретой в пепельнице потыкала, а до конца не загасила, дымок от окурка вверх тянется. Не люблю я этого. Вообще не люблю, когда курят. Но Лёле говорить бессмысленно. Не нравится — твоя проблема, уходи.

— Двое. Он и она. Молодые. Чувства. Семейный опыт — ноль. Встречаются. Отношение друг к другу трепетное и уважительное. Свадьба. Совместная жизнь, состоящая из мелких бытовых проблем и притирки в половых отношениях. Что ты вскинулся? До этого вы в постели кувыркались — раз, два и обчёлся? Или я не права?

Промолчал, всё правильно пока говорит.

— Вот вы и начали строить семейную жизнь, основываясь на чужих представлениях о ней — как надо, и на трепетно-уважительных отношениях, которые сложились до. К чему приводит? К правилам. К распределению обязанностей в быту и введению дозволенного в постели, потому как любой несанкционированный выход за рамки может унизить партнёра. Тут между вами и возникла стенка, и со временем она только крепла. Каждый проживал комфортно на своей территории, изредка соприкасаясь. Волевым решением разрушить её практически невозможно. Иногда некоторым удаётся чуть расширить свою территорию, но это редкость. Как правило, эти потуги заканчиваются бытовыми склоками и разводом. Итак, на выходе получили статическую семейную конструкцию... Кондратьев, закажи мне сок. Яблочный. Официантка, вон, у соседнего столика... На чём я остановилась? — задумчиво скребла ложкой по металлической вазочке с размазанными остатками мороженого. — Время проходит, а конструкция остаётся неизменной. Люди взрослеют, меняются. Появляются новые желания. Хочется расширить границы. Как это сделать? Стена, проходящая через семейную жизнь, уже монолит. Остаётся только пробовать искать приключений на других полях. Так появляются любовники и новые жёны. Но и там со временем образуется стена. Единственный плюс этих метаний: на основании уже приобретённого опыта изначально стену можно выстраивать с учётом возникших желаний, устанавливать новые правила и границы индивидуальной территории. Уф! Устала я говорить... Знакомая одна есть... — произнесла медленно, словно раздумывая, стоит продолжать или нет. — Пять лет замужем. Ни разу оргазма не испытала. Муж у неё первым был. Покричала вначале пару раз, имитируя, чтобы ему приятно было. Он успокоился. Доволен — в постели всё в порядке. Так и пошло... А она медленная... признаться стыдно, что обманула. Вот и жила, пока случайно по пьяни не оторвалась с каким-то

мужиком. Всё и случилось... Плакала. Пять лет, говорит, коту под хвост. Ты думаешь, ушла? Так и живут, как жили. Дети у них. Двое.

— И что из этого следует?

— Ничего, Кондратьев, ничего. Твоё дело. Припёрло, хочешь что-то поменять — ищи любовницу на стороне или разводись. Но стенка всё равно выстроится. Или оставляй всё как есть. Я не советчик тебе. Просто постаралась объяснить, как сама вижу.

В проулок осталось завернуть, почти пришёл. Смотри-ка, здесь снег ещё лежит вдоль забора. Не растаял. Грязевая короста поверх, а пнуть ногой всё равно хочется — какой он там, под этой коркой? Пнул, разворошил сапогом. Сероватый, мокрый, из ледяных гранул состоящий. И на снег-то не похож.

А вот это совсем ни к чему... Из калитки, пятясь задом, закрывая за собой щеколду, медленно выползала в проулок старуха — в валенках, в коричневом старом пальто, подпоясанном ремнём, с блином синего берета на голове. Чёрт! Ларискина соседка. Вляпался. Теперь пойдёт писать губерния. Весь посёлок будет обсуждать, что покойной Клавки Кондратьевой сынок-то от законной жены к учительнице Ларискеразведёнке бегает. Да плевать! Это Ларисе с ними жить, не мне. У-у-у, грымза старая!

— Здрасьте, Надежда Трофимовна!

Прищурилась, губы поджала, смотрит, будто не узнаёт.

— Никак Алёшка? Кондратьев? Чего это ты тут?

— К Ларисе нужно зайти, дела школьные обсудить.

— Так у тебя детей-то вроде как и нет? Какие такие дела?

— Я, Надежда Трофимовна, в школе сейчас работаю. Вот кое-что обсудить и пришёл.

— А... ну-ну. Иди...

Не уходит. В спину уставилась. Дождалась, пока в калитку вошёл, только потом дальше поковыляла.

Возле крыльца — железная планка из земли щерится: обувь от налипшей грязи очищать. Хозяйственный был у неё мужик, даже завидно. Соскрёб с сапог. На крыльцо. Постучал, потянул дверь на себя — заперто. Ещё раз. Странно... ведь договорились. Может, в туалете? За домом дощатая будка. Сходить посмотреть? Неудобно. Если в туалете, то почему дверь в дом заперта? И что теперь? Уходить?

На крыльце, под навесом, какое-то барахло навалено, табурет — на нём таз зелёный, эмалированный. Снял, прислонил к стене. Присел, держа портфель на коленях, ощущая задницей холод промёрзшего дерева. Как на вокзале, в зале ожидания. Зачем пришёл? Сейчас тебя, Лёшка, в тепле покормят, а потом поимеют. Вот зачем. Темнеет быстро. Холодно и в сон клонит. Не хочу никуда идти. Закрыл глаза.

С этой всё ясно. Порой умиляет её уверенность в правильности применяемых действий. Выбранный метод проверен поколениями и так же прям, как светлый путь к коммунизму. Что нужно мужику? Пожрать и потрахаться. Так дадим ему это. Причём дадим в избытке, чтобы на сторону не тянуло. Ведь чувствует, сучка, что-то не так у меня с Лёлей, вот и старается. Плевать ей на то, что семью рушит. Стоп! Какая семья, о чём я? Всё равно она хищница. Она? С её двумя извилинами? Зато жопа есть! Тоже мне, учительница с блистательным интеллектом. Даже книжная полка присутствует с тонюсеньким Пушкиным в бумажном переплёте во главе. К нему притулились «Тихий Дон», «Война и мир», Беляев да стопка потрёпанных «Искателей» — видать, муж был любителем фантастики. Наизусть выучил — напротив кровати висит.

У неё извилина только на одно работает — замуж. Чтобы как у всех. Нашла, дура, кандидата. Такая стена перед ней выстроена — ни перелезть, ни тараном пробить. Не чувствует, не видит. А тебе что надо? Зачем припёрся? Сам толком не знаю. Скучно. Какое-никакое, а развлечение.

Стукнула калитка.

Идёт, как катится.

— Ой, Лёша, извини, пожалуйста! — запыхалась, спешила. — Соседка сказала, в магазин окорочка завезли, я и побежала. Думала, успею... а там очередь. Замёрз? — копалась с ключами, открывая дверь. — Ты есть, наверное, хочешь? Сейчас я приготовлю.

Глава 11

Лёля

Вы когда-нибудь бывали в зазеркалье? А я — бах! — и очутилась. Оказывается, и тут можно жить. Хотя жить — неподходящее слово. Существовать. Первые два дня — на автомате, за руку по музейным казематам экскурсовод водит, показывает, рассказывает, а ты тупо стараешься запомнить, на эмоции времени не остаётся. Зато потом... Кому я это всё рассказываю? Наверное, той, второй Лёле, которая сверху. Что-то она давно не появлялась. Что? Неуютно тебе здесь? А мне, думаешь, лучше? Не хочешь смотреть? Устранилась? Ну и не смотри. Я тебе всё равно расскажу, что здесь происходит.

Девять тридцать вечера, ещё не до конца стемнело. На окне отсутствуют шторы. За стеклом сгустившиеся сумерки. Моя раскладушка возле двери. Я на раскладушке. Матрас пахнет прелью и мочой, подушка — пылью. Интересно, чем пахну я? Полежать пятнадцать минут, вытянуться, дать отдых ногам и спине, а потом под душ. Сейчас туда мамки набежали — не протолкнуться. Как же хочется побыть одной.

Кроме моей раскладушки, которая днём убирается в кладовку (для этого надо утром и вечером тащить её и свёрнутый матрац по длинному коридору, задевая спешащих мамок с орущими детьми на руках), в палате ещё восемь кроваток и, соответственно, восемь детей: два Коли, Андрейка, Стасик, Олежек, Надя, София — она же Софочка — и Таня. Отказнички. Им от полутора до трёх. Лежат тихо. Кто-то вертится, но голос не подаёт. Они привыкли быть тихими. На горшке все побывали, теперь должны спать.

В пять тридцать — подъём. Зажечь свет. На горшки. Сменить простынки тем, кто описался. Умыть. Накормить. Выдохнуть после обхода врача. Теперь с ними будет возиться медсестра, я на подхвате. А сейчас моё время. Если хватит сил, не усну сразу, поплетусь в душ. Это будет мне подарок за прожитый день.

Душ. Длинное помещение. Это единственное место, где не пахнет больницей. Пахнет железом и мылом. Полумрак. Одинокая лампочка свисает на перекрученном шнуре. На потолке толпятся капли конденсата. Под ногами коричневая шершавая плитка. Узкое окно в стене закрашено белой краской, оттуда дует. У стены длинный сварной стол, на нём тазы и несколько пластиковых кувшинов, когда-то красного, а теперь блёкло-розового цвета. Помнишь, у нас дома такой был? На этом столе моют детей, стирают бельё. Длинный кран из стены, под ним ванна с широким потёком ржавчины. Душ — два соска. На одном ещё сохранилась лейка. Главное, напор

хороший. Стоишь с закрытыми глазами, подставляя затылок, плечи, спину под струю, и кажется, что вместе с водой устремляешься к дыре в полу, стекаешь в неё. И ещё... если повезёт, на короткое время можно остаться одной.

Я здесь почти месяц. Насмотрелась. Привыкнуть нельзя и полюбить нельзя. Можно просто принять как данность. До сих пор иногда кажется, что я во сне. Во сне бывает страшно, тревожно, но где-то на краю сознания ощущаешь, что это сон, и он когда-то закончится. Надо просто пережить это сонное время, перетерпеть. Или это только у меня так?

Я — нянечка, низшее звено в иерархической цепочке больницы. Ниже меня только больные дети и их мамки, но они не в счёт. Здесь армейский порядок, и каждый знает своё место. Никто не качает права и не устраивает скандалы. Наверное, это схоже с казармой или режимным объектом, хотя я там ни разу не была. Всё чётко, отточенно, без сюсюканья. Палаты, полумрак обшарпанного коридора, защёлкивающийся замок на входной двери. Попал сюда — живи по правилам. Это не санаторий. Это филиал психоневрологической больницы. Детской. До трёх лет. Специализация: восстановление опорно-двигательной системы при ДЦП, последствиях полиомиелита, травм нервной системы.

Эй, покажись? Молчишь. Тебе, наверное, интересно, как здесь всё устроено? Изволь... расскажу, пока отмокаю. Да и самой полезно в голове порядок навести, а то в этой ежедневной круговерти...

Больница небольшая, здесь всего пять палат. Три — огромные, окна-арки во всю стену. Штор нет — бьёт солнце. Заведующая помешана на пыли, запрещает шторы вешать. В каждой по шесть детишек — эти с мамками, с воли. Пришли на месяц-на два и уйдут. Через полгода придут снова. И ещё две палаты, они поменьше. Отказнички. В одной — шесть — грудные. В другой — от года до трёх — восемь человечков. Эти здесь надолго.

Медперсонал — врачи, сёстры, нянечки — исключительно женского пола. Охрана, дворник дядя Паша и ещё какой-то худой и блёклый по хозяйству крутится — мужчины.

Что ещё? Кабинеты врачей; кабинет заведующей отделением; гулкий и холодный спортзал, там же — игровая площадка, оборудованная в углу; телевизионная, заставленная разномастными стульями; массаж, электрофорез и прочие медицинские крохотные кабинетики.

Отказники слушаются безропотно, никто не канючит, не капризничает. Надо встать в шесть — молча встали. На уколы молча. Обратно молча. Плакать бесполезно, никто не пожалеет. Стена. Стена между большим и маленьким человеком. Врачи черствеют от огромного количества боли, перестают воспринимать их как маленьких — просто поток больных, их нужно лечить. Жалость не способствует лечению. И дети не жалуются, покорно делают, что скажут. Это утром, после обхода врача... А потом снова палата, и мир съёживается до размеров кроватки со старой игрушкой, которую походя сунула нянечка. Это не бедность, это какая-то убогая ущербность. В палате чисто, порядок, но стёрта всякая индивидуальность. Потухшие глаза, каждый копается в своём внутреннем, никому неизвестном мирке, никто не стоит рядом и каждые пять минут не подтирает носы и слюни. Есть нянечка, которая кормит, высаживает на горшок, но это не мама. И поражает тишина. Они не плачут. Никогда.

Я говорила с медсёстрами и нянечками, спрашивала... Объяснили, что гулять с ими некому, да и колясок нет, не на руках же? Летом ещё иногда случается, выносят, рассаживают на одеялках.

Те, что с мамками, гуляют в парке по два часа в день, их на колясках возят, почти у всех есть. У кого нет — на руках, на лавочках сидят. Они обласканные. Орут, плачут, истерики закатывают, когда уколы... Утыкаются в матерей, на ручки просятся.

Это огромный концентрат боли. Она просто висит в воздухе, ею пропитаны стены — я это чувствую.

Не плачу, ты не думай... уже закалилась. Я выдержу.

Мамки — это отдельная особь. В основном молодые девчонки девятнадцати-двадцати лет, преждевременные роды и вот такое... ребёнок-инвалид. Большинство из деревень, лишь единицы с высшим образованием. Прогнозы на полноценную жизнь ребёнка неутешительные.

В большинстве замкнутые озлобленные одиночки, брошенные мужьями, потухшие, как перегоревшие лампочки. Единицы имеют возможность уехать на выходные домой. Остальные живут как минимум по месяцу, и так три раза в год. Второй дом, получается... Сучья недотраханная натура, ненавидящая всё вокруг. Друг с другом почти не разговаривают. Каждая замкнута на своём ребёнке, на своей сломанной жизни. Ещё надо учесть адскую скученность: ночуют они в палатах вместе с детьми — на раскладушках, которые ставят на ночь в проходах между детскими кроватками, и нет возможности хоть на секунду остаться одной. Даже днём, в тихий час, им запрещено ложиться — спят, сидя на стульях. Заснул ребёнок, согнулась в три погибели, голову к нему на кроватку пристроила — есть шанс на час провалиться в небытие. А что поделать? Хорошо ещё, что сюда попали.

ЧП случилось на днях. Мамашка, она не первый раз здесь... Полусумасшедшая, вечно что-то бормочущая, в халате засаленном. Муж к ней приехал, навестить. Умудрились потрахаться в парке на скамейке, коляска с девочкой рядом стояла. И холод не помешал. Донесли. Выгнали. Ещё и дело в службу опеки передали. Может, и правильно... мамашка-то совсем не в себе. Мария Николаевна — баба строгая, спуску никому не даёт.

До сих пор не понимаю, как тогда всё сложилось.... Ворвалась к ней в кабинет — ни одной мысли, кроме как хочу остаться, в голове не было. Не думала, что буду говорить. Ворвалась и с порога выдала!

— Садись, — взглядом смерила, — успокойся и по порядку...

Села, а что говорить, не знаю. Сидим, молчим. Она на меня смотрит, я пол под ногами разглядываю. Кто-то в дверь сунулся.

— Не сейчас! — рявкнула.

Понимаю: погонит она меня, за сумасшедшую примет. Я ведь даже толком не сформулировала, что мне надо. Влетела и с порога: «Я хочу здесь остаться!»

— Рожать не можешь?

Я только кивнула.

— Лёша знает?

— Нет. Не в этом дело... — тут я как на духу всё ей и выложила. Не всё, конечно. Про бандитов и что Кондратьев женат, не рассказала. Нарисовалась идиллическая картинка: пара, живущая в гражданском браке; детей нет и быть не может; бессмысленность существования; тоска по материнству; приносить хоть какую-то посильную пользу, а здесь дети больные и прочая бла-бла-бла. Не знаю, чему она поверила, а чему — нет. Но только раскусила она меня сразу.

— Ты мне про гражданский долг сказки не рассказывай. Ребёнка взять хочешь? Кого-то приметила, жалостью захлестнуло, спасать кинулась? Голова-то у тебя на месте? Пойми, это больные дети. Ты со здоровыми-то не умеешь обращаться.

— Я понимаю. Поэтому и прошу: на работу сюда... На любую. Сама должна себя проверить.

И снова молчание повисло. Пустое, тягостное. Уже надеяться перестала. Отупела враз — опять ничего не получается.

— Нянечкой пойдёшь? Горшки выносить? Сутки через двое. Жить есть где?

— Мария Николаевна, а можно, я здесь? При больнице? Что мне в городе одной? Здесь я с детишками возиться буду. А формально — делайте, как вам удобно.

— Подожди... Лёша-то знает о твоём решении?

— Нет пока. Но это я сейчас улажу. Вы не волнуйтесь.

— Мне-то что волноваться? Прямо как дети малые... И почему я у тебя на поводу иду? — обмякла она как-то, расплылась по-бабьи. Исчезла властная монументальность. Напротив сидела пожилая тучная женщина, уставшая от бесконечных забот. — Иди договаривайся с Лёшей, и подходите ко мне оба. Если он будет не против, возьму.

— Пойдём, моя хорошая. Тяни ручки. Молодец! Давай, давай, Танечка, пробуй сама встать на ножки. Вот так, держись, подтягивайся, подтягивайся. Хорошо. А теперь иди ко мне на ручки. Пойдём с тобой в окошко глядеть. На птичек смотреть будем. Как они там летают? Фр-р-р! Быстро. Подожди. Стасик, ты что хочешь? Пи-пи? Сейчас. — Таню обратно в кроватку. У Стасика распорки на ногах, на горшок не посадишь. Поднять, придерживать. Горшок подставить. Горшок ногой под кроватку, потом вынесу. Таню на руки — и в дверь, пока кто-нибудь ещё на горшок не запросился. По коридору. Таня тяжёлая. Худенькая, а тяжёлая. На бедро посадить — так легче. К окну, подоконник широкий, на нём стоять удобно. Поставишь её и придерживаешь. Говорить надо с ней всё время, а она говорить пока не желает. И за ножками следить, чтобы стояла, а не висла на мне, пальчики на ногах не поджимала. Уже хорошо получается. Галка-массажистка — молодец! Мы с ней подружились, если, конечно, можно подружиться за месяц... Разговаривали, одним словом. Не по душам, а так... о жизни. Хорошая баба. Вошла в положение. Возится с Танюшей и меня основам массажа обучила. Деньги ей предложила, а она только пальцем у виска покрутила.

Гудит коридор за спиной: мамки — туда-сюда, детишки что-то невнятно мычат, плачет кто-то. Привычный шум, уже не замечаешь, будто одни здесь. «Давай, Танюша, давай, переступай ножками. Вот так! Смотри, ты уже сама стоишь. Скоро ботиночки эти уродливые нам совсем будут не нужны. Нет, нет, пальчики не надо поджимать. Да стой ты! Смотри, птичка на ветке сидит. Синичка. Вон там...»

Я в первые дни кидалась Матросовым на амбразуру, была как юный пионер на всё и всегда готова. Решила Таню не выделять — меня на всех детей хватит, всем одинаково помогать буду. Недели хватило... Поняла, что так нельзя — не выдержу. А как поняла, сказала себе: стоп! Не можешь помочь всем, помоги хотя бы одному. Если и ему помочь не сможешь — грош тебе цена, беги отсюда и не оглядывайся.

Это то ещё испытание... Душой надо зачерстветь, в комок плотный сжаться, научившись взгляды эти ждущие встречать — они ведь всё понимают. Смотрят, как я Таню на улицу гулять собираю... Не их, её... Они-то останутся в своих кроватках, а она пойдёт на снег, на птичек смотреть. Почему её? Ведь не объяснишь... да и объяснения нет.

Так и пошло: чуть свободная минута, я к Тане. Массаж каждый день сама делаю. Стопы, пальчики ей разминаю — ноготочки масенькие, как слезинки. Реагировать

начала, пытается высвободить ножки — не нравится ей. Значит, всё правильно делаю. Гуляем — минут сорок, больше не получается — тоже каждый день. Сначала на руках носила. Потом велосипедик детский бесхозный обнаружился с отломанной педалью, да педали сейчас ей и не нужны. Палка такая, чтобы сзади можно было велосипедик подпихивать — её тоже не было. К дяде Паше пошла. Он деревянную палку на место прежней приспособил. Неудобно, конечно, но всё лучше, чем ничего. Таня сидит, глазёнки распахнуты, в руль вцепилась, ножки болтаются — поехали! По лужам ей нравится. Так-то она молчит всегда, а когда по луже, гукать, как филин, начинает. Смешно.

Сначала на меня косо поглядывали, мол, что это я с ней ношусь? Кузьминична ворчала. Через месяц привыкли, помогать стали. Даже врачи — с пониманием отнеслись, хотя они с нами, с обслугой, дистанцию строго соблюдают. Накануне майских Мария Николаевна позвала. У нас с ней доверительные отношения складываться начали. Я пару раз приходила с компьютером помогать — тяжело ей, возраст всё-таки. Особенно факс её пугает: письмо получить или отправить — проблема. Про Москву, про родителей расспрашивала, где училась? где работала? О Тане не говорили. Она делала вид, что не замечает, а я не высовывалась — понимала, ещё не время. А тут — усадила напротив, дверь заперла, чайник включила, из ящика стола коробку конфет шоколадных вытащила.

— Давай-ка, девка, с тобой на чистоту... — говорит.

Я напряглась. Нет, не из-за «девки» — знала уже, что это она так расположение выказывает: свои, мол... Кузьминична ещё раньше объяснила и предупредила, чтобы не дёргалась. «На чистоту» говорить ни с кем не хочется, а с ней тем более.

— Работаешь ты хорошо. Меня всё устраивает. Даже больше, чем устраивает... Целыми днями здесь крутишься, без выходных. К Тане прикипела, не отходишь от неё — вижу. И ещё я понимаю — не место тебе здесь. Вот и давай, выкладывай свои планы, а я послушаю. Не торопись, разговор у нас долгий. — Руки на груди сложила, смотрит из-под очков строго.

«Ой, — говорю себе, — Лёля, аккуратнее. Сейчас всё и решится...» Глаза потупила, провинившуюся школьницу перед строгой учительницей разыгрываю.

— Мария Николаевна, я как раз с вами посоветоваться хотела. Случая удобного ждала, а вы опередили. Если честно, я, конечно, здесь из-за Тани. Нет, вы не думайте, я сначала хотела со всеми детьми одинаково... а потом поняла — не могу, сил не хватает. Только с Таней. Помните, вы говорили, что ничего не умею? Танюша у меня уже ходить начала. Врач говорит, что положительная динамика пошла. Только молчит пока, но я чувствую — вот-вот...

Остановилась. Выдохлась. В голове какая-то странная пустота: рассказываю, а скучно, будто отчитываюсь о проделанной работе. Не о том надо. Не о том...

— Ты говори, говори, я слушаю...

И не поймёшь, то ли подбадривает, то ли что-то не нравится, разговор поскорее закончить хочет.

Чёрт с ней! Была не была. Пора уже сказать. Хватит тянуть.

— Мария Николаевна, я хочу удочерить Таню.

— Догадывалась. А почему не пришла, не поговорила?

— Мне помощь ваша нужна. Хотела, чтобы поверили в серьёзность намерений, потому и тянула с разговором.

— А что тебя смущает? Подавай документы и...

— Там столько бумаг требуется! Рассматривать будут полгода и... откажут скорее всего. Помогите, Мария Николаевна, у вас же связи. И в опекунском совете...

Таню забирать нужно отсюда. Сколько можно? Она уже пошла. Я верю, вот-вот заговорит. Ведь умненький же ребёнок, просто ей нужен дом и мама. А здесь? Вот она и застыла...

— Допустим, ты права. А дальше что? Куда ты её заберёшь? Лёша согласен?

— С Лёшей вопрос сложный. Мы же с ним не расписаны. И чувств больших между нами нет. Он в Москву рвётся и, по-видимому, скоро уедет. Вы уж извините, я прямо буду говорить. Мне неважно, согласится он или нет. Я беру ребёнка, и я за него отвечаю.

— Подожди... Он уедет, а ты что будешь делать? Здесь останешься?

— Да, по крайней мере до осени. Если всё пройдёт быстро, я имею в виду процесс удочерения, заберу Таню. Устроюсь в посёлке на работу. Зачем её летом в Москву? Пусть здесь, на свежем воздухе... К вам в больницу на консультации будем ездить — врачи знакомые, Танюшу давно наблюдают. А зима настанет, можно и в Москву вернуться. Квартира есть, на работу устроюсь. Папа с мамой помогут — в этом я не сомневаюсь, рады будут.

— Гладко ты всё расписала, ну-ну... Только из всего, что ты мне здесь нарассказывала, я лишь твоё отношение к девочке вижу. Всё остальное — вилами по воде писано.

Ну вот... Она права. Что тут скажешь? Опять, Лёля, твои мечты и планы разбились о твердокаменную действительность. Почему никогда ничего не получается сделать самой? Всегда приходится кого-то просить, от кого-то зависеть... Ведь всё просто: два человека — большой и маленький — хотят быть вместе. Им хорошо будет вдвоём, им нужно быть вдвоём! Так нет...

— Значит так, девка, поезжай на праздники к Лёше, всё обговорите. Определись с работой. Приедешь — расскажешь. Только не ври мне, говори как есть. Договорились?

— Да.

— Я постараюсь выяснить ситуацию с оформлением. Если хочешь убыстрить процесс — деньги готовь. Не мне... там многим заплатить придётся.

— А... сколько нужно?

— Долларов пятьсот-шестьсот, я думаю, хватит. Сможешь собрать?

— Я постараюсь... Смогу.

— Значит, договорились. Чаи будем распивать? Чайник-то вскипел давно.

— Мария Николаевна, я побегу, с Танюшей погуляем. Спасибо вам за всё. Вы хороший человек.

— Иди, иди...

Глава 12

Кондратьев

Свалилась как снег на голову накануне майских. Приехала на ночном. Ввалилась в дом, гремела чем-то в сенях. Проснулся. Окатило страхом спросонья: кто пришёл? Клял себя, что дверь не запер.

— Кондратьев, — кричит, — вставай! Встречай сожительницу! — выключателем — щёлк.

Стоит, смеётся. Довольна, словно рублём одарили.

— Торт тебе привезла. Смотри! — коробку, бечёвкой перевязанную, на стол бухнула. — Голодаешь тут поди...

Лежу, смотрю на неё. Другая. Изменилась. Весёлая.

— Ну, что ты молчишь, будто не рад совсем. Могу ведь и обратно уехать. — А сама уже в чайник воды плеснула. Заурчал.

Сел на постели, одеялом прикрываюсь. Холодно и спать хочется. Майка на мне — когда-то белой была. Неудобно стало, будто и не жили вместе.

— Привет, — говорю. — Который час?

— Шесть с копейками. Не горюй, тебе всё равно в школу через полчаса вставать.

Подошла, по голове дурашливо, как маленького, гладит, напевает:

Дети в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Поскорее одевайтесь,
Смотрит солнышко в окно.
Человек, и зверь, и пташка —
Все берутся за дела:
С ношей тащится букашка,
За медком летит пчела.

Головой мотнул, чтобы отстала.

— Где ты там, — кивнул в сторону окна, — солнышко увидела?

— В душе, Кондратьев, светило должно разгораться. Вставай, неси свет и знание людям. Если потребуется, вырви сердце, как Данко, освещай путь незрячим.

— Вот уж нет. Перетопчутся, — буркнул, натягивая штаны. — Ты насовсем приехала? Сбежала, наконец?

— И не надейся. Отпустили на праздники, я же без выходных вкалывала. Недельку передохну и обратно. На побывку, одним словом.

На побывку едет, молодой моряк:
Грудь его в медалях, жопа в якорях.

Мы так в пионерлагере с девчонками пели.

— Все так пели...

Пританцовывает, кривляется — никогда её такой не видел. Будто пьяная. Оторопь берёт.

— Ох, Кондратьев, как же я рада тебя лицезреть! — подошла, нагнулась, в губы поцеловала.

Я морду ворочу, с вечера зубы не почистил — во рту кошки ночевали. А она уже возле печки — суёт ей в пасть газету и щепу приготовленную.

Завтракали. Яичницу с колбасой сварганила. Выхватывал горячие куски со сковородки, обжигался — вкусно! Хлеб белый, свежий. Торт порезали, решили вечера не ждать. Странное меня чувство охватило: будто снова маленький, а мама уезжала куда-то и вернулась, — и всё сразу поменялось. Свет ярче горит, печь сильнее греет, еда вкусная — и теперь всегда так будет. Сижу, улыбаюсь, удивляюсь своим дурацким мыслям, на Лёлю посматриваю. Она на спинку стула откинулась, ложку медленно облизывает. Огляделась.

— Ну и срач же у тебя здесь, Кондратьев! — говорит.

— Что-то ты, Лёля, такими словами разбрасываться стала... Раньше я не замечал.

— А ты с медперсоналом пообщайся, с нянечками — не так заговоришь. И, вообще... другая я стала, Кондратьев. Кончилась та Лёля.

В учительской, у окна стою. Хорошо мне. Через стекло немытое смотрю — солнышко светит, травка уже кое-где повылезла. Во дворе уроды носятся, орут. Майские на носу...

Лариса прицепилась. Выждала, когда в учительской никого не будет, руку обхватила, в глаза заглядывает.

— Лёша, придёшь сегодня? — спрашивает.

— Извини, — говорю, — не могу. Жена приехала. — А самому интересно, как отреагирует? И не жалко её совсем.

Поникла, голову опустила, словно из шарика надутого воздух выпустили.

— Что же теперь будет? — спрашивает.

Я руку высвободил.

— Не знаю, — отвечаю. — Она вроде должна скоро снова уехать. Что ты так расстроилась? Мы же никаких обещаний друг другу не давали? Свободные люди.

Снизу вверх на меня глянула и пошла к двери. Пустой взгляд.

Вышла. Прикрыла за собой, аккуратно.

Ну и ладно. Надо сегодня домой пораньше... Пошла эта школа!

Дома — дым коромыслом. Воистину неисповедимы пути Господни. Медведь в лесу сдох. Лёля на карачках ползает, пол моет. Согнулась в три погибели, задница отклячена.

Посуда блестит, кровати заправлены. Через всю комнату веревка натянута, какие-то тряпки сушатся. Печка гудит вовсю. Корзину старую из сарая притащила — теперь в ней дрова сложены, газеты и щепа сверху.

— Кондратьев! Куда с грязными ногами прёшься? Снимай сапоги в сенях. Я валенки старые нашла, переобуйся. — Выпрямилась, за поясницу держится. — Завтра в магазин сходи, тапочки нам купи, да выбирай потеплее — у меня ноги мёрзнут.

Во раскомандовалась! Полгода бревном лежала. Откуда что берётся?

— Зачем так печь раскочегарила? Дышать нечем.

— А ты не видишь? Окна вымыла, а то зарос грязью совсем. Занавески постирала — сушатся. Дом, пока окна мыла, выстудила. Зато проветрила, а то воняло, как в конюшне. Вот, топлю теперь. Воду поставь на плиту. Я сейчас закончу с полом, ужинать будем. Есть хочешь?

— Конечно. С утра на одном бутерброде, да и тем угостили.

— Не жалоби. Потерпи, я скоро.

Одно удовольствие у горячей печки сидеть и смотреть, как она в раскоряку тряпкой по полу елозит.

— Ты, Кондратьев, не расслабляйся. У нас на завтра субботник наметился. Ты же в школу не идёшь? Вот завтра и будем всё в порядок приводить. И в первую очередь туалетом займёшься. Доска совсем сгнила, того и гляди в яму ухнешь. Грязный весь. Что ты морщишься? Ты же мужик, хозяин. Забор, вон, на углу завалился, сарай течёт. Ты безрукий, что ли?

— Всё, Лёля, не гони! Как с цепи сорвалась. Тебе-то что? Ты же здесь не живёшь. Через пару дней обратно уедешь.

Замолчала. Обиделась?

— Ладно... Устроим завтра субботник, если тебе так приспичило.

Тряпку в ведро шмякнула. Выпрямилась.

— О тебе, о дураке, забочусь, — буркнула. Ведро подхватила и за дверь.

Я всё гадал, что вечером будет? Придёт? Изменилась... Незнакомая. Да и не четверг сегодня. Решил пустить на самотёк — пусть командует, раз активность через край. Ужинать сели, я про работу расспрашивать стал. Сначала отшучивалась:

— Кондратьев, представь, что у тебя пятеро, все погодки, все орут, все обкакались, да ещё и есть хотят. А жены-то нет. Не в магазин ушла, а в природе её просто не существует. Вот и вертись. Никто на помощь не придёт. Ладно... это я сгущаю... нормальная работа.

— Не понимаю я всё равно... зачем тебе это? Ведь не твоё же? И не поверю, что ты и дальше хочешь этим заниматься.

— ...Не моё, не моё... — задумалась, застыла. Машинально скребёт вилкой по сковородке, отдирая присохшие макаронины. — Кондратьев, а ты знаешь, что твоё?

— Лёля, зачем опять об этом? Уже не раз обсуждали. Заработать побольше денег и жить нормально.

— Ага. Это я помню. Наверное, ты прав, я долго не выдержу. Насмотрелась. Хватит.

— Так чего ты там сидишь? Бросай всё и приезжай. Я с экзаменами со школьными разберусь, и в Москву поедем. Возвращаться пора. На днях с приятелем созвонился, который из института, где раньше работал... Обещал помочь устроиться. Денег подзаработаю, квартиру или дачу в Подмосковье сниму, а там, глядишь, что-нибудь стоящее подвернётся.

— В Москву — это хорошо... — отвечает, а сама о чём-то своём думает. — Я сегодня, пока ты в школе был, в детский сад сходила. С заведующей поговорила. Они готовы меня взять с июня.

Как обухом по голове. Ничего не понимаю.

— Подожди! Ты что, остаться здесь хочешь?

— Пока не знаю. Не тормоши меня. Давай чай пить. Зря, что ли, я торт везла? Эх, жаль, не пьёшь ты, Кондратьев. Я бы сейчас выпила... — подхватилась, сгребла грязную посуду со стола. К раковине. Зачерпнула ковшиком горячей воды из ведра, которое на печке выстаивается, плеснула в рукомойник. — Знаешь, что меня здесь больше всего раздражает? Отсутствие водопровода. Ни посуду толком помыть, ни самой... А так, жить можно.

Первым лёг, делал вид, будто не жду ничего. Отвернулась. Раздевается, даже свет, как обычно, не погасила. Нагнулась, колготки с ног скатывает.

— Что, Кондратьев, наша семейная жизнь продолжается? — голову повернула, смотрит. — Или, пока меня не было, какую-нибудь доярку себе завёл?

Блин! Неужели успели про Лариску доложить?

— Так вроде не четверг сегодня? — решил подыграть. Она шутит, а я чем хуже?

— Мы же не ортодоксы? Сами порядок установили, сами и отменим. — Руки за спину, расстегнула бюстгальтер. — Если честно, соскучилась я... и шутить пытаюсь от неуверенности. Одиноко очень было. Прижаться хочется, глаза закрыть и ни о чём не думать.

— Иди ко мне! — пододвинулся, одеяло откинул.

Скользнула. Плафон над её кроватью так и горит. Пятно света, размазываясь по покрывалу, сползает на пол, тянется к печке, мутно выхватывая из темноты расплывшийся серый бок.

— Кондратьев, миленький, ну помоги, ну пожалуйста! — вжималась горячим

телом, целовала сухими губами быстро, как клевала, щёки, лоб, губы, грудь, опускаясь ниже... — Ты же сильный, ты можешь! Что тебе стоит? — шептала горячечно.

О чём она?

Чёрт! Остановилась, замерла. Лучше бы молчала!

Нависла. Волосы чёрной окантовкой лица. В глаза смотрит и улыбается.

— Пойми, это мечта! Молчи, молчи пока... Я понимаю, что иррационально. Ты правильно про меня думаешь: дура я. Но ведь мечта! Я давно об этом... ещё в Москве. Никому не рассказывала. Но всё, что делала там, — только чтобы сбылась.

Лежу как дурак, молчу, как велела. Не понимаю, о чём она? Жду, когда заткнётся. Мне сейчас тело нужно — горячее, влажное, не разговоры эти... А её разбирает всё больше и больше.

— Не хочу в Москву возвращаться. Опять навалится, сдавит камнем, выжмет, вылепит по общему подобию, чтобы вписалась в кривые переулки, в подворотни, размалюет, разукрасит, как проститутку, и вытолкнет на всеобщее обозрение. Как вспомню, тошнота подкатывает.

Сорвалась с постели. Голая, худая, длинноногая. Возле двери сумка брезентовая, капустный кочан выглядывает. Схватила, держит в руках — показывает. К груди прижала. Как ей не холодно? Старается листы отогнуть — не получается. На живот белый смотрю, на лобок, темным волосом заросший.

— Мы — капуста, Кондратьев! Понимаешь, капуста. Сплошные капустные листы, в которые обёрнута кочерыжка. Она всему основа. Она — твёрдая! Здесь, в этом посёлке, в этой бедности — мы все кочерыжки. Голые, неприкрытые, одна основа. Здесь легко, здесь честно. Выживать тяжело, а жить легко. Что? Не понимаешь? Думаешь, совсем сбрендила?

Положила кочан на стол. По груди — руками, что-то невидимое стряхивает. Села на постели у меня в ногах. Одеяло стянула — прикрылась. Заговорила снова:

— Вон, портфель твой за триста баксов на полу валяется. Он для чего? Сейчас он тебе нужен книжки и тетради в школу носить. Всё! Это его единственная функция — перенос вещей. Он для этого. Можно заменить на холщовую сумку — даже разницы не заметишь. А в Москве? Там он для другого был нужен — вспоминай! Статус. Потому и стоит столько. Чтобы головой уважительно качали: смотри-ка, натуральная кожа, ручная работа. На фантик смотрят, не на содержание. И во всём так: квартира, машина, одежда, побрякушки разные, какой вуз окончил, кто родители, где работаешь. И сам ты исчезаешь в этих красивых фантиках, в этих капустных листах. Чем их больше, тем лучше спрятался. Вот только от кого ты прячешься?.. Там, в этой больнице вонючей, я себя почувствовала. Вот какая есть. Знаешь, на что похоже? Наверное, так любимому человеку отдаются. Навстречу — открыто, не боясь, себя не помня: бери всю, твоя без остатка. Вот так и я в тот мир шагнула — голая, с раскинутыми руками — забирай! Ничего на мне нет, ничем не обёрнута.

— Лёля, хватит этими красивыми фразами разбрасываться. Иди сюда...

— Это не фразы, Кондратьев. Это так я себя сейчас ощущаю.

— А мне кажется, тебя занесло не в ту степь. Во-первых, рассуждения какие-то детские, на уровне десятого класса. Во-вторых, если бы так было, то все ходили бы голыми с холщовыми сумками через плечо. Погляди, каждый одеться покрасивее хочет и портфельчик под мышку. Примитивно, Лёля. Не ожидал от тебя такое услышать.

— Да? Я думала, может, поймёшь...

Легла рядом, вытянулась, замерла.

Уже не дотронуться до неё.

Да... похоже, близость сегодня откладывается. Утопили в разговорах. Жаль. Она же совсем другой оттуда вернулась. Или ей что-то от меня надо, поэтому так себя ведёт? Что она про мечту говорила?

— Лёля, какая мечта? Чем я должен помочь? — обнял, прижал, задышал, зашептал в ухо. — Я ничего не понимаю...

— Про мечту — потом, ладно? Не обижайся. Не готова я сейчас... случайно вырвалось. А вот просьба к тебе есть. Только не знаю, стоит ли в постели об этом говорить? Может, завтра с утра на свежую голову?

— Нет уж! Я сейчас с тобой буду... и одновременно думать, перебирать варианты. Ни тебе, ни мне от этого хорошо не будет. Лучше уж выкладывай.

— Я всё испортила, да? Чёрт! Совсем не хотела... Куда-то меня занесло?

Замолчали. Не знал, что делать. Ждал. Лежала рядом тихо, прижавшись. Будильник на подоконнике выщёлкивал секунды.

Вздохнула. Показалось сначала, не со мной говорит, сама с собой:

— Не люблю просить, а в последнее время только этим и занимаюсь. Там прошу, тут прошу... Вот и с тобой...

— Лёля, не тяни. Говори как есть.

— Ты же в Москву собрался, — не спрашивает, рассуждает, — в июле точно уедешь, так?

— Да. Может, и раньше, если получится.

— Вот... А я не хочу возвращаться — уже говорила. По крайней мере в ближайшее время. Кондратьев, можно я у тебя здесь поживу? Я справлюсь.

— Да живи сколько хочешь. Тоже мне, проблему нашла.

— Правда? Я же не знаю твоих планов, может, ты дом продать собираешься? Или вдруг не захочешь, чтобы в доме чужой человек хозяйничал. Ты уж сразу скажи, чтобы больше к этому не возвращаться.

— Всё, Лёля, проехали с этим вопросом. Закрыли. Дом продавать не собираюсь. Видишь, нам пригодился. Может, когда ещё потребуется. Да и денег хороших за него не получить. А за копейки продавать... Только учти, я не останусь — точно уеду. Мне здесь делать нечего.

— И ещё... — перебила, — мне деньги нужны. Шестьсот долларов. Срок — неделя. Можешь достать?

— Откуда, Лёля? Зарплата сама знаешь, какая...

— А занять у кого-нибудь?

— А отдавать? Чем и когда? Ты сможешь заработать в своём детском саду? То-то. Подожди, дай подумать.

Вот теперь стало неуютно. Ни к чему не обязывающее сожительство вдруг обернулось проблемой, причем не своей, чужой. Не мне, ей надо — я-то при чём? И думать нечего. Денег не дам. Триста баксов у меня отложено. Рубли ещё есть. Что такое шестьсот баксов в прошлой жизни? Тьфу, копейки! Ну, не совсем копейки... Всё равно, это не деньги тогда были. А сейчас? Здесь это огромная сумма. Попробуй заработать. Я полгода откладывал. Жить в Москве где-то надо, жрать что-то. Нет, не дам. Не хочу с голой жопой остаться.

— А зачем тебе?

— Это личное... не хочу рассказывать, извини. Так сможешь достать или нет?

— Нет, Лёль. Денег у меня нет. И занимать не буду, зная, что не отдам

в ближайшее время. Да и не у кого. А что? Совсем припёрло? Надеюсь, не криминал? Уж не бандюки ли московские объявились? Не пугай меня.

— Нет, здесь другое... Я же говорю, личное. Не напрягайся. Извини, что спросила. Просто не хотела с родителями связываться — замучают вопросами. Но, видно, придётся. Моя проблема, сама решу, — повернулась, прижалась, обняла. — Так рада, что с домом всё разрешилось. Я тебе очень благодарна! — поцеловала в щёку и ещё раз — возле уха.

Ничего уже не хотелось. Тревожно. Два прижатых друг к другу тела в одной постели — только это и осталось. И она словно почувствовала:

— Давай-ка спать. Этими разговорами всё убили. Я виновата. Не обижайся, пожалуйста. Завтра, всё завтра. Я пойду к себе, ладно?

Щёлкнула выключателем. Темно.

А ведь она знает, что деньги у меня есть. Или, по крайней мере, догадывается. И что из этого? Да ничего! У неё свои тараканы в голове: пожить она здесь хочет. Бред! На фига? В Москве — папа, мама и квартира...

— Кондратьев? Не спишь? А ты меня завтра дрова колоть научишь?

Глава 13

Лёля

Провожали всей больницей. Высыпали за ворота, на круг автобусный. Кузьминична носом хлюпала, платком глаза вытирала. Мария Николаевна, чуть в стороне, что-то дяде Паше выговаривала — совмещала, так сказать, приятное с полезным, делала вид, что проводы её не очень-то и касаются. Сёстры в белых халатах — жидкой стайкой. Галка — массажистка — пятёрку свою раздолбанную подогнала, на станцию вызвалась отвезти. Распахнула багажник, погрузили велосипедик и барахло.

Утро и солнце. Деревья в листве, тень на асфальте. Празднично, радостно. Чуть-чуть страшно: новое впереди, сама, никто не поможет. Но ведь тепло, солнце, все улыбаются, все — хорошие. Машина тарахтит. Ехать, двигаться, бежать! Июнь — это же счастье, это только начало лета, это начало!

Забрать Танюшку у медсестёр, совсем затискали.

— Галка! Поехали!

Обнимашки, прощальные поцелуи.

Обернулась, оглядела всех, прежде чем захлопнуть дверцу. Кузьминична мелко и часто крестила.

В поезд проходящий загрузились — плацкарт, народом набитый под завязку. Сумки в проходах, дышать нечем. А тут я с велосипедом и с ребёнком на руках... Влезли. Даже у окна мне мужик место уступил. Хорошо, что ехать недолго, он — быстрый, на каждой станции не останавливается.

У Танюшки шок, конечно. Новое, незнакомое вокруг. В меня вцепилась — не оторвать. Она столько взрослых рядом не видела никогда. Как зверёк мне в плечо уткнулась. Выглянет, словно из норки высунется, и обратно в плечо, чтобы не видеть — страшно! Через полчасика попривыкла... в окошко стали смотреть. Отвернулись ото всех, словно и нет никого, только мы вдвоём. Шепчу ей, рассказываю, она пальчиком

по стеклу водит. А меня потрясывает. Осознала, что одна осталась с ребёнком маленьким на руках. Случись что... за всё сама отвечаю. Это не больница, где всегда на помощь придут.

Выгрузились. Я мокрая как мышь. В тамбуре ждали, Танюшу на руках держала. Жарко, душно. Стоянка — одна минута. Вещи выгрузить, самой по ступенькам... Суета.

Вместе с нами ещё несколько человек с поезда сошли. Молодой парень помог сумку и велосипедик на перрон спустить, через пути перенести, Танюшка-то у меня на руках.

Одни остались. Только дорога впереди, вдоль путей железнодорожных. Солнце по глазам бьёт, щуриться заставляет. Пылью пахнет. Приехали.

Таню — на велосипед («держись крепче ручками за руль, вот так!»), сумку на плечо. Сумка огромная, клетчатая — «мечта челнока», пол-России с такими разъезжает — барахлом детским набита, в больнице надавали на первое время. Скособочило меня.

— Ну что, Танюша, побрели?

Видели бы вы лицо Кондратьева, когда мы заявились!

Я так устала, что сил говорить не было. В калитку протиснулась, сумку с плеча на землю сбросила, на неё и уселась. Сижу, дышу как загнанная лошадь. Кондратьев застыл. Танюша в руль вцепилась, во все глаза на него смотрит. Немая сцена.

На корточки присел, но не близко — испугать боится.

— Давай знакомиться, — говорит. А у самого лицо серьёзное, нет, чтоб улыбнуться. Эх, Кондратьев, Кондратьев...

— Это Таня, — подошла, по головке глажу. — А это — Лёша. Мы к нему в гости приехали. Танечка, поздоровайся с Лёшей.

И тут вдруг она что-то на своём птичьем защебетала:

— Апа... ка... асяма... — ручку к его морде небритой тянет.

Вот я удивилась! Никогда такого не было, молчала с чужими, как партизан.

— Кондратьев, — говорю, — я насовсем приехала.

Вечера не могла дождаться — скорее бы лечь. А время тянулось... Обустраивались. Обед — он же ужин — готовили. Таня впервые со взрослыми за столом сидела. Застыла, как каменная, пришлось с ложки кормить. Спать я её на свою кровать уложила, сама на полу. Кондратьев суетился, постель свою предлагал. Растерянным выглядел: не понимал, что происходит, думал, наверное, уложу Таню и поговорим. Какое там! Мне кажется, я раньше, чем она, уснула, за окном и стемнеть толком не успело.

Проснулись рано. Мы привыкли в больнице рано вставать. Таня закопошилась в постельке, но молчит. Я лежу, прислушиваюсь, делаю вид, что ещё сплю. Темно и тихо. Только Кондратьев, в другом углу комнаты, похрапывает. Уютно, будто и правда дома оказалась. Не больницей, не лекарствами, домом пахнет: печкой, тряпьём старым. Лежу, в голове перебираю, что сейчас делать буду. Сколько раз я в больнице представляла... По минутам проигрывала. Тогда это была мечта. Сейчас — реальность. Вставай, Лёля, начинай новую жизнь! На кровати привстала. Как она? Лежит, смотрит на меня серьёзно так... Даже страшно — целый мир на тебя смотрит, думает о чём-то... и не познать его никогда. Поцеловала в лобик. Молоком и теплом пахнет, ребёнком пахнет.

Вставай, вставай дружок!
С постели — на горшок...

Шёпотом пропела, чтобы Кондратьева не разбудить. Горшок нам в больнице всучили. Я — дура — отказывалась — тащить тяжело. Что бы я без него делала? Это папка мне так пел, в детстве. Запомнила. Последнее время часто детские стишки и присказки из памяти всплывают. И закрутилось... Чайник, воду согреть. В вёдрах воды мало. На колодец потом — не оставишь её без присмотра. Плитку включить, кашу варить. Танюшу умыть, переодеть. Кондратьев заворочался, мешаем мы ему. Ничего, потерпит.

— Вставай, — кричу ему, — лежебока! Завтрак готов.

После завтрака пол ринулась мыть. Грязища. Танюша сама ещё не ходит, только за ручку. На коленках в основном передвигается.

Таню на кровать.

Кондратьеву:

— Если не сложно, выкоси пятачок возле дома. Одеяла расстелю, пусть она на солнышке погреется.

Ушёл. Смурной какой-то... Ходит по комнате, как слепой, только что в стены не тычется. Не знает, чем заняться. Мешается только. Попробовал Танюшу на руки взять — та не даётся, вертится, ко мне ручонки тянет.

Домыла. Вышла на крыльцо, воду из ведра вылить. Стоит посреди двора с косой в руках. Майка, треники старые, обрезанные сапоги на босу ногу — деревня-деревней. Мне смешно стало.

— Что застыл? — спрашиваю.

Глянул исподлобья, косу к стене дома прислонил, подошёл.

— Таня... — замялся, слова подбирает, — это как?

— Таня — моя дочь, Кондратьев. Мама я теперь... Опека положительное решение дала. Документы через месяц готовы будут. Мария Николаевна разрешила мне её сейчас забрать.

Молчит, переваривает. Да догадался он давно, я уверена. Просто... Не знаю я, что просто.

— Сколько ей?

— Скоро два исполнится.

— Большая уже... А почему не ходит?

— У неё подозрение на ДЦП в лёгкой форме. Сейчас лучше намного стало. Мы уже за ручку ходим. И говорить начала. Врач сказал, девочка умненькая, только запущенная. Такая задержка с речью — ничего страшного. А что ты хочешь? С ней же никто не занимался. Она отказница. Дай пройду.

Посторонился. Прошла, плеснула из ведра под забор.

— Ну и зачем тебе это? — мне, в спину.

— Давай не сейчас... Днём спать уложу, тогда и поговорим. Слушай, у меня к тебе ещё просьба есть: ты не посидишь с ней часок? Мне в детский сад сбегать надо, с заведующей переговорить. Я быстро. Обещаю, больше ни о чём просить не буду.

— Давай, если она реветь не будет. Мне не сложно.

— Не будет. Она молчунья. Если что... сказку ей расскажешь, она любит.

Танюша долго не засыпала. Обычно положишь — через пять минут уже спит. Вертелась, зайца своего с отгрызенным ухом просила. Такое ощущение, что она за эти сутки изменилась: более требовательной стала, что ли... Может, потому что детей

других рядом нет? Уф, заснула! Полтора часа у меня есть — тоже прилечь? Ах да, Кондратьев со своими разговорами...

Вышла на крыльцо. До чего же здорово, что лето наступило. Тепло, птицы щебечут. Грязь травой заросла. Ну, где он? Вон... с тачкой ковыряется — колесо у неё вечно отваливается.

— Заснула.

Отложил пассатижи, стоит на коленях, на меня снизу вверх вопросительно смотрит. Лохматый, щетина на щеках. Почему не бреется?

— Разговаривать будем? Ты же хотел...

— А-а-а, ну пойдём, — оглядывается, место ищет. — Может, на брёвнах устроимся?

— Сырые, наверное?

— Сейчас, я пару досок из сарая принесу.

Стою, жду. Лицо солнцу подставила, глаза закрыла, звенит в ушах — вот и пойми: то ли насекомое какое, то ли от усталости. Поспать бы часок...

Устроились. Сидим рядышком на брёвнах, как старики на пенсии.

— О чём поговорить хотел?

— Лёля! Вопрос-то всего один: зачем тебе это нужно? Ребёнок, да ещё и больной... — как такое в голову могло прийти?

Вот как ему объяснить? И — главное — нужно ли объяснять? Придётся. Завишу от него. Дом. Жить где-то надо. Ох, тяжёлое это дело.

— Вот ты недоумеваешь, как мне такое в голову могло прийти? Попробую объяснить, если выслушаешь. Разговор-то долгий. Готов? Только не перебивай, пожалуйста. Потом всё выскажешь.

Начать с чего-то надо... А как? Клубок шерстяной с торчащими нитями — за любую потянуть можно. Нитку вытянешь, но клубок не распутаешь, таким и останется.

— Помнишь, когда туда приехали? Ты с Марией Николаевной остался, а мне Кузьминична экскурсию устроила. Тут я её и увидела. Нет, не о том... Я их всех тогда увидела. Потом круг этот заснеженный, автобусный... уедем сейчас — и всё! Придёт автобус и повезёт... И не вырваться. Будет всё то же... ничего не изменится. Снова начнём ходить по этому замкнутому кругу или на месте топтаться. Мы заложники обстоятельств и времени — они определяют нашу жизнь. Мы — мимикрируем. Подстраиваемся под обстоятельства: вросли там, в Москве, вросли здесь... А сами? Что мы сами можем? Что хотим по-настоящему? Навсегда? Сумбурно получается. Извини...

Потупился. Сидит, щепку в руках теребит. Ногтем подцепляет волокна с краю, отдирает, отбрасывает.

— Вот ты говоришь: деньги и тогда свобода. Свобода — это что? Вкусно жрать и передвигаться по миру без забот и хлопот? Ну, допустим... А теперь возьмём, к примеру, службу в армии. Я призывников имею в виду. Знаю, что ты скажешь: я не была, и ты не был. Но рассказов от служивших наслушались. Жизнь упрощается до примитива: пожрать, посрать, поспать. Извини за выражение. Вот они три слона, на которых покоится жизнь призывника. Поскорее прожить это время — вот его цель! А ты, со своими заработанными деньгами, чем отличаться будешь? Жрать устрицы станешь, вместо каши? К врачам элитным похаживать, за здоровьем следить, чтобы желудок не барахлил. Спать будешь на мягких кроватях, да ещё и не один, а с бабами

разными. Но суть-то — та же! Те же три кита. И будешь ты просто проживать время, комфортно проживать. Для этого деньги? Это цель?

Упало что-то в доме? Или показалось?

— Подожди, я схожу Танюшу проверить.

Спит. Одеяльце только скинула. Укрыла. Зайца положила рядом, проснётся — пусть играет.

А ведь ты, Лёля, завелась... Поговорить захотелось? Молчала два месяца, в бой ринулась? Правоту свою доказать хочешь? Забыла, что ему ничего не докажешь? Твои слова как об стенку горох. Вот если бы его напрямую касалось, он бы слушал, как тогда, в Москве. И сесть не успела, как он начал:

— Причём здесь призывники? Я же тебя...

— Кондратьев, я ещё не закончила. Ты согласился выслушать, вот и слушай.

Злиться начала. Мне, что ли, эти разговоры нужны? Сам начал...

— Мужик жил у нас в доме, в родительском. Я тогда в институте на первом курсе училась. Алкаш безобидный, вечно пьяненький. Сидел целыми днями во дворе на лавочке, на солнышко щурился, детишек играющих разглядывал. Как-то рано утром спускаюсь по лестнице — он меня не слышал, — бутылку бормотухи открывает. Стоит у окна, рвёт пробку с горлышка зубами. Открыл. Бутылку перед собой держит, смотрит на неё, руки трясутся, бутылка подрагивает. И такое умиротворение на лице написано: светлый, как солнцем озарённый, и морщины будто разгладились, и помолодел лет на десять, радостный, счастливый — вот сейчас! вот он — первый глоток! Запомнилось мне это выражение счастья на его лице. А потом долгое время я старалась понять: в чём разница? Вот, смотри... У тебя появилось достаточное количество денег, ты — состоятельный человек, можешь себе многое позволить. И как-то вечером решаешь устроить себе праздник. В загородном доме тебе растапливают камин, ты садишься в удобное кресло, смотришь на охваченные жаром угли, по которым мечутся языки пламени. За окном, в темноте, падает снег. Играет тихая музыка. В руке — бокал с дорогим коньяком. В ногах на псевдо-медвежьей шкуре расположилась молодая особа в короткой юбке, с длиннющими ногами, томно положив тебе голову на колени. Жизнь удалась, думаешь ты, и лицо твоё озаряет счастливая улыбка. Знаешь, что меня мучает? Я совершенно не уверена, что ты испытываешь больше счастья, чем тот алкаш, перед первым глотком из бутылки на лестнице. И только сейчас, в больнице, я окончательно поняла, что никакой разницы нет. Потому что и ты, и алкаш — всё, что вы делаете, — это только для себя. Жизненная цель: доставить удовольствие себе — это тупик! Потому что снова вернулись к триединству: пожрать, посрать, поспать. А в каких условиях это делать, не столь и важно. Главное — получать удовольствие от процесса. Вот мы и замкнули круг. А вырваться из него можно только одним способом: создавая что-то не для себя, для других. Рожать и воспитывать детей, чтобы они стали лучше, чем мы; учить людей тому, чему выучились сами; лечить и помогать больным, ухаживать за стариками; заниматься наукой; писать картины и романы; бороться за правду. Только это позволит вырваться из замкнутого круга. Не смейся, я действительно так думаю.

Вздохнул, отбросил щепку. Смотрит на меня и улыбается, а глаза-то щурит — не нравится ему. А мне плевать, я не только для него говорю, но и для себя тоже.

— Танюша. Ты не думай, это не взбалмошный порыв. Мечта... помнишь, я тогда ночью проговорилась? Никому не рассказывала. Всё, что я делала в Москве, только для этого... Мечта. Хотя... там, она немного другой была. Неправильной, что ли...

Рассказать или не надо? А почему нет? Раз уж откровенный разговор пошёл...

— У меня ведь не всё гладко по жизни. Только поженились когда... Залетела сразу. А пожить ещё свободно, погулять хотелось. Молодые совсем... Ну и аборт. Плохо всё закончилось — детей у меня не будет. А потом развод, потом одиночество и тридцатник накатил — приехала Лёля. Вот тогда и появилась мечта. Скопить денег, усыновить ребёнка — девочку — и уехать отсюда на какой-нибудь остров. Жить там вдвоём на берегу океана, чтобы тёплый ветер шевелил занавески на окнах, вести её за ручку по песчаному пляжу, собирать ракушки, и чтобы волны с тихим шелестом накатывали на берег. И почему-то очень важен был этот остров, океан... — вот это я видела в своих мечтах очень чётко. А девочка, ради которой всё затевалось, виделась как-то смутно — она там должна была быть, вот и всё.

Понимаешь, я тогда думала не о сути, а о фантике, в который будет всё обёрнуто. Почему-то этот фантик вылезал на первое место. А остров — вот он! Остров может быть любым. Это не важно. Остров — это здесь: этот посёлок, этот твой дом. Пусть он будет таким. Главное — девочка! Таня. Она спит сейчас, а вокруг неё остров. Не она на острове — остров вокруг неё! И жизнь моя — только для неё. Но ты не думай, если совсем тяжело станет или лечение специальное Танюше потребуется, я в Москву сразу уеду.

Выдохлась. Говорить устала. Не знаю, как ему объяснить, что со мной происходит. Ведь не примет, не поймёт. Тогда зачем? Скорее бы уехал, что ли.

Туча серая на солнце навалилась. Потемнело. Уже не жарко. Уже кофту на груди запахнула. В дом нужно... хватит здесь рассиживать. Как же... Теперь его слушать надо.

— Ты думаешь, я с тобой спорить буду? Ха! Наговорила-то, наговорила... сорок бочек арестантов. Все твои умозаключения легко разбиваются о простое: а я не хочу. Понимаешь, не хочу! Мне наплевать, что чувствует твой бомж, — не хочу, как он. А с бабой перед камином — да! Хочу так. Поиск смысла нашего существования — сам по себе — бред. Зачем задумываться? Живи, получай удовольствие. Как ты там красиво про триединство сказала? Жрать, срать, спать? И что в этом плохого? Тоже мне, напугала. Да, я такой приземлённый. Что потупилась? Мне ваши интеллигентские метания по барабану.

Не понимает... Своё талдычит. Не пробить... Может, с этой стороны зайти?

— Вот скажи, для чего Бог или, скажем, гены создали тебя такого единственного и неповторимого? Чтобы жрал и пузо грел на солнышке? Нет! Бог — он же создатель! И тебя создал по своему подобию для того, чтобы и ты мог что-то создать! Своё, неповторимое... хоть кирпичик, песчинку малую в общее благое дело...

— Лёля, это ты не понимаешь. Всё изменилось! Время другое настало. Страна рассыпалась. Пытаются собрать, а как? Болото — мутное, бурлящее. А президент пьяным на берегу барыню отплясывает. Сейчас всё можно. Убить, своровать, построить и разрушить. Ельцин уходит! Какого-то мужика левого преемником назначил. Смена власти! Такой бардак начнётся — лопатой греби! Сейчас можно что-то сделать, пойми! Деньги дурные прямо под ногами. А ты хочешь здесь сидеть? Печь дровами топить и на жратве экономить? Лёля, наше время пришло!

— Закончил? А ты не задумывался, что жизнь, которую мы там, в Москве, последние годы проживали, — это лишь сон? Бредовый сон, и мы в нём копошились, барахтались, мечтали. Реальность, она была раньше... и сейчас — она здесь. Она такая... Проснуться пора, Кондратьев!

— Бред какой-то! Ты не слышишь меня, Лёля! Да пойми ты, наконец, время нельзя упустить! Сейчас время денег. Они — основа. Единственная ценность, остальное перестроечным ветром выдуло. Хотела на свой остров — получай! Надо только

немного напрячься, вывернуться наизнанку, денег заработать любым путём — и поезжай.

— Всё! Давай прекратим. С домом не передумал? Я поживу?

— Живи.

— Когда поедешь?

— Скоро... На днях.

Вернулся поздно вечером, мы уже спали. Свет не зажигал, прокрался и лёг. Старался тихо, но я всё равно проснулась. Лежала, в темноту смотрела. Озлился он после нашего разговора. Собрался и ушёл. Где был?

Глава 14

Кондратьев

Ветер задул с ночи. Сильный. Налетал порывами. Слышно было, как за окном шумят деревья, терзаемые ветром. Что-то грохотало на крыше. И так-то не заснуть — нервно, а тут ещё это... Хорошо, вставать рано не нужно — поезд в одиннадцать двадцать, хотя эти всё равно поднимут. Ну и ладно. Перетерплю — и свобода. Пусть сама здесь мыкается. Они всего неделю, а сплошная суета, хоть домой не приходи. Но стоит отдать должное, меня почти не дёргает. Похоже, тоже не спит. Трахнуть бы её напоследок. Где? Ребёнок. Действительно хочешь? Нет. Не нужно суеты, разговоров разных, вранья не нужно. Хватит. Утром собраться и всё — меня здесь нет. Вдруг билетов не будет? Вот дурак, надо было заранее взять. Перестань. Проходящий поезд. Тебе нужно купе. Обязательно. Чтобы сразу: раз — и другая жизнь. Чтобы стакан дребезжал в подстаканнике и простыни белые. Нищие все. В плацкартах и в общих может билетов не быть, а в купейный — точно будут. Что же там грохочет-то?

Прощание незамысловатое: без слёз и поцелуев, без надрыва. Хотя что-то киношное всё же присутствует: вышли за калитку, смотрят вслед. Рукой помахала, Таню теребит, та тоже вяло махнула.

Завернуть за угол. Забыть, выбросить из головы.

Упёртая дура! Как она одна с ребёнком здесь будет? Не дружит с головой — это точно. Ладно ещё летом... а зима настанет? Это же не игрушки. Зарплата копеечная, ребёнок болен, а ей подо всё основу теоретическую подвести нужно. Не может без этого. Цель ей подавай! Бабам, конечно, легче. У них цель определена возможностью рожать. Родила и воспитывай. А у мужика? Вот и мечемся, стараясь оправдать своё существование.

Дорога под ногами, небо над головой. Колдобины водой налиты, гроза под утро... Река привычно гудит, стелется вода по валунам, вскипает время от времени белой пеной. По небу облака несутся. Быстро. Тень на дороге — приближается, приближается... сейчас наступлю. Ветер в спину толкает. Рябит вода в лужах. Портфель, набитый, на плече. Тяжёлый. С чем приехал, с тем и уезжаю. Ничего не нажил. Пустой год.

По склону вверх домишки карабкаются, зеленью прикрыты, только крыши наружу. За ними кладбище. Отсюда не видно, но оно там. Памятник же хотел

поставить по весне, крест совсем в основании сгнил, завалится скоро. Забыл, закрутился. Денег жалко. В следующий раз. Какой следующий раз? О чём ты? Иди, иди!

Дом полуразрушенный. Крыша просела, окна выбиты. Кто жил? Куда подевались? От забора столбы одни. Ребятишки лет двенадцати. Разные. Вон — худой и высокий, как жердь. А тот — белобрысый — совсем мелкий. Много их — человек десять, может, больше... Сгрудились. Обсуждают что-то, руками размахивают. Один в стороне, с ноги на ногу переминается. Понятно — изгой, не принимают, не свой, так... позволяют поприсутствовать. Разделились на две команды, разошлись. Одни ждут, скучают, кто-то на гнилых досках, оставшихся от забора, пристроился. Другие сбились кучей, головами друг к другу — секретничают, и вдруг сорвались с места, разом, понеслись по улице. И этот — изгой — потрусил следом. Это же казаки-разбойники! И мы ведь так же... Я, Колька и Сашка Барановы, Валет, Боцман, Мишка Судосьев. Кто же ещё с нами был? Ольга Шабынина — Шаба! Ещё кто-то...

Остановился. Застыл.

Унеслись, скрылись за поворотом в проулке между домами. К кладбищу побежали — точно! Где-то там прятаться будут. Оставшиеся засуетились. «Жердь» длинно сплюнул, произнёс что-то. Двое побежали. Перед поворотом притормозили, выглядывают осторожно — всё понятно: главное — правильно определить направление, куда те рванули.

Стоял, смотрел, улыбался. Хорошо было, бездумно и интересно до дрожи. И ничего, кроме этой игры, в тот момент не существовало.

Идти надо.

Куда еду? Ни денег, ни жилья, ни работы. Не ждёт никто...

Прошёл с десяток метров, оглянулся. Команда «казаков» собралась возле проулка. Выжидают. Сейчас сорвутся и понесутся искать. Будут размахивать руками и спорить, разыскивать метки, оставленные мелом на заборе, стрелки, нацарапанные на земле. И день пройдёт... Но это будет счастливый день.

Ладно. Чёрт с ним! До сентября... В сентябре — строго — уеду.

Ветер теперь дул прямо в лицо.

Глава 15

Лёля

Эй, там, наверху — не молчи! Скажи, я всё правильно делаю?

2019—2021

Ефим Бершин

Больные времена

* * *

Безлюдный храм. Чистилище любви.
Слепое время движется по кругу.
Ни отзвука — кого ни позови.
Одни иконы молятся друг другу.

Бессонница. Распутица. Распад.
Тускнеет солнце, как печатный пряник.
Казалось, кто-то заново распят,
но намертво. И больше не воспрянет.

Бессонница. Гражданская война.
Иконы молят прямо из-под кисти
переписать больные времена
на языки потусторонних истин

и поменять местами берега,
пройдя сквозь боль, врачуемую болью,
сойти с ума, влюбить в себя врага
и не убить.
Или убить любовью.

* * *

В осеннем небе даже птицы спят.
И как во сне крадутся тропы лисьи.
Мир не допет. И сумрачно стоят
кресты деревьев на погосте листьев.

Я сам живу, как недопетый стих.
И ветка, словно кисть иконописца,
рисует лики будущих святых
на облаке.
Но как же сладко спится,

Бершин Ефим Львович — поэт, прозаик, публицист. Родился в Тирасполе в 1951 году. Автор шести книг стихов, двух романов и документальной повести «Дикое поле». Лауреат премии «ДН». Наш постоянный автор. Живёт в Москве.

когда нисколько не обременён
ни словом, ни веселием Содома,
под шум дождя, на паузе времён,
иконой на стене ночного дома.

Я эту осень всю перелистал —
свод жития, давно лишённый веры.
Ко мне сегодня ворон прилетал.
Но без олив.
И я захлопнул двери.

* * *

На это лето не хватает строк.
Раскисший, словно яблоко в компоте,
я сам — острог, упрятанный в острог
июльской ночи и бездушной плоти.

На это лето не хватает слов
так, как молитвы не хватает храму.
Всё замерло. Лишь тень колоколов
озвучивает эту панораму,

где месяц, словно шелудивый кот,
на чёрном небосклоне неуместен,
когда идёт две тыщи мёртвый год.
Или ползёт. Или стоит на месте.

Где душный ветер носит по полям,
по улицам, по придорожным ямам
и ненависть с любовью пополам,
и чудеса в угаре полупьяном,

где клочья ночи в воздухе дрожат,
как студень на растрескавшемся блюде,
где всё ещё свободой дорожат
ночные люди.

Они зовут: огня сюда, огня,
грозя сойтись в нечеловечьей сшибке.
И кажется, что больше нет меня —
я человеком сделан по ошибке.

Они кричат: распни его, распни,
нисколько не заботясь о расплате.
И вечный бой. И вечные огни.
И вечно продолжается Распятье.

* * *

Незаконное время неспешно диктует закон.
Незаконные птицы, крича, замерзают в полёте.
И сочится из стен диктатура застывших икон.
Диктатура любви. Диктатура измученной плоти.

Как же слово болит! Будто где-то распяли словарь.
Будто вдруг оживают давно позабытые даты.
И с казённых столбов верещит электронная тварь,
и мигает в ночи — электронных времён соглядатай.

Никуда не уйти. И не скрыться под маской ночей,
где, сменив оперенье, летят молчаливые дрофы.
Выхожу на парад. Впереди семенит казначей,
как воскресший гонец из зарытой в песках Кериофы.

Проступают иконы из жизни и веры иной.
Расступается море. И мы с тобой лишь опечатки
в этой книге времён.
Набегает волна за волной,
поглощая песок.
И кричат незаконные чайки.

* * *

Что если он хотя б на миг
со стоном усомнился в Сущем, —
увидев только этот мир
в его обличье сучьем,

и в том, что путь меж двух миров
нет, не триумфом, не парадом
лежит, а между двух воров,
висящих рядом.

Но эта боль, и этот стон,
и ужас — ничего не значат.
И будет так, как хочет Он,
а не иначе.

И медленно проступит свет
сквозь ливень и порывы ветра
из мира, где и мира нет,
где Бога нет и смерти нет,
но есть любовь и вера.

* * *

Спохватились, побежали, было поздно.
Было постно на душе. Было пусто.
На заплёванном перроне сели в поезд
опоздавший, неуютный, непопутный.

Этот поезд спотыкался на стыках,
отдавался в лесах гулким эхом.
Этот поезд был вчерашним. Было стыдно
на вчерашнем поезде ехать.

И швыряло нас от стенки — до стенки.
Что ж, бывает. Да и выпить не вредно.
Вот и стрелочница. Двигает стрелки,
не заметив, что закончилось время.

Пётр Воротынцев

Заведение

Повесть

Памяти Вадима Моисеевича Гаевского, великого учителя и вдохновителя

Автор выражает огромную благодарность Валерии Пустовой за неоценимую творческую помощь и поддержку

Итак, вы здесь сейчас увидите,
Как люди друг друга любят,
И злобы жестокой деяния,
И страданья наши, и крики ярости,
И смех безжалостный!
Позвольте ж просить вас позабыть на время,
Что пред вами комедианты,
В души наши вы загляните,
И что мы люди тоже вас помнить прошу я,
Что подобно всем на земле живём мы,
И любим, и страдаем!
Мысль пьесы сказал я,
Теперь судите, как она развита.
Итак, мы начинаем.

Руджеро Леонкавалло. «Паяцы». Пролог

Presto

22.11.2017

Вообще-то я певец. Более того — я оперный певец. То есть, по идее, я носитель высокой культуры. Моя профессия призвана пробуждать благородные порывы в душах людей и преображать мир.

У меня несомненно есть сценический дар. Я надеваю фрак, лакированные ботинки, бордовую бабочку и вырезаю пробор. В этот момент я хорош. Жаль вот только, выступаю нечасто. Ну уж ежели выступаю, то бесподобно! В основном в Домах культуры и школах. На престижные площадки меня не зовут. Пока. Но ничего, ничего... Всё ещё будет. Следите за афишами столицы.

Пётр Воротынцев — писатель, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и театра историко-филологического факультета РГГУ. Автор книг «Чешский смех» (2018, «Геликон Плюс»), «Джоджо Стрелер. Музыкальность как принцип режиссуры» (2012, Lap Lambert Academic Publishing), «На сцене: история театра» (2020, «Пешком в историю»). Живёт в Москве.

В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Однажды в мебельном магазине мне дали скидку за голос. А сколько стоит этот комод? На слове *комод* голос я понизил до гудения. *Ко-мод.* Продавец тут и говорит: «У Вас такой чарующий голос, что я даю Вам скидку». А я его на концерт пригласил, в ДК Железнодорожников.

Вы, наверное, хотите знать, кто я такой, как меня зовут, как стал певцом, как развивалась моя так называемая карьера. Всё произошло неожиданно, внезапно, как удар литавры в симфонии Гайдна № 94 (она же «Сюрприз»).

С чего бы начать? Зовут меня Алексей Широков, мне двадцать пять. Семья и друзья называют меня на английский манер — Алекс. Заграничный колорит в имени преисполняет меня чувством собственной уникальности. И сценический псевдоним мне не требуется. Достаточно написать «Поёт Алекс Широков», и люди заинтересуются.

Да... сегодня умер человек, которого я любил и которым восхищался. Не стало Дмитрия Хворостовского. Я его никогда не видел, но любил как родного. В понедельник похороны.

13.02.2010

А в тот день тоже хоронили. Пышно, громко, с музыкой. У здания № 13 на Большой Никитской стояла толпа, тянувшаяся до Моховой. Несмотря на февральский мороз никто не уходил, не бросал очередь. Люди стояли, слипшись друг с другом, как конфеты в кульке. Я и не знал, кого хоронили. На Никитской я оказался случайно, просто шёл мимо, в тот день у меня был выходной. Служил я курьером в одной конторе (её уже нет, разорилась) по графику два через два. Меня с детства тянуло к большим сборищам, монументальным очередям и пышным погребальным обрядам. Вот и эти похороны меня заинтриговали. Я купил букет гвоздик и встал. Через полчаса я уже добрался до входа в Консерваторию.

Каждого усердно проверяла охрана. Видимо, ожидался приезд Самого или кого-то из его приспешников. На широкой лестнице, ведущей к Большому залу, были расставлены портреты, с которых глядело громоздкое, но красивое женское лицо. Под портретом подпись: *Ирина Константиновна Архипова (02.01.1925—11.02.2010).* Я смекнул, что хоронят важную советскую примадонну. Вообще я впервые попал в Консерваторию. Откуда-то сверху доносилась музыка, голос пел что-то классическое и высокое. Ещё через двадцать минут я вошёл в Большой зал. Портреты наверху глядели на меня серьёзно, почти грозно. Особенно недружелюбно — Бетховен, его портрет был мне известен, в классе музыки в школе висел такой же. На сцене стоял гроб, в гробе том лежала монументальная пожилая дама с огромной грудью, которую украшали бриллианты. Даже из зала я видел, что на округлом оперном лице у неё родинка величиной с орешек. Родинка притягивала взор и волновала. Я поднялся на сцену по боковой лестнице, аккуратно и беззвучно положил букет, бросил взгляд на царственно-печальное лицо покинувшей мир женщины и прошёл дальше.

Уже на выходе из зала кто-то любовно подтолкнул меня ладонью в спину. Я повернулся и увидел свою бабушку. Господи, и она на прощании, вот совсем я был не настроен ей что-то объяснять. Как, зачем, почему оказался в Консерватории. Бабушка смотрела на меня с удивлённым умилением и уже было открыла рот, чтобы поздороваться. Но я рванул. Я побежал прочь, расталкивая скорбящих, у одной благообразной дамы выбил венок, она взвизгнула и заплакала от досады. Я извинился и поспешил покинуть здание. К метро, скорее к метро! Скрыться, спрятаться от бабушки в подземке!

14.02.2010

В полдень меня разбудил накатывающий как прибой звонок нокии.

— Да, алё, — мрачно прогудел я.

— Алекс, привет, можешь говорить? Я еду, буду часа через три, — мама возвращалась из короткой туристической поездки по Золотому кольцу, — сувениров набрала. К ужину что-нибудь купить? Да ты спишь, что ли? — строго спросила мама.

— Да, сплю.

— Отпуск у меня, а ты должен быть на работе. Такая у тебя работа, сам выбрал, поэтому будь добр и в воскресенье вкалывай. Ты почему не на работе, спрашиваю?

— Не знаю, не хочу туда. Неинтересно там.

На работу я и не вернулся в итоге. Трудовую мне привёз через неделю курьер, нанятый вместо меня.

— Эх, Алекс... Не учишься, не работаешь толком, вот загребут тебя в армию, поплачешь ещё, там тебе мозги вправят, отмазывать тебя не буду, предупреждаю, — мама бросила трубку и, похоже, заплакала где-то далеко, за гранью сиюсекундной физической досягаемости.

Я встал, умылся и вышел на кухню. Там сидела бабушка и разгадывала кроссворды. Она решала кроссворды, полагая, будто это избавит её от Альцгеймера. Чёрта с два! У нас это генетическое, передаётся по наследству.

— Ба, привет!

Бабушка оторвалась от мира чёрно-белых кроссвордов.

— Алекс, ты что вчера на похоронах делал? Неужто, наконец, оперу полюбил?

— Да не... Случайно попал.

— Случайно? Нет, случайно на похороны оперных певиц не попадают, это определённо знак! Мне всегда казалось, что ты будешь артистом. Ты когда родился, мне сон приснился, что внук будет оперным певцом! Сон не забылся, я отчётливо его помню, — бабушка предалась зачаровывающим воспоминаниям. — Ты стоишь на сцене, в галстуке-бабочке, и поёшь «Я вас люблю, люблю безмерно. Без вас не мыслю дня прожить». Ты был удивительно хорош во сне, из тебя выйдет идеальный лирический баритон. Ты заканчиваешь арию, оркестр тает, из зала летят цветы, ты держишь благородное спокойствие, хотя тебе очень приятно и хочется улыбаться... Твоё время пришло, Алекс! — патетически воскликнула бабушка. — У тебя же отличный голос. Ну-ка крикни.

— Ба, зачем это?

— Крикни, я сказала, крикни «ааа».

Я орнул. Люстра завибрировала.

— Во какой голосина! А какой тембр, — слышишь изумрудные переливы в тембре?

Я крикнул ещё. Да, что-то в моём голосе было. Звук тёк легко, приятно щекотал грудь.

— Я же говорила тебе много раз, что у тебя великолепный голос, а ты игнорировал мои просьбы учиться музыке, дурью маялся, зарывал талант в землю. А это грех! Мама тебя всё жалела, думала, что перенапряжёшься в музыкальной школе. Ну ладно, наверстаем ещё. Есть у меня идейка... В Гнесинку и Консерваторию тебя, ясное дело, без должной подготовки не возьмут, но можно в одно местечко податься, уж туда-то ты поступишь. Значит, так, — она любила делать всё быстро, — у меня есть педагог. Я ей позвоню. Вот прямо сейчас и позвоню.

Бабушка взяла блокнот, где от руки были записаны номера телефонов, и пролистала его до нужной страницы.

— Вот, Влада Алексеевна. Набираю. Диктуй, — бабушка передала мне раскрытый блокнот. Я кое-как подхватил записную книжку, попутно помяв уголок страницы с телефоном Влады Алексеевны.

Я диктовал цифры, прислушиваясь к голосу. Голос звучал. Точнее, я теперь знал, благодаря бабушке, что у меня хорошо звучит голос. Он будто вынырнул из глубин и обосновался в глотке.

В принципе, мне было всё равно: таскать документы по Москве или горланить песенки. На момент этого странного происшествия мне было восемнадцать лет и жил я с бабушкой и мамой. Пролетев с инженерным институтом, пошёл работать. В течение года надо было себя занимать чем-то ещё, помимо вялой подготовки к повторному поступлению. Я спокойно жил в условиях полупраздности, и тарелка супа всегда ждала меня дома.

Оперу я никогда не любил, точнее, не был знаком с этим чудом света, учился ни шатко ни валко, искусством не интересовался. Зато бабушка ходила на все премьеры и значимые концерты в Москве. В Большом академическом театре России её как родную, приветствовали капельдинерши. Иногда она срывалась в Петербург (бабушка говорила «Ленинград», я не люблю это слово, оно отдаёт кровью и страданием) в Мариинку или же Михайловский театр. В день важной премьеры она принаряжалась, собирала не утратившие роскошь седые волосы в элегантный пучок, брала сменную обувь (бабушка семенила в туфлях до старости) и отправлялась в театр на такси.

Вечером на семейном совете договорились (по правде, всё решила бабушка), что отныне я посвящая себя только пению, готовлюсь к поступлению, а бабушка и мама будут меня содержать до тех пор, пока я не стану знаменитым певцом. Тем более зарплата моя и так не впечатляла, и хватало её на десять походов в «Пятёрочку» или три посещения «Азбуки вкуса».

— Проживём как-нибудь, без куска хлеба не останемся, — заключила бабушка. — А пока, вот тебе, — бабушка подошла к полке и сняла с неё диски с записями великих. Я пошёл к себе слушать диски. Опера так опера.

Ночь с 14 на 15 февраля 2010 года

Бабушка дала мне три диска. Все сольники: Образцовой, Атлантова и Хворостовского. Я поочерёдно вставлял диски в свой поцарапанный ноутбук. Прежде чем заиграть, CD бешено вращался, а компьютер кряхтел, выбрасывая пыль, чтобы через пять-семь секунд разразиться оркестровым вступлением. С каждого альбома я решил послушать по одной арии и лечь спать. Меня клонило в сон, я отбывал аудиальную повинность. Разделавшись с Атлантовым и Образцовой, я достал диск Хворостовского, в спешке обляпав сверкающую гладь. Моё внимание привлекла ария «Спит стрелецкое гнездо» из «Хованщины» Мусоргского. Уж больно странное название оперы — «Хованщина», оно отдавало супом и капустой. И тут я пережил откровение. Баритон начал тихо-тихо: *«Спит стрелецкое гнездо...»* — затем через паузу с угрозой и разочарованием продолжил — *«спи, русский люд»,* — и взорвался на словах — *«ворог не дремлет»*. А *«Господи»* в середине арии он произнёс с такой усталостью, что мне стало жалко себя. Да и всех: маму, бабушку, директора фирмы, из которой я сбежал, даже шумного соседа и того стало жаль. Ария нарастала, приближалась к кульминации и, миновав пик, добралась до главных слов: *«Ей, Господи, вземляй грех мира, услышь меня:*

не дай Руси погибнуть от лихих наёмников!» Последними аккордами оркестр поддержал напряжение, не испарившееся даже после конца арии. Диск перещёлкнулся на следующий трек, на протяжную тему Елецкого. Я остановил прослушивание и захлопнул ноутбук. Спать расхотелось. Подошёл к окну. Заиндевевший спальный район застыл. Люди спали в уютных квартирках, чтобы утром встать на работу. Меня поманил магический мир сцены, софитов, цветов, грима и полных залов...

17.02.2010

Бабушка обо всём договорилась. Через два дня, обмотавшись шарфом, как почитаемый бабушкой Иван Семёнович Козловский, и нацепив старомодную ондатровую шапку, я отправился на первое занятие по академическому вокалу.

Миииииииии, на полтона выше *миииииииииии*, ещё выше, ещё на полтона, давай ещё на полтона — нет пока рано, голосовые складки (*связки* — говорят дилетанты) устали. Мягко спускаемся вниз. Потом распевка на *ма, мо, му*. Тренируем легато и стаккато. Мычим, чтобы разогреть резонаторы.

К педагогу, Владе Алексеевне, внучке великого баритона Большого театра, я сразу же почувствовал симпатию. Она служила в детском театре Сац. Её не смущало, что в одном из спектаклей она поёт партию Бутерброда. Меня Влада Алексеевна полюбила, скорее всего, за то, что я баритон. Как и её выдающийся дед. Ещё Влада Алексеевна уважала мою бабушку. Бабушка у меня Заслуженный акушер-гинеколог Российской Федерации, работала в крупной московской больнице.

Подготовку к поступлению Влада Алексеевна не форсировала. Первый месяц только вокализы, затем мы принялись разучивать старинные арии и романсы. В конце марта я даже попробовал «Фигаро» (Моцарта). Репертуар Влада Алексеевна подбирала аккуратно. По своей доброте она окрестила меня большим талантом и пристрастила к стрельниковской гимнастике. Теперь каждое утро я сгибаю локотки, устанавливаю их параллельно полу и делаю дыхательные упражнения. До головокружения! Количество вдохов должно быть кратно восьми! Шумный вдох носиком, сильнее, сильнее, нюхаем пол, нюхаем потолок, дышим, дышим! Не расслабляемся.

За пару месяцев я достиг уровня училища, азы сольфеджио Влада Алексеевна мне тоже объяснила. После идиотской работы курьером я отдыхал душой. В мае Влада Алексеевна посоветовала рискнуть и подать документы в Консерваторию. Намекнула, что поговорит с ректором... Но бабушка отсоветовала, сказала, что в Консе я могу сломаться. И пошёл я в Заведение. К слову, малознакомым людям я вру, что окончил Консерваторию или Гнесинку (произношу по-московски Гнэсинка), для солидности. А уж профессионалов не особенно-то и проведёшь, приходится сознаваться, что учился в Заведении.

Чтобы узнать, куда меня отправляет бабушка, я погуглил, что за вуз такой. На сайте написано, что это единственное место в мире, где творческими специальностями могут овладеть люди с различными нарушениями. Инвалиды, короче, если отбросить политкорректность. Но в тексте была ремарка, что и здоровые имеют право поступать. Ага, значит, берут всех. Далее я заглянул в раздел истории. Заведение возникло в начале 90-х на волне интереса к новаторским педагогическим теориям. Уже в 1998 Заведение обзавелось сайтом с первой в России версией для слабовидящих, всё прогрессивно! А в 2000-х там открылась аспирантура. Отличное место, благим делом люди занимаются! Четыре факультета: изобразительного искусства, театральный, музыкальный и звукорежиссёрский. Я перешёл к фоткам. Три этажа, типовое здание школы середины 50-х. На третьем художники, даже по

фотографиям чувствуется, какая там царит сосредоточенная тишина. На втором обитают музыканты и звуковики. На первом актёры. Больше всего фото на сайте посвящено гордости Заведения: театру глухонемых и его основательнице Алёне Бедной. Глухонемые актёры в чёрной монашеской одежде много выступают, ездят по миру и снимаются в кино. Размещены снимки с гастролей по Европе. В вузе есть смешанный оркестр. Набор инструментов в оркестре богатейший: три скрипки, литавры, две виолончели, четыре балалайки, три флейты, баян, две домбры, барабан и ситар.

Здание Заведения внесено в реестр культурного наследия города Москвы. Фасад вполне торжественный: четыре толстые, как ноги слона, колонны подпирают меланхоличную улыбку портика. Цвет сдержанный: тёмно-коричневый. Слева от входа пандус, как же иначе, специализированное место! Пандус вымощен бежевыми квадратиками плитки. Есть лифт, организована безбарьерная среда, пупырчатые надписи для незрячих и слабовидящих на стенах, профессиональные сурдопереводчики в штате... Всё по-серьёзному.

А в подвале столовая, есть фотографии и этого места. Столовой заведует Сюзанна Хачатурян. Вот как, и работников столовой не забыли, трогательно.

К июлю я подготовил полноценную вокальную программу для поступления: арию Фигаро Non piu andrai, старинную арию и романс Свиридова. Про запас у меня ещё были серенада Дон Жуана Чайковского и «Дубинушка», считающаяся народной. Голос собрался и приятно ударял бархатными кулачками по резонаторам.

15.07.2010

Москву щипал дым. Белёсая дрянь опустилась на столицу тем засушливым летом. А надо было петь, и петь хорошо.

От метро до Заведения метров сто. В погожий день хорошо пройтись, прогуляться и продышаться перед занятием вокалом. Но тогда, в день экзамена, я с трудом пробирался сквозь плотный терпкий туман. Видно было метра на два вперёд. Тени людей сновали в плотных, облегающих масках, чтобы злой воздух не проник в лёгкие. В маске было неудобно, она перегревала рот и щёки, но делать было нечего. Я шёл, отбивая такты арии Фигаро, пока не понял, что заблудился. Голова загудела от алого прилива паники. Я опаздываю!

Я ускорился, расталкивая дым локтями, но торопливый шаг мой резко оборвал голос, истошный и парадоксально красивый для крика. Голос кричал отчаянно, сбиваясь на лёгкого, приятного «петуха», слов я не разбирал, но было ясно, что человек зовёт на помощь. Я пошёл на голос, тот звучал вроде бы близко, но странно глухо. Сделав несколько шагов, увидел широкий чёрный обод большого колеса, он рельефно прорисовывался в ядовитом тумане, спицы же колеса сливались с дымом. Я двинулся навстречу молочной дыре, извергавшей дым. Толстый человек сидел в коляске. Кто-то называет этот вид транспорта *кресло.* Но кресло — это нечто удобное, глубокое, мягкое, вельветовое и вальяжное. Сидя в нём, курят сигару, попивают виски со льдом и заключают многомиллионные сделки.

Левый глаз парня безбожно косил, но правый смотрел твёрдо и беспощадно. Торс полный, плотный, и не скажешь, что человек нездоров, если бы он просто сидел на стуле. А вот ноги худые, как веточки, безжизненные, сразу ясно, что в них отсутствует сила. Высохшие, тощие, не знающие движения, они завалились влево странным зигзагом. Ступни молодого человека почти соскальзывали с пыльных подножек.

— Вы как тут оказались? Помочь, может? — растерянно завёл я беседу.

— Меня зовут Павел, Павел Волынский, — пробасил колясочник. Он уже не кричал, не расплёскивал себя и звук, говорил школьно, без горлинки, искусно направляя звук. Столь официальное представление поставило меня в тупик.

«Неплохой голос», — не без зависти подумал я.

— Я ищу... — он произнёс официальное название Заведения.

— Я тоже, давайте искать вместе этот... невидимый град, — приторно рассмеялся я, и собственный натянутый смех раздосадовал меня.

— Моя сопровождающая, она же моя мама, затерялась в тумане. Подтолкни коляску, пожалуйста, — не особенно церемонясь и переходя на ты, но при этом и как бы извиняясь за свой недуг, попросил Паша.

Я взялся за ручки коляски, выпиравшие, как рога, и повёз абитуриента. Крадучись, с лёгким шорохом покатилась коляска. Это с гигантскими колёсами соприкасался болтавшийся сзади, видавший виды чёрный рюкзак с серебристым светоотражателем. В нём наверняка лежало нечто очень важное: склеенные ноты или аттестат зрелости.

Павел Волынский был не только громок, но и тяжёл. А ещё от него исходил какой-то инородный, незнакомый запах. Много позже я понял, что так пахнут тяжело больные люди. Запах обречённости и увядания. Моё дыхание сбилось, везти столь значительное тело было непросто. Коляска катилась, легонечко шурша резиной по асфальту. Левое колесо подсдулось, отчего Пашу слегка кренило. Всего через три минуты мы нашли Заведение.

— Кажется, вижу колонны! — вскрикнул Паша.

— Большого театра? — сострил я.

— Это в будущем, — парировал Паша.

— Господи, Паша, ты куда пропал? — подбежала к Паше опешившая женщина средних лет. Оказывается, мать оставила сына, а сама бросилась искать дорогу. В это время Паша в надежде найти путь и помочь маме самовольно откатил коляску (руки-то работали неплохо) достаточно далеко и сбился с маршрута. Одним словом, они разминулись.

— Познакомьтесь, моя мама Алла Валерьяновна, — невозмутимо представил Паша.

— Алекс, — подал я руку. — Алексей, по-русски говоря.

— Очень приятно. Нашла, нашла дорогу, ух, перепугалась же я! — суетилась мама.

— Мы тоже нашли, — отрезал Паша.

— Ну, с Богом, — напутствовала мама.

— Нет никакого Бога, — сумрачно откликнулся Паша.

У входа в Заведение столкнулись двое слепых, их палки скрестились, как шпаги. Они обречённо шли друг на друга прямым курсом несколько метров, один размахивал палкой, словно ошалевший дирижёр, второй же зондировал асфальт, как сапёр. Наконец, неизбежное свершилось и слепые столкнулись.

— Это кто? — раздражённо крикнул первый.

— Да я это, куда чешешь-то? Слепой, что ли? — расхохотался второй.

Они пожали друг другу руки, перед этим долго ловя воздух ладонями. Относительно близко, метрах в тридцати, грубо прогавкала собака, и слепые синхронно подпрыгнули, будто перед их ногами возник тугой поводок.

— Весёлая атмосфера, — без улыбки пробурчал Паша, проверив по ходу фразы громкость голоса.

Мама закатила Пашу по пандусу, я же поспешил к двери. Хотелось пропустить Пашу и маму, импозантно откинув дверь, но она оказалась тяжелее, чем я ожидал.

Сонный охранник даже не привстал, чтобы помочь.

— Где лифт? — без особого почтения обратился Паша к охраннику.

— Там, — тот вяло махнул влево.

Мы вместе двинули к лифту, я не решился отколоться от мамы с больным сыном. Паша меня слегка пугал, но и притягивал.

Мама нажала кнопку лифта, наверху что-то громыхнуло, как бутафорская гроза, и резко оборвалось. Лифт сделал ещё одну попытку поехать, но дёрнулся в истеричной конвульсии и заглох окончательно. Он был попросту неисправен. Всё-таки это здание бывшей школы, и лифт планом предусмотрен не был. В Заведении его пристроили искусственно, получилась своеобразная люлька на стене здания, инородное тело.

— Сломался, уходим отсюда. Ещё совести хватает на сайте расхваливать безбарьерную среду, — запальчиво прошептала мама.

— Что такое? Чем могу помочь? — потёк женский голос сзади.

Это была ректор (ректорша, ректорка — нынче в ходу феминитивы), я узнал её, она нередко появлялась на телевидении и разглагольствовала о достижениях инвалидов в области культуры. Вера Александровна Винилова. Тучная, как тесто, кучерявая тётка средних лет. Говорила она с ванильной интонацией. Руководит Заведением с момента его основания. По профессии дирижёр.

— Не волнуйтесь, ради бога не волнуйтесь, сейчас мы вашего сына занесём наверх, — сказала Винилова, распушая интонационные перья. Она обратилась не к Паше, а к его сопровождающему. — Сейчас всё исправим, Вася, чего сидишь, помогай! — крикнула она в сторону охранника.

Охранник расслышал приказ ректорши не с первого раза. Её слова заглушал звук баяна: он нависал, словно купол. Услышав слова Виниловой, охранник поплёлся делать одолжение.

— И ты неси, чего стоишь? — обратилась ко мне Винилова.

Я, не успев возмутиться и возразить, просунул пальцы в спицы и взялся за правое колесо.

Слева орудовал Вася.

— На второй этаж, там экзамен у вокалюг, — фамильярно сказал Вася.

Дыхание отрезала усталость. Я с облегчением опустил колесо и попробовал вздохнуть, но не смог, будто мне всадили со всей дури по рёбрам. Внутренние органы уперлись в низ живота. Заносить коляску наверх — это я скажу, тяжело. А от чувства ответственности ещё тяжелее. Ты несёшь живого человека, а не мешок с удобрениями.

— Вот молодцы, отлично дотащили, — похвалила Винилова.

Сбоку раздался зажигательный смех. Ко мне подбежала блондинка в ретро-очках. У блондинки был маленький горбик, выпиравший на спине, как рюкзачок. Платье на ней было розовенькое, в цветочек.

— Смешно. Смешно-то как! Вы такой красивый, в белом костюме, и платочек на шее, а вид у вас глупый, когда таскаете коляску. Катя весёлая! — сказала она о себе в третьем лице и побежала по коридору в сторону туалета. Там наткнулась на слепого и, испугавшись, заверещала:

— Уходи, уходи.

Девушка была слегка на пределе.

У входа в аудиторию толпились абитуриенты: здоровая с виду девушка, карлик и огромный бритоголовый парень в тёмных очках, дужки которых рьяно впивались в раскрасневшиеся уши, как крючки. Время от времени он снимал очки и поправлял

разболтавшуюся левую дужку. На зрачках у него расплывались белые кружки, словно белые пятна замазки в школьной тетради. Карлик травил анекдоты.

— Душно. Потолки низкие, — парень в тёмных очках безупречно угадал пространство вокруг.

Катя тоже поступала. Скрюченный дцпшник полушёпотом повторял французские слова арии Валентина из «Фауста» Шарля Гуно. Руки так и чесались разгладить его, как смятую бумагу. С нами со всеми болтал какой-то кучерявый тип с серьгой в ухе, он давал советы, явно ощущая своё превосходство. Видимо, давно уже здесь учится.

— И за границу выезжаем, в Прагу, например, там у них тоже есть подобный специальный вуз, в посольствах выступаем, а недавно нас принимал сам Патриарх. Я, кстати, в церкви пою... а вы воцерковлённые?

— Это, уж извините, личное дело каждого, — сказала с виду здоровая девушка с печальными глазами.

— Приготовьтесь, что будете проводить здесь много времени! Искусство требует служения! Кстати, рад познакомиться, — воцерковлённый протянул руку для знакомства. Я пожал её и чуть не отпрыгнул от неожиданности и брезгливого ужаса. Рука воцерковлённого была деформирована, вместо пальцев торчали подрезанные клубни.

— Может, знаешь, — обратился я к нему, дабы заболтать неприятный эпизод, — кто там на баяне играет наверху? Очень шумно, сосредоточиться трудно.

— А, это Федя, он вечно сидит на лестнице и играет на своём баяне, даже на каникулах, — рассмеялся парень.

— А почему на лестнице?

— Да классы вечно заняты, вот и сидит на лестнице, негде больше.

Тем временем из аудитории вышла пожилая тётушка и хрипло, распыляя изо рта запах курева и кофе, пригласила нас:

— Уважаемые абитуриенты, пройдите в аудиторию.

— Бегу, бегу, — вылетела из дальнего конца коридора Катя и ловко вписалась в дверной проём первой.

Мы заходим и рассаживаемся кто куда. Каждого из нас по очереди вызывают на сцену. Аудитория маленькая. Окна наглухо заперты от смога. Длинный, вытянутый, в форме хоккейной площадки стол для комиссии, бутылки воды, пластиковые стаканчики. Всё кричит о серьёзности происходящего. В метре от комиссии рояль. Абитуриент встаёт во впадину рояля и видит перед собой заспанные и уставшие физиономии педагогов Заведения. Он буквально дышит в лицо членам комиссии. Комиссия старается сохранять важный вид — всё как в лучших вузах Российской Федерации. Программу абитуриента перед выступлением зачитывает по бумажке пригласившая нас в аудиторию тётушка.

Первой экзаменуют Катю. В момент пения Катя мнёт пальцами воздух, будучи не в силах контролировать свои спазматические движения. Она очень волнуется. Голос у неё маленький, детский, приятный, но разобранный, звуки рассыпаются в стороны, как бисер, поёт она воющими приливами. Исполняет первую арию Церлины, романс «Не искушай» Глинки и половину шлягера «O mio babbino caro» из «Джанни Скикки». Допеть последнюю арию ей не дали: «Достаточно, Катенька, дорогая». Закончила выступление Катя изрядно потрёпанной, её белые волосы пылали нимбом волнения, а розовые перчатки цвета клубничного йогурта сползли. Катя хлопнула дверью и куда-то понеслась. Из-за двери послышалось:

— Я тебе покажу, плохо спела, несобранная!

Мать её, что ли?

Затем прошли карлик, шкаф и девушка с печальными глазами. Украинская песня «Казав мені батько», «Серенада» Шуберта, «Лучший город земли» — каких только произведений и интерпретаций не пришлось выслушать в тот день.

Неумолимо подошла моя очередь. Под шейным платком образовалась испарина, пиджак изнутри раздувался жаром, на лбу плавала в поту жирная чёрная прядь. Аккомпаниатор начал, аккорды арии Фигаро задорно подпрыгнули. С пианистом я провёл репетицию накануне, мне разрешили, хоть и без воодушевления. Обычно в Заведении позволяют поработать с концертмейстером лишь в день экзамена, что тяжко. Ведь приходится пропевать программу в полный голос! Я прошёл программу с вялым помятым пареньком лет двадцати семи, Валерием Валентиновичем — выпускником Заведения. Он слабовидящий и, когда играет с листа, наклоняется к нотам так низко, что его корпус, как может показаться из зала, висит параллельно клавиатуре. Неаккуратный: на репетиции посреди арии смахнул, переворачивая ноты, листы, отчего клавир безжизненно раскорячился на полу. Валерий Валентинович ведёт в Заведении *общий рояль*, я предпочитаю говорить именно так, помасштабнее звучит, чем какое-то там *общее фортепиано*. Поговаривали, что Валерий Валентинович доносит начальству и распространяет в свободное время брошюры по саентологии Хаббарда, во что лично я не верю. Слишком он ленив. А на фамилии Хаббард можно, кстати, хорошо распеваться!

Я дошёл до самого сложного хода в арии Фигаро. *Delle belle turbando il riposo!* Я прямо-таки влетел в верхнее *ми*, выпадающее на неудобную гласную *о*. И она заострилась и отзвучала, как упавшая тарелка. Ария неслась вперёд. Говорят, что на сцене время летит, но это не так, оно не летит и не движется, а куда-то вываливается. Я успешно отправил Керубино на войну и перешёл к следующему произведению.

Вторая ария была барочная Sebben crudele композитора Кальдары. Я хотел показать комиссии кантилену — навык импровизирования и выпевания хитрых орнаментов, — немного перевести дух после моцартовской бравады. Ария-то Sebben crudele простенькая. Можно пройти её не напрягаясь, отдохнуть, восстановить дыхание. Барочная музыка вообще выигрышный вариант, она гипнотизирует и поднимает человека над миром. Если посредственный режиссёр не знает, что делать со сценой в кино или в театре, то врубает барочную музыку (Пёрселл там, Вивальди или Порпор, на худой конец), и всё одухотворяется, воспаряет.

Для концовки я выбрал ударный романс Свиридова «О родина, счастливый и неисходный час» из вокальной поэмы «Отчалившая Русь» на стихи Есенина. Мощная, тревожная музыка, оглушающая колокольными переливами. Пел на предельном звуке, крупным помолом, почти кричал, выдавал три f, не церемонясь с нюансами. Пропев последнюю фразу *«Несу, как сноп овсяный, я солнце на руках»*, артистично (как мне казалось) закрыл лицо руками, дабы передать порыв. Музыка остановилась и через цезуру комиссия зааплодировала. Полноватый мужичок с сальными глазками обратился к Владе Алексеевне так, чтобы все слышали: «Ваш ученик очень одарён!» На лацкане пиджака мужичка красовалась золотистая клякса. Я присмотрелся, это был значок, а на нём аккуратным полукругом выгравировано: «Почётный член Академии голоса». Он потёр сухие желтоватые руки с многочисленными гречишными пятнами и подмигнул мне.

Комиссия громко совещалась, пока я собирал ноты. Кто-то отметил «потрескивающий морозец» в грудном резонансе. Меня хвалили, я вернулся на место с чувством глубокого удовлетворения. Я определённо был на высоте.

Последним шёл, если так можно сказать, Паша. Мама выкатила его и развернула лицом к комиссии.

Голос Паши отвлёк меня от вонючего запаха недавнего ремонта — жуткой комбинации краски и линолеума. Он пел ровным и собранным звуком, тихо, почти затаённо. Но, главное — *что* он пел! Романс, которым я пару минут назад закончил программу. Я орал, а он почти шептал, взвешивал каждое слово. При этом слышно было его отлично, звук наполнял комнату, узкий коридор, весь бесконечный мир. И не подал виду Паша, что поёт то же произведение, принял вызов холодно, не задёргался. Вот это выдержка! А я-то думал, что романс такой сложности уж точно никто не возьмёт.

Паша пел, и комиссия его не останавливала. Русскую народную, неаполитанскую скучноватую арию степенного Зарастро. Он был страстным неаполитанцем с мандолиной, а минуту спустя мудрым жрецом, — перевоплощался Паша молниеносно. Нельзя было и допустить мысли, что поёт тяжело больной человек. Я восхищался и завидовал. Конечно, проблемы в пении у Паши всё же были, техника не отточена, дефицит ритмичности и музыкальности, изредка он нечётко вступал, смазывая сильные доли...

— Можете забирать вашего мальчика, — выдернула нас из сладостного упоения хриплая тётушка.

— Хорошо спел, Пашенька, молодец, — подбодрила она Пашу, обращаясь на ты, по-школьному.

Паша промолчал, ограничившись пресным кивком.

Потом комиссия обсуждала результаты. Уже почти стемнело, а мы всё ждали в тесном коридоре. К запаху свежего ремонта вечером добавились ароматы цветов, косметики и кисловатого пота. Паша даже задремал.

Наконец-то дверь распахнулась, из зала вывалился необъятный выхлоп духоты.

— Результаты объявит Аида Сигизмундовна Роднина, — дежурно отчеканила Винилова и удалилась в свой кабинет на первом этаже.

С листком А4 вышла та самая хриплая тётушка и, выдержав паузу, с многозначительной улыбкой прошептала: «Приняты все». Радость, объятия, всполохи удовлетворения — победа!

— Могли бы и сразу сказать, зачем столько держать было? — пробубнил Паша.

Роднина метнула в его сторону недобрую улыбку. От раздражения она еле заметно притопнула старой, позолоченной, очевидно парадной туфлей.

В этот момент Катя побежала по коридору, размахивая руками, словно танцовщица фламенко, и засмеялась от радости.

— Утомила меня сегодня эта Эмилия Марти, — сказал мне Паша, кивая на Роднину.

Я не знал, кто такая Эмилия Марти, но предпочёл согласиться.

Вышла Влада Алексеевна и обняла меня. Она долго прижимала меня к себе, благодарила за экзамен и поздравляла так, словно я только что с успехом дебютировал в Венской Штаатсопер.

Я попрощался с Владой Алексеевной до сентября и засобирался. Паша с мамой тоже уходили. Мы вышли на улицу втроём и затянулись пригоревшим воздухом. Паша и мама покатили к воротам, там их ждала специальная машина для транспортировки инвалидов: социальное такси с подъёмником. На территорию Заведения машину не пустил охранник.

Мы тепло распрощались.

— Видишь, вошли мы в невидимый град, а ты нервничал! Теперь главное — выйти отсюда! — саркастически подметил Паша.

Мама слегка присела и подняла Пашу из коляски, обхватив за талию. В это мгновение она напомнила служащего магазина одежды, несущего манекен. Мама усадила Пашу в машину, через полминуты ловко сложила коляску.

— Ой, а я и не помог вам, — растерялся я.

— Да нет, у нас уже всё отработано, — ответила мама, видимо, привыкшая к минутным порывам и рвению посторонних.

Я улыбнулся и помахал Паше, мне всё больше нравился этот колючий человек. Я уже отошёл от утреннего инцидента и не обижался на него за то, что пришлось затаскивать коляску на второй этаж. Да и в чём он, собственно, виноват?

Ехать домой, на свою родную улицу, и особенно на метро, было немыслимо. Сегодня я заслужил право слегка пошиковать. Нужно как-то отметить официальный старт творческой биографии, погулять и оторваться. Я достал кнопочную нокию и набрал телефон такси. 84955000500. Миловидная, судя по голосу, девушка пообещала, что через шесть минут водитель подъедет. Он действительно приехал через шесть минут, его «Форд» мягко разрезал посиневший в сумерках туман.

— Куда едем? — водитель был подозрительно бодр и весел.

— В центр. К ГУМу. К фонтану, — попробовал я пошутить.

— Поехали, довезу, — добродушно вздохнул шофёр.

Мне очень захотелось мороженого. Гумовского. Советского. В рожке. Напоследок. После я собирался более основательно беречь голос и отказаться от мороженого.

Ближе к МИДу, там, где поворот на Садовое кольцо, мы упёрлись в огромную пробку. Мороженое откладывалось. Стая машин никуда не двигалась. Шпиль сталинской высотки ввинчивался в задымлённое небо. Озлобленный светофор не давал дорогу. На табло текли секунды, с девяносто девяти до нуля, а потом по новой. Красная роговица светофора, казалось, вот-вот должна была позеленеть, но нет... за нулём снова выпрыгивали две красные девятки и начинали медленно убывать.

Ждали кортеж.

Andante

01.09.2010

Я пришёл в Заведение 1 сентября. С гладиолусами. Нас всех ожидал праздничный концерт в актовом зале, собеседование, первые лекции и распределение по педагогам, которые будут вести специальность. День был сырой и невзрачный. Редкие жёлтые листья вросли в мокрый асфальт.

За август на входе установили турникеты. Колясочники заезжали в здание с чёрного входа. Слепые путались в холодных металлических дебрях. А ловкие, выдрессированные глухие актёры лихо перепрыгивали турникеты. Вслед им неслась безрезультатная брань охранников, на которую они отвечали невнятным бормотанием.

Нас собрали в актовом зале. Приступили к официальной части. По залу торжественно прошествовала Винилова, все встали: слепые отложили свои палки и поднялись, глухие вскочили, колясочники же остались сидеть — дефицит мобильности они компенсировали воодушевлённым хлопаньем. Я тоже поднялся. Рядом с Виниловой покорно встал сурдопереводчик, следить за ним было интереснее, чем слушать ректоршу. Сурдопереводчик вил руками восхитительную паутину, Винилова путано

излагала. Инвалидов она назвала «людьми с ограниченной ответственностью». Сурдопереводчик замялся и пассаж этот опустил. Далее нас наградили лаконичным концертом. Меня взбесил конферансье. Он нёс постыдную бредятину, типа «вы вступаете во взрослую жизнь, полную искусства и творчества, пусть ветер дует в ваши паруса».

По окончании официальной части нашу группу, в которую вошли Паша (после лета он выглядел получше), девушка с печальными глазами и я, отправили в аудиторию для собеседования. Девушку с печальными глазами, как выяснилось, звали Варя.

Весёлый слепой дядька с пустыми глазницами задавал вопросы о классической музыке, сольфеджио, полифонии и гармонии. Проверял наши знания. Знаний было немного. В тональностях, кварто-квинтовом круге и контрапункте мы не шарили. Но Баха от Оффенбаха отличали. В руках он вертел печать, которую слепые используют в качестве подписи.

— Ладно, гуляйте, научим ещё, — махнул он рукой и выронил оснастку со штампом. Варя подорвалась с места, подняла её и вложила в руку преподавателю.

Мы поплелись в другую аудиторию на свою первую лекцию по истории музыки. Её провёл округлый, как пингвин, очкарик. Милый пугливый человек. Говорил он мало, предпочитая ставить музыку. На лекцию пришёл с горой компакт-кассет.

Перед самым окончанием занятия ввалилась Винилова, чтобы объявить, с кем мы будем изучать нелёгкое ремесло вокалиста.

— Волынский и Широков к Магомаеву, Купряшкина — к Родниной.

Вот так нас и задрафтовали, выражаясь языком североамериканского спорта.

— Простите, — меня тряхануло, — а можно узнать, где Влада Алексеевна? Не видел её сегодня. Я был уверен, что она станет моим педагогом.

— Ой, ушла, больше не с нами, — ответила Винилова и умчалась.

Я опустил глаза, передо мной расстилалась бесконечная светлая гладь парты.

В себя я пришёл лишь на праздничном обеде. Было вкусно, душно и людно. Плотный борщ с плавающим комком сметаны, говяжья вырезка с макаронами, компот из сухофруктов. А на десерт подали арбуз, нарезанный кубиками. Надо же как заморочились, кубиками нашинковали. Заботятся о нас, балуют. Эта мысль меня немного утешила.

02.09. 2010

С утра час дозванивался до Влады Алексеевны.

— Ой, Лёшенька! Рада, что позвонил!

— Влада Алексеевна, почему вы не предупредили, что уходите?

— Боялась, Лёша, боялась, что бросишь вокал совсем, когда узнаешь, что я ушла.

Подошла бабушка и выдернула трубку властной рукой.

— Владочка, алё! Что случилось? Как так? Мы же договаривались, — бабушка старалась говорить вежливо, однако раздражение прочитывалось в её голосе слишком отчётливо. Влада Алексеевна отвечала односложно.

Через неделю мы узнали от знакомых, что она уехала в Израиль. Сейчас у неё там вокальная школа.

Вечером я получил от Влады Алексеевны смс. «Береги голос. Слушай Бога». При бабушке, старомодной атеистке, такое сказать она бы не решилась. Да и не надо говорить такое вслух, лучше написать.

03.09.2010

Я положил в тугой кожаный портфель термос, куда бабушка бережно влила раствор шиповника, чтобы я в любой момент мог смягчить гортань и разогреть связочный аппарат, захватил нотные листы и поехал знакомиться с новым наставником — Владимиром Муслимовичем Магомаевым.

Магомаев уже ждал меня, сидя на неудобном школьном стуле. Владимир Муслимович встал, слегка театрально поклонился и протянул мне длинную руку, выросшую из белого многокарманного жилета. Ладошка была суха и немного потрясывалась, а лицо лоснилось румянцем. Рука пахла душной теплотой. Лицо моложавое, тянет лет на пятьдесят пять от силы, гладкое, слегка припухшее, выбритое до лазурного сияния. Его русопятому лицу категорически не шли восточные отчество и фамилия. Вперёд выдавалась развитая певческая грудь с бездонными лёгкими. А вот со спины он выглядел как семидесятилетний старик (ему было семьдесят четыре). Спина какая-то обмяклая, склизкая. Странный контраст с фасадом. Зная это, он старался спиной лишний раз не поворачиваться.

— Здравствуй, Лёшенька, присаживайся, Зая.

Заей меня ещё никто не называл, и это обращение царапнуло своим бесстыдством. Я покорно сел.

— А я ведь не сын Магомаева, как ты мог подумать, моего отчима Муслим Магомаев звали, но это не тот Муслим Магомаев, совпадение. Да и настоящего Магомаева я даже постарше буду. А отца я не помню, его забрали в тридцать девятом. Ребята во дворе меня дразнили «сын репрессированного, сын врага народа». А я их бил, до крови. Жестоко. Отец так и не вернулся. Сгинул в лагерях. Я справки наводил, но так и не узнал, когда и где его расстреляли. Тяжёлые времена были, тяжёлые, Зая, — я хотел изобразить сочувствие, но не успел. Магомаев понёсся дальше. — А петь я начал в самодеятельности в пятнадцать. У нас в Таганроге отличная самодеятельность была, потом Военно-морское училище, служба на подводной лодке, оттуда у меня шрам, — он провёл пальцем по розоватой, цвета ветчины линии на подбородке. — Но искусство перевесило, без пения жить не мог. В двадцать пять начал жизнь с нуля, бросил всё — флот, жену, город — и отправился в Горьковскую консерваторию к великому педагогу Григорию Евгеньевичу Крестовскому, он-то и отстроил мне голос. А дальше... Москва, Филармония, новая жизнь, онкология... Ой, сколько я пережил, Лёшенька. Лучевая, химия, восстановление... Думал всё, братцы, «отговорила роща золотая». Но я победил болезнь, я Козерог, а мы, Козероги, никогда не сдаёмся и прём к цели вопреки всему, мы, Козероги, живучие, не лыком шиты, нас голыми руками не возьмёшь, не на тех напали! — его голос взмыл вверх на последних словах. Я слегка вздрогнул. — Вот и с тобой мы многого добьёмся, будешь Князя Игоря через три года петь в Большом, — я приосанился, это обещание приободрило меня. — Отныне, Зая, я для тебя главный человек в жизни — ты должен доверять мне все тайны. А я клянусь, что научу тебя петь лучше всех, буду служить тебе. Ведь в ученике, как говорил Кант, надо раствориться! Ладно, что это я всё о себе да о себе. Расскажи и ты что-нибудь.

— Да не знаю, — замялся я. — Учился в школе, оперу вот недавно полюбил, музыкой никогда не интересовался. Так, иногда почитать люблю. Достоевского, скажем, или «Записки сумасшедшего», — я лгу Магомаеву, высокая словесность мне безразлична, просто не хочу сплоховать после Канта.

— Ты с чтением поосторожнее, Лёшенька. Думать надо о пении, не разменяться на всякую лингвистику-филологию. И с девками поосторожнее, домой их не води, предохраняйся, дети тебе ни к чему. В оперный театр поменьше ходи, сейчас все на

горле шпарят, техники ни у кого нет. Я вот если и хожу в театр, то весь спектакль как на иголках сижу, горло болит от такого, ведь наши связки реагируют на чужое пение. А уж если совсем невмоготу, то вставай и уходи со спектакля. Сейчас всё равно классику перевирают.

Тут, наконец, Магомаев пригласил меня попробовать голос. Он одним пальцем взял тон на ненастроенном, дребезжащем фортепиано и потребовал тон повторить. Я сделал то, что он просит.

— Так, хорошо, Зая, спел чисто. — Затем Владимир Муслимович раздул грудь и издал что-то среднее между русским «ха» и украинским «га». — Освободи гортань. Ха-га-ха!

Стало шумно, его хлёсткий, сфокусированный голос давил пространство, под этим напором могли треснуть хрупкие фортепианные клавиши. Для пожилого человека он находился в ошеломляющей вокальной форме. Но вот тембр показался мне стандартным, стёртым.

Я спел ха-га-ха.

— Теперь на пьяно, — Магомаев извлёк из себя приятное шуршание-шипение.

Воздух медленно и лениво пополз по его телу в область пупка, приоткрывая звуковые створки. Я с лёгкостью и безропотно выполнял требования Магомаева.

— Молодец, Зая, молодец, — подстёгивал педагог, — голос у тебя крепкий, настоящий, будешь большим артистом! — меня пощипывало тщеславие и грезились пурпурные кресла Ла Скала. — На продыхе пой, на кадычок звук не посылай, только в грудь! Мягонько, мягонько. Отдохнём, на первом занятии голос перенапрягать ни в коем случае нельзя. Дома рот открывать запрещаю! Все звуки только на занятии!

За двойными шумопоглощающими дверями послышалось копошение. Шла борьба с жёсткой ручкой. Наконец, дальняя дверь хрустнула и неторопливо открылась. Через две секунды отворилась и ближняя дверь, ручка на ней была более податливой. В аудиторию хлынул поток коридорной суеты. В класс въехал Паша. Владимир Муслимович улыбнулся новому ученику.

— Проезжай, Пашенька, располагайся, Зая. А я ведь не сын Магомаева, как ты мог подумать, моего отчима Муслим Магомаев звали, но это не тот Муслим Магомаев, совпадение. Да и настоящего Магомаева я даже постарше буду. А отца своего я не помню, его забрали в тридцать девятом, — Магомаев повёл тот же рассказ, до Козерога он дошёл через семь минут, я засёк.

В ходе монолога Магомаев вручил нам с Пашей по брошюре Академии Голоса. Автором методических материалов был Магомаев. Потом Паша попробовал голос. Голос у Паши был, по мнению Магомаева, «настоящий и крепкий». Паше светила большая международная карьера.

Под занавес первого занятия Магомаев затребовал от нас контакты, причём не только наши телефонные номера, но и родителей. Я по памяти продиктовал номер мамы.

— А номер отца? — поднял глаза от записной книжки Магомаев.

— Номер отца? Да, секундочку, — я залез в телефон и назвал цифры бабушкиного телефона.

07.10.2010

Я постепенно (pian piano, как говорят на Апеннинах) втягивался в жизнь Заведения. Привыкал ходить на пары и занятия по специальности, учился чувствовать себя студентом. Было приятно, что в кармане, упираясь в правое бедро, лежал

вишнёвый студенческий. На входе я ловко раскрывал его и показывал охранникам. Поводы быть счастливым у меня были. Я слушал музыку, посещал концерты, дома разучивал произведения, вокализы, упражнялся в сольфеджио. Я был неофитом от пения. Отказывался от прогулок, — ведь складки нельзя переохлаждать, рано ложился спать, — ведь голосу надо отдыхать, полностью игнорировал мороженое, — как и обещал себе. От собственной стойкости я наполнялся важностью. И ходил на все занятия, не пропускал ничего, не болел. Я жил музыкой! Жил!

В тот день я шёл в класс в привычно приподнятом настроении. У нас был ансамбль. Не терпелось приступить к распевкам, поработать над фразировкой, актёрским образом, взаимодействием с партнёршей. Перед аудиторией, где мы занимались ансамблевыми спевками, располагался небольшой репетиционный зал. Там работали глухонемые актёры. Я пришёл раньше. Делать было нечего, и я принялся наблюдать за их репетицией. Глухонемые актёры иллюстрировали жестами, красиво опутывая пространство, какую-то популярную зарубежную песню. Их руководительница Бедная, сухая и стройная женщина (бывшая танцовщица) пальцами показывала ритм, чтобы артисты не сбивались. Это было восхитительно. Глухонемые артисты, обречённые никогда не слышать музыку, создавали её телом. Ближе к двери стоял смуглый высокий парень. Он наслаждался процессом, лепил музыку своими сильными и гибкими руками. Но ближе к концу песни он почувствовал, что на него кто-то смотрит и обернулся в мою сторону. Улыбнулся кончиками тонких, как полоска цветной бумаги, губ, сбился и съехал с темпа.

— Стоп! — вскрикнула Бедная. — Дэн, ты что делаешь, куда смотришь, куда смотришь, блин, я тебя спрашиваю?

Смуглый парень зачастил руками и начал что-то невнятно и громко тараторить в своё оправдание, в этом лепете с трудом распознавались знакомые слова «извините», «сбился», «отвлёкся». То, что глухие тихие — это заблуждение, ой какое заблуждение! Бедная приблизилась к Дэну и, глядя в глаза, хорошо артикулируя, чтобы он мог прочитать по губам, отчётливо произнесла: «Если так пойдёт, то вылетишь отсюда как пробка, мне такие рассеянные не нужны!»

— И не вздумайте его утешать, он этого не заслуживает, — пригрозила она всем. — Всё, репетиция закончена! — отрезала Бедная и выбежала из класса.

Раздавленный Дэн направился к выходу. Друзья похлопывали его по плечу, мол, не переживай, и жестом показывали, выкинь из головы, ты же знаешь эту Бедную. Выйдя из зала, он увидел меня и, пожав плечами, виновато улыбнулся.

День испортился и поник. Гадость и горечь застряли во рту. Так бы и сплюнул прямо на пол, но сдержался. Как я занимался ансамблем в тот день? Не помню.

09.11.2010

Первый раз был урок итальянского языка. Какой оперный певец без итальянского языка? Есть странное заблуждение, что итальянский лёгкий язык. Ни черта он не лёгкий. Я вот его так и не выучил, хоть и пою по-итальянски.

Почему итальянского не было два месяца, нам не объяснили. Просто поставили в расписание, и всё. Занятия вела незрячая дама лет тридцати пяти. Вот пытаюсь вспомнить, как её зовут, и не могу. Первый урок мы посвятили правилам правописания. Они-то как раз и не очень сложные. Как пишется, так и слышится. Впрочем, ошибок в первый день мы наделали будь здоров. Поскольку преподавательница ничего не видела, мы диктовали слова по буквам. На один лишь инфинитив frequentare потратили сорок минут.

Слушая нас, она вся обращалась в слух, глядя своими подведёнными глазами почти в сторону отвечающего. Простенькое слово rosso я написал и продиктовал без ошибки. Signora professoressa (на таком обращении она настаивала сама) меня похвалила, и я спросил, что собственно значит rosso. «Красный», — улыбаясь, ответила педагог и слегка покраснела. Похоже, внутренним слухом она угадала, что в этот момент я подумал о её слепоте. Она и не подозревала об агрессивном великолепии красного цвета. Я повернул голову в сторону окна, голая осенняя ветка билась о стекло. Темнело. Внутри прошмыгнуло низенькое чувство превосходства над преподавательницей. Всё-таки хорошо быть здоровым и зрячим. Я вижу мир, а педагог итальянского никогда не увидит, не исцелится, чуда, как в «Иоланте», не произойдёт.

01.12.2010

Я спел первый отчётный концерт в актовом зале. На него даже пришла Винилова. Просканировать, так сказать, первокурсничков.

Перед концертом я, не буду скрывать, волновался. Выступить лучше всех и сделать Пашу — отличная мотивация, питавшая моё ничтожное тщеславие.

Паша медленно выполз на сцену, зафиксировал привычным жестом коляску, чтобы она ненароком не уехала, и через короткое фортепианное вступление затянул «Эй, ухнем». Сначала тихо, на двух piano, а потом всё более распаляясь. Подбородок Паши трясся как медуза, а из горла лился чудный голос. Интонация его по-прежнему была нечиста, но голос за месяцы систематических занятий подокреп.

Я ждал своего выхода на сцену, в животе разгонялся поршень волнения. Наконец, Паша допел, выкрикнув последнее «ухнем». Он не пропел слово, а именно выкрикнул, подчеркнув подобной фразировкой бурлацкую удаль. Ход был эффектный, зрители зааплодировали. Я понял, что Паше надо чем-то ответить. К отчётному концерту мы подготовили в классе два номера. Арию Орфея из оперы Глюка, транспонированную для баритона (изначально она написана и вовсе для кастрата) и песню «Вот мчится тройка почтовая». Сочетание так себе, но не будем о грустном. Это была не та самая знаменитая ария «Потерял я Эвридику», а другая, которую Орфей поёт перед входом в ад. Я и не заметил, как спел её. А вот на «Тройке» я, что называется, оторвался. Эта песня мне полюбилась, и я бесконечно напевал её дома. Так что впето произведение было железно. В тот вечер я поистине был бесподобен. Звук скользил привольно. Как корабль по Волге-матушке. На словах «Ах, милый барин, скоро святки» голос взмыл в бешеном крещендо. Я идеально загвоздил верхнюю ноту. Тут-то меня и накрыла волна бесконтрольного актёрского вдохновения. Я мягко, как учил Владимир Муслимович, допел песню и на финальном фортепианном проигрыше опустился на одно колено и зарыдал. Переборщил, не скрою, но публика была определённо довольна. Винилова с первого ряда громко произнесла «Браво!» Я раболепно улыбнулся начальнице. Растроганный Валерий Валентинович встал из-за рояля и пожал мне руку. После концерта меня все поздравляли, Владимир Муслимович важно ходил и самодовольно улыбался, мол, посмотрите, какие у меня ученики — бриллианты, ого-го какие ученики. Он красовался, скабрёзно шутил и целовал руки дамам. Когда он приложился к дряблой руке Виниловой, меня замутило. В ноздри брызнул запах старости и крема для рук.

В Заведении нет никаких гримуборных, все необходимые для артиста процедуры приходится проводить в классах. В классе я медленно переодевался, пил из термоса шиповник, вдыхал мягкие пары ингалятора, который всегда ношу с собой в холодные дни, и вытирался полотенцем. На улицу зимой после выступления выходить сразу не

рекомендуется, так что домой я не спешил. Тут же копошился и Паша, он складывал в рюкзак ноты, грузно выдавая вперёд торс. Когда он что-то искал, то я боялся, что он вот-вот выпадет из коляски. Но он умело управлял телом и педантично собирал склеенные ноты. Мама его деликатно осталась за дверью, чтобы не смущать меня. Мы молчали, отходили от концерта. Но тут в класс вторгся Владимир Муслимович. Он был настроен совершить разбор полётов безотлагательно.

— Значит так, Заи. Я всё про вас понял. Надо вас драть, как сидоровых коз. С завтрашнего дня и начну! По-хорошему не понимаете! Завтра в восемь тридцать! Оба! — заорал педагог. Он ждал от нас реакции, но мы не ответили. Так шокировали эта перемена настроения и отсутствие заслуженной похвалы.

— Не парься, — не поворачиваясь ко мне, сказал Паша, когда Магомаев вышел. — Не слушай его, ты серьёзный талант, а он банальный и опасный газлайтер. — И чтобы подбодрить меня, хотя Паша и сам нуждался в поддержке, подъехал ко мне и приятельски похлопал по пояснице. Выше достать с коляски он не мог.

Паша сказал это совсем просто, натурально, без придыхания. Меня ещё никто никогда так не хвалил. А ещё я опять узнал от него новое слово — «газлайтер».

02.12.2010

Я с ужасом шёл на специальность. Уж больно вчера разбушевался Владимир Муслимович. Я приготовился к худшему, так как прекрасно понимал, что под таким давлением критики ничего не смогу — не то что спеть, но даже и сказать. Реальность оказалась намного страшнее ожиданий. Магомаев встретил нас с Пашей недоброй улыбкой и, не здороваясь, вывалил:

— Всё, всё неправильно вчера пели, всё на жабрах. Где дыхание? Где полётность звука? Где, я вас спрашиваю? — ярость Магомаева пугала, в ней отсутствовало притворство. — Всё зажали, горло сдавили, как спринцовку. Я в четыре утра встаю, всю жизнь вкалываю ради искусства, а вы... — он махнул рукой, мол, вы даже упоминания не стоите. — Если обосрались, то стойте смирно, а не расхаживайте гоголем по сцене. Так надо петь, так, слушайте же!

Он запел стретту Манрико из «Трубадура». По-русски. Оно и понятно, вся его творческая деятельность пришлась на советскую эпоху (служил он в Филармонии), а тогда пели по-русски. Чтобы рабочий класс понимал сюжеты опер. «Нет, не удастся, в том я клянуся, дерзким злодеям мать погубить». Каждый слог стоял у Магомаева в идеальном резонансе, тут не поспоришь. Никогда не слышал, чтобы человек так пел утром.

— Владимир Муслимович, а почему же Вы с таким голосом не пели в Большом, — с искренним интересом, без ёрничания задал вопрос Паша.

Тут Магомаев опечалился.

— Был один тенор, ребяточки, — (он произнёс очень известное имя) в голосе возникло удивительное после бури смирение, — он ещё убил в конце семидесятых девушку во время полового акта. Вот он и развернул против меня коалицию и закрыл дорогу в Большой. Интриги, интриги, как говорила моя знакомая Роза Юсуповна, легендарная женщина.

— Кто это? — поинтересовался я, хотя меня это и не интересовало.

— Да работала одна на «Пушкинской» в большом общественном туалете, ещё в советское время. Сейчас уже этого замечательного, удобного туалета нет. Так вот, в один прекрасный день Роза Юсуповна исчезла. Померла, подумал я и даже сходил в церковь поставить свечку за упокой души. В советское время, заметьте. А через пару

лет встречаю её в Перово, тоже в общественном туалете, но поменьше и не столь престижном. Вот призвание у человека — служить в сортире. Я опешил и спрашиваю: «Как же так, Роза Юсуповна?» А она так спокойно и отвечает: «Интриги, Вовочка, интриги». — Магомаев захохотал. Кхе-кхе-кхе.

У меня-то смех идиотский, я смеюсь вперёд, бесстыдно хрюкаю и краснею, но смех Магомаева вообще ни в какие ворота не лез.

Мы для проформы улыбнулись.

— Так, посмеялись и хватит, начинаем урок. Сейчас мы с вами сольёмся в экстазе так, что мало не покажется! Лёшенька, ты первый, а ты, Паша, посиди пока.

— Я и так сижу.

Магомаев проигнорировал Пашину колкость. Педагог ткнул пальцем в клавишу в районе басового диапазона и повелел спеть слоги: «Ма-мэ-мо-му».

Я начал. Магомаев прервал меня:

— Поджимаешь, Зая. Расслабь челюсть, представь, что тебе к подбородку привесили гирьку. Расслабь же челюсть, говорю! У тебя слюни должны потечь, как у дауна! И не ширь звук. Звук надо собирать, он должен быть резким, лететь, как хлыст! Пусти звуковую волну! Ну же!

Я запел.

— Ни-ни-ни! — завизжал он, но завизжал в вокальной позиции. — Всё мимо, всё поджимаешь, из себя поёшь, а не в себя! Дыхание пусти, пусти, говорю, дыхание. Мягко!

Магомаев встал, упёр руки в раздутые бока и громким шёпотом изобразил, как должно течь дыхание. Звук этот напоминал шипение яичницы на сковороде. Скопировать это я, уж извините, никак не мог.

— Да провали же звук вниз, мать твою. Наверху собери и прикрой ноту, внизу растопырь дыхание. Обопри звук, протяни гласную! Крикни: «Я Машу хочу!» Я так всегда делаю, когда голос не отвечает, — даже волосок в носу педагога заколыхался от гнева.

Я прислонил руку к уху, так делают иногда вокалисты, чтобы лучше себя слышать, и попытался пропеть выражение на тесситурно удобном фа.

— Не смей прикасаться к ушам! — Магомаев завёлся уже не на шутку и жахнул по ни в чём не повинному инструменту. Висевшее напротив зеркало задребезжало и завибрировало. Зеркало нужно для того, чтобы мы следили за правильной работой челюсти при вокализации, её рекомендовано расслабить.

Звук не проваливался в область диафрагмы. Дыхание застревало в горле и не желало лететь вниз. Я сдался и тупо уставился на Магомаева. Он зло и до обидного похоже передразнил мой сдавленный хрип. Да ещё и скорчил такую рожу, будто хлебнул кислого пойла.

— Уходи! Уходи, Алексей. Не хочу тебя видеть. Нет у тебя бойцовского характера, нет у тебя яиц. Уходи! Что смотришь синими брызгами? Что у тебя в глазах за грусть всего еврейского народа? Сейчас с Пашенькой позанимаюсь. Ух-од-и! — проскандировал, как на митинге, Магомаев.

За дверью, прямо рядом с классом, упало что-то тяжёлое. Мы замолкли и услышали, как по недавно отполированному уборщицей линолеуму попрыгала какая-то дребезжащая вещь, вероятно, стеклянная. Владимир Муслимович открыл дверь и картинно охнул. На полу, вперившись одним глазом в потолок, лежала крепкого вида девушка. Второй же глаз отсутствовал. Я знал её, прилежная слепая

пианистка, любимица Виниловой, она приходила в Заведение в такую рань, чтобы позаниматься в свободной аудитории.

— Божечки, что же случилось? Давай помогу, — Магомаев кинулся ставить на ноги девушку, но сил своих не рассчитал. — Лёша, давай-ка! Помогай!

Мы кое-как поставили её на ноги.

— Вы закричали, — медленно, ещё не оправившись от шока, произнесла девушка, — я испугалась и потеряла ориентацию. Затык в мозгу от громких звуков. Как будто из-под тебя ковёр выдёргивают.

— Господи, как так-то? Ну что, всё в порядке у тебя? — Магомаев нервно потрепал девушку по плечу, пропуская её речь мимо сознания.

— Нет, не всё, глаз потеряла.

— А, глаз, да, глаз. Лёшенька, поищи-ка глаз.

Я поехал домой. Идти после такого, с позволения сказать занятия, — сольфеджио и история музыки были уже не под силу. Ещё никогда урок у меня не длился пару минут. В полупустом метро я заснул. Помню, что перед провалом в короткий сон я успел подумать: «Как странно, что вокруг меня нет больных людей». Мне не хватало палок для слепых, инвалидных колясок и слуховых аппаратов. Удивляло и бесило, что есть жизнь за пределами Заведения.

18.09.1998

Я часто думаю, когда же именно всё зашло не туда. И, кажется, знаю ответ. В ту самую сентябрьскую пятницу.

Осенью 1998 года я пошёл в первый класс. С большущим букетом цветов. Девочки-первоклассницы с бантами, великаны-одиннадцатиклассники, высокопарные речи на линейке. Первая учебная полунеделя. День города в выходные, не такой пышный, как за год до этого, но тоже ничего. Бабушка даже разрешила съесть на праздник мороженое в парке. Настоящее, холодное, с хрустящими льдинками — язык сводило. Обычно мне запрещали холодные продукты, меня оберегали, даже слишком. «Ты должен беречь своё горлышко, оно тебе ещё понадобится», — твердила бабушка. А если мама и покупала мороженое, то бабушка грела его в микроволновке.

18 сентября начинались уроки труда. Нас вывели из класса и велели построиться по парам. Мы впервые покинули родной класс, нам предстояло путешествие на другой этаж.

Последний урок. Пятница. Тёплый день с редкими холодными вкраплениями. Бабье лето. Солнце через рубашку пощипывает кожу. Падают, глухо лопаясь, каштаны. И такое тревожное счастье внутри, тревожное от осознания скорого конца. Но счастье. Окна в классах распахнуты. Сидишь почти на улице. Я мечтал об этом дне всю неделю. Ведь на вечер у нас с мамой куплены билеты в цирк. Мама обычно была занята всё время: либо работала, либо устраивала личную жизнь, что я понял в зрелом возрасте. А сегодня мама шла со мной в цирк на Вернадского, «новый цирк», как говорят москвичи. Я в те годы мечтал освоить профессию клоуна. Как меня завораживало их искусство, в цирке я только и ждал их интермедий! Ни животные, ни акробаты, ни жонглёры меня не увлекали. Клоуны и никто другой. А уже дома я повторял весёлые клоунские антре на кухне, доводя до усталого бешенства маму и бабушку. Десять раз подряд один и тот же номер тяжело смотреть даже в исполнении любимого внучка (сынка). Так вот, в ту пятницу я впервые в сезоне намылился в цирк. Да ещё и с мамой, а не с бабушкой!

Тот урок труда сложно назвать провалом. Это не провал, а катастрофа. Учительница, помню только, что звали её Любовь, а вот отчество, хоть убейте не помню, раздала нам жёлтые листочки А4. Сперва мы загнули один уголок, затем второй, а вот что надо было делать дальше, я не знаю и по сей день. На третье действие меня уже не хватило. Учительница видела, что у меня не получается, но помогать не спешила. Я, цепляясь за последний шанс, обратился за помощью к соседке, девочке-отличнице Ане Трупиной. У неё и правда была вот такая фамилия, во взрослом возрасте она её сменила на ягодно-оперную фамилию Вишневская. Но Аня очень взрослым тоном наставила меня: «Попробуй подумать и сделать сам, никто в жизни за тебя делать твою работу не будет». Тут я скис окончательно и остаток урока просидел, пялясь в жёлтый лист бумаги с двумя загнутыми уголками.

— Ну, ребятки, покажите-ка, что у вас получилось, — все, кроме меня, подняли вверх готовую мышь.

— Все молодцы, кроме тебя! — учительница приблизилась ко мне, её груди, обтянутые синтетическим свитером, колыхались над моей головой, как мачты. — Встань!

Я встал.

— Как тебя зовут, лоботряс?

— Алекс, — глухо промычал я.

— Алекс? Не русский, что ли? Значит так, Алекс, ничего из тебя не выйдет. Будешь семечки на базаре продавать! Бездарь!

Учительница взяла жёлтый лист А4 и уверенной рукой крепкого ремесленника нарисовала тощую, длиннющую, красную единицу.

— Кол! Вот твоя оценка, — продемонстрировала она лист всему классу.

По классу прошелестело хихиканье.

— Урок окончен!

Любовь выстроила нас и повела к раздевалке. Первым делом дети весело и счастливо дарили в раздевалке ожидающим их родителям и бабушкам-дедушкам примитивных жёлтых мышей. Мне дарить было нечего, листок с загнутыми уголками так и остался лежать на парте.

Мама, видя мою понурость, сразу спросила, в чём дело. Я лишь кивнул в сторону Любови, она разговаривала с бабушкой Ани Трупиной и, судя по жестам, расхваливала её ненаглядную внученьку. Мама всё поняла и, закипая от благородной ярости, пошла на переговоры. Переговоры прошли быстро. Мама вежливо дождалась окончания панегирика в честь Трупиной, извлекла из своей сумочки небольшую коробку конфет Ferrero Rocher, протянула дорогую сладость училке и с ледяным вызовом отчеканила:

— Надеюсь, что впредь вы не будете обижать моего мальчика. К Алексею подход нужен, а вы что делаете? — в этом жесте мамы, в этом протягивании конфет сосредоточилось что-то бесконечно презрительное, полностью дискредитирующее злую учительницу. Типа берите, жрите! Спустя годы я догадался, что мама приготовила эти конфеты для меня, для вечернего чая, но, повинуясь порыву, отдала ужин врагу.

Любовь возмущённо ахнула (не привыкла, что ей дают отпор) и хотела было что-то сказать, но мама взяла меня, показывая тем самым, что не желает её слушать, и увела. Мешочек со сменкой поскакал за мной, и мы вылетели из школы. Внутренне я благодарил маму за то, что она меня защитила, отстояла, не дала растоптать полностью. Но героическое благородство мамы не затмило обиду. Во мне поселилась тухлая ненависть к миру. Хорошо хоть, что она, а не бабушка забирала меня в тот день. Бабушка точно бы отчитала меня прилюдно за неумелую попытку художественного творчества.

— Не бери в голову, Алекс, дур всяких много ещё встретишь по жизни, — мама даже не спрашивала, что конкретно произошло. Мне нравилось, что она говорит со мной со взрослой интонацией и взрослыми «плохими» словами. — Сейчас пообедаем, и в цирк.

Мы подошли к переходу. Светофор тут установили незадолго до учебного года, после того, как летом погиб ребёнок из нашего подъезда.

Я шёл по переходу и считал белые линии. Досчитав до трёх, застопорился. На белой, чуточку забрызганной вчерашним дождём полоске, отпечатался ёжик. Получился этакий аккуратный, идеальный оттиск ёжика. Хоть соскребай и на стену вешай, как в некоторых загородных коттеджах вешают шкуру медведя. Видимо, уже ни одна машина проехала по бедному ежу. Куда же он торопился, где и с кем его детки? Мне и в голову не приходило, что у нас в округе водятся ежи. Зелёный догорал, но идти я не мог. Уже газовали самые нервные водители, но я застыл и не двигался с места.

— Да что с тобой, Алекс? — дёрнула меня за руку мама, чтобы я шёл скорее. Я повиновался. Мама ёжика не видела, она всегда, даже сейчас, смотрит только вперёд. У тротуара я обернулся и бросил последний взгляд на беднягу.

Дома пахло выпечкой. Я понял, что бабушка готовит мой любимый рулет. Я обожал её рулеты. Сладкое хрустящее тесто, нашпигованное абрикосовым вареньем. После смерти бабушки я не ем рулеты, их попросту некому готовить. Мама так не умеет. Прости, мама, но это так.

Не поздоровавшись с бабушкой, я направился в свою комнату. Рухнул на кровать с портфелем на спине и заплакал.

Бабушка обвинила маму в моём срыве. «Вечно, когда с тобой возвращается, он сам не свой». Она говорила с мамой холодно и жестоко. Мама не оборонялась и не отвечала (правильно делала).

В цирк мы не пошли тем вечером. Билеты пропали.

24.12.2010

А вот Марина клянётся, что не смеялась надо мной на том уроке труда. И я ей верю.

Бабушка не любила Марину, а мама, напротив, относилась благожелательно, радовалась, что у меня есть подруга. И я радовался. Перспектива умереть девственником всерьёз пугала меня лет с четырнадцати.

В тот день Магомаев меня похвалил. Сказал, что звук у меня свободный и бархатистый, и что я напоминаю ему молодого Хворостовского. Я так возликовал внутри, когда это услышал! А вот к более позднему творчеству Хворостовского Магомаев относился плохо и называл «нулём без палочки». «Всё утратил, всё просрал, зря в Верди полез, пел бы Онегина, и всё бы хорошо было», — ругался Владимир Муслимович. — Эх, говорил же я ему, не послушал меня, олух красноярский».

— А вы знакомы с Дмитрием Александровичем, — встрял я в монолог учителя.

— Немного, немного, — свернул тему Магомаев и продолжил распевать меня. Как всегда, одним пальцем, аккорды он брать не умел. Да и с листа читал неважно, что меня не смущало, — Паваротти тоже не знал нот.

Я хорошо повокализировал и прошёл всю программу для первого экзамена. Голос отвечал, педагог хвалил меня, Марина ждала у себя дома. Её родители уехали куда-то за рубеж, по-моему в Карловы Вары на Рождество, можно было спокойно побыть вдвоём. Без её назойливых предков и без контроля моей бабушки.

Бабушка ужасно обиделась, что я поехал к Марине. Она хотела, чтобы я помог

ей купить на базаре живую ель. Ни про какую искусственную ёлку она и слышать не могла. Я, если уж по-честному, плевать хотел на эту ёлку, толку от неё? Одни осыпавшиеся иглы убирать часа два.

Превозмогая покалывания вины, я бежал к Марине через лиловые сумерки. Не дожидаясь лифта, поднялся на третий этаж, ухватив терпкий запах кошачьей мочи.

Марина открыла дверь. Пренебрегнув дежурным «приветом», я бросился целовать её. Но в губы не попал, обцеловав воротничок её рубашки. Марина ловко увернулась.

— Торопишься, как всегда, — с сарказмом заметила Марина. — А как же ужин, вино, конфеты, поговорить? Эх ты!

Я растерялся под напором её иронии. Марина развернулась, и по комнате пронёсся запах её свежевымытой головы и цитрусовых духов.

— Поел бы сначала, — с менторской интонацией отчеканила она. — Смешно, конечно... — внезапно, будто переключили рубильник, на неё нашло счастливо-созерцательное настроение, интонация помягчала. — Нам по девятнадцать лет, а мы разыгрываем супружескую пару, прожившую, ну, лет двадцать минимум.

Кастрюля в её неумелых руках плясала и гремела, Марина волновалась, перекладывая на тарелку картошку в мундире. Ей было важно, чтобы ужин мне понравился. Картошка развалилась и потеряла форму. Марина расстроилась, но виду не подала и подложила мне нечто, отдалённо напоминающее оливье.

— Вкусно, пальчики оближешь, — подбодрил я девушку, хотя было просто нормально.

— А курицу будешь, Алекс? — жалобно спросила она.

Я взглянул на серую, уныло лежащую на дне прозрачного бульона куру и, излишне заглубляя голос, провибрировал:

— После, Мариночка, после.

А после молчание. Тугое. Пахнущее обнажённой горячей кожей. Я глажу Марину по бёдрам, а она меня по волосам:

— Алекс, ты так повзрослел, совсем большой. Ты талантлив, ты будешь петь в Большом! А я буду знаменитым адвокатом (она не без успеха училась на юридическом), — Марина всхлипывала, а я ничего не говорил, ощущая своё превосходство. В самоупоении я дошёл до того, что гордился вызванными у девушки эмоциями. Надо, наверное, было найти парочку слов утешения или благодарности, но я даже не искал. А Марина их заслуживала.

Счастливый, расслабленный, приятно пустой, я напыщенно возлежал на кровати Марининых родителей (они, вероятно, ели в эти мгновения рождественского карпа в Карловых Варах) и значительно молчал. Похвалы и комплименты воспринимал как должное. А Марина всё говорила и плакала, плакала и говорила: про будущее, про кучу детишек, загородный дом, в котором мы будем жить с этими самыми детишками и огромной лохматой собакой — её непременно надо завести. Она любила общаться после этого дела, а я всегда предпочитал лежать и смотреть в потолок.

— Курочку хочешь, Алекс? — перевела тему Марина, уловив, что возвышенные материи и планы меня сегодня не занимают.

На этот призыв мозг откликнулся и послал сигнал.

— Хочу курочку, моя курочка! — я хлопнул Марину по ягодицам. Ягодицы зазвенели.

Марина глупо захихикала. Тогда ей нравились все мои остроты. Марина обвила себя бюстгальтером, впрыгнула в джинсы и отправилась на кухню.

Господи, какой же я пошляк! И какое счастье было жевать недоваренную, жёсткую, безвкусную курицу.

20.01.2011

Хорошие получились январские каникулы. Не бездарные, как обычно, когда все жрут, смотрят телек, спорят о политике и ссорятся. Я поработал, выучил новые произведения, выспался. А сон для певца — основа голосового здоровья.

Марина проводила время с родителями. Мне без неё было спокойнее, стыдно признаться. Делал я целыми днями, что хотел. Впервые в жизни посмотрел спортивное мероприятие, хоть к спорту и равнодушен. Наши обыграли канадцев! 5:3. Проигрывая по ходу матча, 0:3. Я орал так, что даже голос подсел. Стал плоским, эстрадно-гортанным. Меня переполняли патриотические чувства. Россия ещё способна рождать большие таланты! Себя я так же причислял к большим дарованиям.

После праздников я достаточно быстро закрыл сессию. Спел программу, сдал сольфеджио, музлитературу и всякую мелочёвку типа английского языка и физкультуры.

Владимир Муслимович занятий не прекращал и спуску мне не давал. Приходилось ездить не в Заведение, где на каникулах шёл вялотекущий ремонт, а прямо к нему в гости. Жил он недалеко от Заведения, на Кутузовском в трёхкомнатной квартире с женой. Супругу на время занятий всегда выпроваживал, я видел её от силы раза два.

20 января я поехал к нему впервые. Дома у него пахло облепихой и петрушкой. Владимир Муслимович встретил меня в халате. Это слегка позабавило и внутренне рассмешило: Шаляпина из себя строит, что ли? Прямо на пороге, чтобы не забыть, память-то уже подводила, вручил мне бутылочку «Шишкина леса» со святой, как он выразился, водичкой — набрал на Крещение. Он брызгает её и на машину, Магомаев уверяет, что Боженька хранит его «Фольксваген» от аварий и освобождает места на переполненных московских парковках.

Я снял дублёнку, по которой потянулись ниточки растаявших снежинок, расшнуровал ботинки, отпечатавшие на полу тёмную слякоть, и прошёл в комнату с фортепиано Petroff, за которым сидел очередной аккомпаниатор, уже третий с начала учебного года. Владимир Муслимович довольно поглаживал пузо и слушал моё пение. Не останавливая. А в конце прошептал: «Лёшенька, ты готовый певец. Не знаю даже, чему тебя учить». В последнее время Магомаев пребывал в неплохом расположении духа: меня хвалило руководство вуза, и ему это льстило.

После занятия педагог предложил «откушать чаю». Аккомпаниатор от чая отказался и поспешил ретироваться. Мы пили чай на свежей скатерти (на ней был нарисован скрипичный ключ) и вели бессодержательную беседу. Вот здесь-то и случилось непоправимое, то, что впоследствии сам Магомаев назвал «предательством искусства». В общем, мне позвонила Марина и взволнованно, но не теряя самообладания, выпалила:

— Они не приходят, Алекс!

— Кто они? — спросил я как лопух.

— Кто? Кто? Женские проблемы!

— То есть как?

— А вот так! Помнишь, ты был неосторожен тогда, в декабре! А ещё хорохорился! Говорил, что успеешь, что ты музыкант и чувствуешь свой темп.

Осознание скатилось по желудку, в пупке заболело. Рисовались картины гнева родителей (моих и Марининых), предстоящей гульбы на свадьбе (я же приличный человек), неумолимо растущего живота. Какая-то другая область мозга настаивала на противоположном и подсказывала круглое, такое далёкое от моей жизни и непонятное слово — аборт.

Самое ужасное, что за этим разговором наблюдал Магомаев. Он не встал, не отошёл в стороночку похлопотать на кухне или в другую комнату. Он внимательно слушал, пялясь мне в глаза, и царапал зубами бледную нижнюю губу.

— Мариночка, я всё улажу, — произнёс я и закончил разговор. Я играл во взрослого мужчину.

07.03.2011

Марина преувеличила. Она не склонна к истерикам, но по поводу задержки разволновалась. Мы в тот же день сделали тест. Я впервые покупал что-то такое в аптеке и неуклюже изображал уверенность. Тест великодушно опроверг подозрения. Фух, пронесло, одна полоска! Мы обнялись с Мариной на радостях, отчего испытали неловкость. Ведь радовались мы неприходу в мир человека. Было в столь бурном выражении чувств нечто кощунственное.

После той истории что-то исчезло в наших отношениях. Не сразу: это «что-то» начало убывать и испарятся постепенно. Владимир Муслимович не упускал возможности напомнить мне про разговор с Мариной. «Осторожнее с девками надо быть», — повторял он после любого неудачного занятия. «Думай лишь об искусстве и пении, а о семье пока забудь. Пустое всё это. Чепуха. Или же семья обязана организовать вокалисту условия, певец — главный человек в доме. А ты, Лёша, не можешь себя поставить!» В такие минуты, когда Магомаев всё это произносил с лёгкой добродушной (я же любя, я же за тебя переживаю) улыбкой, я чувствовал себя нижтожнейшим человеком. Мямля. Слабак. Говно.

Накануне Международного женского дня в Заведении состоялся праздничный концерт. К нему мы готовились особенно тщательно. Ведь 7 марта, помимо всего прочего, день рождения Виниловой. Мы репетировали неделю без перерыва. В Заведении всё время что-то репетируют. Но напряжение висело такое, будто мы готовились не к рядовому концерту. В коридорах только и разговоров: «У меня репетиция, я тороплюсь, давай завтра». Всё очень угрюмо и сурово. Во время очередного прогона на двери актового зала повесили грозную табличку: «Тихо! Идёт репетиция!!!»

Концертом занимался режиссёр Заведения Александр Борисович Арабов. Трудовая лежала у Арабова в серьёзном музыкальном вузе. Но в Заведении он был своим человеком. Более чем своим: мужем Виниловой. Супруги, а фамилии разные. По жизни Арабов выглядел мужичишкой забитым, а вот на репетициях брал реванш. Он кричал, входил-выходил, хлопал дверью, манерно хватался за сердце и жалостливо приговаривал: «Ребят, ну вы меня убиваете». Арабов очень гордился тем, что чуть не инсценировал «Семёна Котко» в Мариинке. Что означает это «чуть» я так и не выяснил.

Концерт ожидался монструозный. Тут вам и оркестр, и глухонемые со своими пантомимами, и отрывки из опер, и Бедная с танцами. Арабов должен был скрепить хаос номеров единой драматургией. А ещё он вёл концерт! Нас с Пашей поставили в самый конец, что переполнило лично меня тщеславной гордостью. Какое доверие! Выступать последним! Как Пугачёва, Кобзон или Магомаев. Не этот, а настоящий. В маленьком классе рядом с актовым залом я нервно ходил из угла в угол и периодически проверял голос. Всё-таки выступать последним ещё тот стресс. Паша сидел в своей коляске и просто ждал. Не показывая лишних эмоций. Ходил бы он по классу, как я, или нет, если б мог, сказать не берусь. Вот так Паша сидел, а потом возьми да и скажи:

— Не то мы всё делаем.

Я его сперва не понял, или прикинулся, что не понял.

— В смысле? — говорю я.

— Сидим тут, ждём выступления, переживаем, а всё, чтобы удовлетворить Винилову, угодить ей, занимаемся не творчеством, а симулякрами какими-то. Нас, совсем не бездарных людей, просто используют и вынуждают соучаствовать в чём-то бессовестном и праздном.

Слово «симулякр» меня задело, но не само слово, а то, что я его до этого не слышал. Манера Паши выпендриться и вставить умное словечко меня подбешивала.

— Брось, Паша! — с лёгкой обидой ответил я. — Мы занимаемся творчеством, мы жрецы вокала, — это идиотское выражение я слышал от своего фониатра, доктора медицинских наук, профессора Лаврентьева. Паша посмеялся. Нас уже вызывали на сцену. Немного раньше времени, ведь Пашу ещё надо было на сцену доставить.

Номер наш не отличался замысловатостью. Мы пели дуэтом (наши с Пашей голоса неплохо сливались) неаполитанскую песенку «Вернись в Сорренто». По-русски, в переводе Арабова. Уже после верхнего ре, на фортепианном проигрыше, я спускался в зал и вручал Виниловой букет банальнейших красных роз (его мне «незаметно» передавал Арабов). А в момент кульминации глухонемые артисты выносили огромный парадный портрет ректорши, специально заказанный проректором по научной и воспитательной работе у наших же художников. Портрет ваяли на скорую руку. А точнее даже совсем не ваяли. Взяли хрестоматийный портрет Екатерины II из Третьяковки и заменили голову императрицы на башку Виниловой.

К концу вечера в зале скопилась жара, та особенная, концертная, обжигающая жара — из запахов цветов, парфюма, софитов и духоты тел. Но на нашем номере какой-то придурок сзади додумался распахнуть окно. В зал, извиваясь, залетела жирная струя холода. Холод хлестал нас по раскрасневшимся вспотевшим лицам. Излишне говорить, что мы с Пашей наутро заболели. Болели с полной потерей голоса, — резкие перепады температуры для него губительны.

Но выступил наш дуэт всё же бесподобно, ни разу не разойдясь ни в темпе, ни в интонации. Спев последние слова, *«Любовь моя»*, я картинно, как Марат Башаров в «Сибирском цирюльнике», спрыгнул со сцены, выдернул из протянутой сбоку руки Арабова букет и, встав на одно колено, вручил Виниловой. Я слегка пережал в своём бессовестном подхалимаже. Вынесли портрет, все захлопали, закричали, проректор по научной работе пустила слезу. Началось беснование. Возбуждённые аплодисменты звучали минуты три, а затем началось скандирование. Весь зал выкрикивал имя Виниловой. Вера Александровна, Вера Александровна, Вера Александровна. Длинное отчество затрудняло скандирование.

Винилова растрогалась. Градины слёз, упрямо державшиеся за ресницы и не желавшие падать, увеличивали её и без того крупные зрачки. Ректорша обняла меня, прошептав на ухо: «Лёшенька, ты хорош. Будем делать из тебя звёздочку. Ты в начале своего блестящего пути. Это лишь репетиция, а великое — впереди». Я поверил её словам. А кто бы не поверил?

24.04.2011

Мы с Пашей решили посетить Консерваторию. Там как раз организовали к конкурсу Чайковского безбарьерную среду. Паша получил возможность туда ходить. Билеты купили месяца за два. На любимую Елену Васильевну Образцову. Мы оба ей поклонялись. Были заявлены французские романсы. Пуленк, Делиб, Сен-Санс — красота!

Я напялил шляпу, лучший костюм в полоску, пальто оливкового цвета. Паша тоже приоделся. Обычно он носил свободные свитера и рубашки, чтобы одежда не сковывала ограниченных движений. А в тот день он втиснул тело в пиджак. Пиджак задирался и мялся сзади, сидеть в нём, думаю, было крайне некомфортно, но Паша терпел. После концерта мы собирались идти за кулисы. Я купил цветы, дорогущий букет. В метро изо всех сил оберегал его от невнимательных пассажиров, ведь диве нельзя вручить вялый, потрёпанный кустарник. Она заслуживает букет! Мы подготовились и гордо направились в Консерваторию как надежда отечественной сцены, как знатоки, как московская интеллигенция.

Вежливая капельдинерша проверила билеты. Разорвав их, она как бы между делом, максимально равнодушно сказала: «Проходите, молодые люди. Правда, к сожалению, Образцова заболела. Сегодня замена. Споёт её любимая ученица Оксана Скоморохова». Нам отрезали путь к отступлению, лишили возможности сдать билеты. Обманули, просто-напросто развели, да не где-нибудь, а в храме музыки. Мозг затопило уныние. Руки опустились. Сил ругаться не осталось. Мы отправились слушать ученицу. В первом отделении она спела «Песни и пляски смерти» и ещё пару романсов. Спела как могла, раскачанным меццо. Видно, что к концерту готовилась впопыхах. Исполняя «Трепака» Мусоргского, ученица изобразила танец. На вторую часть мы не остались. Я подарил стареющей меццо букет, она приняла его с грустью. Вероятно, у меня было нескрываемое разочарование на физиономии.

Мы вышли на улицу и сели в дорогущее кафе рядом с Консерваторией. Пашина мама ещё не приехала, она предполагала, что мы пробудем на концерте несколько дольше. Вот и пришлось коротать время в кафе. Уже можно было сидеть на улице.

— Христос Воскресе, — елейно поприветствовал нас официант. Я еле выдавил из себя «Воистину», Паша отмолчался.

Заказал я капуччино, Паша — газированную воду. К ней он почти не притронулся, и я догадался, почему. Не желал заполнять мочевой пузырь. Посетить туалет для колясочника — целое дело.

— Знаешь, Алекс, в пятницу умер мой отец, от алкоголизма, — заметно было, что Паша хочет выбросить из себя эту информацию.

— Ой, соболезную, — начал было я, стараясь побороть шок удивления. Я и не знал, что у Паши есть (был) отец.

— Не стоит, я его и не знал, но всю жизнь мечтал посмотреть ему в глаза. Поглядеть на человека, бросившего жену с больным ребёнком. Узнать эту суку. Мама так и не свела нас.

— Понимаю, я ведь тоже вырос без отца. Он жив. Живёт себе на «Соколе», насколько я знаю.

— А ты не хочешь с ним повидаться?

— Не хочу. Смысл?

— Смысл? Он есть.

Я смутился и не спросил, какой именно.

Мы перешли к художественным впечатлениям и принялись полоскать ученицу Образцовой. Ох, как же мы издевались над её выступлением, злорадствовали нещадно. Разошлись и перешли к обсуждению девушек за соседним столиком. В тот вечер я рассказал Паше про Марину. И его, не склонного к откровенности, прорвало:

— Я бесконечно люблю пение, музыку, сцену. Но, знаешь, Алекс, есть ещё и жизнь. Обыкновенная, простая, полноценная. Я её лишён навсегда. Навсегда, понимаешь? Я никогда не узнаю, что такое свобода: просто выйти из дома и поехать, куда хочется, когда хочется, ни перед кем не отчитываясь. Магомаев любит причитать, за что же ребят нашего славного Заведения так обделила природа? Но ты думаешь, что

он вникает в наши проблемы? Попричитает, поропщет и пойдёт домой, в свой мир, купив по дороге докторской колбасы. А мы останемся в своём! Ты думаешь, я обитаю в горних высях и мечтаю лишь о том, чтобы выучить партию Риголетто целиком? Нет, мне нравится эта опера, она гениальна, я люблю поорать: *Vendetta, tremenda vendetta.* Однако более всего я мечтаю потрахаться!

Первый раз услышал я от Паши грубое слово.

— Не дрочить под одеялом, а банально и смачно потрахаться с женщиной, как в тупом порно. Вот и всё. Хочется быть сильным и красивым парнем, а не немощным инвалидом.

Этот горький монолог слышала мама Паши. Мы и не заметили, как она подошла, слишком увлеклись беседой. Несколько мгновений у неё был застывший, покорно отчаявшийся взгляд. Затем она заговорила ничего не значащими фразами и расплатилась за нас карточкой. «Сегодня я угощаю», — улыбнулась мама. Чек со скрипом вылез из терминала и мы, решив, что немного пройтись погожим вечером не помешает, выдвинулись вниз к Моховой, к месту, где в феврале 2010 года я просто так, от нечего делать встал в очередь, не подозревая, насколько это переменит мою судьбу.

16.09.2011

На втором году обучения из меня начали лепить звезду. Формально не только из меня, но и из Паши. Паша шёл в довесок ко мне, так как руководство Заведения не могло презентовать инвалидный вуз одним лишь мной. Тандем хорошо поющего колясочника и представительного меня вызывал умиление, взывал к милосердию, будил сопереживание — беспроигрышный продюсерский ход. Первое испытание ожидало нас уже в середине сентября, когда и вокальную форму-то ещё трудно набрать после лета.

Я съездил с Мариной летом в Ессентуки, где музыку подзабросил. Так, изредка глазами пробегал ноты. Не до музыки было, мы много ссорились. Марина, как человек активный и деятельный, на курорте скучала. Меня же вполне устраивал однообразный досуг: прогулки в горы, питьё горячей, богатой железом воды, долгий дневной сон, необходимые для здоровья лечебные процедуры. Я копил силы перед сезоном, как я по-театральному называл предстоящий учебный год. Паша отдыхал в Подмосковье, в неврологическом санатории, путёвку в который ему щедро предоставило государство. В конце августа мы с Пашей бросились восстанавливать голосовую форму. Голоса за время летнего простоя утратили гибкость и округлость звучания. Приходилось ездить в необитаемое Заведение и заниматься с Магомаевым, вернувшимся к тому времени с дачи в город.

В середине сентября в кинотеатре на Цветном бульваре проходил большой фестиваль творчества инвалидов «Не сдавайся!». Нам с Пашей доверили выступить в последний день с оркестром. Махал молодой дирижёр из Мариинки, правая рука всесильного худрука театра. Босс Мариинки на фестиваль не приехал, хоть и обещал. Как назло, к выступлению я простудился. Инфекция не сильная, но выматывавшая. Спеть нам предстояло лишь одну песню, можно и с больным горлом, но оплошать и подвести Заведение мы не могли. Ожидались представители мэрии.

Генералку назначили на утро. Паша приехал в концертном костюме, дабы уже не переодеваться. Лишь бабочку он хранил в кармане, предпочитал не нацеплять её на толстую шею, бабочка жала. На коляску он установил специальный мотор, который крепился к подножкам. Это приспособление они с мамой приобрели недавно, что позволяло Паше весело гонять и преодолевать пороги. Чтобы Паша ненароком не опрокинулся, сзади к коляске приделали изогнутую железную трубочку — антиопрокидыватель. Я явился на репетицию в обычной одежде, а смокинг

повесил в грим-уборной. Рутинность моего образа вполне соответствовала тривиальности прогона. Дирижёр прошёл с нами номер формально. Показал вступление, объяснил темп, дал пару рекомендаций по пению в микрофон. О работе над нюансами не было и речи. И зачем нас вызвали так рано? Как коротать время до концерта? Да, у нас были талоны на питание. Но в столовке всё время не просидишь. Паша предусмотрительно захватил книгу, кажется, «Доктора Фаустуса», а я взял с собой бутылку бехеровки. Пряный травяной ликёр я бесконечно подливал в чай. Надеялся вернуть голосу объём, гладкость переходов по регистрам и бархатистость. К обеду я высосал четверть бутылки. Тёплые змейки струились по груди и доставляли радость. Паша бесстрастно наблюдал, как я напиваюсь, а сам глотал страницу за страницей.

Обед в ресторане «Вилы» слегка «опохмелил» и расслабил меня.

— Поспи, — посоветовал Паша, — голос быстрее восстановится, а перед выступлением пососи Halls.

Я последовал его первой рекомендации и поспал в грим-уборной с полчасика прямо в низком мягком кресле советского образца. Чудились мне в ошмётках сна кентавры в кокошниках, поющие хором арию из «Князя Игоря»: «*О, дайте, дайте мне свободу. Я мой позор сумею искупить*».

За час до концерта я осознал, что освоил полбутылки. Я нетвёрдо встал, чтобы переодеться и попробовать голос. Звук я направил в носовой резонатор, спев нечто вроде «иии, ааа». Голос наличествовал. Богемский ликёр выручил.

— А, налей-ка и мне, — попросил Паша, — выпью, что ли, из солидарности.

— Тебе можно? — удивился я.

— Можно, конечно, на ногах мне всё равно не стоять.

Шутка меня рассмешила, из меня потёк невообразимо дурацкий, истеричный смех. Паша протянул пластиковый стаканчик, я плеснул туда вкусной коричневой жидкости. Он опрокинул в себя, и в эту секунду в дверь гримёрки постучала молоденькая помощница главного режиссёра концерта.

— Тридцать минут до выхода, — крикнула она через дверь.

Мы знали, что гораздо больше, ведь концерты в Москве никогда вовремя не начинаются. В финальный же день ожидались официальные речи. Помножьте это на стандартные для пятницы и последних тёплых денёчков московские заторы. Все едут на дачу, дороги загружены.

А что за песню мы исполняли? «Ой, каб Волга-матушка да вспять побежала». Её Владислав Иванович Пьявко любил петь на концертах. И всегда распевался дома этой песней. Подтверждаю: песня помогает прорааться.

На концертах всегда так: ждёшь-ждёшь, а потом хоп, и до выступления три минуты. Шок от длительного ожидания бывает нешуточный. Но в ту пятницу то ли от алкоголя, то ли ещё от чего я испытывал такое спокойствие, что было аж страшно. Ведь без волнения выходить на сцену бессмысленно, более того — смертельно опасно для искусства. Волнение — топливо артиста.

Паша дёрнул плечами, этим рваным движением он поправил сбившийся и съехавший набок пиджак, я привёл в порядок бабочку и бутоньерку. Бутоньерка так плотно прилегала к пиджаку, будто её не вставили в карман, а пришили. Мы отправились на сцену. Оркестр затянул длинное вступление. Мы вежливо подождали, когда повиснет волнительная цезура, и вступили. Я вёл первый голос, Паша изысканно вплетал второй. Мы заполнили зал. А как мы засандалили верхнее ми на ужасно сексистской строчке: «*Кабы можно, братцы, красным девкам верить!*» На верхней ноте я сделал два шага вперёд и выпрямил руку в ленинском жесте. Психологический приём: не уверен, возьмёшь ли ноту, сделай пару шагов вперёд, и даже если слегка киксанёшь

коварный тон (верхний или переходный), то у публики сложится иллюзия, что всё отлично. Нота отзвучала, мы положили её, как лампу над залом. Идеальная нота, овальная, объёмная, прикрытая. Зрители встали. По моей щеке нырнула слеза. Да ещё эта фраза в песне: *«Кабы мы любили да не разлюбляли»*... В угаре полупьяной сентиментальности я подумал про Марину и наши неудачные каникулы в Ессентуках.

03.05.2002

В четвёртом классе к нам пришёл мальчик. Новенький никому не нравился. Имя его было Серёжа, но все называли новенького исключительно по фамилии — Кучуров или просто Куча. «Куча, скажи "триста"». Куча говорил, ну а дальше сами понимаете, какое продолжение следовало. Толкнуть Кучу, пнуть считалось доблестью. В столовой он сидел один, никто к нему не подсаживался. Кучу чморили, кое-кто в лучшем случае относился к нему с брезгливым равнодушием. Учительница наша Мария Анатольевна на травлю закрывала глаза, предпочитала не замечать. Она была молодая и классом не управляла.

Куча был странным и в общем-то противным. Сейчас я думаю, что Куча высокофункциональный аутист или там что-то с небольшой задержкой. Но мы словосочетание «высокофункциональный аутизм» не знали, и для нас Куча был просто лохом. Длинный, нескладный, с сальными волосами, всегда в одном и том же сиреневом свитере с оленёнком — всё в Куче отталкивало.

К концу учебного года Кучу возненавидели. Причина этой ненависти не совсем ясна. Травили Кучу в основном два хулигана: Смирнов и Колпашкин. Нынче крутые топ-менеджеры, к слову. Я же, вился рядом с двумя клёвыми парнями, поддакивал и услужливо лыбился.

В начале мая Смирнов и Колпашкин придумали спецоперацию. Они крадут телефон у одной отличницы, а я доношу классной, что кражу якобы совершил Куча. Какой тонкий стратегический расчёт со стороны Смирнова и Колпашкина! Моторола-раскладушка с пластмассовым корпусом, тогда в школу с мобильными телефонами ходили только дети богатеньких родителей. Трубку Смирнов и Колпашкин намеревались загнать на Митинском рынке, а часть заработка разделить на троих. Моя доля самая маленькая. Оговорюсь сразу: ничего не вышло. С рынка нас погнали. Не знаю, на что мы тогда рассчитывали. Действительно обхохочешься: сопливая мелюзга пытается впарить ворованную Моторолу.

Мобилу своровали на перемене. Жертва заметила пропажу на уроке русского и незамедлительно сообщила о ней. Урок учительница немедленно прервала. Классная, изображая строгость, рявкнула: «Признавайтесь, кто взял?» Не украл сказала, а интеллигентно «взял». Сгустилась тишина. Я со скрипом отодвинул жесткий школьный стул и встал.

— Я знаю, кто украл.

В мою сторону повернулись все головы.

— Серёжа украл, — я впервые назвал Кучурова по имени и уверенно показал на него пальцем.

— Нет, нет, я не брал, — Серёжа разрыдался.

По классу пролетел шумный смешок.

— Серёжа, Алексей никогда не врёт, я знаю, — назидательно произнесла классная.

У меня в начальной школе была безоблачная репутация домашнего мальчика и отличника.

— Завтра с родителями придёшь, продолжаем урок.

И урок продолжился. Куча плакал, а учительница рассказывала про склонения.

На перемене Куча пошёл смывать слёзы в туалет. Мы выследили его и не дали

спокойно прийти в себя. Физически зрелый, не по годам развитый телом Смирнов двинул Куче в живот. Колпашкин дополнил избиение пинком. Я наблюдал сцену и не вмешивался.

— Чего смотришь? Иди ударь, ссыкло, — орнул на меня Смирнов.

Куча сидел на корточках и стонал. Я приблизился к нему, но ударить не решился. А лучше бы решился ударить, не так гадко было бы, честнее. Я собрал из своих вечно сопливых ноздрей всю зелень и харкнул на светлые волосы Кучи. Он так и остался сидеть на корточках, а мы, хохоча, побежали на урок.

Кучу оставили на второй год. Мы продолжили своё обучение со Смирновым и Колпашкиным в пятом классе. Про Кучу и не вспоминали.

Два года назад я сочинил письмо с извинениями Куче. Текст, полный пафоса самооправдания: «Мы были дети, ну, понимаешь, меня вынудили, прости...» Найти Кучу в Контакте не составило труда из-за его редкой фамилии. Раздобрел, обзавёлся семьёй, улыбается на фотках, жарит шашлычки на даче. Всё как у людей. Куча сообщение просмотрел, но так и не ответил. Знать бы, что он подумал... Ничего хорошего, полагаю.

12.02.2012

Нас с Пашей показали по телевизору. В сонном субботнем эфире Первого канала. В 7:05. Такие передачи смотрят лишь пенсионеры, и то вполглаза. И всё же щекотало тщеславие. От важности аж тянуло в рёбрах. Мне не понадобился будильник. В шесть я уже завтракал подгоревшей яичницей. С половины седьмого я сидел, обвив правой ногой левую, в полосатой пижаме на диване и слушал, как женщина в белом халате отчитывает мужика пьющего вида за нездоровый образ жизни. Мужик стоял, будто школьник у доски, и изредка оправдывался. В его бормотании угадывалось: «Больше не буду», «Простите», «Перебираю малец». В семь пошли новости. Из них я ничего не узнал. Уму непостижимо, как можно отнять у человека пять минут времени и ничего не сообщить. Бескрайняя реклама. На рекламе к просмотру присоединяются бабушка и мама. Старомодная, ещё из девяностых заставка музыкальной передачи. И первый же сюжет о нас, о нашем дуэте. Слегка слезливо. О дружбе здорового и больного, о взаимопомощи и милосердии. Нашей прямой речи секунд на десять. Журналюги безбожно обрезали умные и небанальные мысли. Песня «Улица, улица, ты, брат, пьяна» (сколько запятых), разложенная на два голоса, — кульминация сюжета. Следующий сюжет. Бабушка идёт на кухню, мама досыпать.

Телефон приглушённо вибрирует в мякоти дивана. Марина, кто же ещё? Выключаю звук на телевизоре. На экране беззвучно царапают пальцы о струны бравые балалаечники из Курска. Звонит Магомаев. Неужели смотрел? Мы ему не докладывали. Смотрел. Делал дыхательную гимнастику и поглядывал на экран, а там мы. Недоволен. Как мы позволили себе не сообщить ему об участии в другом проекте? Ведь мы погубим свои голоса без его педагогической опеки, мы и распеться-то сами не в состоянии. «Нижнее фа, Лёшенька, завалили с Пашкой, выкатили вперёд, подсняли опору». Ложь, ноту мы не заваливали, спели собранно и ровно, даже светоносно, что для стремящихся укрыться в тени низких звуков — редчайшая удача. «Ладненько, пойду дальше пахать, завтра в 8:30, бессовестные вы с Пашкой», — резюмировал Магомаев.

Обида на слова педагога ускорила скольжение яичницы по желудку. Я устремился в уборную. Впопыхах, не рассчитав траектории движения, рухнул прямо на ободок. Треск (к счастью, пластмассы), холодные катышки пота, ужас осознания неизбежного. Стискивающая боль взмывает от живота к лёгким. Обморок.

Бабушка — врач с большим стажем, и она легко приводит меня в чувство.

02.04.2012

Три часа утверждали тему моей курсовой. Писать я не мастер, предпочитаю устный жанр. Курсовые я качал из сети, а антиплагиат обходил, меняя русское с на английское с. Научным руководителем назначили Магомаева, ему за это доплачивали сверху полторы тысячи. Наши исследовательские опусы никто не читал, а вот утверждали темы серьёзно, с заседанием совета. Протоколы визировались у самой Виниловой. Из-за её совещаний чрезвычайной важности утверждение, как правило, затягивалось до вечера. Моё рабочее название «Мария Каллас — величайшая примадонна XX века» учёный совет отверг. Не прошёл и заголовок «Каллас — великая певица XX века». Сошлись на названии: «Каллас — великий исполнитель XX столетия: особенности вокального стиля». Лаборантка, вдавливая острыми ноготками клавиши, отстучала текст и распечатала бланки. Через полчаса вернулась с подписанными бумагами. Напротив моей фамилии значилось: «В.М.Магомаев — великий исполнитель XX столетия: особенности вокального стиля». Научный руководитель: заслуженный педагог Российской Федерации Мария Каллас». В.А.Винилова. Монументальная, размашистая подпись.

06.05.2012

Утро после ссоры ужасно своей тишиной. Мы завариваем кофе, хрустим упаковками с едой, жуём, молча передаём соль или сахар, разливаем кофе по чашкам. Но в квартире ещё подвешено тянущее, ноющее эхо ночной разборки. Всего восемь часов назад всхлипы, сжатые кулаки, запирания на замок в туалете и включённая вода. «Марина, открой, открой, я люблю тебя». Марина открывает, после восьмой просьбы. Смотрит в упор мазутными повзрослевшими глазами. Бесплодные попытки поцеловать в шею. Марина сопротивляется и колотит меня по груди кулачками. Она поставила ультиматум: либо идёшь со мной на митинг, либо мы расстаёмся. Ну что за манипуляция? Неужели искала повод разойтись?

Её увлекла протестная активность, я же проявлял недопустимую аполитичность и равнодушие к гражданским свободам.

— Марина, ну как же я могу с тобой на митинг, если у меня концерт ко Дню Победы? — вопрошал я. — Да не где-нибудь, а в Доме Музыки, хоть и в малом зале.

— Не знаю, скажи, что заболел, отмени, обмани! Решается судьба России, а ты будешь спокойненько петь «Землянку» и «Журавлей», приколов ленточку? Да ещё и для членов «Единой России»?

Перепалка набирала обороты.

— Да, и что? Буду! Наши деды кровью умыли землю родную, а ты на митинг шлёпаешь накануне святого дня?

— Да, шлёпаю, чтобы больше умывать не пришлось, идиот! *«Поклонимся великим тем годам»,* — так будешь блеять на концерте, под Зыкину?

— Идиот, говоришь, сволочь, — беспомощно ору я, стирая тембр от надсадного усилия, — да кто ты, чтобы мне ультиматумы ставить? И не смей оскорблять Людмилу Георгиевну, она наша совесть, наша Родина-мать! Ты не имеешь права издеваться над священной песней!

Я швыряю её подвернувшуюся под руку красненькую прямоугольную сумочку. Тушь, зеркальце, мелкая женская дребедень с царапающим шорохом скользят по комнате и ныряют в пыльные закутки, потревожив подол занавески. Это было низко... Господи, спасибо Тебе, что я не ударил Марину. Впрочем, и сумки было достаточно. Зачем же я бросил эту сумку?

— Уголок у зеркала откололся, надо будет новое купить, а то примета плохая, — Марина сказала это убийственно тихо с такой печалью, будто всё поняла про жизнь.

А, наверное, и поняла в ту секунду. Моё бешенство отступило, сменившись подступающим раскаянием. Она такая красивая и уже чужая. Жалеет о зеркальце, а на самом деле о чём-то большем. Барбарина в «Свадьбе Фигаро» потеряла булавку. Булавку всего лишь, а ария такая безысходная... Мир рухнул, а не булавка затерялась.

Я ещё для галочки бурчу. Марина игнорирует мой поток. Отстранённо выдёргивает заколки из взбитых, словно миксером, волос и массирует скулы ночным кремом.

Ссора истощается. Ехать домой мне поздно, такси вызывать в ночи боязно. Остаюсь у Марины. Мы ложимся спать, она на постели, я на коротком и узком диване. Ноги ни вытянуть, ни поджать, держу их на гладком покатом подлокотнике. Ноги затекают. В икрах пляшет муравейник.

Утро. Молчание. Завтрак. Проверяю Контакт и почту. Марина удалила за ночь страницу в Контакте, Фейсбук ей милее. У меня Фейсбука нет, да и вообще какие соцсети, я и так ничего не успеваю. Мне приходит уведомление на мэйл, что теперь я встречаюсь с Удалённой страницей. Вопросов Марине не задаю, иду в ванную. Очень горячий душ запускает кровь по всему телу, мышцы пробуждаются. Пробую голос, распеваюсь, глотая хлорированную московскую воду. Пока моюсь, Марина красится, сидя на полу. Она напряжённо вглядывается в изувеченное зеркальце. Обсохнув, беру портфель с нотами и направляюсь к выходу. Марина сметает тяжкую тишину глухим от длительного молчания голосом:

— Ты, это... не приходи больше и не звони. Ладно, Алекс?

— Ладно. Не буду больше.

Вот так буднично и нейтрально. Будто и не было целой жизни.

Что сейчас с ней? Замужем, двое детей. Уехала из Москвы. К морю. Завела собаку, как и мечтала. Большую, лохматую.

02.01.2013

Я бы, может, и отошёл от разрыва с Мариной за полгода, но мой педагог, самый важный человек в жизни, не упускал случая уколоть меня и поиронизировать над крахом наших с Мариной отношений. Моя слабость и разобранность возбуждали Владимира Муслимовича. Он причмокивал от гневливого счастья, копаясь в моих неудачах как личных, так и художественных. Да ещё и приговаривал: «Я человек прямой, высказываю всё как есть, предупреждал тебя, девки дуры и поосторожнее с ними. Ухо держи востро! Измотала тебя твоя Маринка. Позабыл ты про пение, искусство на бабу променял».

Он был, к несчастью, прав: я утратил мотивацию. Я успешно выступал, ездил даже по другим городам, в основном в Щербинку и Подольск, там в концертных залах у Магомаева были связи. Но всё на автомате. Я исчез, сам боясь себе признаться в этом.

На концертах одни и те же приёмчики. Халтура, самая грубая подделка. Публика же не замечала, ох, как тошно, как тяжко получать дешёвый успех. Зрителям безразлично творческое качество, лишь бы развлекали. Я бросил учить слова и ноты, пел только с пюпитром или шпарил с листа без подготовки. Дошло до того, что в одном немецком ансамбле Брамса я вместо реальных слов перечислял известные мне немецкие фамилии или выдумывал немецкоподобные, Цукек, например. Этот «Цукек» я стаккатно мелодекламировал, заводясь от того, что дурю публику. Какая разница? В ансамбле всё равно никто слов не разбирает. На pianissimo я дошёл до подлинного свинства: спел Hitler. С немецким Н, на выдохе. У других тоже вместо немецкого была во рту йогуртовая каша, но они старались, а я нет. В одной барочной арии вместо Ottone я пел Attone. А это, как ни крути, разные персонажи: Оттон — император Священной Римской империи, а Атон — египетский бог солнца.

Паша выступал со мной всё реже. Мы не касались этой темы, но Паша сдавал. Незаметно и неумолимо слабели все мышцы, даже дыхательные. Он расстраивался, но не терял самообладания. Паша терял голос.

В новогодние праздники жизнь в Заведении не остыла. Арабов вызывал на репетиции. Мы готовились сдавать актёрское мастерство. Хотя какое это мастерство? Так, самодеятельность. На первом курсе Арабов мучил нас этюдами: мы то в лифте застревали, то лук сажали в ковёр, то опаздывали в аэропорт. К третьему курсу мы доросли до отрывков из произведений классической русской литературы.

В острых, колючих курганах снега чёрные отметины петард. Хилая, опадающая новогодняя иллюминация цвета марганцовки в бедных окнах. Бабушки в шерстяных платках шелестят домой из магазина. Родители, выворачивая руки детям, опаздывают на очередной утренник. А я не спешу на репетицию к Арабову. Мы готовим отрывок из Островского для зачёта по актёрскому. Не хочу к Арабову, он мерзкий, скользкий, пахнет терпким одеколоном и сигаретами. Опаздываю. Поднимаюсь в актовый зал. На лестничном пролёте занимается баянист Федя, он разучивает фугу Баха в экстравагантном переложении.

Из-за двери актового зала, преодолевая жёсткость деревянной глади, несутся удручённые упрёки Арабова: «Ребята, ну, вы меня убиваете, почему текст не выучили?» А перед дверью, на линолеуме, облепленном сухой реагентной грязью, принесённой с улицы, сидит Катя. Сидит и машет перед лицом рукой. Монотонно и ритмично. Сквозняк крадётся по полу, но Кате жарко.

— Что с тобой, Екатерина? — заговариваю с ней.

Катя машет рукой перед лицом и, наблюдая за колебаниями пальцев, отстранённо лопочет:

— Александр Борисович сказал, что у меня таланта ноль. Способностей нет. Я не сдам гос. И меня выгонят. Боже мой, что же будет? Вот горе-горюшко. Мама меня убьёт, — плачет Катя, плачет по-вокальному, как учили, растягивая гласные.

Я беру её за руку и веду в зал. Арабов проводит актёрскую гимнастику. Тяжелее всех полной девушке Тане. Арабов не делает скидок на комплекцию и состояние здоровья, заставляет заниматься ритмическими упражнениями под музыку каждого: прыжками, приседаниями, поворотами, вставаниями на шаткий стул. Паша тоже участвует как может. Полная инклюзия. Происходящее Арабов называет пробуждением импровизационного самочувствия по Мейерхольду, биомеханикой. Замечая меня и Катю, Арабов беглой интонацией выговаривает: «Почему опоздал, зачем вернул её, для Кати репетиция закончена, ладно, пускай остаётся». Катя садится в углу и наблюдает за происходящим.

Репетируем «Лес». У меня малюсенькая роль мудака Буланова или Милонова, не помню. Всего-то одна фраза. «Алексей, учись играть эпизод, в профессии пригодится», — наставляет меня режиссёр. Репетиция затягивается часа на три. Своего выхода жду, усевшись рядом с Катей. Брожу в интернете. С кнопочным телефоном это неудобно, курсор блуждает по экранчику и промахивается, не попадая в слова. Арабов нарочно затягивает репетицию, мстит мне за опоздание, ставит на место. Я не подаю вида. Честно отсиживаю, произношу свою единственную фразу: «Мне-с? Благодарю-с». Отыгрываю удивление, принимая деньги от Гурмыжской (полная девушка Таня). Всё по Станиславскому, я в предлагаемых обстоятельствах. Арабов преувеличенно хвалит мой этюд. Отмечает наполненность моей игры, но меня не проведёшь, знаю, что умри я, ему дышалось бы свободнее. Меня не задевает его отношение. Ни ко мне, ни к Кате. Попривык уже за два с половиной года, смирился, что лучше не будет.

29.03.2013

Голые, но уже живые деревья. Снег ровной простынёй накинут на землю, но потихоньку сдаёт позиции, подтаивает изнутри. Чуть радостнее, чем пару недель назад, покрикивают вороны. Выйти бы на улицу и запеть во всю мощь «Весенние воды» Рахманинова, не щадя голоса, на солнечном морозце. *«Весна идёт, Весна идёт,/ Мы молодой весны гонцы,/ Она нас выслала вперёд!»* Но мы сидим во взопревшей от девственного солнца аудитории и изучаем сольфеджио. Ведёт урок весёлый незрячий дядька. Он любовно настраивается по камертону, аккуратно интонирует и строит трезвучия, подробно объясняет. Выкладывается. Но мне не до секстаккордов и тем более их обращений. Несгибаемая скука. Я неуместен здесь, в этой комнате. Паша, смотрю, работает. Трудолюбиво протыкают брайлевскую бумагу слепые. Все неправдоподобно сосредоточены. Развлекаюсь изучением портретов великих композиторов. Вот Пётр Ильич, доброе меланхоличное лицо, страдалец. Бах на беглый взгляд серьёзен, но, если присмотреться — насмешлив, сардоничен, колок. Вагнер — мерзкая рожа скряги, пропускаю Вагнера и соскальзываю на Верди. Тот ещё жук, хитрющий крестьянин, но очень умён и в людях-то понимает. Моцарт... Не додумываю про Вольфи, как его нежно называла жена Констанца, под лопатками проступает круглая горячая боль. Будто кто-то сзади влепил мне две раскалённые десятирублёвые монеты. Оборачиваюсь, на меня, а точнее, через меня смотрит девушка с печальными глазами — Варя. Опускает глаза и продолжает писать в крошечный девичий блокнотик с зелёными страничками. Очевидно, ей тоже не до сольфеджио.

— Ты что писала в блокноте? — наседаю я на Варю в перерыве.

— Стишок. Стишок пришёл. Записала.

— Да? И про что же? — поэтического дара я лишён наглухо и потому к людям, им наделённым, отношусь с настороженным восхищением.

— Объяснять поэзию сложно, Алекс. Про любовь, Бога, тебя, меня, каждого из нас.

Я тушуюсь и замолкаю. Варя вежливо улыбается, но лишь ртом, в её глазах застыла меланхолия.

— Почитай, дарю тебе, — Варя отрывает листок и протягивает мне. Пальцы её ещё горячи от недавней работы ручкой.

01.07.2013

Я созрел. Я решился. На что — утаил даже от Паши. Мы общались всё меньше. После летнего семестра Паша взял академ, подлечиться. Однако лечение не принесло результата. Пашины мышцы ослабли настолько, что он с трудом говорил. Объёмный голос вытек, обернувшись свистящим пришёптыванием. Так рассказывала мне мама Паши, она звонила пару раз по дороге в магазин, чтобы выговориться хоть кому-то. Паша не терпит причитаний в свой адрес и при себе подобных разговоров не вынес бы. Я слушал маму как мог, слал приветы Паше и ничтожные пожелания скорейшего выздоровления. Она обещала передать, но вряд ли передавала, болезнь Паши неизлечима, и травить душу сына глупыми пожеланиями мама бы не стала. О Заведении она не вспоминала.

А я не вспоминал и не думал про Пашу 1 июля 2013 года. В этот день мне не терпелось совершить художественный рывок. Цель была ясна, сверхзадача поставлена — войти в Большой театр не через парадный подъезд, минуя жирные клыки колонн, а через служебный. Как артист, как вершитель процесса, а не простой наблюдатель! За певцами Большого в день спектакля присылают машину, и я сотни раз воображал, как чёрное авто с тонированными стёклами останавливается на

Петровке, напротив служебного входа, а из машины, кутаясь в бордовый шарф спешно и нервно, всеми мыслями в спектакле, выхожу я. Выхожу, прижимая к груди испещрённую пометками партитуру, бегло оглядываюсь по сторонам и исчезаю в таинственных коридорах театра. Меня заглатывает предстоящее представление, а чёрная машина уезжает в свою далёкую от искусства механическую жизнь. Пока же я вышел из метро «Театральная». Правый бок легендарного здания лежал в тени и спал, но на фасад и Апполона уже летели тугие, жгучие лучи середины лета. Жизнь в театре возобновлялась после вечернего всплеска, и здание нехотя протирало бежевые глаза.

Я знал, что в Большом есть специальная программа поддержки молодых певцов. Отвечает за неё великий вокальный педагог, никогда, впрочем, не певший, профессор Невестин. Невысокий, мускулистый мужчина средних лет. На таких хорошо сидят костюмы с бабочкой.

Это был план побега от Магомаева. Но сбег*а*ть в никуда тупо и страшно. А побег к Невестину обернулся бы моим триумфом и фиаско Магомаева. Прослушивание началось ровно в десять. Здесь каждый был сам за себя, как на гибнущем корабле. Кого-то прослушивали долго и усердно — они вылетали из зала алыми и возбуждёнными, кого-то всего минут пять — эти бедолаги выползали бледными и придавленными.

Эксперты расположились в партере, как зрители. Невестин сидел в первом ряду и держал в руке тёмно-зелёную бутылку Perrier. Его пальцы любовно лапали горлышко, оставляя на запотевшем стекле узорчатые отпечатки.

— Что вы приготовили? — спросил он свинцовым голосом.

— Романс Мусоргского «Листья шумели уныло», он же «Могила», смерть Родриго и «Лесного царя» Шуберта, — ответил я.

Я намеревался явить экспертам всю глубину своего трагического темперамента и щегольнуть немецким произношением, скопированным мной с лучших немецких записей.

— Можно начинать, — Невестин кивнул лысому концертмейстеру.

Мусоргского и Верди я спел достойно. Немного занизил ре-бемоль в романсе, нота вышла мерцающей, но это детали. Без привычных, концертных аплодисментов за чертой последнего такта было неуютно. Комиссия молчала, ничего не комментировала, давая певцу с минуту, чтобы отдышаться и собраться на следующий номер. Стоишь, тихонечко прочищаешь горло, настраиваешься, а они на тебя смотрят и напряжённо оценивают.

«Лесного царя» мне закончить не дали. Я едва ли допел Lied до середины. Невестин хлопком остановил пианиста, тот равнодушно низвёл оборванную скачущую фразу в тонику и остановился.

— Это рано вам петь, — нахмурившись, сказал он, и я понял, что несовершенный Шуберт нивелировал положительное впечатление от Мусоргского и Верди.

— Спасибо, достаточно.

И всё. Только «спасибо, достаточно» про многочасовой труд, мучения, подготовку, сомнения. И это «спасибо, достаточно» страшнее, чем прямое указание на твою бездарностью. Ведь в «спасибо, достаточно» есть надежда, иллюзия, грёза: тебя непременно пригласят, возьмут, зачислят, тебе позвонят. Не зачислят, не возьмут, не пригласят, не позвонят. Я — просто один из вокалистов этой огромной страны, и Невестин не распознал во мне гениального дарования. Я многократно слушал потом «Лесного царя», чтобы сделать себе больно и подивиться собственной наглости. Кто я такой, чтобы браться за «Лесного царя»? Фишер-Дискау, Бостридж, Людвиг, Норман, Квастхофф — они имеют право, но не я. Кстати, если бы Квастхофф учился в Заведении, что бы с ним сделали? Лепили бы из него звёздочку?

Сколько раз я приходил к служебному входу и бродил у Большого в надежде встретить Невестина, схватить его за плащ и всё объяснить про себя, попросить дать мне шанс ещё раз спеть «Лесного царя»! Умолять, встать на колени и убедить мастера в своей преданности вокалу. Но Невестин никогда не выходил из служебного входа. На вопросы, когда бывает Юрий Дмитриевич, охранник хрипло бубнил: «Информацию о сотрудниках не предоставляем».

Ничто больше не держало меня в Большом. Я поехал в пустую квартиру, частично гордый собой, что принял вызов и испытал себя на топовом уровне, но ещё более — разочарованный своей самонадеянностью с «Лесным царём».

Бабушка на даче пестует рассаду, мама на работе, соседи в отпуске в Турции. Матовая, тёплая тишь. Лишь колышется занавеска в большой комнате, привставая, чтобы впустить в квартиру прохладу, и изредка покашливает холодильник. Квартира ушла в отпуск перед осенне-зимней работой, когда зажгутся все лампочки, зажарят батареи и завертятся в фуэте счётчики.

Я открыл дверь и уловил тревожное присутствие человека. Мама, к моему изумлению, дома. Сидит на кухне, подперев виски ладонями, и её каштановые волосы изящно сочатся через пальцы.

— Ты дома? — спрашиваю я максимально спокойно.

— Дома. Отпросилась. Голова заболела.

— Мама, что случилось? — я знаю, что дело не в голове. Мама пойдёт на службу даже при температуре сорок.

— Отец звонил. Я была на работе, и он позвонил с неизвестного номера.

— Кто звонил?

— Отец. Папа твой.

Мама смотрит на меня очень серьёзно. Как тогда, после приезда из Ялты.

— Мечтает с тобой познакомиться. Говорит, осознал ошибки, хочет начать новую жизнь и всё исправить, говорит, что мальчику нужен отец и, знаешь, доля правды в его словах есть, — внезапная мамина перемена в отношении к этому человеку ошеломляет меня. — Ты человек взрослый, сочтёшь нужным — позвони сам. Вот номер. Записывай. 8903501...

Мама принимается произносить незнакомые, ничего не значащие для меня цифры.

— Мам, не надо. Давай лучше кофе попьём.

Она наигранно замедляет речь и нарочито удивлённо складывает очки, будто её коробит моё нежелание знакомиться с родным человеком. Мама встаёт, машинально поправляет причёску, в эту секунду она всё ещё думает о «папе», что меня бесит, и идёт ставить гейзерную кофеварку.

— Не надо так, не надо, Алекс, — как бы про себя шепчет она. — Тебе с сахаром или без?

— Без сахара, мама, не подслащивай, — говорю я и иду в ванную.

19.08.1997

Мы вернулись с бабушкой и мамой с моря. В Ялту мы съездили по маминой путёвке. В её секретном госучреждении за несовершеннолетнего можно было получать деньги, но мама предпочитала брать путёвками. Какой-никакой, но шанс побывать на юге, напитаться солями и йодом, «поесть воздух ложками», как говорила бабушка, развеяться, сменить обстановку.

Уже по дороге домой из Домодедово я заскучал по морю. Вчерашние камушки, волны, пятнистый щеночек на пляже, невыразительная санаторная еда отодвинулись во времени и воспринимались древностью.

Пропахшая бензином и едкой «ёлочкой» «девятка» выруливает к дому. Знакомый двор, редкие мальчишки лазят по облупившейся железной паутине. Подъезд с бетонным козырьком, перед скамейкой шелуха от семечек, выпитые до последней капли бутылки будоражащей детское воображение водки. Ржавеющий рельс для детских колясок за время нашего отсутствия оторвали, второй одиноко и понуро упирается в асфальт. Жизнь родного подъезда без меня продолжалась, это открытие мне неприятно. От него хочется отмахнуться, как от шершня.

Высушенный, пыльный, неживой воздух квартиры. Бабушка распахивает дверь балкона. Воздух в комнатах бегло обновляется. Вещи на тех же местах, но другие, пожившие без хозяев. Перевёрнутые чашки на кухне, недостроенное лего, открытый мамин шампунь в ванной, склонившиеся зубные щётки в пластиковом стаканчике, розовый синтетический коврик у входа с надписью «Добро пожаловать».

Я малость пришиблен, перелёт придавил меня. Правое ухо, в него накануне влилась вода при купании, разболелось, боль гусеницей ползёт в висок. В ухе звенит раздражающий высокий тон. На белках глаз расстелились красные жгутики — результат перемены давления. Не играется. За дни отдыха я потерял интерес к знакомым игрушкам. Капризничаю. Мама усаживает меня перед телевизором смотреть в сотый раз «Бэмби», а сама с бабушкой торопливо раскладывает вещи. Пространства у нас мало, опустошённые, истёртые чемоданы закидываются на шкаф. До следующего года.

Магнитофон глотает поцарапанную VHS, и я ныряю в приторный мир Диснея. Мультфильм об оленёнке примиряет меня с тяготами возвращения. Мама добреет, приняв душ. Из ванной выходит раскрасневшейся и необыкновенно лучезарной. Бабушка на кухне погружается в чёрно-белые квадратики кроссвордов. По правую руку от неё — домашнее вишнёвое варенье в миниатюрной белой розетке с небрежно отчеканенной малинкой на кайме. Вечер всё более походит на обычный.

— Доча, возьми трубку, звонят. Встать не могу, намучилась сегодня, — около входной двери трещит недавно купленный Panasonic. Меня забавляло, что у телефона нет диска с цифрами, но есть кнопки. Кнопки вдавливались в пластмассовую плоть аппарата мягко и беззлобно. Я не без запретного удовольствия тыкал их. Изредка мне позволяли набрать 100 и «послушать тётю».

Мама, плотно, словно скотчем, обмотав грудь полотенцем, запрыгала к телефону, оставляя на полу влажные следы.

— Алё, — суматошно, но доброжелательно ответила мама. Долго стоять в таком прикиде неудобно и непривычно холодно после липких, пахнущих мангальным дымом южных ночей. Ещё вчера обаятельные, прожаренные балкончики-шкатулки, солнце, прожигающее полотенце, солёные камушки, а сегодня уже предосень. Ещё вчера белые «барашки», нанесённые крупными мазками на гладкий холст моря, ещё вчера до ужина, пока тень не срезала три четверти пляжа, бродили с мамой по песку, держась за руки, и мечтали.

— И что тебе надо, Вася? — на слове «Вася» бабушка сняла очки и оторвалась от скрипучей желтеющей газеты.

— У него всё хорошо. Не нужно ему твоё внимание и такой отец! Я тебя предупреждала, не звони, даже не пытайся, к ребёнку не смей приближаться!

В трубке клокочет булькающий и убеждающий в чём-то маму голос.

— Знаешь что, Василий, шёл бы ты лесом!

Мама левой рукой сбрасывает звонок нажатием на рычажный переключатель, но в правой держит трубку ещё секунд двадцать. Приходит в себя.

Мне было известно, что отчество моё — Васильевич, я Алексей Васильевич.

Но никакого реального человека за отчеством я не опознавал. Папа был сугубо номинальный. Какой-то там Вася. Врач. Но врач необычный, без молоточка и стетоскопа. Он никого не режет, не вырывает зубы, он беседует с пациентами, и ему охотно несут деньги. О том, что я мальчик из неполной семьи, я и не задумывался. С бабушкой и мамой хорошо, зачем мне ещё неизвестный папа?

Я почему-то знал, что звонит папа, хотя до этого он и не звонил. И меня абсолютно не удивляла эта ситуация. Ну, звонит и звонит.

— Алекс, досматривай и спать.

Я повиновался, у мамы был такой серьёзный и страшный вид, что спорить и капризничать, хоть и из вредности, я себе не позволил.

Я лежал и смотрел в потолок, сперва тёмный и неузнаваемый. Однако глаза привыкли к темноте через пару минут, и предметы проступили, как на переводной наклейке. На кухне сквозняком просвистывал напряжённый шёпот. Слова не имели очертаний, и о теме разговора я лишь догадывался по интонации. На кухне ругались и ругали. Ругались и спорили между собой, а ругали и проклинали — Васю. За несвоевременный звонок, за его разрушительный набег на мамину жизнь, за предательство: он ушёл от мамы, когда та отправилась со мной в коляске (мне не было и года) на молочную кухню. Сбежал муженёк, забрав с собой даже продырявленные корявыми большими пальцами тапки. Эти прискорбные и позорные подробности мама с бабушкой поведали мне в середине нулевых, в годы моего задорного и несдержанного пубертата.

— Я тогда села у окна, да так и просидела долго-долго, часов восемь подряд, сжимая в руке Васину записку. Карандашом написал, бледно-бледно, я всё её перечитывала и надеялась, что из-за близорукости неверно читаю, — рассказывала мама бесстрастно и безразлично, как об умершем дальнем родственнике. Ох уж эти сидения мамы у окна, как я их боялся.

Шёпот за стеной накатывал и отступал как прибой. На сильную долю маминого тезиса приходились две слабые доли бабушкиного антитезиса. Rubato их разговора настораживало и усыпляло.

15.04.2014

Время от времени репетиции в Заведении разрешались концертами разной важности. Но Концерта подобного уровня здесь не было никогда.

К тому моменту я стал звездой Заведения. Выступал на всех отчётных мероприятиях, ездил на конкурсы районного масштаба вроде «Романса упоительные звуки», завоёвывал медали и грамоты. Сотрудничал с серьёзными музыкантами, а маэстро Валерий Абисалович Гергиев лестно отозвался о моём голосе в прямом эфире музыкальной радиостанции «Эвридика». Я отбросил идею покинуть Заведение после прослушивания в Большом, хоть многое меня раздражало и шокировало, а отношения с Магомаевым окончательно перетекли в пассивную вражду. Он уже меня и не ругал. В припадках иронии Магомаев обращался ко мне на Вы, полагая, что его вежливость меня ранит. Я убедил себя, что возьму от него технику, которой он владел, а человеческие закидоны буду игнорировать. Да и как я посмел бы покинуть институт, так во мне нуждавшийся! Всё шло и шло. Плохонько, зато привычно. Подачки в виде грамот и побед на поганых международных конкурсах (десять россиян, один белорус, два украинца) меня удовлетворяли.

Уже за неделю до Концерта эксперты по безопасности с сердитыми лицами прощупывали Заведение и местность вокруг. Чёрные классические костюмы инородно смотрелись на их спортивных телах. Охранники сновали по всему Заведению с шипящими рациями. Собаки обнюхивали влажными носами помещение. Собаки и на

службе оставались собаками, их тянуло вниз, в столовую. Снайперы деловито осматривали просевшую за зиму от груза снежных снопов крышу. Опытный стрелок объяснял молодому план действия, показывая могучей рукой на чиркающие по синеве неба башни Сити.

В Заведении царила азартная паника. С лестницы предусмотрительно согнали баяниста Федю, не участвовавшего в Концерте. В актовом зале сняли вишнёвые шторы, чтобы отвезти в химчистку, в классы завезли новые стулья, до филигранной точности настроили все рояли, в столовой повесили картину с морским пейзажем. Муниципалитет выслал дополнительных уборщиц. Их бросили на борьбу со смрадом, нёсшимся из туалетов. Податливые и молчаливые женщины, не скупясь, распыляли в сортирах казённые пахучие средства. Винилова стояла над их измученными душами, капала валокордин в гранёный стакан и тихонечко негодовала. Спать трудяги остались в Заведении, в танцевальном классе, напротив массивных зеркал. Спецодежду и дешёвые, купленные на рынке лифчики молочного цвета, развесили на танцевальных станках.

Вечером пятнадцатого апреля Сам действительно приехал! С часовым опозданием, но приехал.

Мы сидели в Заведении с утра. Выходить за территорию запретили. Я провёл весь день в классе 22 вместе с Магомаевым. Он хрустел газетой «МК», а я смотрел в окно и думал, когда же в наш двор заедет чёрная машина с упругим, неколеблющимся российским триколором на комично миниатюрном флагштоке. И с тягучим равнодушием сознавал, что к Концерту жизни не подготовлен. Магомаев думал то же самое. Вот уже неделю голос не «шёл», хотя симптомы простуды отсутствовали. Вероятно, я болел бессимптомно. Голос не отвечал. Ни верхов, ни низов, в середине каша из звуков, фонем и нездорового вибрато. На переходных нотах вылезал потрескивающий хрип, искажённый, убого пародийный вариант моего голоса. Магомаев легонечко распевал меня в среднем регистре, без форсажа и силовой подачи, но ничего не помогало.

Уже смеркалось, когда приехал Сам. По этажам забегала охрана. Участники Концерта подсобрались, нервно поправили галстуки и бабочки, девушки, из тех, что могли видеть, окинули себя беглым взглядом в зеркалах. Винилова выбежала на крыльцо в сопровождении секретаря и проректора. Сам поднялся из машины, на ходу застёгивая пиджак, и пацанскими дворовыми шагами, уверенно, через ступеньку, взбежал по лестнице. У него всё было хорошо, он переживал самые счастливые дни, недавно совершив натуральный геополитический прорыв. Первая ступенька, третья, пятая. Вот он уже лобызается с Виниловой, придерживая ректоршу за мягкие плечи. Винилова провела Самого по всему Заведению, рассказывая, что к чему. Сам довольно и одобрительно кивал. В столовой его угостили фирменным борщом. Сам вежливо откушал, предварительно покрошив в красное болотце белый хлебушек.

Артисты выстроились рядом с актовым залом и были готовы в любую секунду вырваться на сцену, чтобы показать класс. Был среди ожидавших и я. Пока участники Концерта, кто в академичных, как я, фраках, кто в народных костюмах, кто в платьях с «фонариками», толпились в душном предбаннике за сценой и наращивали волнение, я медленно пробрался в пустой зал, обойдя его с бокового коридора. Стулья расставлены аккуратно и педантично, над сценой гигантский транспарант: «Возвращение в родную бухту. Гавань победы» и немного покосившийся триколор. Из открытого окна несёт нарождающейся вечерней свежестью. В небе прорисовываются сумерки. Уже выплыла и застыла над ТЭЦ неполная Луна с подтаявшей, как забытое на столе масло, кромкой.

— Начинаем, готовность номер один, где Широков? — глухим стёртым голосом старается крикнуть Арабов. Я бегом возвращаюсь за сцену.

Арабов не ругается, но смотрит козьими глазами с презрением, мол, вечно ты выёживаешься, всегда наособицу держишься.

— Давайте, ребятки, верю в вас, — прикидывается добрым Арабов. Пока сурдопереводчик доносит до глухих установку режиссёра, Арабов крестится сам, крестит воздух в нашем направлении и целует извлечённый из заднего кармана брюк образок.

Из-за сцены слышно, как зал заполняется. Двигаются, царапая паркет, стулья. Гомон, смех, суета предвкушения. Постепенное стихание звуковой волны и резкий, оргазмический всплеск аплодисментов. Входит Сам. За ним дирекция Заведения. Сам не садится, а направляется на сцену. С подмостков он говорит нам о необходимости патриотического воспитания и успешного интегрирования инвалидов в общество.

— Инвалиды — пример силы духа и несгибаемой воли. Именно такие люди должны стать примером для подрастающего поколения, — он закончил речь столь привычной уху каждого гражданина Российской Федерации интонационной синусоидой.

Чтобы не утомлять и не задерживать Самого, концертную программу избрали самую короткую и беспроигрышную. Восемь отточенных номеров, два вокальных, два театральных, три танцевальных и сюрприз в финале. Отобрали талантливейших учащихся, а средненьких студентов попросили в этот день остаться дома и посмотреть интернет-трансляцию мероприятия на сайте. Баяниста Федю не пригласили играть на Концерте по причине длительности произведений, которые он исполнял.

Винилова решила зайти с козырей, а козырем в Заведении был я. Мне выпала честь открывать сей чудо-концерт грустным по содержанию, но патетичным и потому уместным для эпиграфа басовым (самый низкий репертуар мне подвластен в хорошие дни) ариозо короля Рене из «Иоланты» «Господь мой, если грешен я, за что страдает ангел чистый?».

Зазвучало лаконичное оркестровое вступление, и лица музыкантов смешанного оркестра преисполнились серьёзностью. Я начал уверенно. Первое слово арии «Господь» спел шелковистым и густым, как норковая шуба, звуком. Удачно подцепил низ, мягкий и тёплый тон поплыл по залу как туман. Внизу живота завибрировало и заколебалось от резонанса. Далее голос ритмично, уверенно, наступая на гласные, без проблем скользнул в верхний регистр, зашелестела ажурная нёбная занавеска. Я успокоился, взяв под контроль волнение и автоматически пел заученную ещё на втором курсе арию. Но голос обманул меня. Нагло, жёстоко, дав необоснованную надежду. Он перестал повиноваться на последних словах: «О, Боже, Боже мой,/ Сжалься, сжалься надо мною!» Я не справился с простеньким пассажем, упустил легато, излишне напряг мышцы шеи и из горла хлестнул скрипучий хрип. От рьяной атаки ноты гортань задралась, и голос соскочил, как велосипедная цепочка. Даже со сцены мне было видно, как Сам поморщился. Вслед за ним, подражая авторитету, скривила рот и Винилова. Из третьего ряда иронично заулыбался, радуясь киксу, Магомаев.

Ария была загублена. Я удалился со сцены, не слыша любезных аплодисментов. Мне навстречу из предбанника уже выбегала группа глухих парней в костюмах моряков. Я растерянно задержался в кулисах, ожидая то ли поддержки, то ли наказания. Перед сценой, за кулисой стояли Арабов и руководительница танцоров Бедная. Но никто из них, даже Арабов, на меня и не посмотрел. Они были уже в новом номере. Зазвенели тремоло балалайки, а через пару мгновений оркестр принялся строить главную тему. Бедная интенсивно затопала каблуком в такт озорного танца «Яблочко». Вибрации стелились по паркету, а танцоры распознавали их чутьём и

опытом многочисленных репетиций. Чудесным образом, не слыша музыки, они не сбивались. Парни творили на сцене хореографический идеал. Успех «Яблочка» подсвечивал мою неудачу, затаптывал моё самолюбие.

— Молодцы, молодцы, ребятки, — радовался Арабов. Бедная, храня маску охлаждающего недовольства, внутренне торжествовала.

Потянулись долгие выступления: хороводная, художественное чтение (стихи про родину), ария Тоски Vissi d'arte в почти безупречной интерпретации Вари. Пока я шлялся по конкурсам и получал грамоты, Варя выстраивала голос. И комическая, безголосая, некомпетентная старушка Аида Сигизмундовна ей по крайней мере не мешала! Варя приходила для приличия на занятия, пела двадцать минут, а ремеслом занималась частно, с профессорами из Консерватории. Аида Сигизмундовна не противилась, ведь успехи Вари возвышали и её. В голосе Вари появился объём готического собора, интонация выровнялась, интерпретация повзрослела.

Главное и непоправимое обрушилось на всех нас стремительно и лихо. Когда и Концерт-то был фактически окончен. Композиция Концерта, по-ремесленному мастеровито и ловко скомбинированная Арабовым, была рассчитана на эмоциональное нарастание. И примитивная схема этого, с позволения сказать, режиссёра работала. В финале на сцену выходили все участники и пели-играли-показывали жестами гимн. Не Бог весть какой приём, но действует безотказно.

Недостаток музыкального баланса в исполнении компенсировался рвением хора. Меццо, сопрано, бас, тенор и даже контратенор (этот голос я и за голос-то не считаю) не очень сливались, но всё это не имело значения. Зал на гимне, естественно, стоял (кроме одного новенького с миопатией), а самые отъявленные патриоты даже неритмично подпевали. Не остался в стороне и Магомаев, он всегда был не прочь продемонстрировать, что его ещё рано списывать со счетов! Его живот колебался, а голос железным прутом прорезал пространство. Магомаев был доволен собой.

Мы громогласно оторали гимн на бесстыдном fortissimo. Сам по-детски непосредственно хлопал в ладоши. Он явно получал удовольствие от всей этой «клюквы». Что греха таить, мы стояли на сцене с такими щами, словно мы герои народа, не меньше. Я почти вытеснил из сознания неудачу с арией Рене. В эту секунду все мы были не виноваты, более того — прощены. Эйфория единения и победы, где частный огрех не существенен. Мы победили, мы вместе, и это главное!

«Мы гор-дим-ся то-бой!!!»

Все счастливы. Сам поднимается на сцену, чтобы поблагодарить каждого участника, их всего-то от силы человек двадцать. Рукопожатие у него, признаюсь, крепкое, но липкое. Вслед за Ним идёт Винилова. Ректорша влажно поцеловала меня в щёчку, стерев затем с моей щеки кровяную помаду костлявыми пальцами. Ужас, как противно. Но ещё противнее её слова: «Ты меня расстроил сегодня, Алекс. Но я тебя прощаю, мой мальчик. На сцене держишься идеально, даже в плохой день. Ты очень красивый», — на слове «красивый» она меня снова порывисто чмокнула.

Слепые заранее протягивают Самому руку, чтобы он вложил в неё ладонь. Глухие цедят слова благодарности. Всё идёт по плану. Сам доходит до Кати, она в составе хора, только что пела гимн. Сольный номер ей никто бы не дал, но в хоре её прозрачный, звенящий тембр незаменим. Катя турсучит платье, волнуется, собирается с силами, чтобы не очень громко, но достаточно отчётливо произнести:

— Знаете, вы очень плохой человек. У вас глаза злые. Вам бы покаяться!

Сам тушуется.

— Катя, — в ужасе вскидывает руки Винилова, — Извинись сейчас же!

— Нельзя, Вера Александровна, Богоматерь не могу ослушаться. А это она мне нашептала.

— С ней бывает, не обижайтесь, — неубедительно лепечет Винилова.

Ой, что потом началось!

Сам ретировался, не посетив даже кабинет ректорши. А в плане, между прочим, изначально значилось посещение ректората. Там уже в полной боевой готовности сидели операторы и журналисты федеральных каналов. Узнав, что визит к ректорше отменяется, они спешно и одновременно равнодушно зачехлили камеры и микрофоны.

Реплику Кати, попавшую на камеру, удалила охрана, дабы не произошло утечки. Кассеты были конфискованы, и компрометирующий момент, по слухам, уничтожили, его нет ни в одном архиве, даже под грифом «секретно». Визит Самого в Заведение правильно и грамотно смонтировали, после чего пустили в эфир. Хор по телевизору показали так, чтобы не было видно Кати.

А саму дерзкую студентку в присутствии мамы и ректорши допросили. Попрессовали да и отстали. Чего возьмёшь с этой душевнобольной?

После Концерта все рассосались и рассредоточились. Никто ни с кем не общался. В аудитории и коридоры грудой металлолома бухнуло тяжёлое молчание. Атмосфера самая трагическая. Все словно ждали, что раздастся звонок или выйдет приказ и нас сейчас же, прямо сегодня прикроют, а указ зачитает по громкой связи Игорь Кириллов.

Не прикрыли, мы настолько неинтересны и незаметны, что нас и закрыть-то толком не могут. Не нужны мы никому. Никакого эффекта, даже отрицательного, Концерт не возымел. Винилову не сняли с должности, Заведение не расформировали, бюджет не урезали. Лишь Катю отчислили, да она и сама не желала учиться. «Замуж хочу, а учиться не хочу, мама хочет, чтобы я была певицей», — так она часто повторяла.

На следующее утро все, кроме меня, вернулись к рутинным обязанностям, про Концерт посудачили да забыли. Подумаешь, Сам приезжал, что нам с того? Незрячих он не исцелит, глухим слух не восстановит, опорникам новые ноги не пришьёт.

Изгнание Кати сильно на меня подействовало. Да и голос совсем расстроился. От выровненного, благородного, красочного баритона остались бесцветные куцые клочья.

Я осознал, что продолжать, пожалуй, не стоит, и взял, подобно Паше, академический отпуск.

Grave

27.02.2015

— Может быть, вернёшься в Владимиру Муслимовичу? Останься у него, он хороший!

— Ага, Влада Алексеевна, хороший! Знаете, что он мне сказал после Концерта? Лёшенька, не занимайся больше пением, ничего из тебя не выйдет.

Я догадывался, что Влада Алексеевна жалеет о переезде в Израиль, достаточно было послушать её механическую, апатичную интонацию. Ребёнка она не родила, всемогущая израильская медицина не одолела её бесплодия. Дела вокальной школы расстроились, финансовый крах был близок. Влада Алексеевна, в свою очередь, догадывалась, что я жалею о поступлении в Заведение, и сгорала от вины. Ведь именно за ней я туда направился, ей поверил, а затем... это бесславное, всё нарушившее дезертирство педагога. Вдвоём мы бы как-нибудь выстояли. Влада Алексеевна чуяла обречённость, потому и не звонила.

25.06.2015

Время размякло и потеряло упругость. Я замолчал на четыре месяца. В смысле вообще замолчал. Не разговаривал. Не о чем мне с миром было говорить и незачем. С мамой и бабушкой изъяснялся кивками. Ежели требовалось взять соль или сахар, то я вставал и брал. Бабушка и мама делали вид, что всё ок, дескать, ничего экстраординарного не происходит. Изображали спокойствие они очень плохо. Между собой разговаривали раздражающим шепотком. Так ведут себя в квартире больного, умирающего или умалишенного. Через шершавое шушуканье проступали очертания неприятных для меня фраз вроде: «Его стоит показать специалисту» или «Сами мы уже не справимся». Домашние полагали, что я болен, а я банально не желал общаться. Молчание моё распространялось и на письменное общение. Несколько раз мне писала смски мама Паши, но я не ответил. Паша болел и чах, тело его, представлялось мне, покрылось кратерами пролежней. А я не отвечал.

25 июня я прервал череду спокойных и несчастных дней, похожих друг на друга, как спички в коробке. Я побрился и помылся. Слой чёрных катышков, обосновавшихся на коже, я тщательно стирал царапающим скрабом минут двадцать. Даже руки устали! Остыв, я воткнул ступни в жёсткие ботинки, взял удостоверение личности, студенческий билет и вышел после спешного завтрака из квартиры. Ни мамы, ни бабушки дома не было.

Я заново учился взаимодействовать с социальной реальностью. И начинать пришлось с покупки билета в метро.

На подходе к Заведению я услышал нёсшийся из открытых окон знакомый звук Фединого баяна. Мелодия ещё не распознавалась, но звуковой поток пленял. Хрупкий и сильный, полётный и монументальный, невесомый и тяжеловесный. Через десяток шагов проступил рельеф мелодической линии — «Покаянная молитва о Руси» Чайковского в Фединой, предполагаю, обработке.

Вот я уже оттягиваю тяжеленную дверь, а вот я киваю головой охраннику, а вот я на лестнице, где Федя раскладывает свои вариации взлетающей «Покаянной молитвы», а вот класс 22... Магомаев. Один в классе. Пьёт воду из пластиковой бутылки, обхватив сухими губами горлышко.

— Ба, Лёшенька, здравствуй, вернуться надумал? Говорил же я тебе, что вернёшься! Эх ты, неблагодарный. Просрал ты свой голос, но ничего, я восстановлю тебе всё. Заниматься тебе вокалом, конечно, не стоит, но я, так уж и быть, возьмусь за тебя. Прощаю! Но слушаться ты меня обязан во всём! Понял? Мозги я тебе вправлю, спуску больше не дам, по концертам разъезжать ты у меня не будешь. Сидеть в классе будешь и заниматься. Ладно, не дуйся! Дай тебя обниму.

Следуют односторонние молчаливые объятия.

— Исхудал ты, Лёшка. Стейков побольше ешь, с кровью, для связок полезно. Анаболики поколи, чтобы массу набрать. Пять-семь килограммов нам необходимы для верхнего регистра, чтобы звук держать. Сходи-ка сейчас же в деканат, напиши заявление о выходе из академа. Начинай работать, хватит дурака валять. Я всегда свою работу выполнял на пять, а ты на два. Что там на два, на кол! Вот отсюда и печальные результаты, — Магомаев на последних словах вздыхает, мол, о Господи, что за студенты пошли.

— Уважаемый Владимир Муслимович, — прерываю своё многомесячное молчание, — благодарю за совет, но идите, пожалуйста... — я хочу послать его на те самые буквы, но в последний момент пасую. — На все четыре стороны. Не нужны мне ни вы, ни ваши занятия, ни ваши советы.

Этими словами я снял с себя обет молчания.

Магомаев остался гневаться, а я понёсся вниз, в деканат, попутно задев Федю коленом, отчего он на миг замешкался и смазал пару нот. По статичному, погружённому в свои звуковые миры взгляду баяниста пробежало раздражение. Меня рассмешило это человеческое проявление, я обрадовался, что Федя не машина и не святой.

В деканате мне без эмоций выдали тусклый школьный аттестат. Я подписал документы и закончил отношения с Заведением. Никаких полутонов и двусмысленностей. Осознав необратимость, я позволил себе загрустить. Место, где ты провёл сотни дней, уже никогда не будет для тебя чужим. Несчастлив или счастлив ты там был — непринципиально, это навечно твои, родные годы, их из себя не выдавишь, как прыщ, это твоя частная собственность.

Ничто меня не держало в этом месте. Или держало? Я медлил, осознавая, что задерживаться глупо и пошло — сопливая мелодрама, лажа. Но не уходил. Ждал, что какая-то сила вытолкнет моё инородное тело из этого здания. И спасение пришло! В спину меня ткнул тонкий, колючий женский пальчик.

— Уходишь? Совсем уходишь? — за спиной отзвучал волнистый голос Вари.

— Ну да, ухожу.

— Грустно? Не жалеешь?

— Грустно немного, — сознался я. — Но ни о чём не жалею, — приободряя и убеждая себя в правильности решения, добавил я.

— А давай я к тебе приеду сегодня вечером?

К такому повороту я, честно сказать, был не готов.

— И что мы будем делать вечером, оперу слушать? — перевёл я всё в шутку.

— Что делать? Спасаться, Алекс! Вдвоём. Вдвоём же легче, как ты не понимаешь?

Я посерьёзнел от таких слов. После глагола «спасаться» отшучиваться было совсем неуместно. И я, без особого на то желания и стремления, вдруг сформулировал:

— Нет, Варечка, спасаться вдвоём — это не моё. Моя судьба — спасаться одному. Никто другой меня не спасёт, а лишь погубит.

Варя расстроилась, но приняла мой ответ. Она меня любила, а я её не любил. Симпатизировал, уважал, но не любил. И ничего бы не получилось. Одно лишь страдание. Для неё героическое, для меня позорное.

— Ладно, давай, что ли, до метро провожу, — шанс получить мою ответную любовь был упущен, тут бы ей плюнуть, обидеться, развернуться, а она демонстрирует благородство.

— Ну пойдём.

Ну мы и пошли.

— Алекс, ты, пожалуйста, не бросай пение, у тебя хорошо получается, — Варя сказала это так искренно и так сострадательно, что я едва не расчувствовался. — А про диплом не думай. Что с дипломом, что без, мы никому не нужны. Пой для себя.

— Буду, Варечка, буду, петь для себя. Но это потом, а прямо сейчас, знаешь, о чём я мечтаю?

— О чём, Алекс?

— О том, чтобы это проклятое место, где я имел несчастье учиться, исчезло. Да пропади оно пропадом! Пусть оно провалится к хренам собачьим! Прямо здесь и сейчас! — я завёлся. — Нет, провалиться — банально как-то... «Дон Жуан» какой-то. Пусть лучше взлетит и растворится навсегда в московском небе, — бешенство сменилось злорадством. — Чтобы крыша с хрустом отлетела. А потом чтобы рояли, пюпитры, кисточки, ноты, холсты, реквизит театральный, хрень всякая, лифт этот проклятый, всё равно он не работает ни фига, чтобы всё это разлетелось в разные стороны и сгинуло к чёрту. Чтобы Магомаев, Винилова, Бедная, Арабов, охранник этот тупой и все остальные, простите, если кого забыл, вылетели, как ракеты, сделали

пару кульбитов, превратились в дым и рассеялись. И больше бы они никому жизнь не портили. Хоть бы всё это исчезло и все погибли! А на месте Заведения пусть торговый центр построят, и то полезнее для общества.

— Алекс, но ведь так и хорошие люди погибли бы. Ты об этом не думаешь?

— Думаю, конечно. Да, хороших людей жалко. Тебя, например, пару педагогов отличных или Федьку. Что он там сидит на лестнице постоянно, не знаешь? Шёл бы уже в приличное место учиться. Зачем он тут прозябает, с его-то талантом!

— Да, я говорила ему.

— А он?

— Говорит, что ему и здесь хорошо, в аспирантуру собирается.

— Ну и дурак. Так всю жизнь и просидит на лестнице. А знаешь, Варя, что самое смешное? — на меня напала нервная весёлость. Я расхохотался.

— Что?

— Что если бы Заведение исчезло таким чудесным образом почти в центре Москвы, то о нас бы узнали все мировые СМИ, ну CNN там или BBC. Вот это была бы сенсация планетарного масштаба! А так, даже после того, как Сам приезжал, о нас никто не знает. И все переспрашивают, когда я говорю, где учусь, то есть учился: какой-какой вуз? Как называется? Нет, не знаю такого.

Я обернулся посмотреть, не взлетело ли, не испарилось ли Заведение, не сбылись ли мои мечты? Нет, не сбылись, стоит себе, крепко так стоит, ничто ему не угрожает. Хрустальный звук Фединого баяна волной несётся из открытых окон.

— Да, это была бы новость, — улыбнулась Варя. — А сегодняшнюю новость слышал? — Варя снова посерьёзнела.

— Нет, а что такое?

— Хворостовский заболел, у него рак мозга. Сам объявил, чтобы избежать сплетен и спекуляций. Мужественный поступок. Думала, ты знаешь, ты же любишь его?

Меня сносит этой новостью.

— Как так-то? Почему именно он? Его нельзя!

— Только Он решает, Алекс, сколько кому отпущено. В том числе и Хворостовскому.

— Да, — согласился я, — только хочется, чтобы хорошие люди подольше жили, а плохие поменьше.

Мы дошли до метро.

— Спасибо тебе, Варя, что проводила. Ты хороший человек.

— Ты, Алекс, тоже. Пока тогда, — Варя развела руками. — Береги голос.

— Слушай Бога, — сказал я и проскользнул в метро.

Варя пошла назад, в Заведение. На госы.

22.11.2017

Бабушка умерла в 2016-м. Она бы воспротивилась нашей встрече с отцом, это я гарантирую. После её смерти я съехал в однушку в Красногорске. Не с мамой же в моём возрасте жить. Я и так прожил с ней четверть века. В холостяцкую однушку отец ко мне и завалился.

Дату встречи выбирали долго. Сошлись на среде, 22 ноября. Промежуточный, серединный день. Таким же и вышло наше общение с отцом, доктором Василием Анатольевичем. Мы минутами молчали и смотрели в пол на пёстренький линолеум. Раз в полчаса отец отлучался. Из уборной он каждый раз выходил с виноватым видом. Через три часа засобирался. Вот он надевает поношенные ботинки, чтобы покинуть мою квартиру и мою жизнь. Сейчас поедет на автобусе до «Тушинской», пересядет на метро, зайдёт в магазин у дома, спросит у жены по телефону, что купить, и сядет

смотреть, поужинав, Первый канал или сериал в интернете. Пообещает позвонить мне и договорить важные вещи, уже прощаясь, у лифта, но будет звонить лишь на день рождения и, в лучшем случае, на Новый год.

— Великого певца из меня не вышло, — беру я как бы шутливый тон, протягивая ему обувную ложечку, — мне не рукоплещут и не устраивают стоячую овацию Ла Скала и Ковент-Гарден, Венская опера и парижская Опера-Гарнье, даже Новой опере или затрапезному Геликону я не пригодился, Колонный зал Дома Союзов — и тот во мне не заинтересован. Вот и пришлось переквалифицироваться, перейти на тренерскую работу. Я преподаю. В музыкальной школе. Мне иногда даже бывает приятно приходить в класс и работать с детишками. Только они и воспринимают меня всерьёз, смотрят с пиететом, видят во мне гуру пения и маэстро. Смешно немного. Они верят в меня больше, чем я сам.

— Я рад, что у тебя всё... — шнурует он ботинок, намереваясь сказать «хорошо», — наладилось.

— Да уж, наладилось — это преувеличение. Скорее, как в бородатом анекдоте про козла и раввина. Ушёл из Заведения, и мне полегчало.

— Помню, помню, хороший анекдот, — он смеётся, и я едва не морщусь от его смеха. Сухой, мелкий, дробный смешок.

— Завтра у меня урок, а я ещё не приступал готовиться, — вдруг подталкиваю я отца к уходу. — Будем с детьми разучивать песню Кабалевского «Наш край» и новогоднюю чепуху всевозможную.

— «Наш край» — песня хорошая! Патриотичная! — оживляется отец. — Сегодня таких не пишут. *То берёзка, то рябина, куст ракиты над рекой: край родной, навек любимый, где найдёшь ещё такой?*

Напевает отец козлиным ободранным тенорком. Слух у него отсутствует, но поёт он с воодушевлением, на слове «край» заходится.

— Петь любите... любишь? — изумляюсь я.

— Очень, очень люблю. Не зря же у тебя певческие гены, — угодливо говорит отец. — Но вот незадача — петь я не умею. Всю жизнь мечтал вокализировать, а стал врачом. Может быть, хоть ты научишь в конце жизни, — шутит он.

— Не вопрос. Я же педагог нынче, — подыгрываю отцу. — Идите к роялю, — командую я.

— Неудобно как-то, смешно, — папаша тушуется.

— Иди, иди.

Папа, не расшнуровывая, скидывает сопротивляющийся ботинок и тащится к пианино.

— Итак, звук надо проваливать и петь на продыхе, мягким протоком, — объясняю я отцу основы вокала словами Магомаева. Я впиваюсь острыми пальцами в до-мажорный аккорд и приказываю: — Пойте по терциям!

— А это как?

— Долго объяснять. Просто повторяйте за мной. Ха-ха-га-ха-ха!

Отец издал кряхтение.

— Ещё! Обопри же звук!

Отец погрустнел и понурился.

— Давай в другой раз. Я нынче совсем не в голосе.

— Всё, папа, достаточно, идите домой, — я опускаю крышку на клавиатуру.

— Ну, ладно... Я позвоню, Алёш... Алекс.

Отец стариковским жестом накидывает кашемировое пальто и скрывается в сизой полутьме лестничной площадки.

Квартира ещё хранит его запах. Но вскоре и он пропадёт, испарится, от отца в моём мире не останется даже духу.

Я залез в телефон и прочитал печальные известия. Новости самые скорбные и ужасные. Скончался Хворостовский.

Я отложил было смартфон, чтобы осмыслить произошедшее, но приложение Ютьюба (он же Ютуб) с извиняющимся кашлем предложило послушать, как Томас Квастхофф исполняет (не то слово — проживает) «Ich habe genug» Баха (BWV 82). Я послушал арию с восторгом и досадой. Почему с досадой? Да потому, что он владеет своим инструментом, а я нет. Больной, весь кривой и потрёпанный судьбой, а жалости не вызывает. Больных из Заведения жаль, а его нет. Лишь восхищение и зависть, а всё потому, что поёт как Бог. Открывает он непропорционально широкий рот, и льётся плотный, воздушный, янтарный, парящий, милосердный, трагический звук.

Я тоже так хочу! Я тоже хочу петь так! И я буду так петь! Я научусь, без всяких педагогов-шарлатанов, сам допру! Я постигну тайну пения, я заслужил её знать! Мама будет мной гордиться и бабушка на небесах! Я здоровый, широкоплечий, руки есть, ноги на месте, голос огого какой! Я его практически восстановил! Не верите? Слушайте же!

Аааааа, миииии, маааа, мууууууу. Легато, стаккато, продых, мягонько, легонечко, Зая, напрягаем мышцы диафрагмы, лёгкие раздуваются, рёбра раздвигаются. Так, очень хорошо. Ма-мо-му. Вот, замечательно, голос разогрет, и сейчас я вам спою. Я ещё попою, я спою весь баритональный репертуар, весь, слышите: Жермон, Риголетто, Эскамильо, Онегин... Cortigiani, vil razza dannata, Di Provenza il mare suol, Votre toast, je peux vous le rendre, Secors, secors car avec les soldats...

Место лучшего баритона мира вакантно. Я найду свой звук, непременно найду! Меня ждут ведущие сцены. Не смейте убеждать меня в обратном, не смейте говорить «будь реалистом», не смейте мешать. Мелкие неудачники, завистники, обрезатели крыльев, убийцы вдохновения, я вас ненавижу!

Петь — значит жить!

Вы только прислушайтесь, какая верхняя соль:

«Позор!.. тоска!..
О жалкий жребий мой!»
Da capo

Денис Сорокотягин

Эссе вокруг театра

Et cetera

Мне нужно петь о Москве, а не писать о ней текст. Петь, как вот эти ребята, сидящие на лавочках у театра Et cetera. Что они здесь делают? Ждут своей очереди прослушаться. На кону — желанное попадание в труппу театра, хоть какая-то стабильность после тепличных условий института. Они отходят в сторону парами или трио, суетно повторяют текст драматических отрывков. Они крутят в руках реквизит: швабры, вёдра, книги. Открывают и закрывают кофры с отглаженными костюмами. После песни Магомаева о Москве, вселяющей хоть какую-то надежду, они переходят на «Без шансов» Земфиры. Они готовы к любому исходу, впереди долгий рейд по театрам столицы. Эт сетера, эт сетера. Сегодня тебя без объяснений отфутболят, завтра тебе скажут: «Спасибо, достаточно» на второй минуте отрывка, когда ты даже не успел произнести первую реплику, а вот послезавтра тебя точно куда-нибудь возьмут. Но будет ли тебе это надо? Будет, будет! — отвечает восторженный желторотый выпускник. Когда расхочешь, тогда всё и будет, — говорю я со знанием дела. — У меня было так. Хотя при чём тут я?

Одним из первых театров, который ответил мне на резюме, был детский музыкальный театр «Экспромт». Близость театра к любимому «Современнику» и сама личность художественного руководителя — Людмилы Ивановой, которая к тому моменту, правда, почти не появлялась в театре, но оставалась его гарантом, — всё это окрыляло, и я шёл, скорее летел в «Экспромт» с большой надеждой. Там были нужны поющие мальчики, и я должен был прийтись впору. Помню, мы очень любезно поговорили с заведующей труппой и она попросила меня пройти на сцену. Оказавшись на подмостках, я сразу понял, что мне здесь не работать никогда. Фактура-дура мешает. Со своим немалым ростом я почти упёрся в потолок. Один лёгкий прыжок — и всё, второй этаж. Зав. труппой мгновенно погрустнела, а я с улыбкой, которую мне теперь уже не повторить, сказал, что готов играть на полусогнутых. Котов, зайцев, кузнечиков, да хоть куриную ножку в избушке Бабы-Яги. Я ужмусь, скукожусь, только возьмите. Зав. труппой ответила: «Мы вам перезвоним», и я ушёл и, конечно, очень ждал. Ждал ответа от «Экспромта», как и от других театров, в чьи двери я стучался и сбивал костяшки в кровь. В один театр, к моему большому удивлению, меня взяли,

---

Сорокотягин Денис Андреевич — актёр театра и кино, режиссёр, драматург, художественный руководитель «DAS-театра», педагог по актёрскому мастерству и вокалу. Родился в 1993 году в Екатеринбурге. Окончил Свердловский мужской хоровой колледж (пианист) и Екатеринбургский государственный театральный институт. Печатался в журналах: «Знамя», «Сибирские огни», «Новый мир» и других. Живёт в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

но через месяц умер худрук, и все прежние счета обнулились. В другом театре я должен был завоевать сердца приёмной комиссии за три минуты и ни секундой больше. Они засекали время на секундомере, и, когда оно кончилось, сухо констатировали: «Прошли до-о-о-лгие три минуты, а вы нас, увы, не зацепили». А вы меня, увы, да. До сих пор помню.

Было ещё одно прослушивание в детском театрике, в подвале. Оно завершилось успешно, и я даже уместился на крошке-сцене. За то время, что я уже был в Москве, я приобрёл этот важный навык — ужиматься до нужных размеров. Худрук, почтенная дама, сказала как отрезала: «Трудовую на стол». Я испугался этой фразы, нарисовав в своей голове перспективы каторжной работы в том месте, в котором я не пожелаю работать и врагу. Так почему же я всё равно шёл туда и пробовал? Я заколебал худрука расспросами о количестве спектаклей в месяц, о ролях, которые мне светят, но не греют, о графике репетиций. В помещении театра ядрёно пахло кошачьей мочой, и диалог худрука и взыскательного молодого артиста приобретал садомазохистский характер. Наконец худрук оторвала палку от пола, указала мне на дверь и процедила:

— Достоевский, уходи отсюда.

— Почему Достоевский? — поспешил я уточнить. Вдруг она увидела во мне черты Алёши Карамазова, которого я так хотел сыграть, вдруг разглядела тот надлом и скрытую боль за всех живущих на земле?

— Потому что достал. Вот поэтому, — ответила худрук. Просто и доходчиво.

А, вот и ребята вернулись. Прослушались. Это быстро и небольно, как укол, вот только потом ноет. И к этому нельзя привыкнуть. Лица выпускников успокоились, стали настоящими, движения осмысленными, без прежней суеты и наигрыша. Вот жаль только, что песни больше не звучат, гитары повисли на сутулых плечах, без шанса и без варианта.

Сегодня Москва о тебе не вспомнила, отвернулась, не заметила твоего провала, а может быть, просто сделала вид, что не заметила. За это мы её и любим, мучительно, по-достоевски. За ту радость редких поцелуев, за то, что обещала перезвонить и всё тянет и тянет.

Мышь. Где?

Разделять жизнь и сцену — мучительно трудно. «Мучительно» — это я взял от сцены, до предела выкрутив регуляторы. На деле от жизни остаётся одно «трудно». Но всё-таки эта грань проводима. Да, она иллюзорна, но где-то же она есть.

На сцене нельзя работать безоценочно. Почему нельзя? Можно. Если так велел режиссёр. Пропускать, ни бровью, ни зрачком, не реагировать на текст партнёра. Не оценивать, но в результате этого оценивать ещё сильнее и ярче. Отсутствие — это тоже оценка.

Моя оценка по актёрскому мастерству в конце первого курса была — «два», которая стремилась к «единице». Диагноз мастеров: тотальное безоценочное существование. А значит, и отсутствие веры в предлагаемые обстоятельства да и веры в выбранный путь.

Мне надо сделать титаническое усилие. «Титаническое» — беру от сцены. «Усилие» — от жизни. Мне надо поверить, что на сцене (на деле в учебной аудитории) моя однокурсница на моих глазах превращается из милой трогательной девочки в мышь, которая стащила со стола ролл. Мне нужно выйти из-за кулис. Но, прежде чем это сделать, мне надо поверить, что передо мной вовсе не кулисы из чёрной мятой плащовки, а самая настоящая деревянная дверь, ведущая на кухню. Так. Выйти из-за кулис, нет же, из дверей, подойти к столу. Нет, не к столу, а к двум чёрным кубам, которые стоят друг на друге. Но я должен представить, что передо мной крепко

сколоченный стол. Потом мне надо увидеть лежащие на столе роллы. Их должно быть семь, но я пока об этом не знаю. Нет, на самом деле это не роллы, а белые зефирки, купленные в автомате на первом этаже института, но сейчас это роллы, наверное, с рыбой. Нет, не наверное, — я должен точно знать, с какой они начинкой. Пусть будут с курицей. Выходя из-за кулис, я не догадываюсь, что один ролл утащила в свою нору мою однокурсница. То есть мышь: серая, злая, толстая мышь. Так мне нужно её представлять, до предела выкрутив все регуляторы.

Я выхожу из-за кулис, открываю воображаемую дверь, подхожу к кубам так же, как бы я подошёл к столу. Я очень хочу есть. Я пришёл на кухню, чтобы утолить голод. Это утро или ночь? Это день или вечер? Я не знаю, а должен, должен знать. Я голоден, это я знаю точно. Зефир, ролл — неважно. Есть, есть, есть. Мастерство проходит поздним вечером, и к этому времени мой желудок пуст. Я кладу в рот зефир. Кладу его так, будто он не зефир, а ролл. Ролл с курицей. Я растекаюсь в улыбке, мои глаза слезятся. Это оценка. Самая живая, потому что я ничего не играю. Я смог совершить переход. Из голода в жизни к голоду внутри сцены. Переход из одного состояния в другое. Я был голоден, а теперь нет. Один ролл за другим, — и голода как не бывало. Но вдруг всё должно поменяться. Нужна она. Оценка. Каким-то неведомым образом я должен понять, что одного ролла не хватает. Их было больше. Когда я положил их на стол, их было ровно семь. Но зритель этого не знает. Он смотрит этюд без предыстории, в глазах зрителя роллы уже лежат на столе. Заданная картинка. И их ровно семь. Но зритель не знает точного количества. По моей оценке он должен понять, что роллов стало меньше. Я забыл сказать, что роллы лежат на пластмассовой тарелке. Она невидима зрителям, но я-то её вижу, представляю. Главное, мне её представить. Но это сейчас неважно. Я должен увидеть, что роллов стало меньше. Ровно на один. Я должен задать себе вопрос: а кто же мог его взять? Я должен набросать в голове несколько вариантов. Но я живу один. Холостяк. Это мои предлагаемые обстоятельства. В квартире, кроме меня, никого. Тогда кто же воришка? Процесс, стремительный поиск вариантов рождает оценки, одну за другой. Как вспышки фотокамер. Ещё, ещё. Фиксация момента. Оценивай, не жалей себя, иначе твоя оценка по мастерству будет — «два», а может, и «единица».

Я вижу краем глаза свою однокурсницу, точнее, не её, а страшную, серую, толстую мышь, которая вылезла из своей норы (из-за кулис). Вылезла и поняла, что я заметил пропажу ролла. Мышь ухмыляется, она радуется своему успеху так, как может радоваться только мышь. Мне нужно увидеть её в чётко установленный режиссёром момент. Он наступает ровно после того, как я уже съел два ролла и думаю взять третий. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Таков режиссёрский рисунок. Но, к своему стыду, как бы я ни старался, я вижу мышь раньше положенного срока. Признаться, я не вижу мышь. Я вижу переживающую однокурсницу, её чёрные лосины, вижу, как она трепещет перед своим выходом из норы, из-за кулис. Мне кажется, что ей должно быть легче, чем мне. Она выходит второй, а я первым. Хотя какая разница. Мы оба — двоечники. Считай не считай.

Я описал только первую минуту этюда. После того, как я и мышь, наконец, увидели друг друга, шла целая череда наших баталий и столкновений. Я гнался за мышью, она всякий раз оставляла меня с носом и удирала. Классический, хрестоматийный сюжет. Кульминация этюда — я стреляю в мышь из гранатомёта. Стул с лихвой заменил мне его. Главное, чтобы я увидел в этом ободранном школьном стуле — гранатомёт. Увидел, во всех боевых красках. Я был тогда так зол на свою актёрскую беспомощность, что стрелял в мышь как в последний раз. Это был самый живой, неподдельный момент.

Минута этюда вмещает в себя десяток оценок. Актёрское мастерство на первом курсе занимается молчанием и осторожным рождением слова. И молчание должно

быть органичным, таким, каким бывает в жизни. На втором курсе появится текст, за который я тут же схвачусь, как за верёвку, и постепенно, пыхтя, карабкаясь, выберусь из безоценочной бездны. В результате — сдам экзамен на «отлично». Это было мучительно трудно. «Мучительно» беру от сцены (все мы мучаем её). От жизни возьму — «трудно». Да нет, ничего не возьму. Оставлю всё как было. И замету следы.

Пишу этот текст безоценочно. Без прицела, без умысла, без подтекста, без второго и пятого планов. Сейчас наступил такой период, когда хочется жить так, как пишешь. Ошибаться, искать, снова ошибаться и не бояться получить «двойку» в дневник. Честно, я не знаю, за что ставится «двойка», за что — «пятёрка». Не хочу оценивать. Не хочу подвергаться оценке. Но, как все, боюсь быть недооценённым.

Быть безоценочным в тексте, где есть только ты, его автор, его режиссёр. Ты ставишь простые с виду задачи: не оценивать, не бояться быть непонятым и не дочитанным до конца. А кому ты их ставишь? Где твой актёр? Нет его. Может быть, он за кулисами и ждёт своего выхода? А где кулисы? Нет их. А ты представь, представь, что актёр и кулисы есть. Не сдавайся. Сцена и жизнь неразделимы. Это мучительно трудно понять. Нет. Нет. Оставь. Без оценки.

Отсутствие — тоже оценка?

Малый Харитоньевский

Я не земных законов, Боже,
Ищу, а только Твой закон.
Я, слабый и порочный тоже,
В молитве пред Тобой склонён.

Ты, чья рука ведёт комету
Сквозь синий холод высоты,
Ты, подающий силу свету
И солнцу, знай — повсюду Ты.

Джордж Гордон Байрон

Сняли квартиру в Малом Харитоньевском переулке. Прямо напротив загса под номером один. По-моему, это самый крутой загс в Москве, судя по тем маркам машин, которые паркуются, брачуются и уезжают, снова паркуются, брачуются, и так по кругу весь день.

Брак — тухлое слово, согласись. Гражданский брак — ещё хуже. Его сразу хочется списать в утиль. Нам это с тобой не грозит. Мы — другие, ненастоящие, от брака далёкие, отбракованные.

Загораем на балконе, пьём лимонад шприц апероль. Точнее, я пью, а ты работаешь. Такой лимонад продают в «Кофиксе». Хит этого аномально жаркого лета. И вот мы поспорили, можно ли сделать такой же лимонад в домашних условиях. Я сказал, что нет, и точно — нет. «Кофикс» — мой краш, и он непобедим.

Старик, в кофиксном лимонаде нет алкоголя, в твоём его больше, чем нужно. По крайней мере для сегодня — это явный перебор. Но я пью забракованный мною напиток и смотрю с балкона на свадебные парочки. Смотрю на платья, на костюмы. Ты стучишь что-то в ноутбуке. Дуешься на меня, что я не оценил твоих стараний. Старик, спор не проигран. Просто получилось что-то другое. Победителей нет. Просто ты привык побеждать.

А я пью это самое «другое», и мне от этого «другого» становится почему-то так грустно. Так грустно, что даже раздражает твоё перестукивание клавиш. Хотя со мной никогда такого не было.

Свадебные парочки сделаны все строго по ГОСТу. Идеальный брак. Свидетели пьют, смеются, краснеют. Заметил, что они почему-то всегда оставляют чуть-чуть жидкости на дне своих бутылок. У загса даже есть такой каменный выступ, где всегда стоят рядком полупустые бутылки. Старик, если у нас не будет денег на лимонад апероль шприц (120 р. в «Кофиксе», но может и их не быть), мы будем замешивать коктейли из того, что нам пошлёт загс. Смешно.

Старик? Ау? Не заметил, как ты ушёл с балкона. Я привык говорить вслух. Ты привык работать и параллельно слушать то, что я мелю без остановки. Но, видимо, не в этот раз. Или тебе просто стало жарко. Печёт.

Фотографы просят парочек принимать неестественные позы. В такую жару любая поза неестественна. Вот, например, сейчас. Невеста вжалась в столб. А над ней коршуном навис жених и тянется к её губам. Невеста думает о причёске, которая наверняка испорчена столбом. Плюсом ко всему столб раскалён. И ей просто больно и неприятно. Но нужно сделать кадр. Запечатлеть момент! Чтобы потом показывать внукам. А надо ли это будет внукам? Я вот лично не видел ни одной свадебной фотки своих родителей. Наверное, это странно, но так.

Жених тянется к губам невесты, и видно, что боится промазать. Фотограф щёлкает, птички вылетают. «Ну всё, хватит. У меня нога затекла», — нервно говорит невеста и подбирает подол платья. Оказалось, нога. Не причёска, не столб. Нога. Интересно, сколько они будут вместе? Неужели всю жизнь? Или он ей изменит, и она будет обходить загс стороной. Или, наоборот, будет приходить сюда раз в месяц, вставать напротив и высматривать что-то в окнах. Мы недавно видели такую женщину. Пожилая, прилично одетая, видно, что не бедствует. Стояла напротив загса, шевелила губами, как будто читала отходную молитву по кому-то. А у самой лицо безучастное, отсутствующее. Так смотрят на кошку, сидящую на дереве. На чужую, конечно. Своя бы вызвала хоть какую-то эмпатию. А здесь — ноль, полный штиль. Кошка чужая, жизнь своя, но как будто чужая. Да ещё и радость вокруг тоже чужая. Гипербола во всём. В движениях, в улыбках, во взглядах, в голосе. Нога затекла. Хоть что-то живое и неподдельное. Пройдут годы, и эта девушка потом будет вспоминать эту ногу. Всякий раз, когда будет проходить по Малому Харитоньевскому, а она будет здесь проходить (не верьте, что нет), в ноге будет возникать болевой спазм. Интересно, меняются ли лица у брачующихся до совершения брака и после. Появляется ли что-то новое в глазах? Как бы проверить?

Я допил коктейль. Стал почти пьяный и сонный. Как растаявший лёд на дне бокала. Я могу выпить совсем немного и опьянеть.

Мне нравится смотреть на загс вечером. Когда здесь никого. Малый Харитоньевский становится не центральным пафосным переулком, а тихоней где-нибудь на окраине провинциального городка. Изредка пройдёт бродяжка, соберёт бутылки, выпьет остатки, смешает их в своём битом жизнью желудке и пойдёт спать на Чистые. Старик, ты здесь? Видимо, ушёл в дальнюю комнату и надел наушники. Но я всё равно скажу. Старик, нам надо переехать отсюда. И как можно скорее. А то я здесь сопьюсь, старик. Ты своими же руками меня сопьёшь... Давай переедем куда-нибудь подальше, за третье кольцо. Ну что тебе сдался этот центр? Я не могу каждый день выходить на балкон и смотреть на загс. Это насмешка над нами, старик. Жестокая насмешка.

Всё-таки твой коктейль удался на славу. Он развязал мне язык, и я, наконец, могу сказать всё то, о чём боялся... Старик, я сброшусь с балкона, клянусь. Сброшусь и останусь жив. Да. Плевать, что у нас второй этаж и я упаду на крышу какой-нибудь бэхи. Вот это будет свадьба у кого-то! И мы потом будем выплачивать штраф владельцу машины. Вот тогда-то мы точно переедем из этой дорогой квартиры куда-нибудь в Тропарёво. Да? Там ведь есть «Кофикс»?

Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли... Твоя детская мечта жить на Чистых. Мечта провинциала. У каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы на век... дальше не помню. Старик, какие слова дальше? Поскорее бы зима. Завалить балкон хламом, запереть на ключ и не высовываться до весны. Пусть там брачуются сами по себе. Невесты кутаются в меховые манто, женихи отмораживают яйца. Фотографы щёлкают, птички-невелички-синички вылетают... Без нас.

Старик, у нас есть лёд? Нет? Закончился?

Старик, а зима будет? Нет? Тоже закончилась? А если найду?

Мне голову напекло. Наверное, у меня солнечный удар.

Самый лучший zoom

Лето 2020-года. Живёшь себе живёшь, двигаешься по своей непрямой дороге, двигаешься как на ходулях, всякую минуту думаешь, что вот-вот упадёшь. Но, нет, стоишь, выстаиваешь, даже порой разгоняешься, забывая о том, что можешь «загреметь под фанфары».

В тот июльский вечер, я тоже шёл на внутренних ходулях, делил жизнь на «до» и «после». Такие дни случаются, особенно летом, когда нет спектаклей и много свободного времени для рефлексии. Дни идут один за другим, и ты ждёшь, что новый день проведёт черту и превратит будущее — в «после», а прошлое — в «до» (здесь звучит долгая нота, обязательно в нижнем регистре).

Тот день был ровно таким. Он близился к своему завершению, на часах было 21:00. Я шёл мимо Белорусского вокзала. Весь день я молчал, не смыкал связки. Я люблю такие дни полного несмыкания. В такие дни ты смыкаешься и свыкаешься с собой сегодняшним. Я двигался домой. Но тут мне позвонила Елена Антоновна Камбурова. Мы две недели не созванивались. Мартовская премьера «Маленького принца» перенеслась, но нам нужно было поддерживать текст, чтобы он не забывался, как я люблю говорить в таких случаях, «взрыхлять его». И вот Елена Антоновна позвонила и сказала, что готова репетировать. Через десять минут. В зуме.

Честно сказать, я не готов был репетировать, я готов был идти домой, слушать в наушниках музыку, под которую как-нибудь худо-бедно завершу этот длинный летний день. Но через десять минут я сидел на лавке возле Белорусского вокзала, смотрел на экран, где бодрая Елена Антоновна с разбега впрыгивала в каждого персонажа «Принца», меняя голоса, внутренний ритм. Она не любит лишних слов, словесных прелюдий, затактов, ей дорог*а* каждая секунда, нельзя позволить ни мгновения отсрочки. Мне хочется так же падать в материал, как Елена Антоновна. Нет, она не полагается на магию вдохновения, на божью искру. Нет. Такая лёгкость вхождения в материал, в верный градус, в определённый исторический контекст обусловлена масштабной внутренней работой. Проживанием, не смыканием голосовых связок, а смыканием души. Долгим, скрупулёзным, осмысленным.

Я слышу, как проезжают поезда. Я слышу, как парочка на скамейке рядом говорит о чём-то заветном, не боясь, что их кто-то услышит. Всё это — фон, второй, третий планы, а на первом — он/она, маленький принц, маленький человек с огромной душой ребёнка. «Когда мне было шесть лет, я нарисовала удивительную картинку...» — вдруг оговорилась Елена Антоновна, и сама не заметила этого. Разве это оговорка? Ведь она нарисовала...

Вот в кадре появился Люсик — кот Елены Антоновны. Выдающийся кот. Сумел закрыть собой весь экран. «Люсик, не мешаааай!» — глубоким басом говорит ему Елена Антоновна и отгоняет от экрана. Люсик продолжает выразительно, ползая по малым секундам, мяукать. «Люсик, хватит», — строго говорит ему хозяйка. Просит у меня прощения за паузу, потом увещевает Люсика покинуть комнату. Он неохотно, но всё

же её покидает, и мы продолжаем. «Есть такое твёрдое правило. Встал поутру, привёл себя в порядок, приведи в порядок свою планету», — говорит Елена Антоновна уже голосом пятилетнего ребёнка. Будто бы и не было того глубокого баса, этой паузы.

Поезда едут, парочка на лавке перестала доверять словам и перешла к поцелуям, планета вертится, и ты слышишь, как она тяжело вздыхает, глядя на нас, её жителей. Принц прощается с Розой и знает, что он больше никогда её не увидит, что это мгновение не повторится. У нас было несколько таких zoomовских репетиций, и каждый раз я не смотрел на экран, а закрывал глаза и слушал, слушал. Голос Елены Антоновны меняет тебя на клеточном уровне и делит жизнь на «до» и «после». Точнее, вытягивает тебя из «до» (здесь снова звучит долгая нота) и открывает для тебя новое «после». И в этом «после» тебе хочется, наконец, вынырнуть из своей раковины и взглянуть на мир вокруг. На людей, которые рядом — протяни руку, на людей, которые так далеко, что страшно и подумать. Но теперь они все здесь, там, где чуть-чуть больно... под зорким взглядом сердца.

Теперь же хочется сказать пару слов о Люсике — выдающемся коте. Хотя пары слов мало, мало. Месяц назад Елена Антоновна подарила мне компакт-диск с изображением своего кота. Название у диска краткое и запоминающееся — «Мур, мур». Это первый студийный альбом Люсика. Три минуты живого, импровизационного мурчания. Прошлым летом Люсика отстранили от экрана, не дали показаться режиссёру, но теперь справедливость восторжествовала. Я услышал Люсика, его звучание. Оно мне понравилось. У него отличная школа и прекрасный Учитель. Попросил у Елены Антоновны разрешения использовать мурчание её подопечного в своём будущем спектакле. Она посмеялась и разрешила, предупредив, что скоро будет готов второй альбом под названием «Мяу, мяу». Будем ждать!

Мы открывали театральный сезон 20—21 премьерой спектакля «Маленький принц. Полёт в одном действии». Я благодарен пандемии за вынужденную отсрочку этой работы. Спектакль вышел осенью, как никогда кстати. Во время паузы мы, каждый, старательно прибирали свою планету, выпалывали баобабы, поливали землю, взращивали новые цветы, всматривались в себя, заново обретали любимых и друзей и, конечно, теряли стремительно, безвозвратно тех, за кого крепко держались. Они уходили от нас, как горячий песок сквозь пальцы. Оставив после себя одну ноту — «до». И её уже больше не хочется нажимать всуе.

Завтра у Елены Антоновны День рождения. И завтра же мы играем спектакль «Маленький принц. Полёт в одном действии». Каждый спектакль идёт с неизменным переаншлагом, и каждый не похож на предыдущий. Я знаю людей, которые возвращаются на этот спектакль снова и снова, приезжают из других городов. Возвращаются, чтобы возвратиться к себе. Елена Антоновна не умеет повторяться. Каждая интонация сиюминутна, каждый жест органичен, как сама жизнь. И какое же счастье, что мы можем быть причастны к этому земному Чуду.

Сказать по секрету (шёпотом, и только шёпотом), мы думаем с Еленой Антоновной о новой работе, ищем, перебираем варианты. В этом поиске не хочется торопиться, в нём можно купаться бесконечно. Это самое классное в театре — поиск. Материала, интонации, движения, вектора. Правильный поиск формирует верный замысел. И как бы мы ни хотели спешить, нам надо поторапливаться. Не оставаться там, в «до», а стремительно, с разбега врываться в «после». Елена Антоновна, двигайтесь вперёд быстро, звонко, смело, впрыгивайте в будущее, как вы привыкли. А мы будем поспевать за вами. Только освещайте нам путь. А то темно и страшно.

Алексей Алёхин

Зимние хокку

*

зима
показала фокус с платком
и первый снег исчез

*

птички женщины в платьях
снятся зимой облетевшим деревьям
то же и мне старику

*

проснулся
искал воды в темноте
еле нашёл дорогу к постели

*

тает в небе луна
утренней синевой унесло
голову снеговика

*

ворона средь голых ветвей
облетает своё пустое летнее гнездо
как чужое

*

подобрал на бульваре строчку
принюхиваясь к рельсам
трамваи идут по следу

Алёхин Алексей Давидович — поэт, эссеист, критик. Родился в 1949 году в Москве. Автор нескольких книг стихов. Создатель и главный редактор журнала поэзии «Арион», выходившего в 1994—2019 годы. Живёт в Москве.

*

сыпать перестало
молитва дворницкой лопаты
дошла до неба

*

серый сугроб во дворе
на балконе напротив рубашка на плечиках
висит всю зиму

*

мартовский снежок
памятники надели белые ермолки
голуби пишут на пороше протоколы мудрецов

*

слоистая шапка снега долеживает в цветнике
как стопка больничных матрасов
а пациент ушёл

*

бронзовые памятники
столпились у метро посудачить о весне
падает пухлый снег

*

собачек выпустили без попонок
всплакнула сосулька
не о том

*

охнул оранжевый грузовик
сугроб увезли в реанимацию
голубь идёт за голубкой

Игорь Корниенко

Чернее чёрного

Рассказы

Лаврушка

Смерть живёт в лавровом дереве, Павлик её видел, и не раз, она прячется там, в пыльных, вечнозелёных, жёстких, что можно порезаться, листьях, между непролазными ветками, куда и солнечному лучу трудно пробраться... Смерть хоронится там, в основании мощного, невидимого ствола-антенны, соединяющего этот мир, наш мир, с тем миром, миром иных.

Замахивалась бабушка кухонным цветастым полотенцем, не верила внуку:

— Не выдумывай! Сбегай давай лучше, сорви листика три лаврушки, скорей принеси, борщ вон уже закипает. А без лаврушки борщ не борщ, сам знаешь, не маленький. Не обидит тебя Лаврушка, скорей, наоборот, защитит. Он тут в саду за главного, старожил. За охранника. Верь бабке, беги давай!..

«Ничего не поделаешь, миссия у Павлуши такая, — говорит себе мальчик, шлёпая босиком по выложенной булыжником дорожке, горячей от палящего летнего солнца, — предназначение такое, судьба за лаврушкой, за самой Смертью бегать, бывает, что и на дню по несколько раз бегать», — мимо кустов роз, из прохладной сени виноградника к центу сада, где величаво и гордо над всеми деревьями и домом надзирателем-старожилом, главой сада почётно раскинулся лавр.

«Тебя же в честь Лаврушки назвали, — талдычил отец, особенно любил это дело под пивко рассказывать, с самого Павликова рождения. — В честь нашего дворового Хозяюшки, духа нашего Лаврушки».

Маленький Павлуша слушал с раскрытым ртом. Отец всякий раз обещал показать Хозяюшку, он его ещё называл Дедушкой, и всякий раз напивался, потом трезвел, и трезвому родителю было совсем не до Лаврушки, да и не до сына.

— В самый тёмный-претёмный час Лаврушка выбирается из своего лавра, чтобы проверить владения, — это уже старший брат подыгрывает отцу, папенькин сынок. — Он бродит, огромный, ростом со всё дерево, и заглядывает в окна, следит, чтобы с

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии В.П.Астафьева (2006), драматургического конкурса «Премьера 2010», литературного конкурса имени Игнатия Рождественского (2016), Шукшинской литературной премии (2019). Живёт в Ангарске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 5.

нами ничего не случилось во сне. Вот если ты не спишь или днём чем провинился, нашкодничал, вот тут-то Лаврушка тебе устроит...

— Чего устроит?.. — испуганно хлопал Павлуша глазёнками.

— Увидишь, — злобно кривил улыбку брат, — увидишь.

Павлуша в ту же ночь решил дождаться самый тёмный-претёмный час ночи, который со слов брата, наступает перед рассветом.

Устроил наблюдательный пункт: с подушкой, одеялом, фонариком и сухарями, у окна детской, откуда лавр виден как на ладони.

Даже ночь не смогла взять верх, растворить во мраке и спрятать лавр — зелёный великан искрит каждым листиком в свете луны и звёзд. Ветер путается в ветвях, гудит лавр колыбельную песнь, убаюкивает сад и дом, и маленького наблюдателя, борющегося с Морфеем, щиплющего себя, хлопая по лицу, хрумкая сухари...

— Я не усну! Не сплю! Не спать, — приказывал, и хрустел, и щипал, а глаза не слушаются, закрываются веки, запечатываются сном... Тянет за ресницы Павлик, вглядывается в темноту за окном и не сразу понимает, что видит. А видит: от лавра словно бы тень отделилась, шагнула прочь от дерева и тут же приняла форму худого человеческого существа, нет, это же самый настоящий скелет, не верит себе мальчик, как есть живой скелет с длинной, до звёзд, косой в костяшках пальцев.

— Никакой это не Лаврушка, это Смерть, — шепчет Павлуша в кулачок и прячется под подоконником. Смерть приняла образ Лаврушки, вот и весь секрет... Дурачки только в Лаврушку поверят. Павлуша не дурак...

Смерть подошла к окну детской, он слышит её дыхание — так ветер шуршит в листве, мыши в норах, — чует всем своим детским нутром присутствие Смерти, её пронизывающий взгляд ищейки. В пустых глазницах мёртвые зелёные огоньки... Только ей его сегодня не найти, Павлуша под подоконником накрылся подушкой и крепко накрепко закрыл глаза:

— Павлуша не дурак...

Он и проснулся на утро с этими словами на устах под окошком, вскочил, ударился головой о подоконник, не чувствуя боли, а на макушке надулась шишка с грецкий орех, — прильнул к стеклу. Лавр на месте, и ни намёка на ночной визит Смерти.

— Я разгадал твой секрет, Лаврушка, я сфоткаю тебя и всем докажу, — погрозил дереву, скрывающему Смерть, мальчик. — Я не дурак!

— Нет, не дурак, — плетётся к лавровому дереву Паха (не Павлик, не Павлуша тем более, — терпеть не могу всю эту уменьшительно-ласкательную хрень), семнадцатилетний подросток. Булыжники мокрые после дождя, Паха в носках, по-быстрому выпрыгнул в окно детской нарвать лавровых листиков: — Вся жизь моя — дорога до дерева и обратно, — бормочет, — к Смерти и назад. Тринадцать шагов от окна детской и сорок от входной двери. В солнце, в дождь и снежную бурю, в невзгодах и в радости... Со страхом и надеждой, в предвкушении и безнадёге, с любовью и ненавистью...

Задрал голову Паха в серое небо поглядеть, не торчит ли коса из макушки дерева, споткнулся о собственную ногу, но успел ухватиться:

— Спасла, спасла, — повис на ветке, подтянулся, поднялся Паха. — Снова спасла от падения, Смертушка моя ненаглядная, — в ладонях оборванные листья лавра. — Вот и на дунуть листочков подкинула Смерть моя, спасительница моя...

Поклонился Паха, икнул, попятился, да так спиной, отсчитав тринадцать шагов, вернулся, забрался в окно. Тут же у окна на письменном столе, раньше заваленном

учебниками и тетрадями, теперь один лишь заварной чайничек, «моя волшебная лампа Аладдина», и привычный в последние месяцы ритуал: поджечь лавровый лист в пузатом заварнике и, когда как следует задымит, накрыться полотенцем с головой и дышать через носик чайника лавровой пряностью, «фимиамом Смерти».

Пара-тройка таких «накрываний» — и Смерть приходит к пустому столу собственной персоной.

Первый раз Паха чуть не наделал в штаны, оторвался от чайника, а Смерть за столом сидит напротив, точно такая, как в детстве запомнил: скелет в чёрном балахоне с капюшоном на черепе и с косой. В этот раз косы не было, как и не было зелёных огоньков-зрачков. На него смотрели чёрные пустые глазницы.

— Чёрт, напугала же, — выдохнул клубы белого дыма, — так и помереть раньше времени ж можно, — захихикал, — где ты пять лет назад была, скажи, когда я тебя ночами с фотоаппаратом как дурак караулил? Ведь до дурки чуть не до караулился. Спать перестал, есть не мог, аппетит пропал из-за нервов, стресса, накрылся обмен веществ, волосы выпали, — похлопал по лысой голове, — частокол поредел во рту, — продемонстрировал пустым чёрным глазницам оставшиеся зубы, — а тебя словно и не было, будто не ты этот Лаврушка, мать его за ногу...

Смерть ни слова в ответ, ни звука.

— Само собой, никто не поверил, что я видел тебя и что ты живёшь у нас в лавровом дереве. Или что, это портал?.. Дверь на тот свет, а?

Молчит Смерть, не шелохнётся, даже капюшон словно из камня.

— Что ты как неживая?! — спросил и тут же ответил. — Хотя ты и мёртвой быть не можешь, правильно же, Смерть, она ж не может умереть, хех... Слушай, — смело пододвинулся к гостье, — раз мы так давно и тесно знакомы, может, ты и меня сделаешь того?.. Этого... Ну, ты понимаешь... Неумирающим, как ты... Вроде и не живой, но и не мёртвый, а? Я тебе вот могу предложить, — постучал по носику чайничка, — потом, как заживу жизнью, работать буду, мнёшь-трёшь, капитал какой-никакой будет, попросишь что посерьёзней, если вообще заговоришь... Неразговорчивая ты, понимаю, сам не из болтливых, по настроению разве что могу лясы поточить... Ну, и под лаврушкой язык развязывается. Это мне корефан брательника показал, как укуриваться листьями можно. Это не наркотик никакой, не подумай...

Смерть молчала.

При первой встрече Паха не осмелился дунуть, но Смерть заявилась снова, теперь уже в аккурат, когда Паха только собрался нырнуть под полотенце, Паха попросил его великодушно простить:

— Дуну и поговорим, раз такое дело, чего зря дым переводить, — и, не дожидаясь решения Смерти — всё равно не ответит, — с головой, и телом, и душой опрокинулся на дно белоснежного лаврового тумана...

Смерть, ещё он не слез окончательно с окна, тут как тут, сидит у заварника глыбой, памятником, напоминанием, что надо успевать жить.

— Блин, носок у лаврушки, видимо, посеял, — поболтал босой левой ногой, — новые ж сёдня только надел, чёрт.

Спрыгнул с подоконника.

— Будь так добра, ну, пожалуйста, покажи свою силу, ну хоть малость, чуда чуток. Пусть носок на столе окажется, а? Чёрт с ним, с бессмертием моим, носок сейчас важней.

Важней носка было лишь ощущение полёта и счастья, что приносил дым лаврового листа: вдохнёт щекочущую ноздри пряную лёгкость Паха, и минуты через три знает, что такое любовь Вселенского масштаба, больше, чем просто знает, любит

такой любовью всё вокруг, начиная с молчаливой собеседницы Смерти, заканчивая пыльными катышками под столом и далёкими невидимыми звёздами-галактиками, — их он тоже в это мгновенье любит как никогда...

— Носок, скажу я так, иногда важней, и стоит жизни и смерти.

До того, как отправиться в носках за новой порцией лаврушки, Паха уже покурил раз пять из чайничка, поэтому философия и вечные вопросы так и лезли из него. Смерть же, как всегда, постоянна и непоколебима.

— Я не дурак, знаю, что просто так ничего не бывает, вот и ты тут неспроста... Я ведь видел тебя на всех неполучившихся фотографиях, да-да, видел. Это они все смеялись и не могли рассмотреть, не видели ничего дальше своего носа, глубже той темноты, листвы и звёзд, что запечатлела моя мыльница...

Поджог горсть сухих листьев. Бросил в чайник, а как из носика поползла, петляя, белая змейка, накинул на голову полотенце и пропал вместе с дымом и заварником, только голос остался:

— Знал, что придёшь, объявишься, я ж не дурак...

Хлопала бабушка в ладоши:

— Конечно, не дурак! В армию не пошёл, вместо учёбы справка, вместо работы другая справка.

Паха смеётся:

— Моя работа — тебе всю дорогу за лаврушкой бегать. Ба. Мне двадцать пять, а я всё бегаю...

— Правильно, — снова хлопнула в ладоши старушка, — и в тридцать пять, и в пятьдесят будешь бабушке за лавровкой бегать, скажешь, нет?.. Борщ-то бабулин вон как за обе щёки уплетаешь... А в двадцать пять, хочешь знать, у меня отец твой уже во второй класс пошёл. Не перечь давай, лучше поди сорви ветку с листьями, чтоб не сухие и не совсем молоденькие, и я тебе погадаю.

Бабушка всегда, сколько Паха помнит, гадала на лаврушке, она и побег мамкин нагадала, и развал Союза, а в последнее время чуть ли не каждую неделю за веткой-предсказательницей Паху посылает. То соседка за мужа-пьяньчужку спрашивает, то дальний родственник насчёт своего бизнеса советуется, а на днях поп нагрянул с молодой любовницей, как бабуля ни поджигала лавровую веточку, не загорелся лавр — не выйдет ничего у попа с молодухой, не исполнится задуманное, не случиться...

— Да чего мне-то ворожить, — отмахивается по привычке внук. — Я с самой Смертью знаюсь, друг её закадычный, мне все эти гадания-предсказания — дым. Мне Смерть ещё по юности сказала, обещала, если и умру, то возвращусь Фениксом из огня.

Замахнулась бабушка на внука совсем не в шутку, грозно:

— Не шути так. Со смертью тем более не шути!

— Да кто шутит-то?! Истину говорю! Ты, ба, главное, лавр не пожалей, сожги дерево, и увидишь, как я из огня горящего дерева выйду воскресший, невредимый, живей всех живых!..

— Ну вот кто ты после этого, если не дурак?

— Чуть что, так сразу дурак. Это вон, кто в Лаврушку-семейного духа верят, дураки полные. А Смерть, если покумекать, всегда рядом, и куда реальней вашего Лавруши...

Бабушка перекрестила внука:

— Лаврушка здесь с начала времён, все наши предки под его ветвями, под сенью

его. Он и подсказывает нам, как жить-выживать. Сжечь лавр — это же уничтожить весь наш род, всю память предков, всю историю, родословную... Это грех, и мыслить такое уже страшно... — слёзы в морщинках бабушкиных щёк засверкали, набухли, того гляди потекут, не остановить, и внук сдаётся:

— Ба, ну чё ты вот, как эта... Я ж люблю тебя, и Лаврушку люблю, и веточку сейчас сбегаю принесу...

Всхлипнула старушка, вытерла краешком косынки глаза:

— Только не забудь разрешение у Лаврушки попросить...

— Знаю, знаю, сто лет уже ж прошу, — перебил внук, — «Дедушка Лавр, разреши листочков твоих нарвать»... Итэдэитэпэ... Блаблабла... Ляляфа...

— Поклониться не забудь, — напомнила, крикнула вслед внуку.

Паха помахал «услышал», повернулся, театрально поклонился бабуле, засмеялся.

— Дурачок.

Упал Паха на колени и лоб в кровь рассёк о твёрдую сухую землю, красные ленты по лицу, — прости дурака! Пьяный я, пьяный дурак. Дебил, алкаш, дегенерат!.. Паху трясёт с похмелья, пил весь май беспробудно. Лавр источает жар палящего июньского солнца, дышит горьковато-сладкой пряностью, слушает исповедь человека, дожившего до возраста Христа и вчера набросившегося на дерево с топором и криком «Умри, нечисть!». Рана от топора на стволе обработана бабушкиным раствором из медного купороса, перевязана бинтом.

— Прости, Лаврушка, ради Бога прости! — и кланяется, кровью расписывая землю у корней лавра.

Бабушка предсказала беду много лет назад по горящей веточке, что принёс внук, увидела тогда в сизом дыме старушка черноту злоупотреблений, желчь, страх и беду... Услышала в треске обуглившихся листьев крики внука, невысказанное, потаённое...

— Ты мне только, что там Лаврушка предскажет, что со мной дальше в будущем будет, не говори, — строго-настрого наказал внук.

И в тот же вечер пришёл домой навеселе, и на следующий... Всё, как и нашептала лавровая веточка.

— Прости, Лавруша, — не помнит Паха, с чего вдруг схватился за топор, пьяный был в несознанку, из тумана лишь образы, виденья: вот плачет ба, отец с братом оттаскивают от дерева, валят на грядки с помидорами, вот и Смерть-подруга над всем этим, выше лавра, с косой, закрывающей солнце... — Прости дурака, — и бьётся лбом, и будь его воля, разбил бы голову до мозга, до смерти, и смертью вымолил бы прощение, но перед глазами — «что такое?» — в кляксах крови и земли — носок. Его, новенький, один раз надёванный, потерянный давным-давно по молодости носок. Его искал он сто лет назад, как помнится, в дождь, да так и не нашёл, и вот он теперь здесь знаком «стоп», и будто не было всех этих десятилетий, будто только вчера потерял носок — чист, свеж, нов... Паха подобрал пропажу, «точно мой», вытер окровавленное лицо носком, спрятал за пазуху. Вместе с находкой вернулась и старая знакомая.

Согнулась над ним в три погибели и, «дурак, какой же ты дурак, Паха!», ничего не сказала.

— Зачем сейчас? — промямлил Паха, не поднимая глаз, да и сил не было, — оторви он взгляд от земли, казалось, выблюет из себя всего себя. — Носок? Почему именно сейчас ты его вернула? Знак? Для чего? Что я должен с ним сделать?

Лишь знойное, кишащее жизнью лето гудит в ушах на перебой с отравленными алкоголем кровью, чувством вины и стыда.

— Повеситься на нём, да? Этого ты хочешь? Так знай, только дураки вешаются на носках.

Плюнул через плечо, споткнулся о свои ноги и, не оглядываясь, по тропинке из булыжника к дому.

«Дураки вешаются на носках», — одно и то же повторял внук. Бабушка слышала, крестилась, молилась.

После случая с топором Паха ещё сильней запил, повязал носок на шею галстуком-удавкой и не снимал больше.

— До самой смерти буду носить как напоминание, как наказание, как судьбу.

И не ходил больше Паха за лавровыми листьями, обходил дерево и даже не смотрел в его сторону.

Бабушка жгла листья и веточки — видела страшные сны внука, видела его удел... Развязку жизни...

Смерть не отходила от Павла, всюду с ним: в туалете на унитазе, и в ванной с отрезвляющей ледяной водой, и в ведре, куда его стошнило...

— Дураки вешаются на носках. А я и есть дурак! Самый из самых, дурак дураком! — признался себе и Смерти Паха.

Вот тогда-то Смерть и заговорила.

И Паха слушал её не перебивая, соглашался, кивал, поддакивал:

— Всё так, да, как есть дурак, самый настоящий... Да-да, дурак, да!..

Только бабушка опередила Смерть. Пока младший внук дурачком, китайским болванчиком кивал пустоте и плакал, сильней затягивая на шее носок, она пошла к Лаврушке, долго разговаривала с деревом, обнимала, вставала на колени, кланялась, а потом подожгла бинт, — им она перебинтовала рану лаврового дерева с месяц назад, вспыхнула ткань, а следом сухие листья лаврушки, пламя взметнулось по стволу к макушке, лавр в миг превратился в вихрь огня: треск, искры, дым... Озарилась ночь.

Когда тьма за распахнутым окном детской стала мандаринового цвета, Павла буквально что-то вышвырнуло из комнаты.

Всё как во сне, в нереальности. Он оказался на булыжной тропинке, а перед ним пылающий до неба костёр лаврового дерева и бабушка в зареве огня, несгибаемая чёрточка, восклицательный знак в хаосе стихии, и... Смерть.

Внук закричал, сорвал с шеи носок, что не давал крикнуть во всё горло, и закричал громче огненного светопреставления:

— Лаврушка, дедушка, помоги!

Побежал босой (или в одном носке?) по булыжникам к лаврушке, к бабушке в кольце рыже-алого света и жара. Схватил ее, оттащил к тропинке... Не видели ни внук, ни бабушка, как из огня явилось нечто древоподобное, огромное до неба, оно схватило Смерть, спеленало её ветвями и рухнуло на грядки с помидорами обгоревшим скелетом веток, листвы и пепла.

— Я посажу новую лаврушку, ба, ты только не плачь, — причитал снова и снова и вытирал невидимые бабушкины слёзы ладонью внук. — И пить больше — ни грамма!..

А в темноте над ними искры сгоревшего лавра превращались в звёзды, в новые созвездия, новую Вселенную, новую жизнь...

Утром на пепелище Павел пришёл с зелёным лавровым саженцем, где его ожидала ещё одна находка, покруче сто лет назад потерянного носка. Павел нашёл разломанное напополам лезвие косы.

Анна на ручке

Анна и библиотекарь

Любить писателя — гиблое дело. Истина, проверенная веками. Считала Алла Леонидовна, библиотекарь городской центральной библиотеки, поэтому любила писателя тихо, «про себя»:

— Вполголоса, — утешала Алла влюблённую душу, — ведь именно такая любовь настоящая, любовь вполголоса, любовь на цыпочках, лёгкого дыхания, в полвдоха любовь. Молчаливая. Безответная...

Не пропускала ни одной творческой встречи с любимым автором, всегда сидела в задних рядах с краю, чтобы не дай бог не выдать свои чувства, чтобы не заподозрили, не уличили, не подняли её любовь на смех, не растоптали слухами, намёками, шутками, подозрениями, жалостливыми неискренними речами: «Не пара он тебе, Алла Леонидовна, они же все только в своё творчество влюблены и, кроме него, только себя ещё любят, ну и домашних своих питомцев...» Не бередили и без того измученное сердце снова и снова: «Любить писателя — гиблое дело...»

— А мне, может, и не нужна его любовь, нужно всего лишь присутствие. Чтобы был просто рядом, пусть не любит, просто будет. Смотреть на него, дышать с ним одним воздухом, ощущать тепло его тела, его запах... Слушать его стихи... Может, мне этого достаточно. Может, нам хватит одной моей любови на двоих...

Но вот писатель появляется в библиотеке — «заскочил поздороваться», — и Алла понимает, что одного присутствия мало, ей до желудочных спазмов, до болей в животе, заканчивающихся бегством в туалет, хочется прикоснуться к нему. Достаточно одного касания, едва ощутимого, как пёрышко...

Прикоснуться к его пальцам, к волоскам на руке. Алла бы всё отдала, что есть в жизни, за прикосновение к его щеке, к губам...

Фантазии плюхались в живот, живот сворачивало диареей, и Алла Леонидовна, оставив пост в отделе «Абонемент», скрывалась в кабинке туалета. Впечатлительная с детства, она всегда страдает животом.

— Любовь всё вылечит и живот исправит, — успокаивала себя и бурлящие внутренности библиотекарь. — Надо верить и продолжать тихо любить, и всё образуется, всё наладится, любовь не может не победить, особенно такая любовь: чистая, молчаливая, настоящая...

И это случилось. «Провидение», — так посчитала Алла Леонидовна, увидев портфель писателя в кресле у гардероба. Вышла из туалета, и вот оно, провидение, да такое, что снова скрутило живот. Алла действовала по велению сердца, сердце сильней живота, сердце победило живот, — схватила уже совсем не чёрный, видавший виды портфель писателя и бегом из библиотеки на улицу. Под дождь.

— Дождь всегда кстати, — бежала, прижимая драгоценность к груди, — всегда в помощь дождь, — колотилось сердце о кожу портфеля, — дождь смывает все следы...

По лужам в сменных, библиотечных, тапочках прямиком к дому, в однокомнатную квартиру на первом этаже пятиэтажной хрущёвки.

Анна и писатель

Лучший друг писателя — портфель. Старый, с потрескавшейся, когда-то чёрной, теперь выцветшей серой кожей, по краям поседевший, полинявший, с громоздким замком под ключ, удобной ручкой и на металлических ножках портфель. Писатель звал его «Анной» со дня обретения, портфель подарила на двадцатый день рождения мама. Анна — в честь первой любови, настоящей, единственной... Даже не Анна, чаще Аня, Анечка... Анютой называл.

Писатель всегда с портфелем, не выпускает из рук, даже выступая на сцене у микрофона:

— Портфель — это часть меня, — шуткой всерьёз отвечал писатель, — моё продолжение... Мой талисман, оберег...

В портфеле его дети. «Мои дети», — говорил писатель о своих произведениях:

— Все романы, повести, рассказы... все они мои детки. Посчитайте, сколько их у меня...

Писатель — это Колос Алексей Владимирович, прозаик, поэт, драматург, председатель городского литературного объединения «ОбЛик», лауреат областной губернаторской премии, словом, звезда, а точнее — «Полярная звезда местного литнебосвода», — так окрестили Колоса здешние провинциальные СМИ.

— Почему, как многие творческие люди, вы не перебрались в столицу-Москву, — интересовались всё те же СМИ, — а живёте и работаете в маленьком городишке под Иркутском, даже в Иркутск, столицу области, не переберётесь почему?

— Приворожили меня, замок на мне закрыт, есть такой обряд приворота: сколько и куда бы ни уезжал, всегда возвращаюсь, — со вздохом отвечал Колос. — Прикипел, свыкся, привык и, наконец, полюбил...

— Шутите?

— Нисколько, — печальная улыбка на печальном лице. — Ни капельки не шучу. Даже планирую про это написать, как созрею, во мне давно живёт эта история с приворотом. Думаю, и для вас не в новинку существование деревни ведьм на Байкале...

Молчание в знак согласия.

Анна и библиотекарь

Портфель пах писателем. Алла сходу, не разуваясь, оставляя мокрые следы на линолеуме и паласе, прошлёпала в комнату, села на заправленный диван-кровать, прижалась лицом к похищенному сокровищу.

— Мой, — бубнила в сырую кожу, — мой, мой, мой...

Спрятала «своего» под подушку, сверху накрыла покрывалом.

Тут и прошибла Аллу нервная, болезненно-тревожная дрожь, чувство вины и стыда обрело голос, знакомый Алле с детства, несчастливого, одинокого детства, внутренний голос закричал:

— Воровка! Чёртова преступница! Тебя поймают! Вычислят! С позором уволят!

Не растерялась, как обычно бывает, Алла:

— Нет! — крикнула. — Любовь всегда права! А ты?! Ты, долбаный, ты только жить мешаешь! Так что заткнись лучше! Умолкни подобру-поздорову! Всю жизнь мне испортил! ЗА-А-ТКНИСЬ!

Выскочила в прихожую, закрыла дверь на два замка, проверила, подёргала за ручку, скинула промокшие тапки, босиком на кухню к окну:

— Тоже мне воровку нашли, — спрятала кухню от вездесущей серости дня за жёлтыми занавесками. — Будь все такими ворами, как я, жизнь Раем земным стала бы, — вернулась к входной двери посмотрела в глазок. — А я, на самом-то деле, спасла писателя, выручила. Да. Нашла его любимый портфель, подобрала, хотела сразу вернуть владельцу, искала всюду, но писателя не нашла, вот и забрала с собой, — оторвала взгляд от пустого квадрата лестничной площадки. — Что, лучше было, если бы я оставила портфель? Чтобы он попал в руки неизвестно кого?.. Да? Так?

Прошла в комнату, говорила громко, чтобы слышал спасённый, укрытый покрывалом и подушкой, говорила на визгливых истеричных нотках в точности как мать, когда с похмелья и всем недовольна:

— Если бы не я, в чьих лапах мог быть ты теперь?! Слышишь? — и через паузу, прогоняя, сменяя материнский тон на свой стеснительно-тихий, библиотекарский: — Слышите меня, Алексей Владимирович?..

Присела на край дивана, пригладила мокрые, сосульками, волосы, выкрашенные белой хной. Услышав как-то, что писателю нравятся светленькие, Алла не удержалась, перекрасилась («поэкспериментировала» — стеснительно отвечала), вздохнула горестно, повторила всё так же тихо:

— Слышите меня, Алексей Владимирович? Знаю, что слышите. Вы всегда держите ухо востро и записную книжку в кармане на случай, если подслушаете интересную фразу, словосочетание, историю...

Сдёрнула покрывало, отбросила подушку. Портфель, окружённый белоснежной чистотой постельного белья, светился ярким чёрным квадратом, окном, порталом в иной мир, в другую реальность...

— Моя история не так интересна, как ваши истории, даже близко не стояла моя история, — рассказывала, не отрывая глаз от загоревшейся черноты кожи. — Простая, каких миллион, миллиард историй, заурядная, скучная... Когда слышу выражение «трудное детство», вне всякого сомнения знаю — это про меня. Хотя никаких там прибитых к полу игрушек, конечно же, не было, — усмехнулась. Показалось, и кожа на портфеле под кодовым замком вытянулась широкой полоской улыбки. — Вот и вас рассмешила... Да, моё детство — это безголовые куклы и такая же безголовая мамаша-алкоголичка. Мать отрывала головы куклам в воспитательных целях. Я в садик ходила, когда начались публичные обезглавливания: «Заруби себе на носу! Я твоя гильотина! — наказывала мать, — твой топор и плаха твоя — я! Не послушаешься, ослушаешься маму, секир-башка без разговоров». И летели пластмассовые головы с пластмассовых шей. Вспоминать сейчас даже и смешно, тогда же это было смерти подобно. Клянусь, я чувствовала на себе, на своей шее, каждую оторванную голову... А во снах, пьяная, или — самое страшное — с похмелья, мать отрывала мне голову снова и снова, и снова... Мне и сейчас нет-нет да приснится сон детства: казнь материнская... С возрастом стали стираться материнские черты, остался только кричащий рот, ну и руки-гильотины. Вот, пожалуй, этот момент сгодится вам для вашего творчества. Я забыла, как выглядела родная мать. Её лицо стало исчезать ещё при жизни, ещё подростком стала замечать, в редких взглядах на родительницу, что с головой матери что-то происходит: сперва исчезли волосы, следом за волосами пропали уши, нос, глаза... Остался один рот. Мать стала походить на инопланетное существо, бледно-серое гладкое яйцо с трещиной-ртом, вечно злоупотребляющим алкоголем, пьющим, орущим, вечно требующим подчинения ртом, пастью.

Перевела дыхание Алла, пододвинулась ближе к портфелю. Сказала:

— Если не против, день сегодня тяжелей тяжёлого детства, — и легла рядом с похищенным писательским портфелем на диван, к стенке легла. Первые минуты не дышала. Лежала на спине, смотрела в потолок, ни звука, ни движения... Головой легонько касаясь края портфеля. Алла закрыла глаза, и кожа животного стала человеческой кожей.

Анна и писатель

Писатель так и сказал:

— Где моя Анна?!

Заведующая центральной городской библиотекой, не понимая, о ком речь, но хорошо зная, уважая писателя за дружбу и верность библиотеке, ответила уверенно и не задумываясь:

— Найдём. Всё и всех найдём, дорогой Алексей Владимирович, вы только не волнуйтесь. Не нервничайте слишком... Сами же любите повторять: «без фанатизма». Присядьте, отдышитесь и расскажите, что за Анна?.. — И сквозь улыбку: — И без фанатизма...

Искали Анну всей библиотекой до поздней ночи.

Гардеробщица — «поэт в душе» — баба Женя божилась:

— Видела портфель, в кресле был, но моргнуть не успела, исчез, будто и не было. — И крестилась баба Женя: — Домовой, как есть, забрал. Надо три раза сказать: «Домовой, домовой, поиграй да отдай» и бантик покрасивше повязать на ножку кресла взамен ридикюля.

Заведующая Евленья Ивановна тридцать пять лет из своих солидных пятидесяти пяти проработавшая в библиотеке и перевидавшая многое, включая таинственные исчезновения книг, вещей и людей, успокоила:

— Найдётся пропажа, у меня в библиотеке ничто без моего ведома не пропадает.

Писатель, поцеживая коньяк, для успокоения налитый заведующей, из её же чайной кружки, соглашаясь, кивал. Он предчувствовал нечто подобное, вот уже которую ночь ему снится сон тревожный, пугающий...

Снится Колосу, будто он участник грандиозного выступления: здесь и Астафьев с Шукшиным, и Евтушенко с Распутиным, и куча другого известного от литературы народа, но всё как-то покойники все, и Колос вдруг в одном списке с мертвецами. И лестно, и боязно, и бегает Алексей Владимирович по узким бесконечным коридорам в поисках организаторов — «кто здесь главный?» — а найти никого не может. Всё на оживших поэтов и прозаиков натыкается: Высоцкий, Ахмадулина, Аксёнов, Вампилов...

— Мне б узнать, почему я вместе с мертвецами в одном списке? И есть кто ещё из живых?

Нет ответа. Никто не знает ответ, но с каждым новым коридором, с новым поворотом к нему приходит осознание: «А что, если и я мертвец?» и гонит страшную мысль прочь Алексей Владимирович, а голос ведущей объявляет громко, звонко его выход. И Колос сплёвывает: «Чёрт с ним, мёртв так мёртв, главное — в одном ряду с великими, с классиками!»

Тут-то и видит себя писатель в зеркале перед самым выходом на сцену и не верит глазам, и стон становится криком. Он голый, в одних чёрных носках, и нечем прикрыться, лишь ладонями, что дрожат и не слушаются, а ведущая снова приглашает его на сцену.

И хоть закричись, хоть взвой: или голым на сцену, или...

«Конец. Всему конец: писательству, вдохновению, жизни... Конец!» — бормочет под нос, мечется из стороны в сторону за кулисами обнажённый писатель Колос и просыпается с криком и тревогой, тревогой не проходящей, поселившейся и пропитавшей его всего насквозь, тревогой...

— Мертвецы и нагота, это всё неспроста... И вот тебе на, — допил коньяк Алексей Владимирович, демонстративно поставил пустую кружку на стол перед заведующей. — Это не простая сумка для переноски бумаг и чекушек, не просто портфель...

— Я уже поняла, — Евленья Ивановна достала пузатую бутылку, налила писателю. — Простой портфель Анной не назовут, — улыбнулась, подмигнула, спрятала коньяк обратно в стол. — У меня хороший знакомый, бывший одноклассник, в полиции, я ему уже позвонила, так что не волнуйтесь и не переживайте, даже в голову не берите, всё с Анной будет в порядке, отыщем, и глазом моргнуть не успеете.

Писатель моргнул.

— Портфель, мягко говоря, заколдован, — сказал кружке с коньяком, поднося её к губам, — это не счастье, проклятие это, порча, — и залпом выпил.

Анна и библиотекарь

Они танцевали. Алле тридцать семь, и она ни разу ещё не танцевала с мужчиной, в школе на выпускном — с учителем по физкультуре, явно пригласившим её из жалости, так это не считается, от физрука несло кислым перегаром и потом, и Алла расплакалась, вот и весь танец.

Сейчас они танцевали, писатель вёл, писатель нежно касался её талии, его жаркое дыхание с оттенками табака пьянило, писатель закружил, потом прижал к себе, Алла нескромно прижалась к нему всем телом, тут и взвыла сирена, и разорвала объятия и танец, и выбросила её из сна в сумерки квартиры, сбросила на пол. Вскочила Алла: испуганная, растрёпанная, недотанцованная, не сразу определила источник звука. Сотовый, его она никогда не берёт в библиотеку, истерил на тумбе с ночником.

Время девятый час, на экране телефона «Евленья Ивановна».

Портфель выглядывает, смотрит из-под подушки чёрным глазом-уголком.

— Ответь, — слышит голос писателя, — сними с себя подозрение.

— Да-да, верно, — соглашается Алла, а руки непослушно дрожат, танцуют, с третьей попытки удалось попасть в кнопку ответа. — А я вам уже который час не могу дозвониться, Евленья Ивановна, с телефоном, что ли, что или со связью, — с лёгкостью соврала библиотекарша и подмигнула чёрному глазу.

Ложь во имя любви — не ложь. Это ложь во спасение, спасение во имя лучшей жизни. Если тридцать лет не жить, а мучиться, то любой подвернувшийся шанс улучшения состояния жизни не должен сгинуть впустую. Всё, и по головам — ради этого шанса... И Алла продолжила лгать, искусно-неповторимо, врала и верила своему вранью. Всё ради любви, любви, к которой, наконец, можно прикоснуться...

С заведующей ушла говорить на кухню, предусмотрительно плотно закрыв дверь в зал — «чтобы Алексея не беспокоить понапрасну», — позже она всё расскажет ему, расскажет полушёпотом, в темноте, впервые поделив диван-кровать на двоих.

Расскажет всё, что скрывала ото всех, от самой себя, изольёт душу, вывернет сердце наизнанку... Всё вспомнит, до мелочи, до запаха, до штришка... Ничего не забудет.

После этой бессонной ночи откровений и слёз, которые Алла не могла сдержать,

вспоминая детство и юность, портфель Алла решила называть только по имени — Алексей, можно по имени отчеству — Алексей Владимирович, но лучше всё же ласково, уменьшительно-ласкательно — мой Алёша...

Утром завтракала не одна. Повесила на спинку стула, где главой стола царственно восседал писательский портфель, похожую на мужскую, свою старую голубую рубашку, пообещала сегодня же после работы купить новую:

— Такую, какую захочешь, цена значения не имеет, хоть самую дорогую на свете рубашку, главное, чтобы твоего любимого цвета, оранжевого... А хочешь, френч возьмём? Или пальто? Знаю, знаю, тебе же нравятся все эти пальто-френчи...

И, не дожидаясь ответа, подхватила стул с портфелем и рубахой и закружила с ним в танце из сна, по кухне, затягивая в вихрь голубого знамени их любви всё вокруг... И кухонную утварь, и сон, и реальность...

— Хочу, хочу, хочу!..

Анна и писатель

Библиотекарша Алла из «Абонемента» клялась, что не видела портфеля в кресле у гардероба:

— Когда, извините меня, у вас живот вот-вот взорвётся и полезет отовсюду, откуда возможно и невозможно, ещё раз извините меня, тут думать невозможно, а уж по сторонам смотреть тем более... Не вздохнуть. С меня сто потов сошло, пока до дому добралась. Умру по дороге, думала. Так что мне, извините, не до чемодана было...

Писатель беседовал с Аллой в кабинете заведующей, периодически отхлебывая из кружки отсутствующей — «будет лучше, если без меня поговорите» — Евленьи Ивановны обжигающий, отрезвляющий кофе.

Алла была готова к этому разговору, один час ночного бденья с Алексеем они посвятили этому, подготовили ответы, которые сняли с Аллы все подозрения. Колос поверил библиотекарше и доверительно поделился:

— Кусок меня украли. Бо́льшую часть даже.

«Смотри мне в глаза, — учил её Алёша в ночи. — Я сам не люблю это дело, смотреть людям в глаза, но правда — она такая, прямолинейная, глаза в глаза, в упор. Я поверю тебе, если не будешь отводить взгляд, и не елозь на стуле, держи руки у меня на виду, желательно, ладонями кверху...»

Алла сделала всё точь-в-точь по указке, слово в слово.

Живот — она впервые не почувствовала его, никаких спазмов, ни бульканья...

А ведь любовь сознательной части её тихой жизни — вот она, перед ней, один на один с любовью, она вдыхает запах его туалетной воды и перегара, ощущает тепло его присутствия, писатель в своём любимом свитере с горлом, на лысой, не по возрасту — ему всего сорок два — голове бисером подмигивает пот.

«Мы идеальная пара», — повторяет про себя Алла, не отрывая взгляд от глаз писателя. Писатель говорит:

— Там у меня пара незаконченных рассказов, блокноты с записями, — выдохнул кофейным жаром. — Единственное, что успокаивает, — это даже не кодовый замок, нет, а то, что Анна может за себя постоять. Не впервой... Анна — это портфель, — объяснил, отхлебнув, Колос, — моя Анюта...

— Алексей! — вырвалось у Аллы. — Какая Анна?!

— Первая моя, самая ранящая любовь, — мечтательно, одним вздохом, — всё она, моя Анна...

«Анна» иглой в сердце, и воздух будто выкачали из кабинета заведующей, ото всюду, нет больше воздуха на планете Земля, нет жизни.

«Анна! Чёртова Анна! Она и тут вмешалась, испортила, разрушила... С того света достала... Восстала из ада!.. Мерзкая, ничтожная сука! Пропащая алкоголичка!..»

Писатель не замечает перемены и бледности сидящей напротив Аллы, Алексей Владимирович, задыхаясь, захлёбываясь, рассказывает о силе любви, волшебстве, имя которому Анна. Аня, Анечка, Анюта...

— ...Ради взаимности, ради того, чтобы она была рядом, только ради её присутствия был готов на всё: убийство, приворот, плен, распятье... Анна, как болезнь и лекарство в одном флаконе, мой ад и рай, спасение и погибель...

— С-у-у-у-ка-а... — выдыхает из себя последний воздух Алла, и проваливается в безвоздушное пространство небытия, нелюбви.

Анна и библиотекарь

Мамой Алла звала родительницу не долго и только в раннем детстве, подростком старалась избегать хоть как-то обращаться к матери, про себя называя по имени отчеству, но чаще всего ругательными словами, где «тварь», «мразь», «алкашка», «дрянь», «сука»... — самые невинные.

Спросит кто-нибудь из соседей-знакомых: «Как мама?» Алла неизменно отвечала: «Анна Степановна всё ещё пьёт».

Анна Степановна умерла за кухонным столом с рюмкой в руке у сожителя на квартире и, по слухам, просидела так, с рюмкой, всю ночь. Санитары «скорой», всё по тем же слухам, не смогли вытащить рюмку из рук покойницы, так и увезли в морг. Это было пятнадцать лет назад, и вот Анна вернулась.

Алла вернулась из безвоздушного пространство с этим словом:

— Вернулась.

Перепуганные писатель и заведующая в один голос поддержали:

— Вернулась.

Алла заплакала, и плакала Алла, пока заведующая не отпустила её домой, плакала, выходя из библиотеки, и ещё чуток по дороге плакала. Слёзы высушила ярость, такая знакомая ей: тихая, молчаливая, кипящая внутри и не находящая выхода ярость...

— Вернулась!

Но нет, больше не будет изгрызенных до мяса, до крови ногтей, не будет собственноручно поставленных синяков на бёдрах, покусанных губ, криков в подушку и бесконечных слёз не будет!

Фантазии, в которых они вместе выбирают для Алексея пальто, потом прогуливаются в чернильных сумерках вдали от посторонних глаз, и тихие беседы в ночи, и жаркие сны в объятьях друг друга... всё вдребезги.

Не сдержалась, побежала Алла, лужи и грязь брызгами в стороны, «Анна» стучит в голове, так родительница привлекала к себе внимание, барабаня пустым стаканом по столу, прикроватной тумбе, подлокотнику кресла, голове...

Ворвалась в квартиру Алла, в зал, и на четвереньки к дивану, там, под спальным ложем у стены, она:

— Мама, — зашипела дочь, обеими руками хватая портфель, а он выскальзывает из потных ладоней, не даётся... — давай, вылезай, Анна Степановна, проклятая алкоголичка, — выволокла портфель, вышвырнула в прихожую. — Что, думаешь,

можно вот так заявляться и отбирать моё единственное?! Мою любовь?! Ну уж нет, — Алла поднялась с колен, в два шага подскочила к портфелю, ногой ударила, и второй, и третий раз, портфель бился о стенку, потом о входную дверь и снова о стенку... — Я знала, что ты найдешь способ вернуться, что восстанешь из мёртвых, не позволишь мне быть счастливой, просто быть, сука ты, не позволишь, — схватила портфель за кожаные потёртые бока, встряхнула. — Слышишь, дрянь? Думаешь, я не знала?! Да я ждала этого изо дня в день, твоего пришествия, пьянь ты подзаборная, никому, даже собственной дочери ненужная, несчастная потаскуха, ждала, и во сне видела, готовилась, тварь ты, — ударила портфель о пол и пнула, и проглотила горький ком слёз, сдавивший горло и дыхание, «она не заплачет, нет, только не сейчас, не при ней».

Оставив портфель в углу прихожей, отдышалась, руки и колени колотила мелкая нервная дрожь.

На кухне голубым маяком надежды — рубашка на спинке стула и осколки разбитых фантазий в сердце, насквозь и в лохмотья.

Сняла рубашку, прижала к груди, к лицу, к губам:

— Я твой навеки, он сказал
И сердце ей своё отправил,
Себя послал ей по кускам
Посылкой счастья без возврата...

Прошептала любимые и такие подходящие ко времени, как казалось сейчас, строчки из раннего Колоса, из первой книжки «Заводь. Письма счастья и посылки», голубенькая, она стоит на верхней полке обложкой в зал рядом с другими не менее любимыми книгами Алексея...

Душа в конверт не поместилась,
Он душу по частям отправил...
Её лишь для себя, в себе,
Одну её оставив...

На ходу пнула Анну Степановну, вернулась в зал, убрала рубашку:

— До лучших времён, — сказала, — они наступят, теперь точно наступят, когда, наконец и окончательно, покончу с этим. С этой!..

Алла Леонидовна решила:

— Истязать, как ты меня, не буду! — подняла воплощённую в писательском портфеле родительницу за шкирку. — Да, каюсь, думала, лелеяла мысль, когда бежала домой, что буду мучить тебя день-другой, пятидесятый... Но ведь этим я лишь стану копией тебя. А этого я всю жизнь боялась. Пойти в мать. По твоим стопам!.. Поэтому покончу с тобой быстро, освобожусь, чтобы начать жить!

С портфелем прошла на кухню, достала самый большой, в три ладони, нож с широким лезвием.

— Я разнесу тебя в клочья и сожгу, ничего от тебя не оставлю, ни следа, ненавистная, проклятущая Анна Степановна!

Бросила портфель на кухонный стол и вонзила нож в самый центр под металлическую пряжку кодового замка, в самое сердце.

Кровь брызнула в лицо, крик: звонкий, женский, нечеловеческий, разорвал серый полдень и ушные перепонки.

Алла закрыла глаза, чтобы не слышать визга, замычала, с размаху, со всей силы, наотмашь, до стола протыкая, разрезая мягкое, послушное тело Анны...

— Заткнись! Получи! Сдохни уже! Оставь меня!

И каждый новый удар приближал новую жизнь. Алла видела в кровавой темноте закрытых век любимого, идущего к ней, всё ближе, нож в сотый раз пронзил тело матери, ещё ближе, лезвие вошло по самую рукоятку, крик стих, захлебнулся, сгинул, писатель стал ещё ближе...

Не удержалась, схватила не глядя первый попавшийся под руку кусок Анны, запихала в рот. Тёплое, жёсткое мясо жевала с трудом, насилу проглотила.

Ужасающей, адовой картиной перед закрытыми глазами — расчленённое тело матери на столе, бордовые, вязкие лужи на полу, пятна крови на занавесках, на кухонных шкафах, посуде, на холодильнике и микроволновке, алые кляксы, путь отступления, разметка ушедшей навеки вечные родительницы...

В слепую побросала останки Анны в давно приобретённое и ни разу не использованное цинковое ведро, унесла в ванную, облила жидкостью для снятия лака, подожгла. Вместе с огнём в пепел обратилась дрожь и прошлое, в прах — воспоминания и страх...

Жар пламени на лице, слёзы из глаз — это рождение новой Аллы. Аллы счастливой. Аллы свободной. Аллы любимой...

Алла распахнула веки.

Анна и писатель

Приворожить не отвечающую взаимностью девушку была идея матери.

— Не ест сын совсем из-за этой сучки, от любви безответной мается, похудел так, что щёки впали, в девятнадцать лет на смерть похожим стал, кожа да кости, — жаловалась мать хорошей подруге, хорошая подруга и подсказала по-дружески.

— Раз совсем всё плохо, остаётся одно. Приворот. Вот что нужно, что спасёт сына, — и адрес под строжайшим секретом прошептала хорошая подруга матери на ухо.

И в двадцатый день рождения мать сделала сыну подарок: портфель, на дне которого и обнаружил Алексей плетёную фигурку с лицом его любимой девушки, вырезанным из школьной чёрно-белой фотографии.

— Я же не верю во всю эту лабуду, — попытался сын расплести ворожейную куклу (волосы возлюбленной, церковные свечи, фотография, стебли полыни и пепел заговора), не вышло.

— Зато лабуда верит в тебя! Пусть полежит в портфеле, что тебе станется? — взмолилась мать. — Погляди, какая миленькая, мой подарок тебе, твой талисман! Оберег... Вот увидишь, она поможет...

И помогла, — первая же рукопись, разделившая соседство с фигуркой Анны, стала премиальной.

Алексея пригласили в толстый литературный журнал постоянным автором, и следующие рассказы, сложенные в карман с колдовской куклой, принесли автору успех.

Так портфель стал Анной, Аней, Анечкой, Анютой...

— Но самое главное, — делилась радостью с подругой мать Алексея, — поправляться сын стал во всех смыслах слова, про любовь забыл, именем её только портфель называет, ест всё, что даю, и добавку просит, пишет, и днём, и ночью пишет, истории и стихи всякие... Двадцать лет, а уже писатель. И серьёзный стал весь такой, важный, солидный...

Что стало с Анной настоящей, живой и не любящей Алексея, не знают ни мать, ни сын. Исчезла Анна.

— За границу уехала, — сочинял Колос, — не зря же английский лучше родного языка знала, строчила как из пулемёта.

А во сне строчила игла швейной материной машинки. И любимая девушка Анна, похожая на сдувшуюся резиновую куклу, в опытных руках швеи (кроилась, резалась, сшивалась) превращалась на глазах в любимый талисман-портфель.

Проснувшись после первого такого сна, двадцатилетний молодой писатель проверил подарок, осмотрел, прощупал каждый миллиметр, каждый шов... Внутри кожа была тёплой, а на одном кармашке Алёша разглядел знакомое пятнышко-звёздочку, точную копию родинки с шеи любимой девушки. И запах — засунул в портфель голову целиком, — саднящий сердце аромат Анны, смесь духов, шампуня и жевательной резинки...

— Мама, что ты ради меня сделаешь? — вспомнил Алексей тогда свой вопрос из далёкого дошкольного детства и крепче прижал подарок матери к взволнованному, тревожному сердцу.

— Всё, — ответила мать.

В конце второй недели бесплодных поисков Евленья Ивановна сожалеет, разводит руками: «Мы вам новый подарим, точно такой-же», а на ножке кресла у гардероба почернела от грязи красная лента домового. Алексей Владимирович пошёл на могилу матери просить помощи:

— Писать не могу, ни одной мысли, ни одной строчки, ни словечка за полмесяца. Помоги, мама, подскажи, где Анну искать, у кого... Ты ведь обещала, что всё ради меня сделаешь...

Той же ночью, во сне, Колос увидел библиотекаршу Аллу из «Абонемента», кружащуюся с портфелем в обнимку между стеллажами с книгами.

Едва дождавшись открытия магазинов, Алексей взял бутылку коньяка, отправился в гости, сначала в городскую центральную библиотеку, потом к неработающей сегодня библиотекарше.

Алл(нн)а и писатель

Писатель терпеть не может, когда, что в литературе, что в кино, истории, перескакивающие временные отрезки в пару-тройку слов: «Прошёл год», или «Три года спустя», или «Через семь лет»...

Но с ним произошло всё именно так, как не любит, не признаёт, терпеть не может. Он зашёл в однокомнатную квартиру Аллы на первом этаже пятиэтажной хрущёвки, и вот уже прошло полгода.

Портфеля у Аллы не было, она клялась всем на свете, и даже матерью, а мать для Колоса святое, больше бога, клятва на мать самая честная, самая действенная, самая верная клятва... Зато у Аллы в кухонном шкафу, припылённые, в ряд стояли несколько бутылок алкоголя, «подарки всякие» — тут и виски, и парочка ликёров, китайская водка со змеёй внутри, и чача грузинская...

Увидев писателя на пороге, Алла не удивилась — преграда устранена, разрезана в клочья, сожжена, пепел смыт в унитаз, лишь сердце привычно подскочило к горлу и в животе, по привычке, только теперь уже от проголодавшегося счастья, заурчало.

— Вы же любите рассольник, знаю, что любите, а у меня как раз он на обед.

Кивнул писатель, улыбнулся, достал из-за пазухи ополовиненную бутылку:

— И под коньяк в самый раз, — сказал.

Рассольник, как оказалось, хорошо идёт и с виски, и под чачу, и под горько-сладкие ликёры...

Алла впервые в жизни напилась и вместе с любимым писателем плакала за кухонным столом, скорбя о судьбе пропавшей без вести Анны.

Алексей, как допил свой коньяк, попросил называть его по имени, а ближе к вечеру, когда распечатали китайскую водку, Алла смело, легко и просто звала гостя Алёшей...

Гость остался на ночь, Алла пыталась постелить себе на полу: «я могу и на кухне лечь», но в результате проснулась на диване с писателем в обнимку, и, чтобы убедиться в реальности происходящего, прижала храпящего, пахнущего п*о*том и перегаром кумира к себе сильней.

— Анна, — выдохнул огнём Алёша и поцеловал её в ухо.

— Да, — Алла едва дышала, — да, это я, я... твоя Анна...

В обед Алла сходила за водкой для писателя, и этим вечером позволила ему назвать её Анной:

— Две буквы ст*о*ят целой жизни. Да и Алла мне никогда не нравилась. В новую жизнь с новым именем, — подняла тост, а в окне всё бело — с сумерками город накрыл первый снег. — Пусть снег забелит всё прошлое. Всё плохое и ненужное скроет, сотрёт... Начнём жизнь с чистого листа.

— С чистого листа, — поддержал Алёша, звонко встретились рюмки. — А я завтра начну писать историю про Анну, про нас...

И вот уже прошло полгода, а на чистом листе вордовского документа одно слово «Анна», и всё.

— И этим всё сказано, — пьяно философствует писатель, последние дни не вылезая из постели. — Одного имени, одного слова достаточно, чтобы рассказать историю, так ведь?

Анна во всём соглашается:

— Так, так, мой любимый, всё так.

— Допустим: Гитлер, Сталин, Сапфо, Фрида... Одно слово, имя, за которым целая история, мир! У нас это слово — Анна, даже не Анна — Аня, три буквы, изменившие мир! Нас! Наш мир! Нашу Вселенную... АНЯ!

Хохочет Аня, целует в лоб и в губы своего писателя и спешит в библиотеку, где она ещё пока Алла, но это пока... Пока...

— До свадьбы, — про себя, в себе, всегда шёпотом, чтобы не сглазить, говорит Алла, — главное, без фанатизма...

А потом, перед самым Новым годом, жизнь (мать?) преподнесла ей подарок.

Алексей встретил её на пороге, протянул руку, в ладони — ручка от портфеля.

Возникшая из ниоткуда, стёртая до бела, ручка, восставшая из пепла?..

— Нашёл на кухне, под шкафом... Закатилась пробка от вина, полез за ней, и вот тебе на... Что это, Алла?! Что это?!

Крик писателя захлопнул за женщиной дверь, швырнул её в кухню, повалил на пол.

— Я не знаю, что это! — закричала в ответ.

— Ты воровка, убийца! Ты никакая ни Анна! Долбанная сука!

Алла поднялась на ноги, писатель не успел отреагировать под градусом выпитой бутылки, а у Аллы в руках уже нож с длинным, в три ладони, лезвием.

— Это безумие, Лёша, я не знаю, откуда это взялось!

— Никакой я тебе не Лёша, дрянь! Воровка! Убийца! Для тебя, сука, я Колос Алексей Владимирович! Тупая ты библиотекарша!

«Прошлое не может вернуться... Не должно!.. Не смеет!» — она не позволит, она настоящая, а прошлое мертво, вычеркнуто, забыто, спущено в канализацию. И Алла завопила:

— Заткнись! — зазвенело стекло в кухонном шкафу. — Заткнись! Заткнись по-хорошему!

— Ты приворожила меня, тварь, точно! Ты ведьма! Это порча! Приворот! Проклятие!..

Писатель выставил ручку от портфеля перед собой мечом, крюком.

Алла навстречу вытянула нож, сжимая рукоятку обеими руками.

«Конец», — напечатало хмельное сознание Колоса Алексея Владимировича.

«Любить писателя — гиблое дело», — разболелся живот у библиотекарши.

Вслух же они выдали одно на двоих слово. Слово первое и последнее. Для кого-то самое главное слово во Вселенной!.. Для кого-то, увы...

— Мама! — закричал, позвал на помощь писатель.

— Мама! — зло и яростно, боевым кличем, вызовом, взвыла Алла.

Ручка и нож встретились на середине кухни под жёлтым абажуром, в самом конце истории про Анну, встретились и поставили жирную, кроваво-чёрную точку.

Циклоп

(Любовь на букву «р»)

Р.

«Дефективная» — слово, на котором она выросла. Оно застряло в ней звенящей интонацией пьяного отца. Внутри. В голове. В сердце. У дефективных, оказывается, нет души, так говорил отец.

— И сердце не с той стороны. И кровь жидкая. Поэтому и «рэ» не выговариваешь! Моча вместо крови в тебе! Плакать по-девчоночьи и то не можешь!..

Потом, в шестнадцать, при получении паспорта, узнала, что отец ненастоящий. Родной исчез, как только узнал, что станет отцом, даже фамилию не оставил. Только дефекты!

Отчим же уже больше года лежал на кладбище с опечаткой на мраморной плите в имени. «Неколай» было там написано.

— Дефективный.

Исправить ошибку у матери руки не доходили — «из долгов не вылезем». А Маша даже не видела могилы отчима. Одна лишь мысль о дефекте на памятнике бальзамом на несуществующую душу помогала двигаться вперёд. К совершенству.

Юность под флагом несовершенства быстро закончилась. Мария влюбилась в квартиранта, который поселился у них в третьей комнате. Мама, чтобы погасить кредиты, сдавала комнату студентам. И вот, за неделю до Машиного семнадцатилетия в комнату с одной спортивной сумкой на перевес и улыбкой во всё лицо заселился черноволосый, кареглазый Руслан.

— Можно просто Руся, — предложил он.

Галина Николаевна пересчитала деньги за месяц, напомнила про неисправный кран с горячей водой в ванной и — «чтобы никаких пьяных гулянок с друзьями»:

— Натерпелись.

С приездом нового жильца жизнь Маши стала меняться. Как, впрочем, и она сама. Детское мыло, которым умывалась, сменил лосьон для проблемной кожи. Стала каждый день мыть волосы, аккуратно подрезая секущиеся кончики. К дезодорантам-освежителям добавилась туалетная вода... Но, самое главное, с первого дня Руслана в доме Маша стала писать стихи. Они ей снились...

Р.

И гранатой в любовь,
Вырывая чеку,
Прокричи, что забыть
Никогда не смогу.
Разорвёшься на сто
Миллиардов кусков
И подаришь тепло
Всем, кто так одинок.
Станешь греть нелюбовь,
Плавить чувством сердца,
Отрывать от земли
Приземлённых,
Не зря...
Ты гранатой в любовь,
Вырывая чеку.
Как же имя твоё?
И в ответ:
«Промолчу».

Встречаясь с Русланом на кухне, в коридоре, прятала глаза, поправляла осторожно чёлку, кивала... А он просил поговорить с ним и зажигательно смеялся, когда она не понимала его шуток. На день рождения подарил ей слепленную собственноручно глиняную голову циклопа. Смеющегося циклопа:

— Самое дорогое, что у меня есть, — говорил, — на меня похожий. Всегда улыбается. И превращает свои недостатки в достоинства. Совершенное несовершенство!

Девушка вздрогнула от последних слов, внутри всё сжалось, и согласилась.

Втайне от матери записалась на приём к логопеду. В её жизни нет больше места дефектам. Только совершенство!

Руслана забрали в армию. Мария поклялась перед самой собой, что к его возвращению будет другой. Новой. Совершенной.

И на запотевшем оконном стекле она снова и снова рисует букву «р» в центре сердечка. Рисует и, как заклинание, молитву снова и снова проговаривает:

— Радиатор, редис, равноправие, ранение...

От Руслана пришла только открытка с Новым годом. В постскриптуме писал, что переводится на Кавказ, это перспективно и денежно. Маша и тут не заплакала.

«Всё, что ни делается, к лучшему», — верила и, прижимая открытку к лицу, к губам, тараторила:

— Рододендрон, раритет, расстройство...

Через два года Галина Николаевна снова вышла замуж:

— Это мой последний шанс, дочка, — говорила она, — небо над пропастью...

Маша улыбалась в ответ, как, должно быть, в таком случае улыбался бы Руслан. И целовала мать в лоб, и говорила:

— Да, мам. Любишь — делай.

Трёхкомнатную квартиру разменяли.

В двадцать лет у Марии была собственная однокомнатная квартира с евроремонтом, в центре города. Она училась в университете на факультете филологии и журналистики. У неё вышла первая книга стихов «”Р” — значит любовь». Редактор Сергей Степанович считал название неудачным. Но Мария умела убеждать. Ещё один плюс работы над собой. Её совершенства.

В последний год учёбы Маша стала ответственным секретарём областной газеты «Вечерняя среда». Ей было двадцать три. Защитилась на «отлично». Мама с новым отчимом помогли купить праворульную Toyota Premio.

— Маш! Ты же у меня картавила?! — возмутилась как-то Галина Николаевна. — Твоё «рэ» покоя Кольке покойному не давало. Прости его, Господи...

— Разве?.. — театрально вздёрнула брови. — Не помню такого.

Мать махнула рукой:

— Забыли. Это у меня старческое...

— Забыли, — согласилась Маша и не забыла.

«Дефективная» — снова и снова возвращалось во сне и будило, и корябало коросты. Раны кровоточили, Маша просыпалась от собственного рычания. И не плакала. Только рычала. Снова и снова. И снова...

Его она искала везде. В Таиланде в отпуске, в Египте. В командировках на Сахалине, в Абхазии, Литве... Яндексе, гугле, твиттере, одноклассниках...

«Разбежко Руслан Владимирович» набивала она в строке поиска. Страна — Россия. Возраст — 25 лет. 26. 27. 28. 29. 30 лет. Из года в год. Взрослея. Не забывая!.. Искала...

И каждый второй стих посвящала верно и неизменно — «Р».

Верстался очередной номер «Вечерней среды», Мария, как всегда, искала на просторах Интернета, чем забить дыры в информационных полосах. Время поджимало, в шесть вечера макет должен быть в типографии. И вдруг: «В Усолье-Сибирском в результате бандитских разборок тяжело ранен известный в городе бизнесмен Руслан Разбежко. Владелец первого социального такси и кандидат в депутаты Городской Думы. Тридцатитрёхлетний мужчина доставлен в отделение скорой помощи с огнестрельными ранениями в спину».

Мария громко и чётко произнесла:

— Репродукция, реакция, реорганизация...

Самолётом до Иркутска. Дальше на такси до Усолья. После перестрелки прошло пять дней. В больнице, куда положили Руслана, его уже не было.

Удостоверение прессы областной газеты действовало на провинциалов гипнотически. У Маши был домашний адрес Руслана, адрес фирмы такси и куча сплетен, выводов и предположений от медперсонала.

— Он сам-то хороший. Настоящий мужик. Честный и про пенсионеров не забывает. А краля его, жена Вика, татарочка, вот где стерва, — шептала вахтёрша из приёмного покоя, баба Шура, — у неё вся семейка такая, воришки и наркоманы. Как, вот скажите, таким сукам с такими хорошими мужиками везёт?! Не понимаю, ей-богу. Приворожила она его, однако ж... Племя татарское, они там все ворожат. Знаем... Родила, значит, ему дочку, ага, а ребёночек-то с дефектом.

Журналистка отстранилась от старухи:

— Что такое?

— Так мамаша — бывшая наркоманка, чего такая родит?! Дефективная сама, порченая, и родила, спаси и помилуй, калеку.

Мария терпеливо ждала.

— ДЦП, — услышала, наконец, она диагноз.

Баба Шура высморкалась в рукав халата, продолжила:

— Так Бог через детей родителей за грехи их наказывает. Ага. Руслан в Чечне тоже, поди, сложа руки не сидел. Знаем, что там творилось. На что такси своё открыл?.. Бог всё видит, даже что у нас под сердцем. Чего сами мы ещё не ведаем.

— Спасибо, — сказала Маша, — может, вы знаете, кто квартиру посуточно сдаёт?

Конечно же, баба Шура знала.

Город угрюм, сер и страшен. Маленький, неуютный, безликий. Недоброжелательный. Руслан не мог выбрать такой город. Не мог жить в нём. Это не его. Его города — мегаполисы. Шумные, яркие, вечно бодрствующие...

Квартира стоила пятьсот рублей в сутки и не сильно отличалась от общей картины города в целом. Коричневые обои в жирных пятнах и подтёках, серый, местами прожжённый линолеум, пропахший псиной диван. На кухне, вместо занавесок, на окне гирлянды липкой ленты с мёртвыми мухами...

— Разброд, разгром, разлад! Разложение...

Из свежего номера «Усольских новостей» узнала, что в фирму такси «Карина» — так звали дочь Руслана — требовались водители с личным автомобилем и диспетчер. Маша позвонила, руководствуясь исключительно журналистским инстинктом. Идти напролом.

— Такси «Карина» — восьмая поездка по городу бесплатно. Также у нас работает единственный в городе афроамериканец, ну-у, этот, чернокожий водитель. Поездка с ним будет стоить на пятьдесят рублей дороже, — выпалила прокуренным голосом диспетчер.

Мария назвала улицу, где жил Руслан.

— С негром поедете?

Как и полагается настоящему журналисту находить тему для материала везде и всюду, Мария сказала — «да».

Афроамериканцем оказался пятидесятилетний Михаил Бесштанов, в конце восьмидесятых попавший под химический — «или чёрт его знает, какой» — выброс в районе города Ангарска:

— Сначала кожа покраснела, потом стала сереть, причём везде: и там, куда солнце не светит, а после сорока почернела, — жаловался журналисту лженегр, — там этих заводов в Ангарске — и химический, и электролизный, а мы бригадой работали, жили в санитарной зоне. Вот меня и угораздило под выброс этот попасть. А кому жаловаться? Некому. Тридцать лет прошло. Может, вы у себя там напишете? Пусть вся Россия знает.

Мария, делая записи в блокноте, поддакивала.

— На улицу стыдно было выходить. Страшно. Засмеют. Изобьют. Зарежут насмерть. Негров в те времена не шибко жаловали. Это сейчас экзотика. Мишкой-негром зовут и в пивной за так наливают. Вика Разбежко и придумала такой бизнес. Говорит: «Давай, дядя Миша, как негр таксистом у нас работай». Я и согласился, ёпти. Хоть человеком себя почувствовал. Деньги появились, уважение... Думаю порой, может, и хорошо, что под выкидыш комбинатовский попал, почернел, а так, может,

пропал бы... Тут у нас если не сопьёшься, так сколешься... А негром среди белых быть весело, прибыльно.

Смеётся до приступа кашля:

— Вы всё равно напишите. Может, когда-нибудь прикроют эти заводы. Травят ведь и народ, и природу.

Маша спросила:

— Долго ещё?

— Да нет. Город-то с гулькин нос. Вы как, к Разбежко?..

Вопрос насторожил:

— Нет. Не сегодня, — ответила. — А разве Руслана Владимировича не сильно ранили?

— Эт в газетах так написали, для красного словца, собратья ваши любят всё преувеличивать, ёпти. Царапины. Руслан мужик — сталь. Сталинит.

Машина остановилась.

— Вон там они живут, на пятом, весь этаж их. А вам вот этот дом, третий. Назад как соберётесь, мне звоните на сотик, я с вас полтинник за экзотику не возьму.

И он смеётся беззубым ртом, а сам черней самого чернокожего жителя планеты. Чернее чёрного.

Маша не успела сделать шага, как из того самого подъезда вышли мужчина с ребёнком на руках и женщина в шубе под леопарда. Она узнала его. Иначе и быть не могло. Хотя и волос не длинный и седой, и солнцезащитные очки, и пятнадцать лет прошло. И пятилетняя дочь, обхватив шею любимого папочки, закрыла бо́льшую половину его лица. Узнала. И не нашла сил отвернуться. Стояла на тротуаре, смотрела, как они садятся в чёрный джип с номером 777.

В этот момент она полюбила городишко. Стал до безумия дорог воздух, которым они дышали. Которым дышал он. Она представила, как Руслан выдохнул облачко морозного воздуха, а она вдохнула его. Его дыхание. Она приняла его в себя. Разделила. Растворила. Растаяла...

И большего не надо. Достаточно дышать одним с ними воздухом. Видеть его издалека...

Радость переполняла. Вот оно, ощущение счастья. Полноты жизни. Совершенства. Автомобиль скрылся за домом. Мария, не раздумывая, подошла к их подъезду. Глаза искали следы. Его следы. Отпечаток широкой тракторной подошвы, — и сердце ёкает в ответ. Захлёбывается под натиском чувств... Хочется плакать. Плакать. И хочется бежать. Прыгать. Кричать. Обнять весь мир. Всех. Обнять Бога. И благодарить. Благодарить!

— Спасибо. Спасибо. Спасибо, — шепчет она.

Садится на корточки и легонько прикасается подушечками пальцев к его следу. Снег под рукой тает. Она проводит ладонью по отпечатку его подошвы, пьянящая лёгкость в голове.

— Циклоп, — говорит она, — смеющийся циклоп.

И вот второй его след и её ладонь встречаются. Нежно касаются друг дружки. Впитываются. Проникают. Становятся целым. Одним.

Мокрые ладони, она уткнулась в них лицом, и они, он и она, стали ближе. В неком другом измерении, в параллельном мире они прикоснулись друг к другу. Прижались...

Она сгребла его следы, снег, на который он наступал, и растопила его собой. В себе...

Это такой день, когда в календаре ты отмечаешь его сердечком или солнцем. Твой день, который останется в тебе навсегда. Ты можешь вспомнить его до секунды. До штришка... День, ради которого стоило столько терпеть, страдать... Жить. И после которого хочется продолжать жить... Терпеть. Страдать...

Он остался надолго — твой запах.
Терпкий запах простившей души.
Тихой поступью тихого счастья
Кто-то важный ко мне не спешил.

Она посвятила и это ему. «Р».

А ночью приснился сон. Перед тем как уснуть, Маша вертелась на неудобном диване, прокручивала в голове раз за разом их встречу. Снова и снова, как повторяла слова на букву «р»...

И во сне они повстречались. Как и представляла, она сказала, что журналист и что пишет про город и интересных людей. Он был не против, чтобы о нём написали. И он не узнал её. Она говорила и говорила. Он отвечал. И не узнавал. Даже когда она показала фигурку циклопа. НЕ УЗНАЛ!

«Тут что-то неправильно, — твердил он, — что-то не так. Ошибка. Какой-то дефект».

Она плакала. Она рыдала. Рыдала. Рыыы...

Проснулась от собственного рычания. Вскочила босиком на холодный пол. За тёмной грязной шторкой рассвет. Вороны на мусорной свалке рычат, вторя бездомным собакам в надежде отбить лакомый кусок.

— Дефект, — она рухнула, разбив в кровь коленки, закричала. Почти зарычала, перебивая галдёж собак и ворон на улице. Кто-то сверху постучал по батарее, но Мария не замолчала.

Заявление об увольнении по собственному желанию главный редактор «Среды» Марии не подписал:

— Давай, ты разберёшься со своими проблемами и вернёшься. Скажем, ты в неоплачиваемом отпуске. Да?

Маша не ответила.

Редактор тяжело вздохнул:

— Только возвращайся.

Она не вернулась.

Баба Шура нашла ей квартиру в районе, где жил Руслан. Продала — «за даром отдаю» — почти новое кресло-кровать. Устроилась Маша диспетчером, спасибо Мише-негру, замолвил словечко, в такси «Карина». С Русланом каждый день видеться не удавалось. Одного раза в неделю хватало, чтобы ощущать его рядом. Его близость. Его присутствие в жизни.

Он звонил всегда под вечер, спрашивал:

— Как дела? Есть ли проблемы? Как самочувствие?.. — Звонил всем диспетчерам без исключения, и все они были в него влюблены.

Викторию Мария за два года работы в такси увидела только на дне рождения Руслана. Тогда она и подарила ему голову циклопа.

Жена держалась особняком, пила только шампанское и всё время разговаривала по телефону.

— А я думал, на кого ты похожа, — сказал Руслан, возвращая глиняную фигурку. — Дарёное не дарят. Знаешь такое? В детстве всегда так говорили...

Мария кивнула, улыбнулась.

— Только у той Маши волосы были другого цвета, и она так мило произносила букву «р». Так щекотно было её слушать. Приятно... Её голос так успокаивал, не поверишь... У каждого ведь должна быть своя изюминка. Свой голос...

Маша молчала.

— Что с ней стало теперь, — он не спросил, он произнёс это с досадой и вложил в её ладонь циклопа. Циклоп улыбался. Руслан нет.

— Логопеды, порой, творят чудеса, — выдавила она чуть слышно. — Нет предела совершенству.

— Совершенству? — он хмыкнул, постучал пальцем по единственному глазу циклопа. — Пределы есть.

И повернулся к ней спиной.

Она проглотила горячую слюну. В горле стало сухо, из-за чего голос сделался хриплым, дефективным, не её. Неживым:

— Я могу продолжать работать?

— Да, — ответил он не оборачиваясь. — Вы хороший диспетчер.

Она сказала:

— Спасибо, Руслан Владимирович. Извините за такой подарок.

Он выдохнул:

— Забыли.

И пошёл прочь.

Мысли были. Разные и много. Путаница из мыслей. Каша... От них затошнило. Затошнило от чувств, наполнивших грудь. Если она их не выпустит, они наверняка разорвут её в клочья...

Мария быстро собралась. Когда проходила вахту, услышала голос жены Руслана. Виктория громко отчитывала кого-то по телефону. Женщина сильно картавила.

Маша выбежала на крыльцо. Крик вырвался из горла писком. Она не плакала.

Дефективная. Вместо крови — моча. Вместо слёз...

Дядя Миша просигналил:

— Домой, что ли уже?

Она махнула.

— Завтра смена с утра.

В любви есть все буквы. «Р» не исключение. Любовь многобуквенна. В каком-то пространстве, параллельном измерении, любовь и произносится с буквы «р». Любовь и звучит как «ррр». Как рык. Как рычание. «Р» — значит любовь.

Говорят, если отрезать кончик языка, то будешь картавить. Она это слышала откуда-то. Может, из детства...

Каждый вечер она будет сидеть перед зеркалом в съёмной квартире с ножницами в руках. И каждое утро снова и снова, день за днем, выходить на смену диспетчером такси.

— Раны, распри, распятие...

Она будет отвечать на телефонные звонки. Она хороший диспетчер. Будет отвечать на привычные вопросы начальника:

— Как дела? Есть проблемы? Как самочувствие?..

Мария будет ждать. Год. Ещё год, и ещё... Ждать тот день. Её день.

День, когда у циклопа откроется второй глаз.

Мариям Кабашилова

Плыви на быстрых парусах

* * *

Я запишу без клякс,
Сидя за школьной партой:
Есть Москва и Буйнакск,
Всё остальное — карта.

Розы и все цветы,
Спелый арбуз на блюде,
Есть на свете лишь ты,
Все остальные — люди.

Звонких колоколов
Тянутся к небу руки,
Только музыка слов,
Всё остальное — звуки.

* * *

Эта история закончилась добром,
Трагедия обернулась драмой,
Женщина снова возвращается в ребро
Мудреца Хаддама,
Первого заметившего чёрного дрозда
У её ног.
Каждый так мог... или не мог,
Высыпав птицам крошки хлеба.
Сначала — быль и небыль,
Потом — боль и небо.

Кабашилова Мариям — поэт. Родилась в 1980 году в г. Буйнакске (Дагестан). Публикации в журналах «Дружба народов», «Юность», Prosodia и др. Автор поэтических сборников «Вода» (2012) и «Физика» (2017). Участница международных Форумов молодых писателей России и стран СНГ «Липки». Живёт в Москве.

* * *

Захожу в твою комнату, сонную речь затаив,
Серебристыми зёрнами в окнах застыл негатив,
Рассыпается воздух размашистым лёгким снежком,
Время к вечности жмётся, врастает стежок за стежком.
Где ты там обитаешь теперь, рукаст и речист?
Отрешившись от жестов, остались руки ничьи.
Уколоться б еловой иглою, распутать бы ель,
Неба скудные краски собрать и пустить бы на гжель.

Ты там жив или мёртв, слеп или зряч, стар или юн?
Говоришь и то, и другое — февраль и июнь.

* * *

Плыви на быстрых парусах
От бури и душевной смуты,
Так мало времени в часах,
И вечность целая — в минуте.

Вот было лето, а теперь
Кружится жёлтый лист красиво.
Чтобы понять, зачем в тебе
Звенит тоска с такою силой,

Смотри, как солнцем обделён,
Растёт цветок на этом свете,
Как у подъезда старый клён
Пускает золото на ветер.

Как мысль сквозь слово проросла,
Чтоб ты меня услышал снова.
Метафорам здесь нет числа,
Но это понимай дословно.

* * *

Ты никогда не узнаешь, зачем мы здесь.
Слышишь? — идёт за нами дремучий лес.
Вечер влезает в окно, как ловкий вор,
Время крадёт начавшийся разговор,
Лютый туман проникает в самое сердце.
Можно уйти, но — никуда не деться.
Так что копи печаль, умножай тоску,
Приставляй осеннюю ночь к виску.

* * *

В белом плену парки, дома и храмы,
Вновь над Москвой снежная кружит вьюга,
Столько женщин, но нет среди них мамы,
Столько мужчин, и ни одного друга.

Что же, куда податься, к какой фемиде?
Ну, напиши мне что-нибудь ради бога.
Я так устала больше тебя не видеть,
Не улыбаться, не говорить, не трогать.

Не обойдёшься жестом, коротким словом,
Хватит тоски на долгое говорение,
Эти стихи, стихи вряд ли кого — глаголом,
Просто впадают Волгой в стихотворение.

Григорий Ряжский

Идиотик

Рассказ

Сколько себя помнил, всегда был неверующий. В смысле, он, Лёха Чиндяйкин. Как родился, так, считай, имелась только бабка родная. Звать — как няньку у Пушкина, Ариной, но только не Родионовной, а Гавриловной. По-местному — Гаврилишной. Место пришлось на Тульскую губернию 21-го века, но только оно, как и многие места, по-прежнему считалось лохматой глушью, куда за неимением нормальных дорог приличным людям стыдно нос казать.

Раньше тут, по крайней мере, были шахты. 4-я БИС, к примеру, и лучшая из остальных — Седьмая Глубокая. Оттуда брали бурый уголёк, с пластов в два зрелых мужицких роста, что по меркам горняков считалось редкой удачей. Да и платили побольше, и потому тамошняя жизнь считалась местными счастливей и добычливей.

Лёхина родня со стороны Чиндяйкиных, что уродилась ближе к Ханино, примыкала больше к неудачникам, чем к Семёрочным, — то бишь к 4-м БИСовским. Правда, когда Лёха ещё только-только обдумывался на предмет зачатья, шахты давно позакрывались, пласты истончились до беспредела, а уголёк в них кончился, считай, до последнего дна из всех на тот момент разведанных. К тому же полродни вымерло от силикоза — другая половина, какая выжила, по-тихой доскребала оставшийся житийный ресурс: кто как сумел, так и тянул.

Случилось, что Лёха, выйдя на свет слегка недоделанным по части головы и ума, застрял в неловком промежутке между равнодушным чувством к нему матери и повсеместной в этих местах безотцовщиной. Надо сказать, в тульских местностях, особенно шахтёрских, такой подход мало кого удивлял. По большому счёту, привычно тут бедствовали все, за вычетом партийного начальства и угольных воров, схитрявшихся толкать уголёк налево путём развозки его по ближним деревням, ещё с того века топившимся без газа и дров.

Мать Лёхину затронуло не меньше остальных. Поначалу она ещё так-сяк, но жизни этой как-то сопротивлялась, пытаясь зацепиться корневищем то тут, то там. После — перестала. Сообразила, что пить — дешевле и проще. И смирилась. Поэтому

Ряжский Григорий Викторович — писатель, сценарист. Родился в Москве в 1953 году. Окончил Московский горный институт. Печатался в журналах «Киносценарии», «Знамя», «Урал» и др., а также в русскоязычной зарубежной периодике. Автор 16 книг прозы. Переводился на европейские языки. Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 8.

в школу Лёха пошёл сам. И сам же всю дорогу ходил. Не в том смысле, что перемещался на ногах от ханинской избы до школьного строения в бывшем посёлке БИС-1, а в том, что мать не особо знала, в какую именно ходит. Главное, чтоб учёба шла молчаливо, без излишней канители, вопросов по дневнику, учительских нареканий и трат на учебники со всем остальным. Короче, с первого дня Лёхой заведовала Гаврилишна. Она же была Лёхе и пьющая мать, и неизвестный отец, и загадочный школьный директор разом. Вообще-то он любил её, бабку. А любя, часто думал, что странное, мол, дело — кабы не было её вовсе, то скорей всего сдох бы, натурально. Просто не начался бы вообще. Некому было б начать. Последний раз мать кормила его молоком ещё с сисек, другой еды от неё не получал. Понял про маму и себя уже потом, сам, один. Всё остальное дала бабка. Если честно, так и не усёк до конца, откуда в доме было поесть и одеться. Хотя с одёжой оказалось более-менее понятно: валенки — всехние, без размера. То же — с ватниками. Рубахи бабка сострачивала сама, из остатков фартучной ткани. По ней обычно шли плоды и цветы. Иногда, правда, случался то ли ковыль, то ли репей, но этот временно бесхристовый узор бабку волновал мало — главное, чтоб внук был при чистом и имелось на замену.

Штаны оставались от деда, много. Дед был давно мёртвый шахтёр, хотя при жизни шахту ненавидел ещё хуже, чем недолюбливал Гаврилишну и дочку. Наверно, именно поэтому имел так много штанов, чтобы было обильно сменное после едкой на вкус угольной робы. Первые годы, пока Лёха шёл в рост, Гаврилишна дедовы штаны изрядно укорачивала, но не подрезала насовсем, чтоб иметь отпуск на потом. По ширине — закладывала вдвое-втрое, убирая лишнее в бока. Тоже с прицелом на дальние времена. Потом, по прошествии лет, бока эти бабка потихоньку рассвобождала, а длину добавляла. Отсюда выходило, что Лёха вечно был при параде. А заодно прибран и умыт.

Вот только с головой не прояснялось. Про это кто-то там в белом и шапочке при завязках в шахтёрской больничке честно брызнул бабке на ухо. Не так с головой было не в том смысле, что по учёбе не успевал — было как раз наоборот и даже сверх того. Просто как-то по-другому малец видел с раннего возраста. Она ему, которая в шапочке: это чего тут у нас на рисунке? Ёлка, отвечал. А какая она, ёлка эта? Круглая, удивлялся Лёха, какая ж ещё? Да нет, ты вглядись, миленький, это ж чистый треугольник: вверху острый кончик, понизу — углы один против другого. — Нет же, круглая, — продолжал упорствовать Лёха, — и никакой не треугольник, вы чего, слепая, что ли?

Видел по-другому. Сверху предмет брал, тем же глазом. Оно и выходило круглое. И никто врачихе той не пояснил про интересную Лёхину особенность. Впрочем, и сам не знал — откуда знать-то? На деле же, когда пошла учёба, схватывал шустрей прочих, а чаще и от себя добавлял. Особенно, когда началась первая лёгкая физика. Тут Лёха оживлялся как никто в классе и чаще выступал не по делу. Например, не мог уразуметь, отчего звёзды не поддаются силе всемирного тяготения, одолевая эту силу не до конца, когда всё дело в притяжении одна к другой. Казалось — ты здоровей, так пускай слабая к тебе тянется, всё по закону. А как подойдёт, так сразу же прилепится: именно так у Исаака Ньютона писано. И с остальным похоже. Глядишь, вся солнечная система переиначится, выпрямится в косую линию, как опилки с магнитом, согласно правилу того же умника в парике.

Случалось и по химии, когда тоже пошла. И снова вопросы, много, всё на стыке. А ещё долго не мог понять, как конкретно, в какой последовательности и какая именно из частиц вышибается с орбиты первей других при лучевой болезни живого

человека. Картина складывалась более чем загадочная. Электрон вращается вокруг атома, а из-под орбиты отчего-то выскакивает само ядро. И человек гибнет. В теле его происходит ужасный раскардаш, в результате которого меняются внутренние настройки. Сигналы, что управляют организмом, выходит, больше ему не подчиняются. Также нутряные соки, гуляющие по сокрытым от глаза человека каналам и путям, обретают неустойчивость русла и оттого образуют свободные заливные пространства, мешающие жизни функций. Ну и всякое такое. А дальше — смерть, ясное дело.

Открытиями делился с учителями. Те в ответ лишь жали плечами, чуть глуповато улыбались, но потом просто отмахивались. Кто из них первый за глаза назвал Лёху идиотиком, выяснить не удалось. Знал лишь, что вскоре не осталось в школьном здании живого человека, кто не звал бы его так, а не иначе. Уже в глаза, без никаких. Раньше лишь опасливо дразнили, после — стали дружно называть, не опасаясь учительского гнева. И главное, лучше б «идиот» говорили, просто, без ласковости этой обидной. Или привычно всем — «дурак», «козёл» или пускай даже «скотина». Не так досадно. В «идиотике», помимо нездорового начала, присутствовала ещё обидная карликовость, будто он, Лёха, ростом по жизни не ниже среднего, а на деле ходил под стол, идиотничая и сморкаясь в пол.

Было такое, когда уже и школа кончилась, а в армию по головной родовой болезни не взяли. Работы — никакой. Пацаны — кто уехал, кто замёрз, кто стал помаленьку спиваться. Основняк, борзые — те по большей части сели. Из близких осталась лишь ослабшая телом Гаврилишна и усыхающая день ото дня мать. Тогда-то и осознал Лёха, что — всё. Теперь он кормилец. И что ни физика не прокормит, ни химия никакая не спасёт. И обе не обогреют. А прокормит работа, которую он станет искать.

В тот вечер, когда дотумкал про системный труд, стукнулась идея. Сама вкатилась, лично он не звал. Было про устройство материального мира, в целом. «Как же так... — подумал Лёха Чиндяйкин. — Если есть на свете закон Божий, а никто не знает, откуда взялся, то, значит, он был всегда? А если был всегда, то где же общее для всех начало и почему этот закон так сильно действует на сознание человека, что почти всякий помысел доводит до поступка? К прямому действию, а не мысли о нём. А ещё к встречному посылу в никуда, который точно так же кто-нибудь наверняка услышит. Пускай не ушами, а по-другому, но ведь кто-то, что-то или нечто должен это как-то перетаскивать в пространстве с одной точки до другой? Или даже больше: от одного целикового пространства до другого, тоже целого. И, кстати, там-то у них чего — за их же границей?

Ответа не было. Тогда Лёха покормил лежачую бабку и, строго глянув на мать, добрёл до рейсового автобуса. И поехал в сторону 4-БИС: на старый, почти уже вымерший от безнадёги посёлок. Искать работу. Дело было добрым и правильным, тем более что сроки выживания семьи, где он теперь был главным, нешуточно поджимали. И то сказать: огород — запущен. Там, куда когда-то Гаврилишна ходила срезать молодую морковь и первую свекольную ботву на быстрый летний борщ, теперь хозяйничала сныть пополам с несъедобным борщевиком. Плюс сорный болиголов, заполонивший плодоносные когда-то грядки. А бесплатный картошный надел в две сотки, всю жизнь имевшийся за околицей, взяли и отобрали. Просто так. Новые, когда пришли, сказали, мол, эта земля теперь наша, пока мы не увязли в борьбе, она умрёт, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе... И заржали. А после приватизировали, всё по закону. Как — Лёха не понял, а ему не объяснили. Про ржачку ихнюю потом сам узнал — оказалось, из песни, которую все слыхали. Кроме него, Идиотика.

Он попробовал было выяснить, чего да как, для этого поехал на тот же бывший 4-й БИС, где окопалась власть, хоть там и глушь. Нашёл, стукнулся. Так ему сказали, что, мол, затыкай давай, Идиотик. Иди лечись по-новой, а в дела не суйся, не для твоего они сумрачного сознания. Так что давай кати дальше, про поля орошения электронных молекул внутри сраных атомов своих вкручивай.

Плохо, что и те про него знали, бисовские. Что он типа не в себе. Глушь-глушью, а молва, сука, вышла скользкой. Про доброе всякое, про бабку неподъёмную с никакой матерью, отдельно — про Бога, без которого Гаврилишна не могла вообще и ни по какому: всякий день поминала так и сяк... — про это всё ни гу-гу, словно ни темы нет, ни больно никому, ни бедно всем сразу. Зато про Идиотика — вот оно, на чистом выгребном верху. И откуда-то ещё в курсе, что читает без устали и сыплет, сыплет ахинею разную вкруг себя. Восемь раз — намедни подсчитали — в район катал, в Суворов, в ихнюю горбиблиотеку. Там — бесплатно плюс интернет для всех, за так. Ну записался, стал просить. Оказалось, есть люди-то, есть. И мысли похожие, от которых чистейший пар. Один раз уши заложило от того, куда прочитанное завело. Главное дело, женщина была. Умная — аж сердце останавливается. Оказывается, всему виной поля. Мир материален, ровно как Лёха и думал. Даже слово, оказывается, хоть сделано не из твёрдого, имеет вес. Но самое первостепенное — мысль. Так же, как и звук, и действие, и любое движение разума или материи — всё обладает физическим свойством. Даже Бог, есть он или нет его, сам по себе не имеет минимального авторитета без строго научного подхода. К слову, взял, к примеру, да и помолился, как делает всякий вечер родная бабка Арина Гаврилишна: так он с молитвы твоей считывает сигналы, выпущенные в сферу разума. Поэтому и слышит. Только после не сам ответ даёт, а умная сфера за него работает. Как автомат, распределяющий быстрые нейтрино в обмен на твои же личные нейроны, если сам открыл их и выпустил. Примерно так или около этого.

За окном плыли ракиты. Их, если подряд, было четырнадцать, в линию. Лёха точно знал, что были не посаженные, потому что взошли сами по себе. И вышло ровно и прямо, будто нарочно. Тоже бывает.

Потом закончилось Ханино и пошла грунтовка с небольшой добавкой гравия, хотя и с частыми колдобинами. Трясло. Лёха любил, когда была тряска. Помогало думать. Он вообще любил думать, ещё со школы и первой на его памяти материной пьянки. Запомнилось, что как раз тогда он впервые спросил себя, где же у него отец. Про деда знал — причиной была война. Про отца — не ведал. Мать огрызалась, а бабка Арина, хоть и любила, и ласкала неумело, но упрямо дулась за неумный интерес. Тогда Лёха, чтоб не раздувать пожар, начинал скользить глазами по стене, пытаясь угадать, почему таракан, убегая по вертикали, не срывается с плоского вниз, а он, Лёха, коли поползёт ему вслед, так точно упадёт...

Потом был пруд, после ракит. В пруду водились голавли, и Лёхе, когда рыбалил, каждый раз удавалось ловко их подсекать. Только не было и разу, чтоб пацаны после не отобрали. «Тебе они, Идиотик, зачем? — спрашивали и ржали. — Тебе чесноку надо, для лишнего ума, а голавлики, они для нормальных типа нас». Лёха сматывал снасть и уходил. Часто, пока шёл к дому, думал, что, и правда, наверно, идиотик, раз все того хотят. Хотят — значит, есть. Он и сам порой чуял в себе какую-то постороннюю гадость, что однажды въелась в кожу зелёным лесным клопом да так и осталась в ней, не подыхая.

Ещё с полчаса было неинтересно. Автобус чихал, но кое-как продвигался вдоль чахлого, по обочинам, кустарника; чуть погодя, выехали на более-менее твёрдый путь,

где взяли бодрей, и вскоре Лёха засёк впереди по курсу местную власть. С флагом и стеклопакетами. Ту самую, что лишила всех ханинских картошки. Это была первая остановка на БИС-4. Слева и справа по ходу движения торчали брошенные терриконники. Мрачные, словно недоделанные Хеопсом конусы, они стояли, глядя на Лёху невидящими зенками, и будто сообщали благую весть: «Пойдёшь направо, хер чего словишь. Налево — вернёшься ни с чем. Прямо двинешь — проблему огребёшь».

Он и выбрал её, проблему. Поскольку, выйдя из автобуса, увидал перед собой новостройку по типу коровьей фермы. К ней и двинул.

— На кормоконвейер встанете? — спросил, оглядев его, улыбчивый, среднего возраста бородатый дядька в свитере нездешней вязки. Говорил чисто, без тульского выговора, как здесь было не принято.

— Встану, — быстро согласился Лёха, не надеявшийся на близкое чудо. Сказал и осмотрелся. Везде были коровы, дойные, завезённые с других земель: чистенькие, улыбчивые, без говна на жопе и хвостах — те самые, про жизнь и смерть которых местные забыли, начиная со времени, когда последний выпас поделили пришлые гады из города. Кто они были, Лёха не знал. И вообще, дальше однократного визита в Тулу бывать не приходилось. Про бытие и успехи прочих знал из телевизора. Из него же узнал про делёжку бывшего когда-то общим добра на условиях тотальной несправедливости. И то правда — последний вагон, в который Лёха по-любому не попадал, отбыл до того, как бывшую колхозницу Арину Гаврилишну не позвали на паевой раздел земли, а мать к тому времени уже пила.

На другой день стоял на раздаче кормов. Дело было весёлым, даже не знал, что так бывает. К тому же за деньги, каких не имела вся фамилия со дня выхода её в мир людей, зверей и вещей. Когда шёл, думал, придётся лопатой, совковой. После — говно сгребаешь и выносишь. Затем — дождичком из шланга, с давлением. Дальше — дойка, ручная: какая ж ещё?

Оказалось, не так. Стоял — типа управлял процессом. Само куда надо ссыпалось, они только бошки высовывали и бодро употребляли. Жижа, о которой знал нехорошее, сама стекала в ловкие прорези, где размывалась и после этого уводилась в нужную ёмкость. Оставалось лишь зорко смотреть в три места одновременно, двигать рукояткой по типу игрового джойстика и деловито надувать щёки.

Дядька в понятии Лёхи оказался городским интеллигентом, выкупившим у власти ранее сворованное ею же у самой себя. И построившим на месте выкупа абсолютное чудо. Кроме Лёхи и дядьки были ещё двое, тоже местных. Оба стали зваться «операторы». И всё. Из огорчительного имелось одно — оба знали про Лёху, что Идиотик. Работе это не мешало, но малость давило изнутри. И всё же, несмотря на раскрытие Лёхиной сущности, дядька по-прежнему был с ним добр, приветлив и справно платил по счетам. Впрочем, к другим двоим тоже относился ровно и справедливо. Это Лёхе нравилось: особенно когда выяснилось, что деньги Идиотик имеет те же самые, что у нормальных.

Двадцать процентов за молчок насчёт частичной ненормальности Лёха стал платить пацанам, начиная с их второго общего месяца. Пришлось, правда, дать ещё и за первый, чтоб вышло окончательно справедливо. Что ж, так было надо: за плечами лежала уходящая, как натура, бабка, и вечно никакая мать. Плюс отсутствие картошного надела. Вот и старался не сорваться. Терпел, как терпел всегда. Потому что была причина: он был Идиотик. Они же — остальной мир, удел естественных и неаномальных. Дядька в свитере болтался посерёдке, не заглядывая в прореху миров, и потому не вникал в так и не оглашённый никем диагноз.

Оно и шло...

Постепенно первое лето докатилось до края тепла, вслед за ним образовалась избыточно мокрая осень, плавно перешедшая в небывало мягкую зиму. Лёха слегка приоделся, сменив ватник на прорезиненную куртку, валенки — на башмаки со шнуровкой при затейливых латунных гнёздах, а вместо послевоенной дедовой ушанки прикупил нечто мягкое и круглое с игривым шерстянистым козырьком.

Он старался. Работа, какую делал, отчего-то не надоедала. Больше того, при ней даже и думалось хорошо.

В итоге к началу весны надумалось до того, что отдельные мысли едва успевал записывать. Правда всё ещё было неясно, кто конкретно создал мир: творец или не творец. А, взглянуть иначе, кто-то ведь сотворил первоначальный текст ДНК, которым, ясен пень, обладает каждая живая клетка — дураку ж известно. А Идиотику — тем паче. Зато то, что производит человек, в том числе и сам он, коровник Лёха, — это текст второго порядка. «Значит, и мы, обыкновенные люди, можем его производить, — мысленно продолжал он. — То есть всё близко, всё рядом, все родом из одного гнезда. И если записывать мысль, — далее размышлял он, — просто так, даже не на бумаге, то сам по себе текст не исчезнет, не сгорит, не уйдёт в никуда. Просто обернётся во что-то другое: как волк, к примеру, в Ивана царевича. Тогда, выходит, что для одних, кто верит, это дело богоугодное, чистое, спасительное. Для других же, типа меня, — всего лишь полезное, хотя в определённом смысле такое же святое. Как минимум — в деле постижения материи».

Теперь по вечерам, накормив мать и убрав за Гаврилишной, он часто записывал от руки, выводя буквы и подчёркивая отдельные слова так, чтобы те потихоньку собирались в одному ему ведомом смысле. Далее с настырностью ритма настенной бабкиной кукушки пытал самого себя: «Так или не так, мать вашу? Так или как?..»

Вскоре привычка класть на буквы про то, чего надумалось, плавно перешла в дежурную нужду — не хуже каждодневной потребности пригляда за своими. Надо сказать, шло хорошо и с отдачей, но лишь для себя самого. Мир, что имелся вокруг, никак от этого не менялся и не становился лучше. В магазине, куда часто заходил, по-прежнему звали Идиотиком и улыбчиво отпускали.

Вскорости вновь случилось лето, какое, если честно, Лёха сильно недолюбливал. Летом людей всегда больше, и это означало, что «Идиотик» в свой личный адрес Лёха должен теперь слышать чаще, чем в зимнюю спячку. Тем не менее 20% он исправно отдавал двум козлам, и козлы честно молчали, не нарушая уговор. Кабы нарушили, был бы Чиндяйкину шиндец — теперь Лёха отчётливо это понимал, ведь что внутри окружности от Суворова до Тулы, что поперёк неё — другой работы для него по-любому не было. И потому он чувствовал, что ещё немного и козлы готовы будут объявить ему новый процент, тем более что хозяин фермы всем добавил. «А сам-то как хотел, дурилка картонная?» — наверняка спросит первый: обычно он примерно так и обращался, когда было надо. «Ты чего ж, думаешь, раз столько же, как мы имеешь, так всё твоё, что ли? — непременно встрянет другой козлина. И пояснит: — Это когда ж нормальные с ненормальным одинаково получали, сам подумай? Вот придёт на твоё место другой, не ёбнутый, тогда и будет как у всех. А пока плати, сучье вымя...»

Такого захода Лёха не допускал, опережал его сам. Никогда не спорил, ни из-за чего. Себе дороже. Они просто не поймут. Сам-то едва понял, как всё устроено и почему, а только не с кем поделиться. И так всегда, годами, всей жизнью, взятой ниоткуда и идущей в никуда.

А вообще, дядька был доволен, козлы — тоже. Лёха — нет, не до конца. Но не только из-за них, уродов. И не по причине вечно не просыхающей матери и по-прежнему не встающей бабки. Из-за другого. Он понял вдруг, что страдает. Так уж по жизни случилось, и он окончательно сообразил, что ничего не может с этим сделать. Но только раньше страдания его были детскими, глуповатыми, несерьёзными. И, если что — одолимыми. Потому как он, Лёха, многого тогда не знал. Недотумкивал. Например, про то, что всякое мучение, которое испытывает человек, чувствующий себя несчастным, отравляет среду, в которой сам же живёт. Как он, как другие, как любые ни в чём не повинные люди. И это неправильно. «Мы ведь носим чистую одежду, — думал Лёха, — умываем лицо и по возможности скрываем от людей свои беды... С этим надо уметь справляться... Иначе не останется в природе даже малости, которая защитит человека от грязи и склоки. От несчастий, катастроф и, главное, от потери сути...»

Они приехали через год, когда жизнь не стала ещё окончательно ровной, но обвыкание на новом месте завершилось более-менее удачно. Отдавал он теперь 33%, это было много, потому что — треть, но он договорился с козлами, что цифра останется несменяемой, а если чего, то он просто плюнет им в глаза и пусть тогда голосят про всё, чего и кому захотят. Те подсчитали и согласились.

Так вот, прибыли парой, супружеской. В гости, к дядьке. Столичные. То ль учились вместе, то ли дальняя родня, или, может, просто такие же, как сам. Ходили, смотрели, цокали языком. Хорошие, было видно, оба. Лица такие незлые — когда ничего за пазухой, как ни выискивай, сразу понятно, что на чистом позитиве. Звать Ириной Евгеньевной и Михал Борисычем. Август стоял, самые грибы. У них, ханинских, было так: как сгинул последний летний колосовик, так отсчитывай месяц и иди по-любому, пускай и без дождя. Всё равно будут. Новые, белые, свежак. У бабки Арины, помнится, к началу сентября штук под сорок ниток с печи свисало: сухие, ароматные, целиковые. Чистые боровики, чаще — одни шляпки. Половину потом раздавала за так, другая — держала Чиндяйкиных всю зиму. На супах.

Он же и попросил его, дядька с фермы: поводи, мол, Лёнечка, по вашим местам, как сам же рассказывал — мы-то неместные, никаких ваших тайн про грибное не знаем. А друзья — любимые, поверь. Кто же, коли не мы, правильному отдыху поспособствует? Тем более при сохранении зарплаты и премиальном уважении. Если только нормально наберут с собой.

Машина была у них, тойота, вездеход. Пока добирались, стали говорить. Попутно про всё зацепили. Поначалу было непривычно, последний год без дела разговаривал пару раз лишь с господомбогом, в котором, начиная с даты рождения, крепко сомневался. Гаврилишна, зная такое про внука, подхода его не одобряла. Печалилась. Говорила всегда одно и то же:

— Ты пойми, Лёньк, пускай даже нету ево, никто ж не видал, а только сила у ево всё равно есть. Ты ему — слово, он тебе — два, и каждое молча. А только ты по-любому слышишь, будто в ухо нашёптывают. И веришь. Без веры никуда, без веры — в прорубь. Лучше на мать свою глянь. Всю жись без веры прожила, и вона где теперь — башкой в болоте.

Внезапно вспомнилось, он и спросил их, столичных:

— А вы в Бога верите, если что?

Оба удивлённо глянули друг на друга, однако не смутились. Он сказал:

— Вообще-то, юноша, мы агностики, оба. А вас какой конкретно аспект веры интересует?

Лёха сидел сзади, они — спереди. Было не так, чтоб удобно. Михал Борисыч, отвечая, слегка оборачивался, и в этом момент Лёхе казалось, что красивый лаковый вездеход вот-вот потеряет управление. До этого в его жизни была телега — считай, всё детство — плюс наёмная лошадь от картошного надела до избы, осенью. Остальное — общественное, если не считать случайных чужих жигулей в разные годы. Тойот точно не было. Как и людей, какие её вели, — тоже не имелось.

В ответ он не растерялся, потому что давно знал из читанного, что такое агностик. И стал отвечать не на том языке, на котором жил, а на том, с помощью какого думал. И пояснил:

— Знаете, я даже не агностик. По мне, так Бога не то чтоб нет вовсе, просто его заменяет некая субстанция, устроенная не менее мудрёно, чем рисованный на облаке дед. Беда в том, что наука пока этого не берёт и, думаю, не возьмёт ещё пару сотен ближайших лет.

Ирина Евгеньевна, в пол оборота развернувшись, с интересом уставилась на грибного пацана Лёху и задумчиво повела плечами. Михал Борисыч, чмокнув губочками, почесал пальцем под носом и спросил: — А вы где учились, Леонид?

— Я местный, — коротко отбился Лёха. Ему хотелось ещё, но он не знал, как ловчей ввязаться. И тоже спросил: — А сами-то вы? По технике больше или гуманитарии?

— Михаил Борисович — доктор биологических наук, — отозвалась за мужа Ирина, — профессор, завлаб. А у меня книжное издательство. Трудимся в Москве и за границей.

«Это я удачно зашёл... — в страхе подумал Лёха. — Так ведь не бывает, а я взял и зашёл...»

— То есть раз вы агностики, то, значит, допускаете, что какой-никакой вышний разум всё же есть, пускай даже не впрямую от Бога, но в чём-то с ним соизмеримый. Так? — Страх отступил, вместо него на спине образовалась огромная потная капля, которая, устремившись к земле, резво соскользнула по хребту и намочила резинку Лёхиных трусов. — К примеру, поля разные... — добавил он и вопросительно глянул в спину профессору. — Воспринимающие информацию и ею же обменивающиеся. Я правильно вас понимаю?

В ответ спина профессора лишь пожала плечами, незаметно улыбнулась Лёхиной догадке и ответила, не оборачиваясь:

— Ну конечно, так и есть, человек окружён полем, и даже полями, их много, они нескончаемы и очень связаны между собой. Природа их — биологическая. Но нет, и физическая тоже, потому что всё, чему должно вращаться, создаёт поля. Солнце, планеты, мы с вами, Леонид. Полями окружено всё, абсолютно всё. Именно они представляют собой гигантский информационный поток, и именно они образуют бескрайнюю систему, в которой скорость распространения сигнала мгновенна, а понятия времени вообще не существует.

— Здорово! — воскликнул Лёха. — Я так и думал. А ещё, знаете чего? Ещё я думал про то, что человек сам является генератором полей разной силы. И любая мысль его, которую он из себя испускает, уже, считай, готовая материя. И из неё-то как раз и строится новое поле, и на это поле можно так-сяк воздействовать. У меня вот бабка молитвы любит. Мы с ней про них, бывает, спорим, а того оба не понимаем, что молитва, наверно, — самый точный способ воздействия на поле человека! — На секунду он прикрыл веки, переводя дух, но тут же распахнул их обратно и

продолжил: — Я только сейчас догадался, что она как раз и несёт в себе доброе начало и поэтому должна разрушать всё нехорошее и негативное...

— Вообще-то это синонимы... — улыбнулась Ирина Евгеньевна, — говорю как противный редактор со стажем.

— Продолжайте, Лёня, прошу вас, — снова не обернувшись, подал голос Михал Борисыч. Мне интересно. А то к грибам прибудем, а времени не останется.

— Так вот я и говорю... — вновь встрепенулся Чиндяйкин, — сам-то Бог, скорей всего, не работает, это известно всем. Но есть слова! Слова — это колебания, и не только про Отче наш. Они-то и влияют на нас, людей. Молекула понимает речь и её смысл, и ей очень даже не наплевать, чего мы говорим, как себя ведём и про что думаем. Кровь, как и много ещё чего, имеет атомы железа, и именно поэтому её молекулы работают антеннами, мильёнами крохотулечных антенн: они же напрямую смотрят в космос, и оттуда же, скорей всего, снимают сигналы. Про всё. Например, про то, как должен выглядеть сам человек, растение, животные, всё такое. И получается, что наше тело — такая же вселенная, как и та...

Он умолк, после чего выразительно посмотрел в потолок вездехода. Туда же направила взор и Ирина Евгеньевна. Последовала небольшая тряска — они въезжали на грибную опушку, куда привёл их коровник Чиндяйкин. Скорость Михал Борисыч почему-то не сбросил — при том, что дорога уже не позволяла давить фасон. Они ещё пару раз подпрыгнули на двух соседних кочках и остановились.

— Глушите, — кивнул Лёха на мотор. — На месте.

— Вылезаем? — спросила Ирина и глянула на мужа. — Корзину или ведро?

— Погоди... — слегка окаменело отозвался профессор. Дай договорить. — И обернулся к Лёхе:

— Вы, Леонид, разумеется, правы в том смысле, что многие чувства, включая даже любовь с ненавистью, имеют мощнейший отзвук в среде так называемых торсионных полей. И мысль сама по себе ровно так же материальна, это уже известно и, можно сказать, неоспоримо доказано. Вот вы, к примеру, подумали о чём-то нехорошем или, наоборот, что-то очень хорошее и доброе в голову к вам залетело. И это не просто так, поверьте: влетело-вылетело и без остатка забылось, — совсем не так. Всякая мысль и слово остаются в сфере разума, которая сама по себе никуда не девается, она лишь ширится и развивается как отдельный функциональный организм. Как, например, безграничная живая пустыня, где каждая песчинка есть крупица памяти, обрывок слова, направление мысли. А вместе они составляют то самое пространство объединённого человеческого разума, которое, скажу вам честно, вполне возможно, достигает и космических пределов. Зависит, само собой, от личности излучающего.

— Да! Да-да-да, чёрт возьми! — внезапно заорал Лёха, подскочив на месте. — Тыщу раз да!!!

Ирина Евгеньевна вздрогнула и с опаской глянула на мужа. Тот, впрочем, сохранял полное, в каком-то смысле даже приятное делу, хладнокровие.

— Так мы идём или как? — искренне не поняла она.

Мужиков, таких разных и умственно далёких друг от друга, как небо от унитаза, замкнуло один на другого, и теперь было ясно, что быстро их не расцепить. Она, жена, как бы всё ещё была здесь, в тойоте, но как бы её уже и не было. Прорезь миров, зиявшая перед Лёхой в ходе всей предшествующей грибам жизни, энергично затягивалась. Оба они это понимали. Теперь он чувствовал, если даже не знал доподлинно, — нельзя безотчётно молчать, нужно говорить, произносить слова и звуки, необходимо принимать и выпускать из себя космические знаки, символы, коды, нужно позитивно мыслить,

склоняя мир к лучшему, пытаясь выискать красоту и добро повсеместно, тут и там, или если не умеешь найти и оценить их, то хотя бы не сопротивляться тому, что это делают другие, зная, что так или иначе, но оно коснётся самого тебя.

И это был улёт, абсолютный и невозвратный.

— Так вот, о Боге... — задумчиво продолжил Михал Борисыч, — уж коль скоро заговорили. Наверно, хотите спросить, отчего же тогда в нас с Ирочкой посеян этот самый агностицизм?

— Хочу... — с энтузиазмом кивнул Лёха, — и спрашиваю.

— А просто божественное начало в человеке — есть не обязательно непременность веры в любого истукана, будь он хоть носитель православия, а хоть любой другой веры. Божественность, Лёнечка, — непреложный закон эволюции, а это не более чем обыкновенные здоровые молекулы, сложенные организмом в определённом порядке, отвечающем за единственно верное функционирование человеческих систем. Иными словами, это нечто вроде мягко действующего слабительного для души, без которого с лёгкостью можно обойтись, если ты изначально обеспечиваешь правильным и здоровым продуктом свою сердечную надобность. А в итоге — всё, что находится за гранью понятной морали, совести, поведенческих начал и психологии разума в его самом общем аспекте, не следует считать в человеке духовным, — какое-то время он помолчал. Лёха — тоже. Потом поинтересовался: — Это понятно?

Именно это и было очень даже понятно. Поэтому Лёха кивнул и сказал:

— Согласен. Никакого, выходит, противоречия.

— Вот именно! — резко согласился профессор. — А заодно и хуже точно не будет.

И оба засмеялись. Обоим было хорошо. Дёргалась лишь редакторша, но, в общем и целом, ей было наплевать. Грибы она обычно брала на рынке, а в тьмутаракань к старому другу-биологу, решившему нажить на коровах, её упросил ехать Мишка. И она, будучи убеждённым агностиком и умной женой, не собиралась ему отказывать.

Несмотря на изрядно сократившееся время сбора, набрали две полные корзинки и ведро. Ведро было Лёхино, но он подарил его Ирине Евгеньевне. За терпение.

Когда ехали обратно, нагулянные и смертельно усталые, каждый думал о своём. Редакторша — о том, что Бог — Богом, а суки из Книжной палаты снова, кажется, готовы завернуть очередную поганку, чтоб удобней было выискать безналоговую часть тиража.

Михал Борисыч — о том, что Ирка его, сука такая, третьего дня звонила директору института, чтобы как можно скорей двинуть его в член-корры. Впрочем, тот факт, что когда-то в молодости она с ним спала, ещё не делало просьбу невозможной. Но ещё больше он думал про коровьего мальчишку, завидуя тому, что сам в его годы был тюфяк-тюфяком, а этот, деревенский, — вон какой, сука, умный. Прям до задницы пробило.

Лёха, устало развалившись в кожаном заду вездехода, лежал, прикрыв глаза, и не верил себе.

— Господи... — шептал он, — господи ты моё... они ведь такие же... такие, как я... И никакой я не идиотик. Я же нормальный, как они. Мы же все одинаковые, одинаковые, одинаковые...

На другой день московские отбыли. Довольные. Лёха точно про это знал.

А ещё через сутки он, Идиотик, к финалу объяснения с козлами, прихватил одного за шею, другого — за затылок и резко сдвинул головами. Раздался громкий звук удара пустого о порожнее. И Лёха опять разбогател на треть зарплаты.

Сергей Золотарёв

Небесная Твердь

Рассказ

1731 год. В Рязани при воеводе подьячий нерехтец Крякутной фурвин сделал, как мяч большой, надул дымом поганым и вонючим, от него сделал петлю, сел в неё, и нечистая сила подняла его выше берёзы, а после ударила о колокольню, но он уцепился за верёвку, чем звонят, и остался тако жив. Его выгнали из города, и он ушёл в Москву, и хотели закопать живого в землю или сжечь.

Из записок Боголепова

1891

— Васька, ты чего?

— Ух, полечу.

— Убьёшься!

— Тут важно — как. Вы все обычной смертью сойдёте, как снег. Кто в кабаке упьётся. Кто от трудов непосильных жилу надорвёт. А я хочу с землёй почеломкаться. Да так в уста её сахарные засосать, чтобы век помнила.

— Скорее топь тебя засосёт.

Васька стоит на пожарной каланче с ломкой корочкой самодельных крыльев за спиной.

— Слезай, придурошный, — подходит жена — Акулина. При ней Ваське несподручно. Он не опробовал ещё конструкции и не желает срамиться. Потому нехотя, цепляясь крыльями и вконец их ломая, начинает спускаться.

— Принесла нелёгкая.

Небо серое, затянутое дождевыми тучами. В такое небо даже плохой хозяин...

Вечером в кабаке Васька расходится и задаётся. Собрав вокруг себя кружок студентов, вещает им диковинную теорию воздухоплавания.

— Вид из окна это то, на что мы смотрим или то, чего видим? А вид сверху? Вам не кажется, что мы не можем себе его позволить из трусости? Заглянуть природе под юбку — на это у нас нахальства хватает. А вот обозреть родную окраину

Золотарёв Сергей Феликсович — поэт, прозаик. Родился в 1973 году. Окончил Государственную академию управления им. С.Орджоникидзе. Автор поэтических сборников «Книга жалоб и предложений» (М., 2015) и «Линзы Шостаковича» (М., 2021). Лауреат премии журнала «Новый мир» (2015). Живёт в г. Жуковский.

Предыдущая публикация прозы в «ДН» — 2021, № 7.

свысока — тут кишка тонка. Это же в голове. Ментальность, как сказал бы австрийский доктор (или ещё такого понятия нет? Ну да и ляд с ним), — распаляется Василий.

Мёд отставлен в сторону, пошли прозрачные русские слёзы. Горький напиток, отдающий свинцом.

— А оттого, что есть в безопорном воздухе место, что называется Твердью Небесной. И тогда человек может идти по небу, аки по суху, и ангелов на облацех наблюдает вживую. Только постоянного места у Тверди этой нет. Она как остров какой. То вынырнет, то опять исчезнет. Потому и не обнаружили его до сих пор. Говорят, несколько счастливчиков только добрались да там и остались — так там хорошо.

— Брешешь.

— Да у меня батя там сгинул.

— Счастливчик?

— А то? И счастливчик. Он на шаре улетел. Да так и не вернулся на почву. А аккурат на Покров на меня сверху шапка пала. Отцова шапка — вот те крест. Гляжу, а в небе хрустальный облак стоит, как дворец шахматный. Да высоко так! Ничего не усмотреть. Не расслышать. Уж орал я, уж махал. Это ведь батя мне весточку скинул, — пьёт и плачет Васька-стервец.

Приходит Акулька, забирает непутёвого домой. Любит его потому как.

* * *

Пробуждение.

— Всё-всё, отстань, чумной, — ласково встаёт с кровати побывавшая в утренних объятьях мужнина жена. А он ещё лежит, добрый и похмельный, ворочая в голове неподъёмные тюки мыслей:

— Кого человек ублажает? Ведь не тело. Что тело? Наслаждение на пару временны*х* интервалов. И ведь не душу. Душе этого не требуется. Но и не психику. Психика этого не выдержит. И вот, подумал Галкин, вполне вероятно, что между телом и душой в процессе трения образуется отработанная жидкость, а впрочем, может, она и специально добавлена, как масло, чтобы части личности при контакте не перегревались. Она-то и требует этих наслаждений, в качестве охлаждения для поддержания рабочей температуры.

— Дядь Вась, иди конец света смотреть, — зовёт в окно соседский мальчишка.

— Чего тебе ещё?.. — ворча выходит Василий на крыльцо.

Тысячи птиц усыпали землю. Чёрные мёрзлые плашки ворон и галок разбросаны, как обгоревшие звёзды млечного пути, снятые под копирку. Старый Голутвинский тракт похож на небо.

Богобоязненные люди видели в том знамение и молились по домам.

Галкин в раздумье ходил по дороге, брал холодные трупы на лопату и относил к братской птичьей могилке. Он собирался сжечь их, чтобы отправить домой на небо.

— Васька. Ты пошто на покос не пошёл?

— Есть надоба покучерявее.

— Это птитвору-то шевелить? Срамота. Иди ещё заупокой поставь, еретик!

— Тебе, Матвевна, своих-то детей не жаль по земле сволакивать, куда ж птицу понять. Она вон с неба попадала как груша. А ты о земле печёшься. Земле не больно. Больно в том месте, где оторвалось.

— Тьфу, — Матвеевна обиделась, услышав что-то отдалённо похожее на «сволочь», и ушла, подволакивая ногу.

Образовавшуюся пустоту занял серый отдышанный воздух. Перистых телец не убавлялось. Говорили, они усыпали собой всё вокруг на сотню вёрст.

— Может, со стеной какой столкнулись? — размышлял вслух Галкин. — Или с горой летучей?

Размещая трупики в ряд на импровизированном жертвеннике, Васька разговаривал с душами умерших птиц:

— Ежели хотите что сказать мне, так самое время. Верхнее небо наехало на нижнее, али ось колеса небесного подломилась? Где ваши голоса, сизокрылые братья? Порваны связки? Что вы молчите? Или мне последовать за вами?

Галкин подумал, что таким образом птицы указывают ему путь на небо. Сначала надо пасть, сорвавшись с неба, разбиться, чтобы потом душа с восходящим дымом отправилась прямиком в Рай.

— Эхе. Да ведь я православный. В земельку прикопают. Да и расшибиться заведомо грех какой. Однако ж, Тверди небесной взыщу! Стяжать её, чай, не есть ли подвиг духовный?

Он взял разодранный труп неопознанной пичуги голыми руками и поднёс к лицу.

Вилочковая кость имеется только у птиц и предназначена для полёта. Это именно та косточка, которую они тянут на спор с Акулькой, когда едят по праздникам курятину и, пребывая в хорошем настроении, решают, кому из них быть сверху.

Васька не раз видел скоординированный полёт огромных стай скворцов, ворон, галок или других птиц, который приобретал причудливые формы. Точно огромная тень постоянно меняет конфигурацию, переливается из пустого в порожнее, отливает иссиня чёрным. Галкин думал, что птицы объединяются в такие стаи для защиты. При этом во время полёта они находятся в таком положении, при котором солнечный свет равномерно освещает каждую птицу.

Но то — полёт. Чтобы точно так же вести себя в смерти на земле, такого ни одной стае в голову бы не пришло. И вот же ведь разлеглись по всей округе в боевом порядке.

Так и не найдя в себе силы пойти в поле, отправился домой обедать.

Как же мне крылья-то закрепить надёжнее? Ведь под давлением массы воздуха, противодействующей падению тела, фанера сломится, а жердь слишком утяжеляет конструкцию. Вот бы полую кость иметь для дела, — думал наш горе-изобретатель, уплетая куриный суп. — Ежели бы полёт использовал силу мышц, надеяться было бы не на что. А вот инженерную мысль вплести в окружающую среду вполне себе можно.

Паутина в углу колыхалась сквозняком. Одомашненный ветер.

— Воздух — это что? То, что во мне и я в нём. Человек — прослойка между внешним воздухом и внутренним. Стало, уже парит в надземной газовой смеси. Прямохождение — это спрямление атмосферного столба. Ещё одно усилие, и можно будет говорить о полёте.

Нашли Василия Галкина в своей избе, подавившегося куриной костью.

1957

Ни один самолёт ещё не оставался в воздухе.

(*Лётная мудрость*)

Два «ястребка» разбегаются по взлётке. 57-й. Год запуска первого искусственного спутника и последнего натурального молока.

Разлетаются на километры. Конечно, ни о каком наблюдении зеваками нет и речи. Это во времена Чкалова такое было возможно, когда скорости были, скажем, совсем околоземными. Реактивные разгоняются до сверхзвука с запасом, оттого увидеть их можно только на выполнении фигур высшего пилотажа, чем обычные дуэлянты и меряются.

Но эти решили лететь навстречу до максимального сближения, выпуская в сторону оппонента жёсткие лучи самозванства. Шерше ля фам, как говорится.

Оскорблённое достоинство требует сатисфакции в виде воздушной дуэли. Оружие — Миг-15.

Испытательная техника, она что? Её не жалко и угробить. А уж свои жизни наши орлы заложили богу войны ещё в Великую Отечественную.

Подходят. Стальные тазы дрожат, как при родах. Сигара фюзеляжа затягивается встречным потоком, сжигая алюминиевый табак в пепел осыпающегося грохота. Рахитичные стрингеры уже не держат. Земля вращается как веретено, наматывая первый спутник.

Первым отвернул второй.

* * *

— Ты на него зла не держи. Он за небо душу отдаст, — мать Мартина Галкина сидит со своим крестником — летчиком-испытателем Талабуевым Ванькой — тем самым, что только вот просрал дуэль обидчику.

— Начиная с прадеда, весь их мужской род связан с авиацией. Существует семейное предание — уж не знаю, откуда пошло, но каждый Галкин свято верит в него. Предание о Тверди небесной.

— Это что-то из старых книжек. Религиозных, кажется, тёть Мань.

— Чтоб тебя. Коммунисты пока не верующие. Здесь как бы о другом. Я баба тёмная. Но Мартин всё время меня осветляет. Вроде как изредка в атмосфере могут возникать явления, благодаря которым на некоторое время может образовываться что-то вроде острова. По преданию, их далёкий предок побывал когда-то на ём, и с тех пор все Галкины его ищут. Даже что-то вроде проклятия. Им не верят, а те упёрлись. Задача каждого мужчины, во-первых, — продолжить род искателей, во-вторых уже, — искать.

— Мне-то что с того?

— Запал он на Лидку. А влюблённость воспринимается им как судьба. Так что ты не только ему поперёк горла, что сам орёл, а всему роду их тошному, прости господи! Ну самодуры, каких свет не видывал. Батька его, муж мой, меня из зимы украл, и огонь укротил. Это к слову. Так что не обессудь, Вань. Прости ты его, дурака такого. Не на тебя он прёт, а на вечность.

* * *

Вечером цветы били питьевым фонтанчиком из его каменной руки.

Мартин Сергеевич Галкин. Красавец лётчик-испытатель. Сегодня испытывает терпение начальства. На глазах которого провёл воздушную дуэль с бывшим однополчанином.

Лидочка. Туфель лодочек ещё не было, но у неё уже были.

Мартин Галкин дикий, как тайга. Лидочка сдаётся под его натиском сразу. Он ей нравится давно. Порыв его откровенный и неприкрытый. Что-то животное и в то же время искреннее есть в его страсти. Выросший Маугли.

И читает стихи. Хармса, а не Маяковского. И пьёт её глаза, а не алкоголь. И не обещает ничего, потому как умереть готовый в каждый новый день, как ночь, которая станет утром.

И так-то всю вечность, что отведена им под отчаянность...

* * *

В дверь стучат. В дверь толкут. В дверь колотят. МГБ пришло за нашим лётчиком. Безопасность ищет его свободы.

Мартин орёт через дверь не своим голосом:

— Дайте закончить начатое, звери!

И гэбэшники затихают, и гэбэшники ждут до самого утра, пока лётчик-истребитель

созидает своей лаской новое неистребимое чувство. Не обращая на них никакого внимания, ибо смел этот Галкин как чёрт.

И нежен, как нибелунг.

Кровать с пружинным матрацем, набитым конским волосом, кровать из нового румынского гарнитура «Тюльпан», кровать не скрипела, но громко дышала людьми — её вдох, его выдох.

Под утро кровать задержала дыхание на вдохе.

— Пусть и в тебе утвердится что-то небесное, родная.

Он поправил одеяло на тихой.

— Спи, солнышко. Ты взлетишь с этой полосы с максимальной полезной массой. Никакая смерть не остановит нас. Смерть никакая. Что она может против любящих людей? Я выйду за двери и пропаду. Но никуда не исчезну. Я заставлю их дать мне самую смелую машину, чтобы поднять её в воздух усилием нашей спаянности. Я буду уводить их подальше от тебя. Ты же в тишине своей жизни совершишь погружение, и в колоколе счастья достигнешь своего ядра. Смерть — это злое сусло. Но и она необходима для брожения жизни. Иногда я буду плакать прямо в полёте. Не в лицо, а куда-то в фонарь. Но это ничего не изменит и ничему не помешает. Жизнь в нас лишь часть чего-то большего. Жертвенность и любовь расширяют границы человеческого тела. Человек становится шире. А наследственность делает человека бесконечным.

Мёртвый человек иногда может больше живого. Например, спасти других. Пойду спасать.

Вышел, погнув зеркало своим отражением.

* * *

— Товарищ полковник. Разрешите загладить вину. Разрешите экспериментальный образец поднять в воздух.

— Рано, Галкин.

— Я всё продумал. С нас всё равно требуют к годовщине революции сдать. А без испытаний на критических углах не успеем.

— А завалишь?

— А так программу сорвём.

— С другой стороны, от тюрьмы тебя только Герой (Святой Георгий) теперь убережёт, Галкин.

Главный конструктор покачал головой.

— В принципе, расчёты произведены. На стенде всё прошло штатно.

* * *

Смерть — возможность реализующаяся: если ракета выпущена, то даже промахнувшись, она вернётся. В авиации используют ложную мишень, выбрасывая, как кальмар — чернила, тепловые ловушки. В жизни сложнее. Едва успел отвернуть от перебегавшего дорогу дурачка, тут же стекло запачкало размозжённое о лобовое насекомое. Размазалось и замерцало в углах смертью. Её остывающим топливом, разлившимся чуть, и радужной плёнкой, чуть заметно высыхающей рядом с пятном. Это смерть реализовала свою очередную попытку.

Мартин Галкин в высотном костюме надел гермошлем и захлопнул фонарь.

Оторвавшись от полосы, машина резко ушла вверх, послушная рукам своего вожатого.

Земля осенней выделки. Небо горит пришлым светом. Небо похоже на отражение Земли. Как тёмная вода, отражающая осенний лес, Небо стоит холодным зеркалом.

— Человеку нет возможности дышать на высоте девяти километров, а высочайший пик вписан аккурат в это значение. Случай? Игра? Люди на пике своих возможностей могут достигнуть высочайшей вершины Земли. Совпадение?

Самолёт с радаров не пропадал. Напротив, когда истекло и расчётное время возвращения, и время на выработку всего топлива, крестик его продолжал недвижимо светиться на сетке осциллографа. Выдвинувшиеся в означенный квадрат истребители объект визуально не наблюдали. Три дня точка светилась в указанном месте на радаре, пока, по выражению диспетчера, не рассосалась. Проводящиеся всё это время в указанном районе поиски не давали никакого результата. Ни обломков — ничего.

1981

Лестницу, поскорее давайте лестницу!
(*Последние слова Гоголя*)

Лётный состав проходит ВЛЭК. Множество кабинетов. В последнем берут анализ на способность крови противостоять закипанию.

Молодая врач Вера Сергевна. Хрупкая и сильная изнутри. Натура, словно подпёртая чем.

— Галкин, вы уникум, — говорит и улыбается тенью.

В лёгких человека постоянно содержится около трёх литров альвеолярного воздуха. Парциальное давление кислорода в альвеолярном воздухе при нормальном атмосферном давлении составляет сто десять миллиметров ртутного столба, давление углекислого газа — сорок миллиметров ртутного столба, а паров воды — сорок семь. С увеличением высоты давление кислорода падает, а суммарное давление паров воды и углекислоты в лёгких остаётся почти постоянным — около восьмидесяти семи миллиметров ртутного столба. Поступление кислорода в лёгкие полностью прекратится, когда давление окружающего воздуха станет равным этой величине.

С точки зрения физиологии человека «космос» начинается уже на высоте около девятнадцати-двадцати километров. На этой высоте давление атмосферы снижается до сорока семи миллиметров ртутного столба и температура кипения воды равна температуре тела — 36,6°С, что приводит к кипению воды и межтканевой жидкости в организме человека. Вне герметичной кабины на этих высотах смерть наступает почти мгновенно.

Но вот у определённой группы людей эта граница сдвинута вверх до двадцати пяти километров. Таких не берут в космонавты, но приглашают в лётчики. Невооружённым взглядом трудно отличить потенциального лётчика в толпе, но можно. Он редко закипает в экстремальных ситуациях. Сохраняет спокойствие в любой обстановке. Вы из таких.

Галкин нарисовал каплю и перевернул её, получился парашют.

— Капля в свободном падении, если её замедлить, переворачивает пространство и превращается в парашют. То бишь ориентирование по категории верх-низ зависит от скорости падения, — произнёс Галкин и пошёл переодеваться. Но неожиданно вернулся.

— Вера Сергевна. Вера. Вот я потомственный лётчик, а вы, как известно, врач в поколении...

— Кому известно?

— Да всем. Ещё ваш дед лечил моего уже...

— ...А ваш дед — лётчик. Круг замкнулся.

— Мой дед пропал. Самолёт не исчез с радаров, но в месте предполагаемого нахождения визуально ничего не наблюдалось. Три дня облётывали весь квадрат. Прочесали всю землю. Так и остался этот засекреченный случай в истории авиации как единственный. Муха на экране — звали его лётчики. Ни обломков самолёта, ни топливного пятна, ничего обнаружено не было.

И пошли слухи. Поганые слухи. Всю жизнь моему отцу они поломали. Мол, дед на самом деле угнал экспериментальный вариант нового секретного истребителя за кордон. Что всё это секретная операция ЦРУ, и прочее. Здравый смысл — хотя много ли в этой истории вообще здравого смысла? — здравый смыл говорит, что до ближайшей границы с капстраной не хватило бы горючки. Что никто не может ослепить локаторы. Но вот прилипла шпионская версия и всю биографию, даже не деду — отцу, изогнула дугой.

Дед был скала. Только вот сын — мой батя — не обладал дедовским характером. Мягкий, интеллигентный был болезненный человек. Очень добрый.

Врач молчит, почему «был», — догадывается.

— Умер в прошлом году от расстройства. Обидели его на работе, он и истлел. Мягкий он был.

— Вы допущены к полёту.

— Вера. Сегодня важный полёт. Могу я вас пригласить в ресторан «Спутник» отметить его вечером?

— Важный полёт, а думает о глупостях.

— Для меня и вечер важный.

— Возвращайся поскорей, Галкин. Я приду, не буду подводить династии.

Вышел сияя. Красавчик.

* * *

— Видишь, капитан, вот на этом режиме образец ведёт себя непредсказуемо. Рулей не слушается. Возрастающие вибрации. Всё как будто перед переходом на сверхзвук, — только не он. Честно говоря, инженеры не знают, в чём причина, потому тебе предстоит полетать в режиме, сколько получится.

Лысый конструктор потеет и не знает, как оправдаться.

Кульман наклонён ровно настолько, чтобы с него не осыпался грифель твёрдого карандаша — этот снег небесного негатива.

* * *

Галкин оторвался от земли и взял ручку на себя. Новый истребитель непреклонен, как стадо овец. Этому гурту нужна хорошая встряска. И опять вспомнил деда.

Тогда ничего выяснить не удалось. Но вот теперь речь об определённой природной аномалии. Это зона перехода одного состояния в другое. Где-то на границе между тропосферой и стратосферой. Возникает чрезвычайно редко. Продолжительность состояния неизвестна. Предположительно — недолгая. Её так и окрестили — «небесная твердь».

Пришло дрожание, сильная вибрация.

Небо сделалось странным, закатным, раздражённым и больным, как красное горло. «Ястребок» казался палочкой с люголем. Галкин сидел в кокпите и чувствовал себя проваливающимся в бездну глотком.

И начал искать в воздухе, что бы ему предпринять.

Словно грозовой фронт накрыл их адской воронкой.

Ну вот. Смог зайти так далеко, как никто до него. Галантность жизни отставлена. Только смерть и презрение к ней. Только отчаянная смелость — не бояться пылающих на обшивке огней. Только месть планетарного льда! Самолёту всё тяжелее, лётчику не до чувств. Штурвал слушается рук плохо. Так пусть слушается сердца. «Вверх!» — командует в себе Галкин, и железный организм послушно выносит его в центр огромного вихря. В столбовое затишье.

Доложил на КДП. И неожиданно увидел его.

Огромное скопление. Высокую облачную равнину. Белое безмолвие.

* * *

Галкин выходит на облаке. Галкин ссаживается с корабля. Облако твёрдое, как спаянные кристаллы льда. Но тёплое, как плед. Тёплые скелеты любви.

Фига себе.

Поверхность была достаточно твёрдой, чтобы выдержать многотонную машину, и достаточно лёгкой, чтобы висеть в воздухе. Что-то было не так с физикой, но не суть.

Несколько осторожных шагов. Невесомое счастье захватило пилота, и он помчался по сияющей лужайке.

Бежал долго, пока не остановился.

Развалины самолёта. Дедов «Як». Вот и всё. Небесная Твердь действительно существует.

Никуда дед не сбегал. Скорее всего, самолёт повреждён при посадке. Да, вот сломанная стойка шасси. Даже не заржавела. Испытательный образец, как новенький. Где-то должен быть и сам пилот. Косточки только. Впрочем, мог и сойти на Землю.

Галкин идёт ещё сколько-то и, наконец, различает что-то вроде заоблачной палатки, едва заметной на равнине.

Внутри светло. Внутри сидит человек, прислонившийся к стенке, словно слепо спит. Борода улыбается, как солнышко в ней живёт. Лицо чуть темнее обычного, как будто загорел. Моложе внука. Кожа должна быть мягкой, если потрогать, но потомок не решается.

Видит Планшет. Открывает Дневник.

И слёзы проступают в нём, подмывают лицо как весенние проталины.

«Внучек мой, — пишет дед, — я с облачка всё вижу. Облокочусь и стою. Оболочка тоненькая, а суть толстая. Суть в том, что мы никому не нужны. И в этом закон этого места».

— Ты мне нужен... — шепчет Галкин.

«И потому ты здесь, — неожиданно в тексте. — Знаю, что именно ты отыщешь меня. А потому именно тебе доверяю свои записки. Основаны они на удивительном наблюдении, которое мне довелось проводить в течение некоторого времени, пока хватило пайка. Теперь уже всё, наверное.

Был я на земле диковатым малость, вот, небо приручило. Здесь только понял, что энергия моя — кузовок. А складывать в неё надо тишь сердечную.

На самом деле Земли нет, а всё, по чему мы ступаем, — та же самая Небесная Твердь, что сейчас под тобой, только побольше и постарше. Кристаллики лёгкого ужаса спаялись в небесный фирн и держат материки в открытом космосе. Кислород берётся из них же — ибо застывший пар нашего сердца. Тепло же — вообще понятие умозрительное. Человеку нужно только человеческое тепло. В своё время мы работали в неотапливаемых ангарах и не мёрзли. Жар наших молодых организмов нагревал окружающее пространство до необходимой температуры. А Нансен, Амундсен? Они не замерзали на полюсах, имея под рукой только добрый слежавшийся снег воды.

Всё имеет своим происхождением источник. Смотри, полы скрипят под ногами точно так же, как послужившие их материалом сосны при сильном ветре.

Люди, проживающие в Небе, всяко происходят от ангелов, а не от наземных животных. Животные пришли снизу. Из пустой породы. Там действительно есть нечто похожее на земное ядро. Но людям туда нельзя.

Человечество наблюдает не ту реальность. Космос материальный, известный до какой-то степени физикам — Жёсткий космос, основанный на перепадах температуры в миллионы градусов. Солнце выбрасывает кипящие лучи, и абсолютная мерзлота остужает их до состояния Земли в полном составе. Я обнаружил выход в Мягкий

космос, где обычный человек без всякого снаряжения чувствует себя как на курорте в Гаграх, что в открытом космосе, что у светящейся звезды.

Кусочек этого космоса — женщина! Да, да. Я это понял, когда захлопнул дверь соседской комнаты. После уже поздно осознал, как дорого мне стоит её отсутствие. Но мы не можем приручить тех, кто нам дорог. Знаю, что моя любовь, моя ненаглядная соседка станет твоей бабушкой. Откуда? Из того же Мягкого космоса, который внутри всех нас. Твой отец лучше всех знал это. Если бы мы умели слушать тишину, как пытаются учёные услышать звук далёких радиоволн».

Галкин трогал руками Планшет, кожу его, карандаш, компас, карту, на которой что-то было дописано.

«Как войти в Мягкий космос? Если ты унаследовал от меня — а ты унаследовал — нашу лётную кровь, то тебе осталось всего лишь снять гермошлем. И там, где обычный человек погибнет, тебе откроется нечто новое».

Галкин смотрит на мумию деда:

— Ну, Мартин Кузьмич, не подведи!

И отстёгивает наголовник.

В лёгкие врывается тёплый воздух соломенного цвета (ведь именно через соломку пьётся воздух).

Человек видит лестницу, по которой смешно спускается деревянный человечек его детства. На угловатых руках и ногах — пазы, игрушка ловко вертит сальто на ступеньках. И чтобы начать заново, достаточно просто перевернуть мир.

Это действительно счастье — понять, что всё вокруг — родное и за тебя. Нет никакой агрессивной среды. Среда только мурлычет в ответ на нахождение в ней человека.

Чтобы остаться здесь, ничего не нужно — лёгкость обеспечена. Чтобы вернуться, нужна весомая причина.

— «Спутник»?

— Тепло.

— Вера.

— Теплее.

Что-то мерцает, пульсирует рядом.

— Вибрации в хвостовой части возникают в результате неправильной конструкции консоли.

— Горячо.

— Понял. Деталь консоли нужно выполнить в форме английского v, в форме галки, подобно вилочковой кости у птиц. Тогда консоль сможет амортизировать набегающий трансформирующий поток воздуха там, где жёстко противодействовала ему.

— Ступай, внучок.

* * *

Диспетчер сидит на КДП — худой и задёрганный. ЧП за ЧП. Только потеряли экипаж «Тушки». Хоронил весь город. И вот те на. Чай стынет, диспетчер мёрзнет.

— «Мишень», я «22-ой», приём!

— Ёлки! «22-ой», ты где? У тебя ж топлива... Сел, что ли?

— «22-ой», ... фене, ... мать, куда пропал, оболтус, дорогой ты мой? — командир радостно матерится.

— Всё нормально. Вылетаю. Есть кое-что интересное. Коридор, поскорее давайте коридор! И готовьте конструкторов, есть рацпредложение.

Алексей Малашенко

Женщина и Бог

Рассказ

— Боже мой, опять не работает, — воскликнула Лариса, чуть не выронив на асфальт телефон, слишком большой для её ладошки.

— Я здесь, — обнял её мягкий мужской голос.

— Ой, — покрутила головой Лариса. — Вот чёрт, кто это?

— Не стоит поминать его из-за телефона, — в голосе слышалось сочувствие.

Лариса ещё раз крутанула головой.

— Не волнуйтесь, — продолжил голос, — всё хорошо. Я вам помогу.

— В чём вы мне поможете?

— Я помогу с вашим телефоном.

В третий раз покрутила головой Лариса и опять буркнула: «Вот, чёрт возьми».

— Я ж просил не поминать его, — повторил голос. — Ради вашего же блага. И мне приятнее будет с вами общаться.

После этого совета Лариса машинально задрала голову, и голос, явно улыбнувшись, среагировал:

— Вы угадали. Обычно я действительно там, наверху, как принято меня рисовать, на облаке, но сегодня я здесь, внизу, с вами, людьми. Телефон работает?

Лариса придавила нижнюю клавишу — мобильник включился.

— Спасибо, а вы кто?

— Я — Бог.

Наступило молчание, которое нарушил назвавшийся Богом:

— Странно, да?

Лариса улыбнулась, приняв происходящее за розыгрыш. Она ждала, когда её собеседник, который, судя по голосу, должен был быть симпатичным, начнёт с ней знакомиться.

— Так вы кто? — повторила она свой вопрос.

— Я вам, Лариса, уже сказал.

— Бог, — подыграла она голосу. — А как вы узнали моё имя?

— Я же Господь Всемогущий, ведь так меня принято называть?

Малашенко Алексей Всеволодович — российский востоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама. Помимо статей, публицистики и воспоминаний «ДН» публиковала и его рассказы.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 12.

— Если вы всемогущий, то почему боитесь показаться живьём?

— Как это?

— Телесно, — ответила Лариса и подумала, что она сказала что-то не то.

Воздух вздохнул, стал непрозрачным, сгустился, и Лариса обнаружила рядом с собой стройного, в клетчатом пиджаке молодого человека. Один рукав был чуть длиннее, и из него выглядывала свежая ладонь.

— Удивлены?

— Вы, оказывается, молодой.

— А почему я не могу быть молодым? Я же создавал вас по образу и подобию своему и имею право воплощаться по вашему образу. Быть молодым мне не запрещено. Посмотрите на моих античных предков. Зевс там, Аполлон, они же были мужчинами и хорошо по тем временам одевались.

— А женщиной вы быть можете?

— Никогда не буду. Не хочу.

Лариса успела обзавестись кое-какими гуманитарными знаниями, временами от скуки глазела в телевизор, иногда в канал «Спас», и потому возмутилась.

— Да кто вы такой, что мне голову морочите? Саваоф или как там тебя?

— Ну да, — ответили ей. — В Саваофа с бородой веришь, все верят. А в такого — простого, нестарого — нет. Я бессмертен. Тогда зачем мне вечно выглядеть старым и обязательно мудрым? Я не всегда был таким образованным. Тоже кое-чему учусь. У вас, у людей, учусь. Знаешь, сколько времени ушло на то, чтоб я стал Вельзевула в шахматы обыгрывать?

— А это кто, Вельзевул?

— Есть один такой. В меня веруешь, а как зовут моего главного недруга, не знаешь? Это всё равно как если бы ты болела за «Спартак», а про «Зенит» и не слышала.

— Если я правильно поняла, вы ещё и Христос, которого распяли на кресте?

— Обсудим в деталях, как это было, или?..

Ларисе стало стыдновато. Она решила сменить тему, но неожиданно для себя спросила:

— Вы свою маму помните?

— Помню, — ответил Бог.

— И ваша мама, мать ваша — Богоматерь, которая на иконах?

— Что в этом странного? Что необычного?

— Да так, знаете. Маму вы помните, а как оказались святым духом, голубем, ну и вообще?..

— Это тебе действительно интересно, или просто из желания меня поддеть?

Женщина застеснялась, а потом отрубила:

— Я в вас... я в тебя не верю. В вас всех трудно разобраться. То дух, то голубь, то с бородой...

— Не надо разбираться, даже верить не обязательно. Меня надо чувствовать.

— Так это ты создал землю и небо?

Мужчина посмотрел на свои руки.

— Говорят, что я.

— За семь дней?

— За сколько? — переспросил Бог.

Лариса одёрнула юбку, потому что ей показалось неприличным показывать Богу тугие коленки.

Бог заметил её движение и усмехнулся.

(Первое и последнее отступление. Читающий эти строки, как бы ты повёл себя, оказавшись на месте Ларисы? Рискнул бы поверить в живую встречу с Богом?

Лариса же подумала: зачем ей нужен такой Бог, пусть даже симпатичный? Телефон у неё заработал, и хватит. С другой стороны, а почему бы и нет? Ведь Бог симпатичный, не хуже пристающего к ней Валерки и даже вечно ходившего в чёрной замшевой курточке Бориса, за которого, в общем, можно было бы и замуж выйти. Борис по пьянке обещал выполнить любое её желание, даже подарить бэ-эм-вэ.)

Он ей нравился, она машинально стала с ним заигрывать.

— Что бы ещё вы для меня сделали, ну хоть какую-то мелочь, если б я вас попросила? Грозу покажете?

Бог улыбнулся, сверкнула молния, и раздался гром.

— Ну, как?

Лариса посмотрела вокруг — ничто не изменилось, прохожие шли как шли и разговаривали между собой.

— Слышала я ваш гром, видела молнию, а остальные?

— Так это ж ты хотела. И получила.

— Вы гипнотизёр и...

Посреди равнодушного неба ударил жуткий раскат грома, прохожие оцепенели, и хлынул ливень.

Лариса промокла.

— Ну?

Пока она размышляла, гроза кончилась, все про грозу забыли, а её платье высохло.

— Поверила в Бога? Ладно, отправляйся по своим делам, про меня забудь. Вон такси подъехало. Будет надо — я явлюсь.

— Бог ты мой, — изумилась Лариса подъехавшей жёлтой шкоде, которой она не вызывала.

«Не поминай всуе», — прозвенело внутри неё, и она захлопнула дверцу машины.

Ей стало не до Бога. Она поправилась, и платье с вырезом, которое она задорого заказала, на неё не лезло. Подруга Нина приревновала её к Борьке, в больнице с нехорошим диагнозом лежал отец. Она сразу почувствовала себя никчёмной да ещё и оскорблённой тем парнем-богом, который над ней так классно посмеялся.

Лариса откинулась в кресле и вдруг увидела, что на панельке перед её носом написано «мерседес», она скривила губы, буквы тут же сложились в «Роллс-Ройс», она повернула голову назад и поняла, что это такой автомобиль, который она видела только в кино. Шофёром у неё был плечистый и красивый негр.

Лариса потрогала сумку, провела ладонью по коленям.

— Ну, как? — прозвучало у неё внутри. — Нравится?

Лариса зажмурилась и быстро открыла глаза. Она катилась в шкоде с не-негритянским шофёром.

Она обозлилась — поддалась гипнотизёру, развесила уши...

К её руке притронулись.

— Не волнуйтесь, ничего плохого не будет. Я с вами ещё побуду.

Она повернула голову — рядом никто не сидел...

Войдя в квартиру, Лариса уже не сомневалась, что случившееся с ней было потрясающим розыгрышем, устроенным одним её знакомым, у которого был приятель, кичащийся тем, будто он экстрасенс, а когда ему не верили, грозил показать чудеса.

Назавтра ей предстояло поехать в госпиталь к отцу, где его, ещё не старого полковника, лечили от самой печальной в мире болезни. Сейчас Ларисе не хотелось обо всём этом вспоминать.

Она плюхнулась в кресло и взяла со столика цветной журнал, засунутый в почтовый ящик рекламщиками. На первой странице светилась фотомодель.

«Новый образ Евдокии Гусятниковой», — прочла она. Гусятникова была хороша, вот только личико казалось излишне вытянутым и глазки смотрели слишком задумчиво для модели.

Лариса не то чтобы позавидовала, но примерила на себя Гусятникову и машинально взглянула в зеркало. В зеркале отразилась Гусятникова со слегка округлившейся мордашкой и в Ларисином платье.

— Боже мой, — прошептала Лариса и тут же услышала:

— Так лучше, и на будущее: не вздумайте менять внешность, вы мне нравитесь такой, какая вы есть.

— Спасибо, — ответила она в никуда.

Потом она отправилась на кухню, включила чайник, а когда он закипел, капнула кипятком на пальчик.

— Ах, боже мой, — пробормотала она.

Там никто не прореагировал, и пальцу было больно.

«Кажется, до чайника он не дотягивается, слава богу, отстал».

Она выпила чашку зелёного чая, переоделась. Время текло медленно, делать в доме было нечего. Лариса заглянула в холодильник, еды хватало, идти в магазин было незачем. Телефон молчал, лазить по сайтам наскучило. Книги читать она почти разучилась.

Лариса поймала себя на мысли, что ей не у кого и нечего попросить. Хотя она ничего и не просила. Да и у кого просить? Но забыть о том, что с ней сегодня произошло, она не могла. А если всё-таки чего-то попросить, если просто помянуть *его* всуе, что тогда?

Тут ещё зуб опять дёрнулся, чёрт бы его побрал...

— Я просил: о нём — ни слова. Так и быть, последний раз прощаю...

— Боже мой!

Зуб прошёл.

— Вы ещё и доктор?

— Врач. Но это в последний... в предпоследний раз, ясно?

Заиграл мобильник.

— Здравствуйте, вас беспокоят из госпиталя. Могу я поговорить с Ларисой Владимировной?

— Слушаю. Что случилось?

— Лариса Владимировна, не волнуйтесь. Ничего плохого не случилось. Наоборот. Опухоль у вашего папы оказалась незлокачественной. Он пойдёт на поправку.

Лариса растерялась, хотела что-то спросить, но не сообразила, что в таких случаях спрашивают.

Она промямлила «спасибо, ой, спасибо» и благодарно кивнула.

— Слава тебе, господи, — выдохнула она без всякого умысла.

— Вот это был последний раз.

Вечер она прожила одна. Несколько раз включала телевизор. Но там всё время пели, скандалили о наследстве и размышляли об эпидемии. Смотреть нормальные, хорошие фильмы сил не хватало: там надо было думать. Думать же не хотелось.

Утром, проснувшись, она сразу почувствовала, что всё замечательно: она красива, мобильник не ломается, отец выздоравливает. Что ещё надо?

Она ошибалась. Как всякой нормальной женщине, ей захотелось испытать своего... скажем, того, кому она нравилась и кто нравился ей, будь то бог или даже экстрасенс-гипнотизёр.

Однако, лёжа в кровати, в ночной сорочке, общаться с посторонним мужчиной, пусть и мысленно, было неприлично. Да и, наверно, нет его. Ушёл как сон.

Лариса упёрлась босыми ногами в гладкий чистый пол, решительно встала и отправилась в душ. Она хотела холодный. Заранее поёживаясь, впрыгнула в ледяные струйки и чуть не брякнула: «Боже, как холодно!»

Из-за двери раздалось покашливание. Вода стала чуть теплее.

Лариса вымыла голову, вымылась сама, быстро вытерлась розовым полотенцем, брызнула на себя спреем и толкнула дверь.

В квартире, кроме неё, не было никого.

— Ну? — услыхала она свой голос.

— Вам было холодно, а нагреть воду — пустяк, который не в счёт.

— Пустяк, — повторила Лариса, — а не-пустяк сделаете? — И добавила: — Если я очень попрошу?

Сам собой заработал телевизор. Равнодушная дикторша сказала: только что поступило сообщение о прекращении боевых действий на границе между... Таким образом удалось избежать новых многочисленных жертв. Информацию она закончила словами: «Слава богу!»

— Значит, ты можешь прекращать всё...

— Нет.

— Отчего?

— Я вас сделал, сотворил, а дальше уж сами — любите, убивайте...

— Это бессовестно. Создал нас по своему подобию и бросил. Сам — хороший, добрый. А мы... Может, мы на самом деле не от тебя, а от обезьяны?

— Хватит, занимайтесь своими делами.

И она занялась.

День ей предстоял долгий — съездить к отцу в больницу, забежать в «Зару» ещё раз примерить платье, приглянувшееся в прошлый раз, встретиться и посидеть где-нибудь с Милкой, с которой они не виделись больше месяца, ну и ещё кое-что по мелочам. А вечером её ждал Борис в чёрной замшевой куртке, у которого собиралась компания их общих знакомых.

Всё прошло по плану, и в семь часов в предвкушении весёлого ужина она отправилась к Боре.

Она пришла первой и, как тут же обнаружилось, последней и единственной.

«Ну и пусть, — решила Лариса. — В конце концов, надо когда-то с ним попробовать. Тем более Борис вёл себя столь вежливо, что можно было подумать, будто она явилась сюда исключительно ради светской беседы.

Разговор между друзьями затягивался. Лариса даже подумала, не взять ли ей инициативу на себя. Но что-то мешало, и она догадалась, что: они были не одни. Она почти разглядела сидевшую в кресле у окна мужскую фигуру.

«Зачем он здесь, может, ревнует?» — от нелепой мысли она усмехнулась.

Борис понял её усмешку по-своему. Он встал, зашёл сзади и положил ей руки на грудь. Лариса его не остановила. Она поджала под себя ноги в красных туфельках. Фигуры в кресле она уже не видела.

«Отношения» начинались. Кресло оставалось пустым, Лариса расслабилась. «Отношения» продолжились и стали продвигаться к финалу. Борис вздохнул, издал протяжный, почти бабий звук и замер.

Женщина тоже замерла, но уже от обиды, перешедшей в раздражение. «Ну, ещё, дай Бог».

— Это слишком, — пришло из кресла. — Прощайте.

Лариса повернулась на правый бок, спустила с кровати ноги, отправилась в душ. Они сели пить кофе из голубых чашек. Потом она стала прощаться, потом доехала на такси до дома. Дома достала мобильник, телефон был разряжен.

Александр Орлов

Во всём исчезнет суета

* * *

Мой в прошлое билет давно просрочен.
Без страха отправляюсь в никуда,
И будет график расставаний точен,
Сойдут на небо с рельсов поезда.

И я во время взлётного разгона,
Набора в неизвестность высоты,
Найду друзей и в толчее вагона,
Мы перейдём по-дружески на «ты».

Сойду один на звёздном полустанке,
Схожу в кино, потом куплю пломбир,
Найду в снегу раскатанные санки,
Промчусь обратно в незабытый мир.

И будут мне доверчиво и строго
Напоминать о взлёте облака,
Что на земле я в чине рядового
Был призван в православные войска.

* * *

Святому блаженному Константину Новоторжскому чудотворцу

Первоснежья ледяные крохи
С лёту у моих ложатся ног,
Я бы вместе с ними рядом лёг,
Костенея на следах эпохи.

И по мне бы пролегла дорога,
Что ведёт скитальцев до суда,
От простора жизни сквозового,
Где замёрзли счастье и беда.

И морозы времени в сугробы
Всё живое обращали вмиг,
И метели, холода, зазнобы,
Словно вдовы поднимали крик.

Но босой идёт домой по снегу,
Богом поцелованный хромец,
Растопивший тысячи сердец
И зимы всесильную опеку.

Орлов Александр Владимирович — поэт. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московское медицинское училище №1 им.И.П.Павлова, Литинститут им. А.М.Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории в московской школе «Загорье». Автор семи книг стихов и трёх книг малой прозы. Лауреат многих литературных премий. Живёт в Москве.

* * *

Я принял жизнь. Я был доверчив...
Алексей Прасолов

Во всём исчезнет суета,
Когда в исканиях приюта
Познаешь ты в себе Христа.
Из великана в лилипута
Ты превращаешься, и вдруг
Нетленная горит гордыня,
И ты твердишь молитвы вслух,
И заполняется пустыня
Разливами великих рек,
И видится: идёт по полю
Рождённый горем человек,
Познавший бедность и неволю.
Окрикнешь ты его вослед,
И он устало обернётся.
И через много прошлых лет
Твоей души первопроходца
Узнаешь ты в его глазах,
И, как положено бродяге,
Он разглядит в твоих стихах,
Где плачут буквы на бумаге.

* * *

Мы — последние этого века...
Владимир Костров

Так было прежде: мы с тобой вдвоём,
Попарно, как и следует поэтам,
Идём — и в многолюдье мировом
Становимся единым силуэтом.

Покажется: всё было — и прошло,
И сорок лет не разделили даже:
Сплотило нас святое ремесло.
Мы делаем глотки из вечной чаши.

Рождаются за мыслями слова.
Свидетелями подлинного чуда
Становимся и после волшебства,
Не изменяя верного маршрута.

В слиянье дней — живая простота,
Как много в ней движенья неземного!
Мне верится, что даже у Христа
Есть время для Владимира Кострова.

Александр Васькин

«Возможно, мне дадут Госпремию»*

Советские писатели в очереди за наградами

«Шутка сказать, наградная инфляция превратила орден Ленина *во второстепенную награду*».

Александр Твардовский. Из дневника, 29 мая 1970 года

Долгое время в Советском Союзе главным критерием успеха писателей было количество полученных ими сталинских премий. Рекордсменом был шестикратный лауреат Константин Симонов, пятикратным — Александр Корнейчук (поди-ка сейчас вспомни, кто это такой, осталась в Москве лишь улица в честь этого украинского драматурга, хотя в Киеве уже давно всё переименовали — и проспект, и станцию метро). Сталинские премии были учреждены до войны двумя постановлениями — в декабре 1939-го и в феврале 1940-го, по двум направлениям: в области науки и культуры и отдельно по литературе, что подчеркивало внимание власти к писателям. Лауреаты получали диплом и значок с ликом учредителя, т.е. самого Иосифа Виссарионовича. Выплачивались премии из специального фонда, куда стекались гонорары за издание сочинений вождя народов (какая щедрость!). Соответственно, это можно расценивать как поощрение или подачку (каждому своё) лично от Сталина, а даже не от всего советского народа. Постепенно сложилась следующая система премий: лауреаты первой степени получали 100 тысяч рублей, второй — 50 тысяч, третьей — 25. В год своего семидесятилетия корифей всех наук учредил ещё и Международную Сталинскую премию «За укрепление мира между народами». Награждали много и часто, особенно писателей и кинооператоров (Сталин любил смотреть кинохронику). Среди литераторов было немало дважды и трижды лауреатов. После войны возникла даже «мода» на многократных лауреатов.

По этому поводу хочется процитировать трижды сталинского лауреата Александра Твардовского: «Практика ежегодных присуждений сталинских премий, может быть, создала такие условия, что наша критика не имела возможности осмысливать явления литературы в свете её большого исторического развития, в разрезе десятилетий.

Васькин Александр Анатольевич — писатель, культуролог, историк. Родился в 1975 году в Москве. Окончил Московский государственный университет печати. Лауреат Горьковской литературной премии (2009), лауреат конкурсов «Лучшая книга года», лауреат Всероссийской историко-литературной премии Александра Невского (2019), автор множества публикаций и книг. Печатался в журналах «Новый мир», «Вопросы литературы» и др. Живёт в Москве. Предыдущая публикация в «Дружбе народов» — 2019, № 3.

* Глава из книги «Повседневная жизнь советских писателей от оттепели до перестройки», готовящейся к печати в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Повседневная жизнь человечества».

По крайней мере, это делалось очень редко. У нас была как бы только литература года. На этот год, вне исторического контекста, направлялось внимание», — запись от 12 декабря 1954 года. Мысли Александра Трифоновича перекликаются с сегодняшним днём — ведь у нас так же каждый год объявляют «литературу года». Проходят пятилетки, и попробуй вспомни, кого там объявляли очередным «выдающимся писателем» десять лет назад.

По этому же поводу сетовал Михаил Пришвин в своём дневнике 7 июля 1951 года: «Госпремия гасит свободную личность, трудовую, и превращает её в государственного невольника, обязанного быть довольным своим положением. Стон и недовольство исходят от тех, кто не получил премии. Выход у них один: получить премию. И они, стараясь больше и больше, получают её рано или поздно. Так что премия является кнутом лауреата, подгоняющим невольников». Для кого кнутом, а для кого и пряником! Сам Михаил Михайлович так и не получил ни одной премии, ни рано, ни поздно. Но разве это важно для нас, его читателей?

Смерть вождя в 1953 году пресекла полноводный поток награждений, как Днепрогэс великую украинскую реку. На некоторое время возникла даже пауза, насторожившая не только привыкших к раздаче подарков писателей, но и представителей других творческих цехов и «областей народного хозяйства». Волноваться пришлось недолго. Уже в 1956 году была возрождена ежегодная Ленинская премия, вручавшаяся учёным, изобретателям, научным работникам, архитекторам, артистам, а заодно и писателям «за выдающиеся произведения литературы и искусства», как говорилось в соответствующем правительственном постановлении. Впервые эта премия была учреждена ещё в 1925 году, но просуществовала всего десять лет по понятной причине — установление культа живого вождя, оттеснившего в народном сознании усопшего «вождя мирового пролетариата».

С 1956 года в порядок присуждения Ленинской премии периодически вносились изменения, но в целом смысл её оставался прежним, как и было задумано изначально. Её вручали за выдающиеся достижения в области науки и культуры. Лауреаты премии получали диплом и золотой почётный знак с профилем Ильича. Вся работа по рассмотрению претендентов и их достижений на премию была возложена на Комитеты по Ленинским премиям — в области науки и техники и в области литературы и искусства. Списки представленных на соискание премии и отобранных комитетами для дальнейшего обсуждения работ публиковались в центральной печати. И в этом видится определённый демократизм даже по сравнению с нынешними временами, когда всё стало более узко и келейно.

Романы и повести кандидатов можно было прочитать в журналах и книгах, а вот если выдвигались, к примеру, художники, то их картины выставлялись для всеобщего обозрения. Таков был порядок: «В субботу был на выставке картин, представленных на госпремию: убожество удручающее. Выставка туркменской живописи по случаю 60-летия республики: ни одной живой души. Один я пробежал по залам. Зачем такое устраивают? Демонстрация антиинтернационализма», — отметил сотрудник ЦК КПСС Анатолий Черняев 15 октября 1984 года, впоследствии помощник первого президента СССР М.Горбачёва.

Объявление имён лауреатов приурочили ко дню рождения Ильича, в апреле. Первым среди писателей получил Ленинскую премию в 1957 году Леонид Леонов за роман «Русский лес», а Муса Джалиль удостоился этой награды посмертно за цикл стихотворений «Моабитская тетрадь». В 1959 году лауреатами стали Мухтар Ауэзов за роман «Путь Абая» и Николай Погодин за драматическую трилогию «Человек с ружьём», «Кремлёвские куранты», «Третья патетическая». В 1960 году Ленинской премии удостоились Максим Рыльский, Мирзо Турсун-Заде и Михаил Шолохов (за роман «Поднятая целина»). Что бросается в глаза: обязательное соблюдение принципов социалистического интернационализма и дружбы народов. Среди

награждённых непременно должны были присутствовать представители национальных литератур.И так было из года в год.

Например, в 1961 году лауреатами стали москвич Александр Твардовский, ленинградец Александр Прокофьев, украинский писатель Михаил Стельмах и эстонец Иоханнес Смуул. А в 1962 году вместе с Корнеем Чуковским премию разделили белорус Петрусь Бровка и литовец Эдуардас Межелайтис. Таким образом, вручение премии преследовало не только поощрительные цели, но и сугубо идеологические — достижение некоего «культурного» баланса: один-два писателя из центра, остальные из союзных республик, что демонстрировало опять же мудрость «ленинской национальной политики» (прямо как нынче на американской премии «Оскар» — только там всё зашло гораздо дальше!).

12 апреля 1962 года Чуковский в Переделкине записал: «Сейчас в три часа дня Александр Трифонович Твардовский, приехавший из города (из Ленинского комитета), сообщил, что мне присуждена Ленинская премия. Я воспринял это как радость и как тяжкое горе. Чудесный Твардовский провёл со мною часа два... Оказалось, что провалились Н.Н.Асеев, Вал.Катаев. Я — единственный, кому досталась премия за литературоведческие работы. Никогда не здоровавшийся со мною Вадим Кожевников вдруг поздоровался со мною. Всё это мелочи, которых я не хочу замечать». Вот Вам и первая ласточка: стал здороваться Кожевников! Какое счастье! А поздоровался он не потому, что зауважал Корнея Ивановича, а потому, что с лауреатами Ленинской премии здороваться надо по статусу. Так что это вовсе не мелочь: не хочешь, а заметишь Чуковского. Авось и самому Кожевникову премию дадут...

Хорошо, что Твардовский (член комитета) не сказал Чуковскому всей правды: что тот мог бы и не получить премию за свою книгу «Мастерство Некрасова», ибо против выступал ЦК КПСС, в недрах которого родилась записка о «нежелательности выдвижения на Ленинскую премию К.И.Чуковского». В дневнике от 13 апреля 1962 года Твардовский раскрывает подробности: «Съездил в город 11-го на 12-е, проголосовал, подписал протоколы в Комитете, привёз Чуковскому премию (он и не подозревает, что не будь моего, т.е. одного ещё, сверх 70, голоса, он бы остался без неё)».

Сходные мысли посещали и другого писателя, члена комитета от Украинской ССР Олеся Гончара. Гончар — один из главных советских украинских «письменников» — начал вести дневник после войны, на украинском языке. Уже после смерти писателя его вдова издала в 2002—2004 годах все три тома. У нас в стране эти дневники почти не известны и не переведены, что значительно обедняет источниковедческую базу по теме советской повседневности (и жизни писателей в т.ч.). В этой книге они впервые обширно цитируются и комментируются, для чего мне пришлось перевести их на русский язык (благо, что не с албанского).

5 апреля 1962 года Гончар отметил в своём дневнике: «Третий день работает Комитет. Пересеивает претендентов. Сколько чёрных страстей бушует в эти дни! Нажимаются все кнопки, все рычаги знакомств и протекций, люди что-то гадают, прикидывают, выторговывают <...> В водовороте распрей и страстей нередко забывается главное — само произведение, выставленное на обсуждение; оказывается — не это ли здесь самое главное, и мысль читателя, зрителя — зачем она здесь? Уже завалили одного, второго, третьего <...> Соискатели ходят под окнами, как тени, вёдрами пьют валидол, а мы — шкаликами водку (в коротких перерывах между заседаниями). Расул [Гамзатов] когда входит в зал заседаний — вокруг сразу повеет густой дух спиртного <...> Сразу же и берёт слово, чтобы величать Чуковского. Не хватает кворума. Ждём Суркова. Вот он влетает, сердитый, окрысенный, в разных ботинках (один на резине, второй — на коже).

— Слава Богу! — говорит Прокофьев.

— Вы скажите "слава Богу" Шолохову, который никогда у вас не бывает!

Сурков — стреляный лис. При всей внешней самостоятельности суждений хорошо знает, кому в рот заглядывать. И заглядывает.

— Катаев?.. Как? Оставляем? О, конечно! Такая вещь! Нас бы не поняли!..

А в закулисье то же Сурков:

— А Катаев?.. Что это такое? "Белеет парус" — это жилет, к которому пришиты огромные рукава, волочатся хламидой по земле <...> Вот его тетралогия! А вообще — наш Комитет? Но это же рынок, "ярмарка тщеславия"! Торговля напропалую идёт!

Вспомнилось, что Сурков этот как-то написал сам себе такую эпитафию:

Пошто грозите ему адом,
Забыв его земной удел?
Всю жизнь свою он голым задом
На муравейнике сидел!

Под "муравейником" следует понимать московскую писательскую организацию. Кстати, вчера она снова завалила предложенных в правление (на перевыборах) Л.Соболева, Поповкина и др.

...Два вечера подряд просмотры: ансамбль Игоря Моисеева и академический хор Свешникова. Ансамбль — эффектный, блестящий, выступает в бешеном темпе <...> Но интересует постановщика, видно, больше экзотичность танца, чем народная его основа. Сегодня секция композиторов выступила на обсуждении — против. С.С.Смирнов, как неутомимый демагог, сразу же выступил «с недоумением»:

— Меня удивляет позиция секции... И смущает... И непонятно... И я в недоумении... и т.д.

Выступил Шостакович и нервно, перебирая клавиши пуговиц, взволнованно объяснял, почему он против. И потом при голосовании, хотя весы склонились уже в другую сторону, его рука мужественно и одиноко торчала в воздухе, отстаивая своё. Я просто влюблён в этого человека. Честный, принципиальный». Занятное чтение...

Гончар, кстати, утверждает, что Шолохов в 1960 году не приехал получать Ленинскую премию в положенный день. Он пишет, что Шолохов сидел в Ростове со своими друзьями за столом, когда ему передали, что звонит Екатерина Фурцева с призывом явиться в Москву. Михаил Александрович отказался: «Не хочу я получать премию вместе с футбольной командой... Не полечу!» И не полетел. И это соответствует действительности. О какой футбольной команде он говорил? О «Спартаке», о «Динамо»? Быть может, «ЦСКА»? Нет. Футбольной командой Шолохов назвал авторский коллектив книги «Лицом к лицу с Америкой. Рассказ о поездке Н.С.Хрущёва в США», состоявший аж из двенадцати человек! Первым по списку Алексей Аджубей. Хотя первым он был тогда не только по списку — зять самого Хрущёва! Непонятно только, под каким углом он обозревал поездку тестя: как главный редактор «Известий» или как член семьи первого секретаря ЦК КПСС? Возможно, что под обоими углами. А «футбольная команда» получила-таки премию. Двенадцать человек одного не ждут.

Участие в сессиях комитета давало возможность киевлянину Гончару узнать свежие политические анекдоты: «За что нам дали золотую медаль в Токио на олимпиаде? — За прыжок с высоты». «Культпросвет — что это такое? — Маленький просвет между двумя культами». «Содержание бесконечных речей Хрущёва журналисты передают коротко: "Дела у нас идут хорошо, но голода не будет"». Дела в стране шли плохо: появились очереди за хлебом уже в самой Москве, а не только в провинции...

А вот Александру Солженицыну получить Ленинскую премию за «Один день Ивана Денисовича» было не суждено. Весной 1964 года на заседаниях комитета развернулась почти кровопролитная баталия, отголоски которой доносились довольно далеко за пределы установленных рамок. Среди коллег у Александра Исаевича нашлось немало болельщиков, впрочем, равно столько было и тех, кто ставил на проигрыш. Анатолий Жигулин 27 марта 1964 года пишет в дневнике: «Сейчас очень

мрачная полоса. Опять клюют Солженицына в "Лит<ературной> России". И, что наиболее гнусно, клюют бывшие лагерники, сами отбывшие сроки порядочные. Один пишет, что <...> повесть Солженицына не может, дескать, служить идейным оружием. И подпись: член КПСС с 1919 года, такой-то. Мало сидел, наверное. Не набрался ума. Или наоборот — из ума выжил. А редакция знает, чьи письма публиковать! Но ничего, Солженицын всё равно велик, как бы эти дегенераты ни тявкали».

11 апреля 1964 года: «Плохи дела и у Солженицына. Прошли было слухи, что ему дадут премию, но — увы! — нынче в "Правде" большая, гнусная подборка отрицательных писем читателей об Иване Денисовиче. И это перед самым тайным голосованием! Нечестный и подлый удар! <...> Чёрт с ними! Пусть не дают Ленинскую премию! Всё равно Солженицын великий писатель! Получит Нобелевскую. Кстати сказать, говорят, что его уже выдвинули на Нобелевскую премию. Может быть, именно с этим связана подборка в "Правде" <...> Вряд ли у Ивана Денисовича есть тайные доброжелатели, которые не могли проявить свои чувства открыто. Скорее, наоборот. Да, многим он стал костью поперёк горла».

«Письма трудящихся» — излюбленное средство борьбы с инакомыслящими в советское время. Сколько же места они занимают в Российском государственном архиве литературы и искусства — полтора десятка томов! Ни об одном другом кандидате, кроме Александра Солженицына, столько писем трудящиеся не писали. Называется всё это сегодня «Письма-отзывы читателей о кандидатуре, выдвинутой на соискание Ленинской премии». Аж три тысячи листов. Об этом также пишет Александр Твардовский, непосредственный участник событий. Наиболее показательной является запись от 14 апреля 1964 года в его дневнике:

«Сегодня еду голосовать, участвовать в акции заведомо незаконной, происходящей в нарушение элементарных норм общественной демократии, т.е. в гнусном деле, и иначе не могу поступить в силу только "божественного закона" партийной дисциплины: такова воля ЦК, недвусмысленно выраженная в ред<акционной> статье "Правды" и "мероприятиях" по обеспечению недопущения кандидатуры С<олженицы>на в список для тайного голосования. Что же, собственно, произошло и происходит? То, что подступало уже давно, издалека, сперва робко, но потом всё смелее — через формы "исторических совещаний", печать, фальшивые "письма земляков" и т.п., и что не может быть названо иначе, как полосой активного, наступательного снятия "духа и смысла" 20-го и 22-го съездов. Что произошло и происходит фактически. Премия этого года принадлежит единственно Солженицыну — это подтвердили его враги, опасения которых перед результатами голосования были столь основательны (несмотря на активность "бешеных"), что они пошли на прямую фальсификацию, на ложь...

Ссылка на "народ", на "большинство писем читателей" — ложь и мерзость. Большинство — и решительное! — письма восторженные, благодарные, умные — и они истинная ценность, в отличие от писем "против", которые делятся на две категории: 1) от недомыслия и привычного следования сигналам "бдительной критики" и 2) от ощущения или сознания того, что эта повесть то новое, что беспощадно разворачивает твердыни прошлого. Кто на К<омите>те был активно, открыто за или против кандидатуры Солженицына (из литераторов)? За — крупнейшие писатели нац<иональных> литератур: Айтматов, Гамзатов, Стельмах, Токомбаев, Н.Зарьян, М.Карим, Марцинкявичюс, Лупан — из них трое — лауреаты Лен<инской> премии (всего — 4). Против — бездарности или выдохнувшиеся, опустившиеся нравственно, погубленные школой культа чиновники и вельможи от лит<ерату>ры: Грибачёв, Прокофьев, Тихонов, Ив.Анисимов, Г.Марков (полтора лауреата — Прокофьев и Грибачёв).

Что говорить о роли чиновников от искусства — министре Романове, Т.Хренникове или постыдной роли бедняги Титова, выступившего "от космонавтов", как Павлов "от комсомола". О последнем не речь, но Титов сказал нечто совершенно ужасное

(во втором выступлении) с милой улыбкой "звёздного брата": "Я не знаю, м.б., для старшего поколения память этих беззаконий так жива и больна, но я скажу, что для меня лично и моих сверстников она такого значения не имеет"».

Для Твардовского все эти события означали одно — партийно-идеологический переворот, направленный против 20-го и 22-го съездов КПСС. Свою запись в тот день он закончил красноречиво: «Вперёд, и горе Годунову!».

Солженицыну премию не дали, но она так же не досталась и поэту Егору Исаеву. Это оказалось банальным разменом, обрадовавшим одних и расстроившим других. Анатолий Жигулин 2 мая 1964 года поясняет: «Много слышал (и часто из первоисточников — например, от Егора Исаева) о борьбе в Комитете по Ленинским премиям. <...> Страсти там здорово разыгрались. По словам С.И.Машинского (литературовед — *А.В.*), какой-то дегенерат из правых <...> договорился до того, что во всеуслышанье заявил на Комитете, что Солженицын был осуждён вовсе и не безвинно, что он вовсе не тот, за кого выдаёт себя. <...> Факт, однако, показательный. Подонки кочетовского лагеря прибегают к прямой клевете. <...> Эти измышления давно распространяются. Результаты голосования в Комитете стали известны задолго до их опубликования. Очень хорошо, что Исаев не получил премию. Это большая радость, она отчасти уравновешивает неудачу "Ивана Денисовича". Хотя, конечно, было бы лучше, если бы был достигнут компромисс. Но правые не пошли на него. <...> Сам Егор Исаев говорил мне, что его убили голоса защитников Солженицына. Вот почти дословные слова Егора: "Дело в том, что все мои сторонники выступали против Солженицына. И Твардовский решил: раз забаллотировали "Ивана Денисовича", значит, и Исаеву не быть лауреатом"». Егор Исаев стал лауреатом в другой раз...

Само собой, что при столь ожесточённой борьбе за премии, выделяемые на писателей, второй раз получить её другому литератору из той же Украины было проблематично, если один его земляк уже удостоился этой высокой награды годом ранее. К тому же Ленинская премия вручалась лишь раз в жизни. И писатели затосковали. Особенно москвичи и ленинградцы — по ним новая система ударила в первую очередь: вроде бы они, живущие поближе к власти, и должны были чаще всего получать от неё поощрения, а вышло совсем наоборот. А были времена, когда в один год награждались десятки литераторов, и не единожды. Да, был культ, ностальгировали некоторые, но была и личность. И личность эта нередко сама читала толстые журналы, отмечая в них не только вредные произведения (как, например, в «Звезде» и «Ленинграде»), но и достойные. Так, например, получил Сталинскую премию Виктор Некрасов за повесть «В окопах Сталинграда». А разве молодые сталинские лауреаты Юрий Трифонов и Анатолий Рыбаков не есть порождение той же сталинской эпохи щедрых награждений? И самое главное, что истинные таланты эта премия нисколько не испортила, что и показала дальнейшая литературная судьба этих выдающихся писателей.

Короче говоря, стоны недовольных дошли до адресата и привели к учреждению новой Государственной премии СССР, присуждавшейся с 1967 года. Первыми лауреатами стали Ираклий Андроников, Мирдза Кемпе, Ярослав Смеляков, Виктор Розов и другие уважаемые люди. По рангу новая премия была ниже Ленинской, вручали её на ноябрьские праздники, а почётный знак по статуту нужно было носить после ленинского значка, но изготавливался он из того же золота 583-й пробы. Денежное содержание не 10 тысяч рублей, а всего пять. Но самое главное, получать «Государыню» — так ее стали остроумно называть в узких кругах — можно было неограниченное число раз. Конечно, шестикратным писателем-лауреатом (как Симонов), или четырёхкратным (как Маршак) никто не стал, а вот трижды лауреат нашелся — это Чингиз Айтматов, славный сын Советской Киргизии, получавший премию в 1968, 1977 и 1983 годах. Кроме него из советских деятелей культуры трёх премий удостоился, например, актёр и режиссер Олег Ефремов. Большая редкость!

По поводу неоднократного лауреатства Айтматова высказывались разные версии. Тут далеко ходить не надо — можно себе представить, что говорили те, кто не удостоился даже одной премии. Олесь Гончар 18 октября 1977 года отметил в дневнике: «Вечер осенний, ветер листья в парке гоняет, хлещет дождём; отблески пламени Вечного огня играют на мокрых плитах блестящего чёрного мрамора. Александровский сад в Москве. Тёмные узоры железной ограды. Шутки комитетские: "Есть Искатели, а есть соискатели <...> Вот ты, Чингиз, вечный соискатель (он после нескольких премий уже идет по кино — за фильм "Белый пароход"). Рассердился. Такие шутки ему не по вкусу. Наш Комитет становится рынком, Игорёк, "учёный секретарь", ведёт себя как мелкий шулер (Игорь Васильев, учёный секретарь комитета — *А.В.*). Авдиевского отодвинули в неизвестность, лауреатами станут <...> дикторы телевидения. Уже не хватает нервов ссориться. Пора бросать эту контору». Гончар пишет о том, что в 1977 году Айтматов получил свою вторую «Государыню» как автор повести и сценария к кинофильму «Белый пароход», снятому в 1975 году на «Киргизфильме».

И здесь к месту будет привести цитату из книги критика Станислава Рассадина «Самоубийцы», автор обозначил её остроумным названием «Операция "Дружба народов"». Он описывает давний разговор с прозаиком Вилем Липатовым (автором саги про милиционера Анискина):

«— Ты как к Айтматову относишься?

— Мне понравился "Белый пароход".

— То есть как? Там же в конце мальчик гибнет!

— Да, гибнет, бедняжка. И что?

— Это же не в традициях русской литературы!

— Во-первых, Айтматов вроде как киргиз. Во-вторых: а Илюшечка в "Братьях Карамазовых"? А девочка, которую растлил Ставрогин?..

— Достоевский — исключение!

— Ну, знаешь, если начнем делать такие исключения, с чем останемся?

— А, ладно. Хрен с ним, с Достоевским. Я тут на днях в ЦК был. И там один... Вот такой парень! Наш парень!.. В общем, он мне говорит: "Ну, говорит, Вилька, если бы это ты нашего русского мальчика утопил, мы бы тебе показали! А киргизский — да... с ним!"». Без комментариев.

В издательстве «Молодая гвардия» разворачивалась своя драма. Зоя Яхонтова (завотделом прозы издательства в 1960—1980 годы) рассказывает: «Когда издавалась повесть Чингиза Айтматова "Белый пароход", поступило указание, что конец должен звучать оптимистически. Выход книги был под угрозой, и нам с редактором И.Гнездиловой пришлось буквально умолять автора оставить в живых героя — мальчика, который по замыслу автора погибал. Это было настоящее "выламывание рук". Тогда еще не "забронзовевший" автор вынужден был согласиться. Сейчас вспоминать об этом стыдно». По поводу «забронзовевшего» автора вспоминается рассказ одного из современников о жалобах Айтматова на то, что мало стали публиковать его фотографий в центральной прессе. Мол, зажимают большого советского писателя.

А Олесь Гончар «контору» не бросил, и когда в 1978 году Союз писателей Украины выдвинул его роман на союзную госпремию, он снял свою кандидатуру: «Как представил, сколько это будет разворошённых нездоровых страстей, закулисных интриг, зависти, в том числе со стороны наших земляков. Зачем это всё мне? Или в этом счастье? А я не хочу участвовать в том базаре», — запись в дневнике от 10 января 1978 года. Свою «Государыню» он получил в 1982 году за роман «Твоя заря»: «Сегодня голосование (на Государственные премии). "Заря" получила 100% голосов. На этом завершается целая полоса жизни», — записал он 19 октября 1982 года. Но полоса завершилась чуть позже, к концу года, когда после вручения в Свердловском зале Большого кремлевского дворца дипломов и медалей лауреатам Государственной

премии СССР состоялся банкет. В памяти Гончара он остался не роскошным меню, а крылатой фразой Расула Гамзатова: «Из пьющих осталось нас только двое: я и народ». И прибавить нечего...

Ну а кто заседал в комитете по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров СССР? Довольно интересные люди, среди которых были не только писатели, композиторы, художники, артисты (причём только первого ряда — из тех, кого всегда показывают по телевизору), но и влиятельные чиновники. Возьмём для примера состав комитета в 1971 году: Председатель Комитета — поэт Николай Тихонов, его заместители — Георгий Марков (1-й секретарь правления Союза писателей СССР) и Тихон Хренников (глава Союза композиторов СССР); а вот президиум, среди членов которого: кинорежиссёр Сергей Герасимов, тот же Гончар, секретарь ЦК КПСС Михаил Зимянин, председатель Гостелерадио Сергей Лапин, первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников, «живой классик» Константин Федин, министр культуры Екатерина Фурцева. У комитета даже был свой учёный секретарь. Среди 46 членов комитета писателей много, здесь и Чингиз Айтматов, Павел Боцу (от Молдавии), Расул Гамзатов (от Дагестана), Николай Грибачёв, Мустай Карим (от Башкирии), Вадим Кожевников, Александр Корнейчук (от Украины), Габит Мусрепов (Казахская ССР), Сергей Орлов, Максим Танк (он же Скурко Евгений Иванович, Белорусская ССР), Михаил Шолохов, Альберт Янсонс (Латвийская ССР), Яшен (он же Нугманов Камиль, Узбекская ССР) и, конечно, Мирзо Турсун-заде от Таджикской ССР. Подавляющее число членов комитета сами становились в дальнейшем лауреатами этих самых премий или уже являлись таковыми.

А некоторые члены комитета получали лауреатские значки в обход регламента, т.е. лезли без очереди, если можно так выразиться. Бывший заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС Альберт Беляев рассказывал в 2009 году в своём интервью об одном из руководителей Союза писателей, которого пытались убедить отказаться от выдвижения на Ленинскую премию. Но тот упёрся: «Если захотят дать — дадут". И ведь дали! Свидетельство Беляева достаточно красноречиво говорит о том, что иногда даже ЦК КПСС не мог справиться с далеко идущими запросами секретарей Союза писателей, которым не хватало и скромности, и адекватной оценки собственных произведений, и даже элементарного такта. Ведь глядя на их поведение, подчинённые воспринимали это как должное и пример для подражания. Это не способствовало укреплению авторитета премий. Стоило ли так к ним стремиться? С другой стороны: а если вдруг завтра не переизберут в правление? И тогда уж о премии придётся лишь мечтать, стоя в общей длинной очереди со всеми. (К концу советской власти общая численность Союза писателей достигла десяти тысяч человек!)

Олесь Гончар — член президиума комитета — старался подробно фиксировать в дневнике его заседания, если они касались земляков-украинцев. 23 октября 1975 года: «Продолжается сессия Лен. комитета. От Украины остался в списке единственный кандидат — Борис Олейник. И даже с этим некоторые украиножоры не могут смириться. Всё время ползут с других секций слухи, что он "не находит поддержки", что его путают со Степаном Олейником, "мало знают", и т.п. На пленуме от секции литературы пришлось докладывать мне (Марков дипломатично исчез). Рассказал шире об этом поэте, чтобы дать представление. И всё же <...> Соловьёв-Седой, разжиревший, пузатый, ехидно спрашивает: "А кто из поэтов российских этого поколения уже выдвигался?" Дали справку, что выдвигались. "А песни на его слова пишут?" Сказали, что пишут.

Всё же при голосовании (оставлять в списке) 10 человек воздержались (считай — против). Когда обсуждали кино и дошло до споров, — потому что мест мало, а аппетиты накалились, — встаёт артист Баталов и прямо называет Б.Олейника, сталкивая лбом с Хитруком, талантливым мультипликатором. Этот Хитрук, мол, это наш Дисней,

международное признание, мастер несравненный, и если сопоставлять его с Олейником <...> Это уже переполнило чашу моего терпения. Пришлось встать и, нервничая и заикаясь от негодования, объяснять, что он просто невежда, потому что знает только одну книжечку этого поэта (если знает), да и то в несовершенных переводах, и вопрос с Олейником для нас имеет значение принципиальное, что оно важно для развития всей украинской литературы, и Украина уже десять лет не имела в Комитете никаких премий, и, наконец, это обидно и бестактно вот так сталкивать лбами представителей совершенно разных видов искусства... Было жарко, и меня даже трясло, и хотя заикался, но слово, кажется, произвело впечатление, меня поддержали и другие, и Баталов вынужден был извиниться за свою бестактность. Но ясно, что мнения своего не изменил, и за ним ещё стоит целая группа, о чём я хорошо знал, выступая... Итак, хотя кандидат наш пока оставлен в списке для голосования, но как будет — ещё неизвестно. Грязная, беспринципная игра, которую некоторые каждый раз затевают. Пришлось даже напомнить, что мы не подарки съехались здесь делить, а присуждать премии государственные, и Украина имеет права не меньше, чем любой другой».

Интересно читается дневник Олеся Гончара, я специально не стал переводить слово «украиножоры». Да оно и не переводится, являясь синонимом слова украинофоб. Чувствуется, насколько задет представитель Украины фактом недостаточного внимания к писателям его орденоносной республики. Ну а кто виноват? Столько наплодили литераторов, а страна-то многонациональная! Одной республике дашь — другая обидится. Выход напрашивается один: не надо скупиться на премии!

Не зря потратил нервные клетки Олесь Гончар, всё-таки удалось вырвать Государственную премию СССР для поэта Бориса Олейника. Слава Богу, дали. «Да, всё в порядке. Объявляются результаты голосования: все проходят, и Б.Олейник тоже. Вот и вам пощёчина, уважаемый иезуит Георгий Марков (В начале сессии он меня встретил фальшивым сочувствием, своей постной миной: “С Олейником, к сожалению, ничего не получается... От Украины проходит Гуляев”. И на следующий день, перебросив на меня секцию, дипломатично исчез. А оно, видишь, обернулось совсем не по-вашему, товарищ иезуит», — отметил Олесь Гончар 24 октября 1975 года. А Борис Олейник получил «Государыню» за книгу стихов «Стою на земле». Талантливый был человек, как и певец Юрий Гуляев.

Святую борьбу с московскими украиножорами Гончар не прекращал и позже: «Что-то непонятное варится на этой комитетской кухне. Сначала Михалков выступил на секции против кандидатуры франковцев и “Дикого Ангела”, мотивируя это желанием избежать конкуренции, не создавать затруднений для автора “Разгона”, открыть шире ему дверь в премии. Пришлось защищать Алёшу [Коломийца] и франковцев, и здесь благородно поступил Марков: “Украине можем дать и две, это же Украина”», — 15 октября 1980 года. Ну вот, хоть одно доброе слово о председателе комитета! А «Дикий ангел» — это спектакль по пьесе Алексея Коломийца, поставленный Киевским театром им. Ивана Франко, «Разгон» — роман Павла Загребельного. Обращает внимание на себя словосочетание «комитетская кухня», весьма двусмысленное. Вероятно, автор дневника имел в виду столовую, где обслуживали членов комитета. А может, какой-другой комитет...

Неудивительно, что работа в комитете не только отрывала немало времени и сил, но и хорошо оплачивалась. Александр Твардовский рассказывал: «Сижу, свечу глазами в сталинском Комитете по Ленинским премиям. Притом не подумайте, что даром. У них порядок — “пожетонные”. Отсидел заседание — “жетон” — 15 рублей. Реплику в прениях бросил — 20 рублей. А с речью выступил — и того погуще» (из дневника Владимира Лакшина от начала декабря 1961 года). Если следовать приведённой Александром Трифоновичем классификации, то наибольшую зарплату за участие в работе комитета получали те, кто не уставал выступать на его заседаниях, то заваливая одного кандидата, то отстаивая другого. В общем, это было выгодное занятие: мало того, что сам когда-то получишь премию, так еще и сейчас заработаешь.

Повседневная жизнь Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в области литературы, искусства и архитектуры при Совете Министров СССР, просуществовавшего с 1956 по 1992 годы, сосредоточена ныне в Российском государственном архиве литературы и искусства. Чего здесь только нет: штатные расписания и сметы расходов Комитета, протоколы заседаний месткома, секций, общественные обсуждения произведений, выдвинутых на соискание премий, документы тайного голосования, стенограммы торжественных заседаний, посвящённых вручению почётных знаков и дипломов лауреатов, вырезки из газет о работе Комитета. Так что организовано всё было на серьёзном бюрократическом уровне, не подкопаешься. Чрезвычайно интересно сегодня читать личные дела лауреатов, особенно в части обоснования выдвижения на премию или отказов. Сколько там можно встретить пустословия, казёнщины, особенно если дело касается награждения всякого рода конъюнктурных и сиюминутных романов и книг. Таких лауреатов тоже хватало. Но были и те, чьи имена и сегодня составляют гордость отечественной литературы.

Не менее любопытно листать личные дела тех, кто не был принят даже к рассмотрению на соискание премий, среди них есть, например, маршал Семён Будённый (автор мемуаров «Пройденный путь» и участник пятитомника «Книга о лошади»), писатели Анатолий Калинин и Владимир Тендряков. Но гораздо больше тех, кого к рассмотрению приняли, а премию не дали — это Анна Ахматова, Андрей Битов, Юрий Герман, Иван Ефремов, Римма Казакова, Лев Кассиль, Валентин Катаев, Виль Липатов, Новелла Матвеева, Юрий Нагибин, Константин Паустовский, Валентин Пикуль, Борис Полевой, Илья Сельвинский, Юлиан Семёнов, Александр Солженицын, Владимир Солоухин, Юрий Трифонов и другие. Очень достойный список! Не менее почётный, чем тот, в котором писатели, получившие заветные лауреатские значки. Грех здесь не вспомнить мудрые слова Анны Ахматовой. Лидия Чуковская вспоминала, как они обсуждали факт того, что «Евгений Винокуров, выдвинутый на Ленинскую премию, по третьему туру не прошёл, зато Исаев, бездарь, прошёл». И вот что по этому поводу раздражённо сказала Анна Андреевна: «Это совершенно всё равно. Ленинские премии, как и все премии на свете, выдаются, бывает, правильно, чаще — неправильно. — И добавила: — Давайте условимся раз навсегда: поэт — это человек, у которого ничего нельзя отнять и которому ничего нельзя дать». А Булгаков писал, что сами придут и всё дадут. Но ведь это о прозаиках...

Для кого-то из писателей было не так важно, получит он премию или нет, другие же сами активно занимались «организацией» для себя наград, заискивая перед рецензентами и критиками, выискивая союзников во властных структурах, готовых нажать на соответствующие кнопки или позвонить заинтересованным лицам. У советских чиновников это называлось «спинотехника»: пойти в баню (основное место для «решения вопросов») и попариться с веничком с нужными людьми. Это считалось нормальным делом.

Материальный стимул также оказывал своё влияние, его никак нельзя списывать со счетов: на полученное денежное выражение премии можно было приобрести машину, внести пай в жилищный кооператив. Да мало ли на что можно потратить — были бы деньги. В конце концов, ведь не все литераторы получали зарплату в редакциях журналов или находились на руководящей работе в Союзе писателей, имея приличный оклад. Как иронично высказался в своей поэме «За далью — даль» Александр Твардовский: «А нет — на должность с твёрдой ставкой / В Союз писателей пойду...» Давид Самойлов очень рассчитывал получить Госпремию: «Это бы решило <...> финансовые проблемы и дало бы возможность года на 2—3 спокойно работать над прозой, не отвлекаясь на переводы», — рассказывал он Марку Харитонову, который 23 ноября 1987 года записал в дневнике: «Вдруг позвонил Давид Самойлов, позвал приехать. Я купил две бутылки “Напареули”, поехал... Хорошо выпили, Давид стал читать стихи из своей новой книги “Горсть”. Не знаю, какие стихи, но слушать

их было счастьем: голос Давида, хмель в голове, присутствие поэзии, прекрасной поверх отдельных стихов или строк...» В те дни Самойлов приехал в Москву «продвигать» издание своего двухтомника, говорил, «что его выдвинули на Госпремию на будущий год, и есть шансы, что дадут». И дали — в 1988-м, за книгу стихов «Голоса за холмами». Хотя еще летом предыдущего года он сомневался: «...Заполнял документы на Госпремию. Бесполезное занятие», — из дневника от 31 июля 1987 года.

Не менее весомой была и моральная сторона вопроса. Получить Государственную премию было почётно, и хотя сам лауреатский значок весил считанные граммы, но авторитет писателя вырастал несоизмеримо, особенно в борьбе с чиновничьим засильем, что подтверждает в книге своих воспоминаний «Долгая дорога домой» Василь Быков: «Премия не столь уж меня обрадовала, хотя, конечно, появилась надежда — может, теперь отцепятся? Разумеется, я не рассчитывал, что уж теперь мне будет разрешено писать всё. И так, как я захочу. Но всё же... Как всегда в таких случаях, премия порадовала друзей, но и прибавила завистников — тоже, кстати, из числа друзей... Тогда же, а может, и раньше, отпали некоторые издательские проблемы: в Минске выпустили четырёхтомное собрание сочинений, хотя и не включили в него “одиозные” повести “Мёртвым не больно” и ”Круглянский мост”. Чтобы не слишком фанаберился свежеиспеченный лауреат». Таким образом и у лауреатов возникали свои сложности.

Весной 1969 года в центральных газетах были обнародованы имена очередных претендентов на соискание Государственных премий СССР. Состав подобрался пёстрый: Фёдор Абрамов (за «Две зимы и три лета»), Виктор Астафьев (за «Кражу» и «Последний поклон»), а ещё Семён Бабаевский, Всеволод Кочетов, Виль Липатов и два поэта. Абрамов в письме к одному из адресатов назвал такую компанию «омерзительной», написав, что «Надежд на получение премии у меня мало (увы, её далеко не всегда дают за литературу)». Предчувствие не обмануло, в этот год Абрамов остался без премии. 10 ноября он отметил: «Премию не дали. Это надо было ожидать. Макогоненко по этому поводу мне прочитал целую лекцию. С чего дадут очернителю, автору “Нового мира”? Да ведь это — признать правильность линии журнала, оправдать его. А кроме того, не забывай: премии — это бизнес... Я сказал Макогоненко: дескать, речь не обо мне. А вот почему старику Ч. не дали? Почему его-то обошли? Да и разве дело это — не заметить русской литературы за год? Макогоненко засмеялся и посоветовал мне родиться чукчей или киргизом. Только не русским...» Интереснейший дневник Фёдора Александровича Абрамова хранится в Пушкинском доме Академии наук в Санкт-Петербурге и был впервые разобран и опубликован Олегом Трушиным (здесь и далее слова Ф.Абрамова цитируются по книге: О.Трушин. Фёдор Абрамов: раненое сердце. М., 2021).

Последнее замечание известного ленинградского литературоведа профессора Григория Макогоненко подтверждает уже ранее констатировавшийся в этой главе прискорбный факт о субъективности при выборе кандидатур премируемых писателей. Особенно дорога здесь его оценка премий как бизнеса. А раз есть бизнес, значит, имеется и прибыль, и бизнесмены-писатели.

Вместо Фёдора Абрамова Госпремию получил украинский поэт Андрей Малышко (видать, спасибо Гончару!). «Схватка на заседании большая, — писал Абрамову заместитель А.Твардовского в «Новом мире» Алексей Кондратович. — Итог: шесть на шесть. Не хватило одного голоса для перевеса...» Перевес в пользу Малышко обеспечил работник ЦК, заваливший Абрамова следующей характеристикой: «У Абрамова тьма в романе такая, что её можно ножом, как повидло, резать». Какое образное сравнение! В ЦК тоже творческих людей хватало, готовых намазать это самое «повидло» на чёрствый хлеб искусства...

Зато через шесть лет всё прошло без сучка и задоринки, за премию проголосовали единогласно (вероятно, всем более-менее значимым поэтам из Киева её уже

вручили — в тот же год премию получил и Борис Олейник). 24 октября 1975 года Фёдор Александрович отметил: «...Борьба была великая... Счастлив ли я? Не вышибло ли ум от радости? Нет. Довольно спокойно всё принимаю, хотя премия — событие. Ведь это что же? Критическое направление в литературе утверждается. И ещё мне приятно: не будет стыда перед земляками. Выводы: 1) Ни малейшего зазнайства. Внимание, максимальное внимание к так называемому рядовому человеку! 2) Всегда быть чистым, всегда оставаться на моральной высоте. Ни единого шага не предпринял я, палец о палец не ударил, чтобы получить премию. Никого не просил, никому не звонил. И так держать впредь». Все бы так!

Премии Фёдор Абрамов удостоился за эпический цикл «Пряслины», включавший романы «Братья и сёстры», «Две зимы и три лета» и «Пути-перепутья». Через месяц, 24 ноября уже получив значок и диплом, он запишет: «Все в один голос: ты теперь независим, теперь ты можешь плевать на всех. Лауреат! А этому лауреату не дали даже слова сказать в связи с присуждением премии. Говори под диктовку чиновников из "Литературки", и баста». И эта деталь повседневности также очень показательна. Зато пришлось отбиваться от всевозможных корреспондентов, скрываясь «дома взаперти», как писал Абрамов одному из адресатов: «Выхожу на улицу только в темноте, а Люся (жена — *А.В.*) всем отвечает: "Нет дома. Срочно уехал в Архангельск"».

А Виктору Астафьеву в тот год премию не дали, она была у него впереди. «Книгу повестей, где есть и "Пастушка", выдвигают на Гос. премию на 1973 год, но это пока "тайна". Действие сие начинается в четвёртый раз, я уж было в дыбы, да Бондарев, бывший вояка, Ванька-взводный, умница и хохмач, смеётся: дают на четвёртый раз, говорит, мне на четвёртый дали!» — сообщает Виктор Астафьев Е.Городецкому в письме от 27 декабря 1972 года. Свою первую Госпремию СССР Виктор Петрович получит в 1978 году за «Царь-рыбу», а вторую — в 1991 году за «Зрячий посох»...

Положительные рецензии вдруг прозревших критиков, неожиданно разглядевших в сочинениях прежнего «очернителя советской деревни» Фёдора Абрамова талантливо воспетый «подвиг русского крестьянства», широкая похвала центральных газет — всё это были цветочки, а вот и ягодки: ему предложили встать во главе Ленинградского отделения Союза писателей: «Всё сразу: секретарь СП РСФСР, секретарь СП СССР, член обкома, делегат 25-го съезда... издания во всех республиках, неограниченные поездки за границу, по стране. И цена за всё это — возглавить ленинградских письменников. Подкуп это?» — из дневника. Вот что «крест животворящий» делает! А в нашем случае — не крест, а Госпремия СССР, лауреатов которой в Ленинграде было меньше, чем в Москве, что и повлияло на серьёзное повышение «рейтинга» Абрамова в глазах власть предержащих.

Этот самый «рейтинг» помогал в процессе вечного противостояния между автором и теми, кто кромсал его произведения, заставляя менять названия, начала и концовки и даже фамилии персонажей. Порою приходилось выбирать, дабы не навредить себе: «С грустью я выслушал один из рассказов Сокурова о Бакланове. В последний момент Бакланов снял свою фамилию с "Разжалованного", оставив Сокурова один на один со студией. Аргументация: "Я не могу рисковать, когда, возможно, мне дадут Госпремию"», — отметил Сергей Есин 31 октября 1987 года. О чём идёт речь? В 1980 году Александр Сокуров снял один из первых своих фильмов по рассказу Григория Бакланова о разжалованном начальнике ГАИ, ставшем таксистом. Всего получасовая короткометражка подверглась разносу, и в чём её только ни обвиняли: и в формализме, и в сухости, и в сильном влиянии Тарковского (вот горе-то!). Неудача с дебютом могла плохо закончиться для будущего кинорежиссера. А Григорий Яковлевич Бакланов получил Госпремию в 1982 году за повесть «Навеки — девятнадцатилетние». Так что опасался он не зря (если верить Сергею Есину). Хотя удостоиться столь высокой награды писатель должен был гораздо раньше, если бы не мешали.

А вот если человек и документы правильно заполнил, и шансы имел большие, а премию всё равно не давали... Тем горше было разочарование. Сергей Мнацаканян вспоминает о своём старшем коллеге Михаиле Львове: «Поколение фронтовиков уже тогда начинало постепенно уходить в мир иной. Потому писатели этого поколения ревностно относились к знакам внимания, к премиям и прочим отличиям. Думаю, что это ревностное отношение оказалась для Львова непереносимым испытанием. В восьмидесятые его выдвинули на соискание Государственной премии СССР. Он трепетно ждал лауреатского знака. К этому прилагались немалые деньги, но для Львова это не имело значения: он был весьма обеспеченный литератор. А вот то, что называлось государственным признанием... Но премию дали кому-то другому. То ли под большой юбилей, то ли связей Львова не хватило. Но к нему хорошо относились, и дело кончилось компромиссом: его кандидатуру оставили на второй срок. То есть не отказали окончательно. Таким образом под судьбу Львова заложили мину замедленного действия... Через год всё закончилось для добрейшего Михаила Давыдовича ударом: премию ему опять не дали. А год ожидания оказался непереносимым стрессовым испытанием. Вскоре он ушёл из жизни: потрёпанное сердце не выдержало разочарования. Наверное, не стоило так трепетно относиться к эфемерному признанию общества». Наверное...

Помня о том, что госпремии — это бизнес, нельзя забывать и о другом более важном обстоятельстве. Премии — это ещё и политика. По фамилиям награждённых судили о том, в какую сторону качнулся маятник в литературном противостоянии либералов и консерваторов. Борьба эта в СССР приобрела острый политический характер. При Твардовском, например, «Новый мир» очень активно выдвигал своих прогрессивных авторов. В частности, в 1968 году редакция журнала выдвинула на Госпремию Чингиза Айтматова («Прощай, Гульсары!») и Сергея Залыгина («Солёная падь»). И премию они получили — к радости новомирцев и им сочувствующих: «В праздники было опубликовано постановление о присуждении Государственных премий СССР Залыгину и Айтматову. Конечно, нигде ни звука, что они печатались в "Новом мире". Это давно стало системой, а в данном случае просто должно было быть. Ну как им подписаться под тем, что печатал "Новый мир"! Но для нас это успех, важный в нашей тактической борьбе. Теперь той же комиссии трудно будет "сунуть": вот у вас произведения безыдейные, очернительские и пр. Позвольте, а "Прощай, Гульсары! ", а "Солёная падь"? Две премии — и только нашему журналу. Эту карту уже не так-то легко бить. Во всяком случает цельность "выводов", "решений" разламывается пополам. А в таком случае трудно делать и оргвыводы. Хотя, как мы всё время повторяем, всё можно. У нас всё можно. Это, может быть, самое страшное, что можно сказать о политической и всякой иной жизни. Сталин был хитрее, умнее. Он так не обнажал, что "всё можно". Он скрывал, таил, он на чёрные дела набрасывал блестящие покровы. Но теперь, когда уже давно эти покровы сдёрнуты и они оказались тоже фальшивыми, поддельными, — теперь это "всё можно" встаёт, как чугунный столб, при всяком рассуждении, логике, надежде. И уже не проехать», — отметил в дневнике 11 ноября 1968 года Алексей Кондратович. При этом он подчёркивает, что наряду с состоявшимся в эти дни выдвижением Твардовского в Академию наук СССР, присуждение премий так же, как и это самое выдвижение, «серьёзно сотрясает почву у наших врагов». Передаёт Кондратович и слова самого Александра Трифоновича: «Пусть, пусть. Пусть видят, что настоящее печаталось у нас. Да из них двое и могут получить. Да и так побудут в списке — тоже неплохо».

Ну а что же сами новомирские лауреаты Госпремии? Твардовский справедливо ожидал, чтобы на вручении премий в Кремле прозвучало название пробивавшего их на премию журнала. О своём разговоре с Сергеем Залыгиным он рассказывал Григорию Бакланову: «"Но вы им сказали при вручении, где ваша Alma Mater?" — спросил Твардовский. На моей памяти он повторял это не раз: и у себя дома, и у нас

в беседке, где любил сиживать. А когда выпьет — с особой болью: “Но вы, говорю, сказали им про вашу Alma Mater?” И, не за себя устыдясь, другим голосом: “Молчит. Улыбается...”». Не сказали: то ли забыли, то ли побоялись...

А какие писатели олицетворяли для новомирцев «ненастоящее»? Такие, например, как Семён Петрович Бабаевский, автор бестселлера эпохи культа личности — романа «Кавалер Золотой звезды», экранизированного и даже пережившего оперное воплощение. Трижды лауреат Сталинской премии, Бабаевский активно издавался и в последующие десятилетия, не изменяя раз и навсегда избранной стилистике. Григорий Бакланов в мемуарах «Жизнь, подаренная дважды» рассказывает: «Уже в брежневские времена принёс Бабаевский в журнал “Октябрь” повесть, и редактор, который работал с ним, потерял три страницы текста: возможно, упали со стола и с ненужными бумагами были выброшены. И никто, ни корректор, ни редактор, ни ответственный секретарь, который вычитывал вёрстку, никто не заметил потери. Всё сошлось. Заметил автор. Но не по тексту, хотя он тоже читал вёрстку, а по расчетам: он заранее точно подсчитал будущий гонорар, а заплатили чуть меньше. Тут-то и выяснилось: трёх страниц не хватает».

Произведения Бабаевского носят на редкость оптимистичные названия: «Родимый край», «Белый свет», «Доброта». Из этого ряда выбивается книга «Как жить?». Последнее название наиболее выразительно. Вероятно, Семён Петрович знал, «как», потому и прожил 90 лет, скончавшись в 2000 году, так и не получив Госпремию. Владимир Лакшин отметил 31 мая 1969 года: «...Наиболее вероятный претендент на Государственную премию — Бабаевский. Всё возвращается на круги своя. А давно ли мне говорили на лекции в Политехническом: зачем вы берёте примером дурной литературы Бабаевского — кто не знает ему цены? Назовите примеры посерьёзнее. Вместе с другими атрибутами сталинщины возвращается и ее трубадур». А он, и правда, вернулся. Сегодня он мог бы стать Героем Труда... родного Ставропольского края.

Литературно-политическое противостояние перекидывалось и на редакции журналов. 9 июня 1981 года Давид Самойлов отметил: «Мих. Алексеев в “Москве” отказался печатать поносную статью Глушковой против меня: “Если её напечатать, через год ему дадут государственную премию”». А это как расценивать? Опять же — как раскачку маятника, то в одну, то в другую сторону. Премии были ещё и средством соблюдения баланса. В этом году получил Фазиль Искандер, а в другом — Пётр Проскурин. Всем сестрам по серьгам.

Как мы уже убедились, для советского писателя имело важное значение не только выдвижение на Госпремию, но и то, в какой компании награждённых он оказался. И ещё один важный момент, на который указывает Александр Твардовский: «Не премия возвышает вещь, а, скорее, вещь премию. <...> Обойди ком<ите>т “Дали” — это весьма уронило бы его и без того невысокую политику присуждений», — из дневника от 2 марта 1961 года. Твардовский передал Ленинскую премию за поэму «За далью — даль» в том числе и на строительство клуба на своей малой смоленской родине. В брежневские времена возникло поветрие передавать премию в Фонд мира, но бо́льшая часть лауреатов всё же оставляла деньги в своём кармане.

А Госпремию СССР Александру Трифоновичу также присудили, тяжело больному, всего месяц он побыл её лауреатом: «Перед самой смертью дали Государственную премию за книгу лирики. Интересно бы знать, что в неё вошло и что не вошло. И несмотря на эту премию, разве его судьба лучше, чем судьба Шевченко? Ведь у Шевченко это было в начале жизни! Бедный Александр Трифонович! Его будут хоронить как секретаря Союза писателей, а не как великого поэта и деятеля», — отметил в дневнике 19 декабря 1971 года актёр Малого театра Борис Бабочкин.

С 1966 года российским писателям присуждалась также и Государственная премия РСФСР имени М. Горького. Имя «буревестника революции» прицепили к этой республиканской премии, дабы не путать её с большой союзной. Первыми лауреатами стали Михаил Алексеев, Кайсын Кулиев и Леонид Мартынов. 10 октября 1966 года Виктор Астафьев рассказывает Александру Борщаговскому: «Выдвигали меня за

“Звездопад” на Горьковскую премию. Я, говорят, вместе с Алексеевым и Германом до финала дошёл, но где же мне конкурировать в премиях с Алексеевым? Ему дали за “Вишнёвый омут”. Меня это, в общем-то, нисколько не трогает». Это было как раз то самое письмо, в котором Астафьев высказывал опасения снова оказаться в «литейном цехе с кувалдой в руках и с полуголодными ребятишками дома». Виктору Петровичу не пришлось брать в руки кувалду — в 1975 году он всё же удостоился этой премии.

Не дали премию и писателю Ивану Стаднюку. Выдвигался он в 1967 году, премия ускользнула из рук как жар-птица: «За присуждение “Людям не ангелам” премии имени Горького проголосовало большинство членов комитета. Но под самый “занавес” из отдела культуры ЦК принесли председателю Комитета по присуждению премий записку с требованием непременно присвоить лауреатское звание прекрасному поэту Калмыкии Давиду Кугультинову... Не выполнить распоряжение Старой площади было нельзя, и началось переголосование... Как всегда в подобных ситуациях, проигрывают Иваны... Но к Давиду претензий я не имел: своей поэзией и своей судьбой он заслужил даже непомерно большее. И благодарен ему: со временем он нашёл возможным высказать мне своё дружеское сожаление, что невольно стал причиной моего “поражения”», — сообщает И.Стаднюк в книге воспоминаний «Исповедь сталиниста». И на том спасибо, победила дружба народов.

Ожидание премии выбивало некоторых писателей из колеи, как это хорошо передано в свидетельствах «нелауреатов». Это отрывало от творчества, от работы. Владимир Чивилихин расстраивался 24 января 1972 года: «Третий год меня мордой об стол в этой комиссии. Дали А.Иванову за “Вечный зов”... Пропало у меня два года с половиной — рука не держала перо, голова отказывала, слишком много было такого, что не способствовало писанью». Анатолий Иванов удостоился Госпремии имени Горького в 1971 году, а в 1979 году ещё и Госпремии СССР за сценарий к телесериалу «Вечный зов», снятый по его же одноимённому роману. Завистники писателя переименовали эту популярную эпопею о жизни колхозной деревни в «Вечный зёв».

Не все коллеги высоко оценивали роман: «Вчера уезжал в Москву на собрание. Сезон ЦДЛ открыт, много родных пьяных лиц... Утром бандероль с отказом из журнала, с извинениями. Подчеркнуты “блохи”; придирки таковы, что уныние. Читал Набокова “Приглашение на казнь”. Надо перечитывать. Ведь такая русская проза! Куда всё делось? Пошли “Цементы”, “Золотые розы”, “Хуторки в степи”, “Орлиные степи”, “Вечные зовы” — гигантские очерки для коллективного чтения глухонемых. И отдали лучшего читателя разным Хемингуэям...» — отметил Владимир Крупин 6 октября 1977 года. А между прочим, «разный» Эрнест Хемингуэй так и не стал лауреатом госпремии ни СССР, ни США... Зато получил Нобелевку в 1954-м. Тоже неплохо.

Символично, что последними лауреатами Госпремии имени Горького стали Александр Солженицын (1990, за «Архипелаг ГУЛАГ») и отсидевший в том же ГУЛАГе Олег Волков (1991, за книгу «Погружение во тьму»). На этом премия приказала долго жить.

Ну а тем, кому пока ещё ничего не давали (ибо возраст был далеко не премиальным) присуждали премию Ленинского комсомола, так же с 1966 года. Ее должны были вручать молодым авторам — членам ВЛКСМ, ещё не дожившим до 35-летия, но иногда давали и более возрастным писателям, выросшим из комсомольского возраста. У премии была своя специфика: её присуждали и покойным писателям. Например, Николаю Островскому в 1966 году, Владимиру Маяковскому в 1968 году, Александру Фадееву в 1970 году, Михаилу Светлову в 1972 году, Борису Горбатову в 1978 году. Зная о том, насколько давно ушли они из жизни, возникает вопрос о целесообразности такого премирования, которое остроумец Светлов, будь он жив, срифмовал бы с «кремированием». Впрочем, многое из советской повседневности с трудом поддаётся осмыслению. И даже у понятия «мёртвый писатель» есть иное значение: его можно трактовать и как полное иссякание таланта.

Слава Богу, не забывали и живых, среди удостоенных премии Ленинского

комсомола: Роберт Рождественский, Юрий Поляков, Альберт Лиханов, Андрей Дементьев, Светлана Алексиевич. Учитывая, что последняя удостоилась еще и Нобелевки, как-то язык не поворачивается назвать комсомольскую премию конъюнктурной: в Швеции о ней теперь тоже знают. Лауреаты получали вместе с дипломом квадратный значок на колодочке и 2500 рублей.

Но и на этом щедрость советского государства по отношению к своим писателям не ограничивалась. Почти в каждой республике были премии своего местного комсомола, свои госпремии (украинская премия носила имя Шевченко), а были ещё литературные премии ВЦСПС, МВД и КГБ СССР, премии Союзов писателей... И даже такие экзотические, как премия совхоза «Алёховщина» Лодейнопольского района Ленинградской области (среди её лауреатов 1972 года — Фёдор Абрамов за повести «Алька» и «Деревянные кони») и премия строителей Нурекской ГЭС, присуждавшаяся в разное время и Константину Симонову, и Владимиру Тендрякову.

На премиях свет клином не сошёлся. Советских писателей активно награждали орденами и медалями. Высшим знаком отличия здесь была золотая звезда Героя Социалистического Труда. Довольно долгое время в СССР деятелям культуры (и писателям в частности) эта награда вообще не присуждалась, считалось, вероятно, что героизм и литература не совместимы. Но со второй половины 1960-х годов, т.е. при Брежневе, среди писателей стало столько Героев Соцтруда, что по числу золотых звёзд они обогнали созвездия Большой и Малой Медведицы вместе взятые. Из более чем 220-ти обладателей этой награды — деятелей советской культуры — на писателей приходится 73 человека, т.е. почти треть. Это самый высокий показатель по сравнению с композиторами, артистами, художниками. В этом отношении профессия писателя была самой урожайной.

Мало того, среди писателей больше всего Дважды Героев Соцтруда — это Михаил Шолохов и Георгий Марков, в других сферах советского искусства, в частности, в балете, лишь Галина Уланова удостоилась такой чести. Вторая звезда подразумевала установку бюста награждённого на родине Героя при его жизни. Михаилу Шолохову бюст открыли в мае 1981 года в Вёшенской. А вот Георгию Маркову воздали почести посмертно лишь в 2012 году — в томском селе Новокусково появился его бюст (прижизненный музей был открыт в 1985 году, а Ленинскую премию 1976 года писатель перечислил на создание в родном селе библиотеки).

Награждали орденами и медалями в основном не за конкретные произведения, а в связи с юбилеями за «выдающийся вклад в развитие советской литературы» и тому подобными формулировками. Первым среди писателей «Гертруду» получил Николай Тихонов в 1966 году. Что осталось от него сегодня? Известная строчка «Гвозди бы делать из этих людей». И это уже неплохо. Из имеющихся у Тихонова наград можно было бы тоже сделать гвозди, и даже золотые: он был не только лауреатом Ленинской премии, но и Международной Ленинской премии, а еще трижды лауреатом Сталинской премии. Он же долгое время и возглавлял комитет по Ленинским и Государственным премиям. Всё одно к одному.

Даниил Гранин считал Тихонова «примером талантливого человека, которого обкорнали его общественные должности». И добавляет: «Тихонов был божественной прелести рассказчик. Благодаря своему общественному положению (возглавлял Правление Советского Фонда мира) он путешествовал по всем странам и, когда приезжал в Ленинград, собирал у себя друзей, ему нужна была аудитория, пять, восемь, девять человек сидело за столом, и он сам наслаждался своими рассказами» (из книги «Причуды моей памяти»). А слушатели, вероятно, сидели открыв рот.

Вслед за Тихоновым звезды Героев Соцтруда получили все остальные — т.е. писатели, что входили в руководство своего творческого союза или сидели в президиумах съездов, были главными редакторами журналов, депутатами, академиками и т.д., и т.п., в общем, считались «классиками советской литературы». У многих в рекомендациях на награду записано: первый секретарь, председатель правления и прочее. Но есть в этом ряду и несколько приятных исключений, например, Михаил Исаковский,

ставший Героем в 1970 году. Его представлять не надо: поэт, автор «Катюши». А Даниил Гранин получил свою звезду в 1989 году, к 70-летию со дня рождения, в один год с шестидесятипятилетним Виктором Астафьевым. Двумя годами ранее прикрепил золотую звезду на лацкан пиджака золотой юбиляр Валентин Распутин. Героев-писателей было столько, что выходила даже специальная книжная серия с таким названием на переплёте. Последним советским писателем, получившим «Гертруду» в апреле 1991 года, стал якутский литератор Дмитрий Сивцев.

Какие чувства обуревали награждённых? Интересный разговор как-то состоялся между Михаилом Шолоховым и Михаилом Алексеевым, последний спросил: «Михаил Александрович, а не кажется ли вам странным, что вы полковник и я полковник?» Ответ дважды Героя оказался с укоризной: «А тебе, Миша, не кажется странным, что я лауреат и ты лауреат, я депутат и ты депутат, я секретарь и ты секретарь, я Герой и ты Герой?» Вопрос философский...

Неожиданностью присвоение стало для Василя Быкова к 1984 году: «Награда сначала удивила, а позже смутила меня. Инстинктивно почувствовал, что пользы от неё будет немного, а хлопот не оберёшься, да и как бы не было беды... У друзей, однако, было другое мнение. Одни искренне радовались, другие считали наиболее приемлемым вариантом (всё же лучше, чем получил бы кто-нибудь иной!), некоторые завидовали — не без того. Всё как у людей. Эта награда приравняла меня к моим коллегам — Ивану Шамякину, Максиму Танку, Петрусю Бровке... Мне казалось: здесь какая-то ошибка... Правда, друзья и жена говорили, что это за талант. Но ведь если он у меня и был, то далеко не апологетический к наградившему меня режиму. И режим знал это». Слово за Василя Быкова замолвил первый секретарь Белорусской компартии Николай Слюньков.

Но не всегда писателям звезды вручали к их личным круглым датам. В СССР было принято награждать колхозы, заводы, фабрики, отмечавшие юбилеи. И Союз писателей также не обошли — отметили орденом Ленина (1967) и Дружбы народов (1984). Не забыли и литераторов — к сорокалетию и к пятидесятилетию их союза. Например, много героев появилось, когда исполнилось сорок лет Первому съезду писателей. И потому 27 сентября 1974 года героями стали Константин Симонов, Борис Полевой, Расул Гамзатов, Валентин Катаев, а ещё народный поэт Киргизской ССР Аалы Токомбаев, Габит Мусрепов от Казахской ССР и другие товарищи. От Украины «Гертруду» получил Никола Бажан. Кому-то показалось маловато: опять прижали! 9 октября 1974 года Олесь Гончар позвонил Леониду Леонову: «Он совсем прибитый: сгорела квартира, библиотека. Только получил новую квартиру, расставил мебель, книги <...> И в первую же ночь такое несчастье. Но и в этом горе — вдруг: “Я считаю, что вас обошли <...> (имеет в виду еще одну "футбольную команду" Героев Труда)”. Я стал его убеждать, что для меня это не имеет значения, что смотрю “почти по-философски” на эти чиновничьи пряники, но он всё на своём: “Нет, обошли, вы должны были быть в списке...” А я действительно ничего не ждал и не жду в этом плане, особенно от нынешних раздатчиков» (из дневника).

Беспорядочное и неконтролируемое присвоение орденов и медалей обесценило их быстрее, чем госпремии, что явилось следствием общей девальвации наград в брежневское время. Недаром сам Леонид Ильич удостоился Ленинской премии за трилогию «Малая Земля», «Возрождение» и «Целина» в 1979 году. Вручал её лауреату лично Георгий Марков, по всем правилам, т.е. расцеловавшись с генсеком при большом стечении собравшегося в Кремле народа. Репортаж о вручении пошёл первым номером в программе «Время» (он есть в интернете, можно посмотреть, если кто соскучился). Какая же это была профанация! Ведь знали же люди, сколько «помощников» водило дряхлеющей рукой генсека.

Вот почему вслед за Леонидом Ильичом и некоторые литераторы были просто-таки обвешаны наградами, как говорится, «до пупа». «Наши бездарные, прозрачно-пустые писатели (Софронов, Алексеев, Марков, Иванов и др.) закутываются в чины и звания, как уэллсовский невидимка в тряпьё и бинты, чтобы стать видимым.

Похоже, что они не верят в реальность своего существования и хотят убедить и самих себя, и окружающих в том, что они есть... В зеркале вечности наши писатели не отражаются, как вурдалаки в обычных зеркалах», — размышлял в своём дневнике 12 ноября 1983 года Юрий Нагибин, оставшийся и без Ленинской премии (за фильм «Председатель»), и без «Государыни». Воспринимал он это чрезвычайно болезненно. А быть может, вручили ему хотя бы Госпремию имени Горького или Ленинского комсомола — было бы поменьше желчи в дневнике. Кто знает...

А иных пытались унизить опять же орденом менее весомым, чем полагался. Григорий Бакланов вспоминает празднование шестидесятилетия Твардовского в Красной Пахре в июне 1970 года: «Гости съезжались, уже было известно, что награда снижена до минимума: орден Трудового Красного Знамени. Ниже — только многоцветный, как мордовский сарафан, новоизобретенный орден "Дружбы народов", еще ниже, в самом уже низу — "Знак почёта", прозванный "Весёлые ребята". Орденов не хватало, горстями для ублаготворения швыряли их из Кремлёвского окна в народ, измысливали новые: беря себе, надо было давать другим. <...> О чести говорить уже не приходилось, но унизить наградой могли. Александр Трифонович, виду не подавая, шутил с гостями, но ещё не переступил он в себе ту грань, за которой человек свободен».

Согласно сохранившимся архивным документам ЦК КПСС, представляли Твардовского к ордену Ленина. Хотя он, вероятно (и по праву), рассчитывал на «Гертруду»: «Наибольшая опасность и коварство моих опекунов, четвёртый орден, коих у меня уже три, — это и безупречно высокая награда, ничего не скажешь, и вместе с тем отнесение меня ко второму разряду, вроде депутатства РСФСР», — из дневника, от 23 мая 1970 года. И здесь дело не в тщеславии, а в том весе, который могла придать ему звезда Героя в борьбе с цензурой за поэму "По праву памяти". О борьбе за «Новый мир» речи уже не шло, его уже фактически разгромили.

Сейчас не важно, какой награды лишился Твардовский — ордена Ленина или Звезды Героя, важно то, что он совершил смелый поступок, поехав в калужскую психбольницу к диссиденту Жоресу Медведеву, куда того упрятали в мае 1970 года. Александр Трифонович мог бы сказать: «У меня скоро юбилей, мне должны дать Золотую Звезду, вот дадут, потом и поеду, а с Медведева не убудет, его всё равно не выпустят». Но он поехал, с Владимиром Тендряковым за рулем. Критик-новомирец Игорь Виноградов утверждал, что после возвращения Твардовского из психбольницы чиновник Союза писателей Воронков сказал ему: «Ну, Александр Трифонович! Ну что же вы! А вам хотели Героя Социалистического Труда дать! Ко дню рождения». На что Твардовский ответил: «А что, героя за трусость дают?» И самое главное, что Медведева вскоре освободили, испугавшись шума, поднятого после протеста целого ряда уважаемых писателей и учёных. Так имя Твардовского оказалось в одном ряду с такими достойными людьми как Пётр Капица, Андрей Сахаров, Николай Семёнов, Александр Солженицын, Владимир Дудинцев, Вениамин Каверин и другие. Поступок Твардовского сродни геройскому. А орден Ленина... Да Бог с ним, ведь как говорил Василий Тёркин:

Нет, ребята, я не гордый.
Не загадывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль.

Реакция советских писателей на то, как их награждали, поддаётся классификации. Одних возмущало то, что им ничего не дают, другим дали не то, что хотели, третьим было просто мало. Им хотелось ещё и ещё, как в старом советском мультфильме про золотую антилопу, высекающую монеты из-под копыт. Упомянутый Нагибиным Михаил Алексеев, которого Юрий Маркович назвал «закутанным в чины и звания», тоже выражал обиду. Владимир Бушин в дневнике от 17 января 1988 года передаёт свой телефонный разговор с Алексеевым: «Говорит, что в большой обиде на Маркова. Два раза выдвигали на Ленинскую премию и не дали. Мало ему Звезды Золотой и кучи

орденов. Ну как же! — у Егорки Исаева полный бант, а у него с изъянцем. И с такими живыми классиками приходится иметь дело!» Товарищеская критика.

В этой цитате упомянута важная для нас повседневная мелочь — «полный бант». Что имеется в виду? Это максимально возможный набор премий: Ленинская, Государственная СССР, Госпремия РСФСР имени Горького, а изюминка на торт — «Гертруда». У Михаила Николаевича Алексеева было к тому времени всё, кроме Ленинской. А вот у фамильярно названного Бушиным «Егоркой» Егора Исаева имелась Ленинская премия и звезда Героя Соцтруда. Но «Государыни» не было. Так что «полным бантом» он тоже не мог похвалиться. Ну а кто же им обладал? Да тот же Олесь Гончар.

Всё относительно. Кому-то и ордена Ленина мало, а другому хоть бы «Дружбу народов» получить. Многое зависит от претензий самого писателя и того, какое значение он придаёт награде. Даниил Гранин вспоминал, как в 1985 году пришёл в гости к литературоведу Владимиру Николаевичу Орлову, специалисту по А.Блоку: «Жизнь его кончена, здоровье быстро уходит, не видит, ослеп, работать не может, память сдала, сердце сдаёт, думает, что этого года ему не прожить, и не жалеет, скорей бы умереть. Но вот что он мне хотел сказать со всей откровенностью... Почему ему не дали орден “Дружбы Народов”, ведь всем его дали, почему же Ленинград его не отстоял?». А вскоре Орлов и правда умер...

На эмоциональное восприятие высокой правительственной награды влияние оказывал и возраст награждённого, благо ордена давали не только убелённым сединами литературным аксакалам, но и писателям молодого и среднего поколения. Например, много «швыряли орденов» — по выражению Григория Бакланова — в 1984 году к юбилею Союза писателей СССР. Руководителей буквально засыпали Золотыми Звёздами, но не забыли и «молодёжь». Сергей Чупринин в «Фейсбучном романе» вспоминает: «Мне тоже перепал орден “Знак Почёта”. Из ожидавших награждения помню только Александра Андреевича Проханова, который пришёл в костюме с пустыми лацканами и уже в зале стал извлекать из кармана и вешать себе на грудь ордена боевые — за Афганистан, а может быть, уже и за Никарагуа, ещё за что-нибудь. И вот подходит моя очередь. Михаил Васильевич Зимянин, а именно он вручал награды как секретарь ЦК КПСС по идеологии, лично цепляет мне орден на лацкан, потом задерживает мою руку в своей и тихо говорит: “Слежу за вашим творчеством, слежу”». Геннадий Красухин трактует это награждение на свой принципиальный лад: «Это значило, что не все же крутые мерзавцы полностью заполняли собой правления, не всегда награды доставались только лизоблюдам и негодяям» (из книги «Стёжки-дорожки. Литературные нравы недалёкого прошлого»). Трудно не согласиться... А фразу «Слежу за вашим творчеством, слежу» товарищ Зимянин произносил в тот день не раз.

А кто-то отказывался получать орден. Ему чуть ли не силой хотели вручить, а он ни в какую! Это Владимир Богомолов, который называл Союз писателей СССР «террариумом сподвижников». Известинец Эдвин Поляновский, сорок лет отдавший этой газете, хорошо знал Владимира Осиповича. Он рассказал, как в 1984 году тому позвонили из наградного отдела Президиума Верховного Совета СССР, поздравив с высокой наградой Родины — орденом Трудового Красного Знамени. Однако на торжественную церемонию вручения в Кремль писатель прийти отказался: «Меня в Кремль не пустят в кедах». В спортивной обуви за орденами ещё никто не приходил (разве что футболисты), но Богомолову в кедах было сподручнее — израненные на войне ноги! Когда писателю перезвонили вновь, он ответил прямо: “Я человек не общественный, трудовых заслуг не имею”. И даже дома принять орден отказался.

Богомолову впору было вручать орден не Трудового Красного Знамени, а Боевого — за его сражения с цензурой, увенчавшиеся впервые, быть может, за всю историю советской литературы победой автора. Владимир Осипович стоял насмерть: не уберу ни одной запятой! Старожилы издательства «Молодая гвардия» этот уникальный случай назвали «битвой титанов». Богомолов сам ездил во все инстанции, не дав

исправить в романе «В августе 44-го» ни слова. Пять лет редакция ждала от автора окончания работы над рукописью. Наконец, в сентябре 1973 года терпение лопнуло, но выяснилось, что уже восемь месяцев роман «вылёживается». Трудным был поиск названия. Зоя Яхонтова вспоминала, что сперва придумали «Возьми из всех», затем «В августе 44-го». А сегодня роман издается под своим последним именем — «Момент истины»...

Правда, когда роман ещё печатался в «Новом мире», у коллег Богомолова он вызвал противоречивую реакцию: «Я прочитал роман без восторга. Неплохо написанный, со множеством специфических деталей, он, однако, заключал в себе едва припрятанную апологетику определённых органов. Правда, я не стал говорить автору всего, что думал о романе, сказал лишь, что, по-моему, его "Зося" лучше. Но автор был человеком догадливым и что-то в моих словах почувствовал. [Алесь] Адамович же с его нетерпимостью ко всякого рода литературным хитростям, чем бы они не маскировались, прямо сказал Богомолову, что его роман — тот же "Щит и меч" Кожевникова, разве что лучше написан. Богомолов обиделся, обругал Адамовича и порвал с ним отношения. Мои отношения с Владимиром еще сохранялись какое-то время, но становились всё более натянутыми», — свидетельствовал Василь Быков.

Огромный успех романа, к удивлению Лазаря Лазарева, повлиял на Владимира Богомолова: «Зазвучали мелодии медных труб, и к этим сладким звукам неожиданно для меня Володя стал прислушиваться. Направо и налево охотно, с удовольствием рассказывал, как ему звонили или приезжали к нему порученцы от Андропова и министра обороны с просьбой сделать дарственную надпись на книге для шефов. <...> Володя не понимал, что подобного рода приятные мелодии надо пропускать мимо ушей. Не чувствовал, что его рассказы о внимании к нему власть имущих не возвышают, а унижают его достоинство — такова коварная сила медных труб... Однажды рассказал мне, что его пригласили высокие чины Комитета и уговаривали написать книгу о современных розыскниках, суля поддержку, всякие блага, златые горы и реки, полные вина. "На столе стояли три вазы с конфетами. Все конфеты были разными". Деталь эта меня удивила: "Зачем?" — спросил я. "Чтобы отвлечь меня, чтобы у меня не было сосредоточенного внимания", — вполне серьёзно ответил Володя...» (из воспоминаний Л.Лазарева «Записки пожилого человека»).

А Мариэтта Шагинян Владимира Богомолова поддерживала: «"Этот тот, который не вступает в СП? Я его за это уважаю, в этот... бедлам, но есть какое-то другое слово..." — "Барсук", — услужливо подсказала я. "Да, да, именно. Я ведь тоже долго не вступала в СП, меня упрашивали, а я ломалась..."» — вспоминала Зоя Яхонтова. Что касается наград, то Шагинян, она была обладательницей почти всех разновидностей советских орденов, которыми могли только награждать писателей. Но была и ещё одна награда — необычная: персональная планета. Назвали её в честь Мариэтты Сергеевны в 1980 году: «Моя планета меня ждёт... Теперь мне нужны 60 процентов гонорара за "Мысливечка" (книга Шагинян о чешском композиторе. — *А.В.*), чтобы я могла подготовиться к полёту...» — заявила она.

А Ленинскую премию Шагинян получила в 1972 году за тетралогию «Семья Ульяновых» (наш ответ вагнеровскому «Кольцу Нибелунгов»). Но до конца не верила в своё лауреатство. Не дожидаясь решения Комитета по Ленинским премиям, благодарная Мариэтта Сергеевна созвала на банкет в ресторан «Арарат» чуть ли не всю редакцию «Молодой гвардии» — корректоров, художников, редакторов. Домашняя обстановка того вечера осталась в памяти его участников: «Мариэтта Сергеевна прямо-таки излучала радушие, была очень оживлена, никого не обошла своим вниманием. Запретила произносить тосты о себе». Её вдруг потянуло на откровенность: «Я перечитала все свои книги и пришла к выводу, что пишу плохо, читать меня скучно...» Судя по этим словам, Шагинян была требовательна прежде всего к самой себе, но не только. В другой раз она поставила диагноз всему общественному строю: «Наш социализм похож на железнодорожную колею, зарастающую травой». Прошло лет пятнадцать после этого изречения, и колея заросла напрочь...

Диана Светличная

Туда и обратно

Это эссе было получено «ДН» в прошлом году и запланировано в апрельский номер. Мы решили оставить его, ничего не меняя, — как несожженный мост.

Автобус Кишинёв — Одесса

Центральный автовокзал Кишинёва серый, неуютный, пустой; тесный ряд крошечных магазинов с бесполезным товаром, закрытые окошки касс. Пахнет автомастерской, резкими духами, жареным пирожком. Раннее утро, небо затянуто тучами, на парковке одинокий автобус. «Современный автопарк с повышенным уровнем комфорта, включающим бесплатный интернет на всем пути следования», — написано на сайте автовокзала. Над парковкой ветер гоняет бумажный лист, несчастный машет своими острыми краями, тычется в урны, двери, бордюры, приподнимается и падает. Вокруг автобуса ходит черный ворон, смотрит умными глазами по сторонам, обходит масляные лужи, инспектирует мусорные баки; ворон может взлететь, преодолеть сотни километров, может жить у моря или в лесу, но ему никуда не нужно, ему хорошо здесь.

У автобуса стоит женщина в белых шортах и черной майке, с удовольствием курит и поминутно проводит рукой по коротко стриженной голове, наверное, недавно постриглась и ей нравится это новое ощущение.

— Товарищ водитель, вы доставите нас на Центральный или на Привоз? — с характерным одесским акцентом обращается женщина к водителю. Водитель невозможно красивый, напоминающий сразу всех итальянских актеров, поправляет на тонком запястье золотой браслет и, ровно держа спину, спускается по ступенькам из автобуса. На нем светлые туфли, узкие брюки, футболка-поло. Он знает, что неотразим, и смотрит поверх пассажиров.

— На Центральный, — сухо отвечает он на чистом русском.

На лобовом, под табличкой «Chisinau-Odessa», два номера: один с кодом Молдовы, второй — Украины, под номерами капслоком «ЮРИЙ».

Разглядываю лицо водителя: густые брови, длинные ресницы, выразительно очерченные губы, глаза не блестят. Сколько же вы проехали, Юрий?

Рассаживаемся неторопливо, как в замедленном видео. Бо́льшая половина мест в автобусе пустые.

Диана Светличная (*Горяйнова Юлия*) родилась в 1979 году в Томске. Журналист. Работала в различных СМИ. Преподает в Киргизско-Российском Славянском университете на факультете журналистики. Печаталась в журналах «Идиот», «Слово Кыргызстана», «Идель», «Лампа и дымоход» и других. Живет в Бишкеке.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 6.

— Водитель, у нас электронные билеты, посмотрите, — говорят вошедшие мужчина и женщина. Женщина худенькая, прическа под мальчика, голос высокий, звонкий.

— Что мне на них смотреть? Я смотрю только на бумажные, — отвечает Юрий и идет по проходу, считая людей. Проходя мимо женщин постарше, он чуть морщит нос и кривит губу. Молодым пассажиркам как будто улыбается, но указательный палец при счете направляет и на тех, и на других.

— И что нам теперь делать? — взлетает к потолку высокий голос девушки «под мальчика».

— А я откуда знаю? — упиваясь своей властью, отвечает водитель, делая запись в блокноте. Так вот вы какой, Юрий.

— Только спокойно, — низким голосом просит девушку «под мальчика» спутник — длинноволосый, крупный мужчина.

Между обладателями электронных билетов и водителем начинается разговор на повышенных тонах, они выходят из автобуса, идут к кассам, то сходятся, то отдаляются друг от друга, машут руками, приподнимают подбородки, шевелят губами, их лица искажаются гримасами.

— Вот зачем они делают ему нервы? Нам же еще ехать! — сокрушается пожилая дама, сидящая сразу за мной.

— Идиоты, — поддерживает ее муж.

Через несколько минут молчаливая троица возвращается. Взбудораженная пара проходит в глубь автобуса, водитель заводит двигатель.

— Водитель, а что у нас с интернетом? — спрашивает молодой человек, сидящий впереди меня и беспрестанно целующий в макушку свою девушку.

— Что у вас с интернетом, я не знаю, а у нас его украла какая-то сволочь. Вот тут стоял роутер. — Юрий обводит рукой воздух, кивает человеку в пластиковой будке на выезде с автовокзала и включает русскую попсу девяностых.

За окном плывут торговые центры, парки, старые дома, снова парки, здания промзоны. Окраины Кишинёва не отличаются от окраин сотен других постсоветских городов: памятники, указатели, надписи на крышах домов — все в едином порыве, все большой, сильной рукой.

Женщины с передних сидений громко спорят о каком-то снесенном памятнике, «Ласковый май» глушит часть разговора, фамилия сброшенного с корабля современности тонет в слезах Шатунова.

— Ленина тоже убирали, и ничего, — звучит в паузе между куплетами.

— Так его памятники были на каждом углу, а (снова голос Шатунова) был один и наш, могли бы и оставить.

Шатунова сменяет Буланова, Буланову — Королёва, Королёву — Леонтьев. Ловлю себя на том, что притопываю в такт мелодиям и знаю все тексты песен из водительской подборки. За окном много зеленого, желтого, на горизонте виднеется море. Я щурюсь, напрягаю зрение, прислоняюсь лбом к стеклу — нет, оптический обман — полоска неба между полями и облаками морочит мне голову, подсовывая мираж.

Одна за другой плывут деревушки, поля, виноградники. Головастые подсолнухи тянутся километрами, между ними болтаются кукурузные острова. Я немного жалею, что нельзя остановиться и сделать фотографию этого, этого и вон того.

Автобус едет не спеша, несколько раз водитель замедляет ход и на минуту тормозит у обочины, отвечая на телефонный звонок. Я начинаю понимать, почему двести километров по расписанию занимают пять часов.

— Сейчас будет хороший кофе и бесплатный туалет, — второй раз за час предупреждает водитель. Пассажиры дружно выходят на асфальтированную площадку, потягиваются, курят, кто-то бежит за кофе.

— Леночка, ты хотела увидеться-посидеть, так вот у тебя есть такой шанс. Я сегодня в обед буду в Одессе на Центральном вокзале, так ты возьми с собой Галочку, и приезжайте за мной. — Женщина в белых шортах в одной руке держит сигарету, в другой телефон. Мне кажется, ей очень хочется провести ладонью по своей коротко стриженной шевелюре, это должно быть приятно.

— Женщина, сколько от вас шума, — возвращаясь из бесплатного туалета, замечает дама — жена мужчины без собственного мнения.

— Я не расслышала, женщина, это вы мне? Нет, это я не тебе, Леночка. Тут со мной в автобусе нервные, — говорит короткостриженная и выбрасывает сигарету в урну.

В следующий раз автобус останавливается у магазина с пирожками и мороженым. Женщины в магазине расцветают при появлении Юрия, выворачивают в его сторону шеи, посылают томные взгляды, по-кошачьи урчат. Юрий павлином идет к холодильнику, достает оттуда мороженое, рассчитываясь, острит на тему жаркого дня, женщины хором смеются.

Вслед за Юрием к прилавку подходят белые шорты, пытаясь попасть в тон настроению продавщиц, указывают пальцами на товар.

— Положь мне, милая, самых вкусных с картошкой, с луком-яйцом и с грибами. Шоб мне не стыдно было за Молдову.

Продавщицы закатывают глаза, криво улыбаются, переглядываются между собой.

Снова поля подсолнухов, кукурузы, виноградники, перелески. Вновь кромка неба притворяется морем. Дорога ровная, гладкая, легкие подъемы и спуски, из динамиков — русский шансон.

— У всех есть страховки? — за время нашего пути Юрий превращается в пионервожатого. За 200 (валюта не называется) он организовывает нужные документы нескольким «растяпам», которым «лучше бы голову забыть».

В автобусе начинаются разговоры про то, как «в прошлый раз шмонали чемоданы», «смотря на кого нарвешься», «а вот у нас был случай»...

— Меня в прошлый раз задержали с тремя детьми, разрешение от отца требовали, а отец раньше нас в Одессу уехал, как я им разрешение сделаю? — начинает молчавшая всю дорогу пассажирка с неровно прокрашенными корнями волос. — Я-то еду по программе переселения и как многодетная мать. У меня своя первая дочь, вторая у нас с мужем совместная, а третья неожиданная. Я про нее узнала, когда она пинаться начала. Мне уже почти сорок было, я и подумать не могла, говорю мужу: как будто в животе что-то шевелится, он смеялся-смеялся, досмеялся. Я с тех пор каждый месяц проверяюсь.

— Почему мы должны это слушать? Кто-нибудь, закройте ей рот, — отзывается женщина за моей спиной. Ее муж в поддержку цокает языком.

— Вот сейчас продаю под Одессой домик, даже за пятнадцать тысяч долларов никто не берет, — не обращает внимания на реплики недовольных многодетная мать.

— Никогда Украина не была такой бедной, — включаются в разговор белые шорты. — Я раньше на украинскую зарплату в триста долларов могла себе в Молдове позволить все что угодно, сестру содержала, племянницу.

— Они никогда не замолчат, — делает вывод женщина за моей спиной. — Миша, звони им, пусть что хотят делают, раз поставили тебе имплантаты, должны принять. Или я сама им позвоню, они у меня на голове стоять будут!

— Товарищ водитель, а вы сделаете остановку на дьюти фри? Скажете мне, да? — требуют белые шорты.

Показывается пограничный пост, автобус останавливается. В салон входит крошечная черноволосая девочка в синей форме, форма ей очень идет. На улице стоит такой же маленький молодой человек в форме и с автоматом. Мини-пограничники

быстро собирают у всех паспорта, относят их в мини-будочку и через несколько минут раздают обратно.

Автобус трогается и, прокатившись несколько метров, снова встает у будочки из красного кирпича с надписью «Україна». Здесь пограничников больше, выглядят они постарше и посуровее. В глаза бросается их защитного цвета форма и серьезность намерений. Юрий открывает багажники с чемоданами, и пограничники ведут к ним молодую, веселую дворнягу. Собака виляет хвостом и не желает выполнять свои обязанности. Человек с усталым лицом направляет собаку в сторону багажа, она подпрыгивает, извивается, хочет играть. Посреди границы в позе огородника стоит полная женщина и собирает сорняк, пробивающийся сквозь расщелины тротуарной плитки. У женщины в руках большой холщовый мешок, он уже наполовину заполнен. Пока у нас собирают паспорта, женщина наполняет свой мешок до верха и идет за следующим.

— Вы приехали из Испании? — обращается к немолодой рыжеволосой женщине пограничник. — ПЦР-тест покажите.

— У меня сертификат. Я привита. Модерна. Вот, — женщина протягивает пограничнику бумагу.

Пограничник зачитывает ей список стран, прибывшие из которых обязаны, даже имея прививку, сдавать ПЦР-тест. Испания в их числе. Начинается перебранка, пограничник требует, чтобы женщина вернулась в Молдову, женщина угрожает пограничнику судом, пограничник обещает ей наряд милиции и ночь в каталажке. Наконец, женщина замолкает и после паузы говорит дрожащим голосом, что едет в Одессу хоронить маму, которая умерла от ковида. Пограничник топчется на месте, выходит из автобуса. Вместо него в автобус заходит другой и говорит, что она поедет вместе со всеми, если установит на телефон приложение, по которому можно будет отследить ее перемещения в Одессе. У женщины не оказывается украинской сим-карты, водитель за 200 (валюта не уточняется) предлагает ей сим-карту. Бледная женщина пытается поменять карту, роняет телефон и падает в кресло. Рядом сидящая молодая пара бросается ей на помощь. Лоб женщины протирают влажной салфеткой, замеряют пульс, помогают разобраться с телефоном и принять лекарство.

— Гражданка Кыргызстана, выйдите из автобуса, — неожиданно говорит пограничник, и в автобусе становится тихо. Люди замирают, будто узнав, что среди них инопланетянин. Я встаю, иду на выход. Мне неловко протискиваться сквозь стену концентрированного внимания, люди думали, я своя, вели себя просто, говорили что думали, а я — вот она кто. Такие дурацкие были у меня мысли.

— Через какую страну вы прилетели в Молдову? — спрашивает меня напряженный пограничник.

— Через Турцию, — отвечаю я, и пограничник сразу расслабляется.

— Вот тут распишитесь, — дает мне листок.

— А тест? Вот мой тест, — протягиваю ему сделанный в Кишинёве почти за сто долларов экспресс-тест.

С моим возвращением в автобус возвращается напряжение. Все как-то разом замолкают, делаются серьезными. Автобус трогается, проезжает несколько сотен метров.

— Товарищ водитель, дьюти фри! Я же просила вас остановиться! — спохватываются белые шорты.

— Я не обязан это делать, — отвечает водитель.

— Вы должны, я вам плачу! — выкрикивает женщина.

— Я ничего тебе не должен, алкашка, — зло отвечает красивый Юрий, и в салоне во второй раз становится тихо.

— Я не алкашка, я три года не пью. Хотела подругам подарок взять! — вдруг начинает плакать женщина.

Юрий ударяет по тормозам, автобус дергается, скрипит, едет задом.

— Это не водитель, это какой-то псих! — говорит сидящая за мной женщина.

— Больной, — поддерживает ее муж.

— Людям нужно не только в дьюти фри, но и в туалет, — подает голос зацелованная в макушку девушка.

— Сколько можно ходить в туалет? Носите памперсы, — выдает едущая на похороны матери.

— Вот так? — выкрикивает в ответ зацелованная. — Мы оказали вам в трудную минуту сапорт, вы даже спасибо не сказали, а теперь, когда у вас все хорошо, вы про памперс?

— Да сказала я вам спасибо. Сколько раз еще повторить?

— Не нужно мне ваше «спасибо», знаете, куда его...

— Замолчите! — вопит водитель и останавливает автобус у небольшого здания. — Дьюти фри, туалет, десять минут!

Через полчаса мы подъезжаем к большому указателю «Город-герой Одесса». Рядом с указателем стоит билборд с надписью «Мы всех посадим!» Под жирным обещанием — фотография садового инвентаря, семян и черенков. Пахнет морем, праздником, скандалом.

Молдаванка

Что делает приличный турист, приехав в Одессу? Конечно, несется на Дерибасовскую, ходит по музеям, ресторанам, под парусом. Ест, пьет, загорает. Я тоже буду. Чуть позже.

— Как там моя Молдаванка? — спрашиваю таксиста, как будто поручала ему приглядывать.

— А шо с ней станется? — отзывается он.

— Время такое, как будто сами не знаете, — говорю я.

— Давно не были? — интересуется таксист.

— Сто лет, — отвечаю я.

— За Молдаванку я бы не переживал, мир перевернется, мамонты вымрут — а с ней ничё не сделается, — горячится он.

Мамонты вымрут, запоминаю я и хочу на прощание поцеловать таксиста, но он оказывается членом синдиката «без сдачи». Жить ему нецелованным.

На Молдаванке я впервые. Мне всё надо. Понюхать, потрогать, почувствовать. Нюхаю, трогаю, смотрю. Не знаю, каких ощущений жду, каких ищу впечатлений. Но ностальгия, меланхолия и еще какие-то едва различимые «ии» подошли из-за угла и немедленно, точным движением кольнули под ребро. В покореженных улочках, в осыпающейся штукатурке, в полуразрушенных домах и сырых дворах голоса Мишки Япончика и Бени Крика сливаются воедино, и не различишь, чей голос громче, чей образ ярче, легкие миры рассекают грубую твердь, книжное питает реальность, нарождается плодородный слой. «Сестренка, фраер всегда кинет, верь только пацанам», — учил меня четкий пацан.

Мне было шестнадцать, мои родители выбрали для жизни местечко рядом с колонией-поселением. Наш поселок — осушенное пленными немцами болото. По одну сторону водохранилище, где что ни день — утопленник с камнем на шее, что ни вечер — раскачивающийся в лесочке висельник; по другую сторону бескрайние степи Казахстана. «Вышел в ту степь он, как в космос, светит матери с неба звездой».

— Посмотри, чё написал. Ровно?

Пока хорошие девочки читали высокое, я правила ровное. Семь километров от поселка до колючки на оранжевом «Салюте» по разбитой дороге, в сумерках между

прудами и кукурузными полями. Не знаю, что это было. Желание кого-то спасти, что-то понять, преодолеть?..

Он целовал меня в лоб и говорил, что никогда не подведет. Он не лгал. В пруду качались кувшинки, перекрикивались лягушки, пели цикады. Я была неуязвимой и ходила по воде. Таких высоких отношений в моей жизни больше не было.

— А вот здесь снимали фильм «Ликвидация», — говорит мне молодой человек в кепочке. У него трясутся руки, мне сложно заглянуть ему в глаза, их прикрывает козырек.

— Чё руки-то трясутся? Замерз? — спрашиваю незнакомца. Он, ничего не ответив, вдруг разворачивается, идет прочь.

Дворики Молдаванки за тяжелыми коваными воротами — в щербинах и промоинах, железные лестницы ржавыми нитями тянутся ко вторым этажам. По стенам ползет плющ, в горшках цветы, на веревках белье. Кто-то жарит картошку, аромат, хоть слюной подавись. Бритоголовые мальчишки возятся с игрушечным самосвалом, на скамейке сидят молодые мамаши, моют кости соседке, на втором этаже под бельевой веревкой стоят мужчина и женщина. Женщина греется в лучах солнца, мужчина жадно курит; что-то дикое, архаичное, сильное в их дуэте. Они едва касаются друг друга локтями, но в этом касании столько энергии, что коты, идущие по своим кошачьим делам, с трудом преодолевают плотность воздуха.

Сколько таких дворов я могу вспомнить в Новосибирске, Барнауле, Томске, Ташкенте, Фрунзе, сколько их существует в городах и крошечных селах бывшего Союза. Коммунальный рай, счастье эксгибициониста, когда вся жизнь на виду, когда ни спрятаться, ни скрыться, когда все общее и ничто никому не принадлежит. Обняться и плакать двором, танцевать и смеяться районом.

Настоящие друзья приходят без предупреждения. Мама молниеносно накрывает на стол, в крошечной комнате не повернуться, но всем хватает места, в магазинах шаром покати, но всем хватает еды. Соседка забежала за солью и тоже уже сидит за столом. Гул — как в улье, не наговорятся, не наслушаются, не насмотрятся друг на друга. Прекрасные, припорошенные временем лица, я всех вас люблю.

Баня номер четыре на улице Асташкина открыта каждый день с восьми до восьми. «Стоимость двух часов посещения с человека стоит 50 гривен. Пенсионерам и инвалидам скидки. Женский день — среда». Я пришла в пятницу. Останусь немытой.

— Хороший человек был, царствие небесное, — представляет мне портрет с мемориальной доски бабуся в галошах и с ведром.

Если долго сидеть во дворе общественной бани, всегда можно дождаться кого-то с ведром.

Я не прошу ее рассказывать мне про Карабаса, но она завелась — не остановишь. Заметила, женщины рассказывают о бандитах даже с бо́льшим удовольствием, чем о детях и внуках. Бабка вещает про оружие, из которого был убит ее любимый Робин Гуд, так, как будто сама состоит в федерации стрельбы и только что вышла из тира.

В бане пересмена, из маленького окошка мне машет чья-то рука. Вьющийся цветок ползет по стене на крышу. За дверью мужской гогот. В центре двора в вазе гвоздики, тут же свечи. Бабка говорит: братки до сих пор целуют мраморную доску с мрачным портретом. Какого черта я приперлась сюда?

— Ты знаешь, он ходил ко мне много лет раз в полгода как по часам. Такой красавец, глаз не оторвать! — рассказывала мне знакомая стоматолог. — Ресницы вот такие! — складывала вместе два пальца. — Как посмотрю на него, чуть не падаю. Что-то такое в нем было. За зубами следил — ни одной женщине не снилось. Обходительный, вежливый, щедрый. Мечта — не мужик. Придет, сядет в кресло, я еще и чистку не успею начать, он уже спит. Пока работаю, любуюсь. Закончу, надо будить, а это всегда с ним непросто. Только за плечо тронешь, всем телом вздрогнет, изовьется, приборы летят по всему кабинету. Все удивлялась, думала: детская травма. А потом смотрю вечером новости, его показывают — глава ОПГ. Понимаешь?

— Понимаю.

На Малой Арнаутской, в двух шагах от Привоза — «Сонькина малина», ресторанчик с богатой историей. В пятницу тут не протолкнуться. Под раскидистой ивой аккордеон, синтезатор, тромбон. Реклама обещает: «Всё лучшее за Одессу вам споют и станцуют тут». За соседним столиком сестра-близнец Людмилы Нарусовой пьет горилку, перебивает артистов, задирает ножку. Ее спутник в красной футболке и с красным лицом не сводит с нее глаз.

— А мы вот так выпьем и утремся! — кричит «Нарусова» и задирает подол своего летящего персикового платья.

— Брат, сыграй за армян! — кричат музыкантам из соседнего зала.

— А правда, что из вашего ресторана можно попасть в катакомбы? — спрашиваю официантку в морской тельняшке

— У нас из любого ресторана можно попасть в катакомбы, — отвечает официантка. Отодвигает форшмак и ставит кошерную доску.

Три часа люди с консерваторским образованием строят из себя шпану, ива плачет, еда не заканчивается. «Нарусова» пытается взобраться на стол, администратор выходит курить. Малина уже не та, Соня, в округе ни одного приличного бандита: все менеджеры и торгаши.

Южная ночь пахнет морем, на Молдаванке кромешная тьма. Разбитые тротуары замусорены, на редких скамейках спят люди. На перекрестке стоит компания нетрезвых мужчин, в подворотне разбираются подростки. Я иду спокойным, уверенным шагом, не оборачиваюсь и ничего не боюсь. Если четкий пацан пообещал тебе, что не подведет, ты навсегда под его защитой.

Через несколько кварталов под единственным горящим фонарем стоят две девушки.

— Света нема? Твою мать, я ж телефон не зарядила! — кричит одна из них.

Одесса и окрестности

Нет, наверное, в этом городе мне так и не удастся увидеть рассвет. Как ни пытаюсь поймать просыпающееся солнце, не получается. Уже и будильник ставила, и старалась вообще не ложиться, все зря. Вот только была темная ночь — а вот уже сразу день. Никаких полумер. Солнце с раннего утра белой лампочкой висит над морем, колет глаз.

Зато воздух после ночи — прозрачный как хрусталь, сладкий как мороженое. Стоишь перед открытым окном — внизу двадцать сонных этажей, узкие улочки, спящие парки, горизонт блестит морем. Сделала десять вдохов — наелась на весь день.

Я снимаю квартиру на улице Армейской, это средняя линия между пляжем и центром: семь километров в одну сторону — море, семь километров в другую — музеи. Мне нравится ходить пешком, телефон считает мои шаги.

— Пешком? — взвизгивает при нашей первой встрече Юля. — Дорогая, вы, кажется, не совсем поняли, зачем женщине ноги.

Юля — это хозяйка квартиры, которую я снимаю. У Юли синие глаза, много тела и жизненный опыт. Я не планировала встречаться с ней ежедневно, но она оказалась заботливой и свободной. Особенно по утрам.

— Вот принесла вам ягод, а то посмотрела, что продают на углу, за Одессу стыдно!

Юля всегда приходит с мужем, но он нам не мешает, его не слышно и почти не видно, стоит за Юлиной спиной, тихонько себе дышит.

— Будете на углу брать фрукты, торгуйтесь! А то они сядут на голову, — вооружает меня знанием Юля. Увешанный сумками Юлин муж переминается с ноги на ногу, смотрит в распахнутое окно.

— Как это еще не были? — сокрушается Юля. — Оденетесь поприличнее, приведете себя в порядок и часов в пять вечера пойдете в сторону Аркадии.

— Но я читала, там самый ужасный пляж, — набираюсь смелости я.

— Да, пляж ужасный, народу толпа, а шо делать? — удивляется Юля. — Идти надо! Людей посмотреть, себя показать. Это же как Париж!

До Какпарижа рукой подать. Через скверы по переулкам, за людьми с детьми и надувными баллонами, неторопливо, останавливаясь у кофеен и магазинов.

— Булочки свежие? — спрашиваю в кофейне у приятной, сдобной продавщицы.

— Шупайте! Шоб потом мне тут не было! — отвечает она и дает мне прозрачную перчатку.

Надеваю перчатку, щупаю.

— Пошупали? Отходите уже в сторону! Как будто одна шупать хочет! — горячится за мной дедушка в шортах на широких подтяжках.

Щупая булки, он вполголоса говорит что-то продавщице, я стою поодаль и стараюсь не мешать их отношениям, видно, что они давно знакомы и им есть что обсудить.

— Ни слова за Одессу! — вдруг почти выкрикивает продавщица.

— А вот посмотришь! — отвечает ей старик и, прижимая пакет с булками, выходит из кофейни.

В магазине косметики за моей спиной возится немолодая брюнетка, консультант с бейджем Алёна не отходит от нее ни на шаг.

— И сколько здесь процентов красоты? — спрашивает Алёну брюнетка.

— Сорок красоты и шестьдесят здоровья, — отвечает невозмутимая Алёна.

Когда довольная брюнетка уходит к кассе, я бросаюсь к содержимому чудо-полки. Передо мной обычные тюбики и баночки с тональным кремом. Вернее, раньше они были обычными, теперь это «сорок процентов красоты, шестьдесят — здоровья».

Здоровье и красота в Одессе на первом месте. Трасса здоровья вдоль побережья с раннего утра до позднего вечера используется по назначению. Бегуны, велосипедисты, сочувствующие, матерясь и разговаривая на последнем дыхании по телефону, делают бизнес, решают задачи, строят планы.

Мы завозим им цемент, они меняют на сахар... Ни холодильников, ни кондиционеров — не сезон... Я говорю ей, знаете, что, мама!.. Пришлось взять собачку в дом... Ты думаешь, в Киеве лучше?.. А и поедем на дачу, раз просрали лето!..

Засилье красоты на пляжах такое, хоть топись. От Аркадии до Ланжерона весь песок и галька покрыты полотенцами. Поворачиваешься на один бок — перед тобой чьи-то раскинутые ноги с врезавшейся в кожу поперек тела ниткой, поворачиваешься на другой — семидесятилетняя нимфа топлес красит губы. Мужчин на пляже немного. Возятся с детьми, разносят коктейли, охраняют вещи.

— Антон, я могу раз в жизни по-человечески позагорать? Оно щас потонет, вытащи его из воды, — говорит в матрас на шезлонге дама в шляпе. Сидящий под зонтиком мужчина встает, идет, как Герасим, к воде.

Море каждый день новое. Вчера было почти болотом, пахло тиной, плевалось водорослями, отталкивало. Сегодня вода прозрачная, волн почти нет, радуга.

— Девушка, — прошу загорелую красавицу с первой линии полотенец у воды, — не присмотрите за вещами?

Из вещей у меня полотенце, на нем рюкзак. В рюкзаке вся жизнь: от паспорта до телефона. Плавать хочется ужасно.

— Я ухожу, не думаю, что ваше полотенце кому-то интересно, — отвечает девушка, и мне становится неловко за свою просьбу.

Приподнимаюсь на цыпочки, пытаюсь охватить глазом прибрежную линию, глаза слезятся, зонтики и полотенца сливаются в одно размытое пятно. Иду между

полотенцами к воде, по дороге пытаюсь запомнить лица ближайших соседей, запоминаю только белую собачку в голубом ошейнике и «Американскую трагедию» в мягком переплете.

Соленая вода крепко обнимает мое тело, гладит по щеке, приподнимает над землей, начинает качать: хо-ро-шо, хо-ро-шо, хо-ро-шо. Я плыву не оборачиваясь, как будто у меня нет прошлого, нет рюкзака, нет паспорта. За волнорез, за буйки, к горизонту.

— Не боитесь дна? — спрашивает меня девушка с веслом. Я совсем не заметила, как она подплыла ко мне на доске. У меня в голове несколько остроумных ответов, хочется попробовать каждый. Но одесситка тут она, к тому же у нее весло, поэтому я глупо улыбаюсь и гребу к берегу.

Все мои сокровища лежат на том же месте, где я их и оставила: в телефоне закаты и рассветы, на карточке обеды и ужины — одесситам неинтересно.

— Позвольте вам предложить отличное место для отдыха с детьми, — говорит вкрадчивым голосом подсевший рядом мужчина. На нем офисный костюм, белая рубашка, галстук. На вытянутом, худощавом лице вращается один глаз, второй прикрыт длинной, слипшейся от пота челкой.

— Не позволю, — невежливо отвечаю я, глядя на то, как на мое полотенце надвигается беда. Большое, прожаренное тело, с ниткой поперек стратегически важных территорий, потянулось во сне и перевернулось в мою сторону, по дороге разбросало свои конечности, уложило их на мое полотенце.

— Очень зря! — обиженно произносит мужчина в костюме и, перешагнув через спящую захватчицу, идет к следующим потенциальным клиентам. Его врезавшийся в горло галстук на фоне полуголых людей выглядит устрашающе.

В ресторанах форшмак и биточки из тюлечки, рачки и селедочка, бычки жареные, мидии черноморские, рыба фаршированная, мизинчики-голубцы, борщи и солянки, окрошки и супы со льдом.

— Начните с «Львовского», — советует хозяйка маленького ресторанчика. Ее зовут Юля, как и мою квартирную хозяйку. Но это совсем другая Юля. Тонкая, звонкая, невесомая.

— Я не то чтобы люблю пиво, — мнусь, жалея, что спросила совета.

— Не-не-не! Попробовать надо все! Потом — на чем-то останóвитесь, — говорит Юля высоким голосом и бежит за ширму. В ресторанчике пусто, выходной, утро.

— Вот эти два разных пива просто для сравнения, наливочки просто пригубите, хотя сначала лучше попробуйте вот это вино. — Юля сама пожарила тюлечку, поставила Утёсова и порхает вокруг меня как невесомая бабочка.

— Юля, вы же заварите мне крепкого чаю? И могли бы вы не кружиться?

В литературном музее за гида — студент философского факультета. Четвертый час вместо того, чтобы слушать про писателей, рассматриваю прическу, лицо, руки экскурсовода. Прическа под Гоголя, бледное худощавое лицо, глубоко посаженные глаза, редкая пушистая бородка.

— Кто честнее Горького рассказал миру о пролетариате? — голос моего проводника взлетает к барочным сводам гагаринского дворца.

«Кто?» — хочется повторить вопрос философа в образовавшейся паузе, но он почесывает свою бородку, складывает руки крестом на груди, защищается от враждебного мира. Во мне просыпается мать, и я мысленно глажу его по голове. Ты самый умный, самый красивый, самый лучший мальчик!

— Чехов — очень жестокий писатель, каждое его произведение... — делится мнением мой дорогой гид, переходя в следующий зал.

— Не согласна, — раздается тонкий голосок из угла зала. Старушка — божий одуванчик, смотрительница — не выдержала, высказалась.

«В музее находятся предметы, связанные с самыми замечательными

литераторами девятнадцатого — двадцатого веков, от Котляревского, Леси Украинки, Шолом-Алейхема до Пастернака, Кулиша, Ахматовой, Ильфа и Петрова», — читаю про музей, сидя в Летнем садике, мой дорогой гид играет на рояле, его музыка долетает до меня из открытых окон Золотого зала.

Наступит осень, дождливая и холодная, небо будет затянуто тучами, у меня будет болеть горло, я буду лежать под теплым одеялом и помнить музыку и прическу милого мальчика, а еще «не согласна» с высокого мягкого стула в углу зала.

По дороге домой магазин «Для себя любимой». Второй день хожу в него и примеряю всё подряд.

— Ну как влитое! И цвет ваш!

— Болотный — мой?

— Вы в нем — как кувшинка!

— Что вы всё врете и цены задираете?

— Я задираю? Да я вам по своей цене отдаю, как в Италии!

— Вот это вы мне по своей цене отдаете? Так я в нем, как в палатке, оно на три размера больше, чем мне надо!

— Какие три размера? Вы в своем уме? Это же шик! Не догадаешься, есть живот — нет, что там с ногами, сколько их. Платье — мечта, женщина-сурприз.

Торг, скандал, объятия. Три новых платья в гардеробе.

Возвращаюсь домой из центра на Армейскую через Куликово поле. Вечером тут зажигают свечи, рядом со зданием Дома профсоюзов — стенд с портретами погибших во время событий 10 мая 2014 года. С портретов смотрят молодые красивые лица, пламя свечей дрожит, в сером здании Дома профсоюзов кто-то занимается фитнесом. «Раз-два, выше, выше ногу, раз-два!» Между елками и стендом каждый вечер вижу одну и ту же женскую фигуру с сумкой, плечи приподняты, голова чуть опущена. Стоит там как черепаха без панциря, слушает «раз-два, выше, выше ногу, раз-два!»

Солнечное утро под разноцветными зонтиками. Пахнет жареным луком, в парке слышен плач саксофона.

— Вы же обещали мне сегодня прогулку по Пушкинским местам! Чё происходит? — начинаю я.

— Така интересная женшина, сдался вам тот Пушкин! Глаза спортить всегда успеете! Поедемте на кораблике! — отпирается представительница туристической компании, с которой я еще две недели назад договорилась насчет недешевой прогулки и внесла предоплату.

— У нас на этом направлении один-единственный гид работает. Год никто не заказывал! Спился человек, это вы понять можете? — перекрикивает проезжающую с мигалкой «скорую помощь» представитель туристической компании. Ругает пандемию, бездушных туристов, которым плевать на высокое в целом и литературу в частности. Едем на кораблике.

— И налейте уже шампанского, — говорю капитану, прогуливающемуся по палубе с закушенной губой. — Сколько можно плыть без шампанского?

Берег отдаляется, Одесса, со всеми своими зефирными зданиями, натертыми до блеска каменными мостовыми и хлебосольными людьми, превращается в тонкую линию.

Александр Мещеряков

От многодетности к долголетию

Демографический опыт Японии

В разное время человечество терзают разные демографические проблемы. Если оценивать нынешнюю ситуацию в планетарном масштабе, то в настоящее время наиболее серьезный вызов состоит в том, сможет ли Земля прокормить все более увеличивающееся человечество. В начале XIX века население планеты составляло 1 миллиард, в 1927 году оно перевалило за два миллиарда, в 2022-м превысит уже 8 миллиардов, что создает высочайшую нагрузку на мировую экосистему. В этих условиях многие страны предпринимают меры по снижению рождаемости. Наиболее известный случай — Китай, где долгое время количество детей ограничивалось законодательно. Что до европейских стран, то там наблюдается депопуляция. Во многих из них стимулируют иммиграцию и рождаемость. Россия не является в этом отношении исключением.

Япония представляет собой чрезвычайно интересный случай кардинальных изменений в демографической ситуации и демографической политике. В середине XIX века ее население составляло около 30 миллионов человек, причем эта цифра практически не менялась с начала XVIII века. Это был тот предел, больше которого при существовавших аграрных технологиях японская земля прокормить не могла. Япония в то время являлась страной закрытой для въезда и выезда, так что недостаток продовольствия не мог быть восполнен за счет импорта.

В 1867 году произошла так называемая революция Мэйдзи[1], страна открылась миру и приступила к модернизации. В результате решительных реформ весь строй японской жизни кардинально изменился, население стало быстро расти. В 1913 г. оно увеличилось до 53 миллионов 362 тысяч человек. Такой бурный рост принято квалифицировать как «демографический взрыв». Как и всякий «взрыв», взрыв демографический вызывал серьезное беспокойство: считалось, что ресурсная база страны не выдержит такого напора. Что делать? В Европе того времени уже довольно широко применялись контрацептивы, однако в Японии считалось, что ограничение рождаемости — акт негуманный, он противоречит моральным устоям японского народа, так что низовое движение за «планирование семьи» было запрещено. Вместо этого правительство поощряло эмиграцию, чтобы избавить страну от лишних ртов. Однако японцы, люди консервативные, не желали покидать родину, так что эмигрантов

Александр Мещеряков — советский и российский историк, японист, переводчик, литератор, доктор исторических наук (Институт классического Востока и античности, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»). Помимо научных трудов опубликовал также три книги стихов и три книги прозы. В переводах А.Мещерякова на русском языке изданы сочинения Мурасаки Сикибу, Ёсиды Канэёси, Исихары Синтаро, Ясунари Кавабаты и других авторов.

[1] События 1867—68 гг., в результате которых был свергнут сёгунат Токугава и к власти пришла группа реформаторов, приступившая к модернизации страны, осуществлявшейся от имени императора Мэйдзи.

было мало. Кроме того, многие страны, раньше поощрявшие иммиграцию, в 1920—30 годах стали вводить серьезные ограничения на въезд. К их числу относились США и Бразилия — то есть те страны, куда стремились наиболее мобильные японцы.

В этих демографических условиях власть в стране перешла к силовикам, выступавшим за расширение территории японской империи. Предполагалось, что японцы станут переселяться туда в качестве колонизаторов, что позволит смягчить демографическое давление внутри самой Японии. В 1931 г. японская армия вторглась в Маньчжурию, в 1932 г. там было образовано «независимое» государство Маньчжоуго, которое находилось под полным контролем Японии. По своей сути это была японская колония. В 1937 г. Япония начала «большую войну» с Китаем. Генералы рассчитывали на блицкриг, но японская армия завязла в огромном Китае и несла значительные потери. Население же мгновенно отреагировало на войну сокращением количества свадеб и понижением рождаемости. Если в 1937 г. родилось 2 миллиона 067 тысяч младенцев, то на следующий год — всего 1 миллион 879 тысяч, то есть страна вернулась к уровню 1914 года. В качестве реакции на это правительство бросило лозунг «Рожайте и размножайтесь для блага страны!» В 1937 г. население собственно Японии впервые превысило 70 миллионов человек, но этого казалось мало для осуществления грандиозных (и утопических) планов по колонизации Азии.

В рамках правительственной риторики брак и деторождение рассматривались не как личное дело каждого, а как «служение» родине. Настойчивая пропаганда ратовала за многодетность и понижение брачного возраста, то есть увеличение продолжительности репродуктивного периода, чтобы «не похоронить» самые благоприятные для деторождения годы. Таким образом, совсем недавняя и практически всеобщая обеспокоенность по поводу перенаселенности страны внезапно сменилась призывом плодиться и размножаться.

Люди в погонах вожделенно смотрели на женщин как на биологических поставщиц будущих воинов. Заведующий отделом в информационном бюро военно-морского флота капитан 1-го ранга (впоследствии контр-адмирал) Хираидэ Хидэо в радиопередаче «Война и материнство» с солдатской прямотой говорил так: мать важна для нас, поскольку без нее не было бы сыновей, а без сыновей была бы невозможна война. Разумеется, «войну» Хираидэ понимал как несомненное благо.

Средства массовой коммуникации именовали плодовитых матерей «фертильным батальоном». В ноябре 1940 года 10 тысячам семей с более чем десятью детьми были вручены почетные грамоты (подавляющее большинство таких семей проживали в деревнях). Победителем оказался житель префектуры Нагасаки. У него народилось 6 дочерей и 10 сыновей. Он высказал желание, чтобы все сыновья стали солдатами.

Плотность населения в Японии была одной из самых высоких в мире, но правительственная политика поощрения рождаемости направлялась на еще большее увеличение демографического давления и провоцировала поиски решения этой проблемы вне пределов собственных границ. 27 сентября 1940 г. Германия, Япония и Италия объединились в Тройственный союз (Берлинский пакт), принесший планете Вторую мировую войну. Во всех трех странах любили поговорить о перенаселенности и нехватке «жизненного пространства» и одновременно проводили политику повышения рождаемости. Япония пристально следила за «достижениями» нацистской Германии, в том числе и за «эффективной» демографической политикой: детские пособия, привилегии многодетным семьям, налог на бездетность, охрана детского и материнского здоровья, гигиеническое воспитание, создание дошкольных учреждений, усиленные занятия физкультурой и спортом. В Японии считали, что это привело к появлению на свет многочисленных здоровых немцев и позволило Германии одерживать легкие победы над европейскими нациями, в возрастной пирамиде которых непропорционально большое место занимали люди старших возрастов. В обличении «прогнившей» Европы особенно доставалось Франции, которую стали считать воплощением изнеженности и слабости.

22 января 1941 г., за десять месяцев до нападения Японии на США и Великобританию, кабинет министров утвердил грандиозную двадцатилетнюю программу по увеличению популяции этнических японцев. Двадцать лет — немыслимый срок для хоть сколько-то реалистического планирования, даже Советский Союз мерил

в то время свои планы лишь пятилетками, но японское руководство шло дальше — настолько оно было уверено в том, что полностью контролирует не только прошлое и настоящее, но и будущее.

В преамбуле «Программы» подчеркивалось, что увеличение населения необходимо для успешного строительства «сферы совместного сопроцветания в Восточной Азии» под эгидой Японии. Это был грандиозный утопический план, сравнимый по своим масштабам с мечтаниями нацистов о мировой гегемонии арийцев или же с надеждами большевиков на советизацию всего земного шара. Японцев насчитывалось чуть больше 70 миллионов, а «сфера сопроцветания» включала в себя, в частности, Китай (400 миллионов человек) и Индию (300 миллионов). Так что задача была не из легких, японских «учителей» (как гражданских, так и военных), которые должны были повести азиатские народы к светлой жизни, явно не хватало. Тем не менее цель обладала завораживающей притягательностью, процесс наращивания количества японцев стали называть «войной за победу в количестве населения». Согласно «Программе», к 1960 г. японцев должно было стать 100 миллионов.

Для достижения поставленной цели была развернута активная пропагандистская работа по снижению брачного возраста на три года (на момент принятия программы он составлял 24 года у женщин и 28 лет у мужчин), что позволило бы не только удлинить прокреативный период, но и принесло бы более здоровое потомство. Кроме того, женщинам предлагалось сосредоточиться не на производственной, а на репродуктивной функции: увеличению количества детей (не меньше пяти на семью; реально оно составляло 4,15). Разводы сурово осуждались, аборты подлежали уголовному преследованию. Японцев и японок призывали отказаться от гедонизма и эгоизма, от «роскошных» и «бессмысленных» свадебных церемоний. Считалось, что многие молодые люди откладывают брак, поскольку не могут себе позволить устроить свадьбу с надлежащим размахом. Активисты составляли списки холостых подданных и обходили их дома, требуя, чтобы они как можно быстрее вступали в брак. Неженатых и незамужних японцев клеймили как «врагов народа». Тем не менее власти не последовали примеру военных союзников Японии — Германии и Италии — и не пошли на введение налога на бездетность. В СССР такой закон был введен 8 июля 1941 г., то есть сразу после нападения Германии.

Правительство создало сеть государственных семейных консультаций, которые выполняли функцию брачных агентств, находившихся в ведении министерства благосостояния и здравоохранения. В памятке министерства с удивительной прямотой утверждалось, что «люди, не способные к размножению, не имеют ценности». Разрабатывались и меры по оказанию материальной помощи многодетным семьям, улучшению жилищных условий, питания, медицинского обслуживания. В 1938 году от туберкулеза умерло 148 тысяч человек — самый высокий показатель в «цивилизованном» мире. В том же году в Японии умерло 220 тысяч детей в возрасте до года. До десятилетнего возраста не доживала четверть детей.

Вызывали озабоченность и наследственные заболевания. Закон «Об охране евгеники народа» был принят в марте 1940 г. Согласно ему допускалась не только добровольная, но и принудительная стерилизация (основными объектами ее являлись душевнобольные). Однако на деле возобладала идея, что японцев — вне зависимости от их «качества» — должно быть как можно больше, и закон почти не применялся на практике. За время его действия (с 1941 по 1947 г.) стерилизации подверглись всего 538 человек (в нацистской Германии только за 1934 г. было прооперировано 56240 человек, в США с 1907 до 1957 г. — более 60 тысяч). Закон, скроенный по нацистскому образцу, оказался по существу неосуществленным.

Ко времени принятия «Программы» рождаемость в Японии стала понемногу падать. Особенно заметно это было в городах. В связи с этим ставилась задача, чтобы в деревне проживало не менее 40 процентов японцев, то есть предлагалось законсервировать существующее положение, когда крестьян в стране насчитывалось 42% населения, существенно больше, чем в других «развитых» странах. В постановлении кабинета министров особо подчеркивалось, что именно крестьяне являются поставщиками наилучших солдат и наилучшей рабочей силы. К этому времени деревня уже стала отставать от города по продолжительности жизни, но руководство

страны было озабочено наращиванием числа не старых, а молодых людей. Правительство не ставило задач по увеличению количества японцев за счет роста продолжительности жизни. А по этому параметру Япония существенно отставала. В 1935—1936 гг. продолжительность жизни японца составляла 46,9 лет (мужчины) и 49,6 лет (женщины), в то время как в Англии и Германии она уже превышала 60 лет.

Повышение продолжительности жизни — процесс медленный и многотрудный. Политики и военные привыкли, что «народ» послушно внимает их указаниям. Им казалось, что нарастить количество японцев за счет увеличения рождаемости будет намного проще, чем увеличить продолжительность жизни. К тому же старики плохо годились для войны. Кажется, впервые в японской истории публицисты стали говорить о «недостатках», которые приносит пожилой возраст. Старики опытны и уравновешенны, но у них отсутствуют такие замечательные качества как смелость, жертвенность и творческое воображение. Если же не принять мер по увеличению рождаемости, то Япония неизбежно превратится в «страну стариков», как это произошло с декадентскими и либеральными странами вроде Франции и Англии.

Японцы в подавляющем большинстве и вправду верили правительству, в своем поведении они руководствовались «патриотизмом» и после начала разъяснительной кампании за увеличение рождаемости японки принялись исправно рожать. После «провального» 1938 года кривая рождаемости поползла вверх: 1939 г. — 2 миллиона 93 тысячи рождений, 1940 — 2 миллиона 239 тысяч, 1941 — 2 миллиона 296 тысяч, 1942 — 2 миллиона 201 тысяча, 1943 — 2 миллиона 261 тысяча. Но затем бессильной оказалась даже пропаганда — начался настоящий обвал. Бедствия, которые принесла война, оказались сильнее любых программ по стимулированию рождаемости.

Японская армия уже прочно увязла на необъятных китайских просторах, но 8 декабря 1941 года «бесстрашные» (может быть, лучше подходит определение «преступные» или «недальновидные») военачальники напали на Перл-Харбор, а император Сёва объявил новую войну — Соединённым Штатам Америки и Великобритании. Это была война, в которой Япония не могла победить по определению.

В результате поражения во Второй мировой войне Япония в одночасье лишилась колоний и отказалась от экспансионистских устремлений. Страна была оккупирована американской армией, лежала в руинах, большинство крупных городов было разбомблено, ощущалась острая нехватка любых жизненно важных ресурсов. В стране продолжался продовольственный кризис, но экспортировать было нечего и некому, валюты на закупку продовольствия не имелось. Если бы не американская продовольственная помощь, в стране разразился бы голод.

Продовольственный кризис осложнялся катастрофической демографической ситуацией. Катастрофа заключалась в том, что теперь, без всяких приказов правительства, японцы принялись плодиться. Из бывших колоний и с линии фронта на родину вернулось около 7 миллионов человек (в основном мужчины). Перепись 1947 г. насчитала 78 101 473 японца. Их количество стремительно увеличивалось: с 1947 по 1949 г. ежегодно появлялось на свет около 2 миллионов 700 тысяч младенцев. Это были «отложенные рождения», ставшие невозможными из-за войны. Они быстро компенсировали военные потери Японии (около 3 миллионов человек), но значительно повлияли на уровень благосостояния (а в то время, скорее, бедности) людей. После окончания войны во всех странах-участницах наблюдается резкое повышение рождаемости. Поскольку оно происходило на фоне экономической разрухи и нехватки продовольствия, значительное распространение получило мнение о перенаселенности земного шара. Эта идея стала активно обсуждаться и в Японии.

Американская оккупационная администрация во главе с генералом Дугласом Макартуром внимательно следила за всем, что происходило в Японии. Демографическая ситуация не была исключением, и во время неформальных контактов с японской политической элитой представители американской администрации убеждали ее в необходимости активной демографической политики, направленной на ограничение рождаемости.

В предвоенные и военные годы деятельность активистов движения за планирование семьи находилась в Японии под запретом. Однако теперь они снова получили право голоса. Уже 11 ноября 1945 г., то есть почти сразу после капитуляции, активистка

женского движения Като Сидзуэ опубликовала статью, в которой ратовала за ограничение рождаемости в связи с нехваткой питания, безработицей, ужасным состоянием здравоохранения. Активность Като Сидзуэ была замечена американцами. При их посредничестве она, одна из первых среди женщин, стала в 1946 г. депутатом парламента (от социалистической партии), где работала над законопроектами, направленными на снижение рождаемости.

Американцы не проводили масштабной чистки среди японских государственных служащих, многие из них сохранили свои должности и в «новой» Японии. Это были те же самые люди, которые совсем недавно ратовали за увеличение рождаемости. Большинство из них с легкостью поддалось уговорам о том, что теперь насущной необходимостью является совсем иная демографическая политика.

В 1948 г. были разрешены аборты. Дополненный в 1949-м, этот закон разрешил прерывание беременности на «экономических основаниях». Таким образом Япония продемонстрировала небывалую смелость и стала первой страной в мире, где бедность признавалась достаточным основанием для избавления от плода. Заявлялось, что легальный доступ к абортам предотвратит рождение нежелательных детей у бедных и малообразованных слоев населения, которые не смогут должным образом воспитать потомство и дать ему качественное образование. Раньше дети рассматривались как будущие солдаты и рабочая сила (чем больше детей, тем лучше), теперь на них стали смотреть как на обузу и иждивенцев, служащих помехой для экономического развития. В них видели завтрашних нищих, требующих расходов и опеки со стороны государства.

Законопроект был одобрен единогласно, хотя в то время политические партии редко соглашались друг с другом. Японки в одночасье получили право на прерывание беременности — то право, за которое на Западе феминистские движения боролись десятилетиями. Одновременно с принятием закона развернулась и мощная пропагандистская кампания в пользу сокращения рождаемости. К ней были подключены печать, радио и кино. Целый вал публикаций о необходимости ограничения рождаемости обрушился на японцев после заявления американского демографа Уоррена Томпсона, сделанного во время его пребывания в Японии в марте 1949 г., где он настаивал на необходимости контроля над рождаемостью. Главный аргумент состоял в том, что многодетность мешает экономическому развитию страны, а именно развитие экономики и сопутствующее ей повышение жизненного уровня стали стержнем новой Японии. Томпсон выступил и с прямыми угрозами: если японцы не снизят рождаемость, это может привести либо к прекращению продовольственной помощи США, либо к коммунизму, либо к возрождению милитаризма. Жизнь была бедная, еды — мало, безработных — много. На этом фоне слова Томпсона звучали особенно убедительно.

Томпсон — знаменитый ученый, один из основных разработчиков теории демографического перехода. Эта теория утверждает, что индустриализация приводит к одновременному падению рождаемости и смертности. Томпсона привлекли в качестве советника американской оккупационной администрации. Однако сама администрация воздерживалась от официальных заявлений по поводу демографических вопросов, утверждая, что они находятся в компетенции самих японцев. По всей вероятности, такая «нейтральная» позиция была обусловлена особой деликатностью проблемы, решение которой в русле теории демографического перехода предполагало не просто сокращение рождаемости, а разрушение дорогих сердцу японца поведенческих стереотипов. Главный из них состоял в том, что много детей — это хорошо. Высказывается также соображение, что, поскольку у Макартура имелись президентские амбиции, он не хотел лишиться поддержки американских католических избирателей, которые были настроены крайне негативно по отношению к любым «новшествам» в семейной политике.

Заявление Томпсона преподносилось оккупационной администрацией как его «личное мнение», но справедливо воспринималось в Японии как ее официальный курс. Если до этого времени крупные газеты позволяли себе публиковать разные мнения по демографическим вопросам, то теперь право голоса предоставлялось по преимуществу проповедникам идеологии планирования семьи. Все они исходили из тезиса о перенаселенности Японии, которое имеет множество отрицательных последствий — как экономических, так и социальных. Утверждалось, что снижение

рождаемости предотвратит безработицу, поможет женщине обрести свое «я», лишит жадных капиталистов избыточной рабочей силы и избыточной прибыли, предотвратит «отрицательный отбор» (ввиду того, что «низы общества» сократят свое неконтролируемое размножение) и т.д. Иными словами, мыслители самого разного толка сходились в окончательном выводе, но обосновывали его по-разному. В апреле 1949 года премьер-министр Ёсида Сигэру сделал заявление о необходимости снизить рождаемость, а демографическая ситуация попала в правительственный список важнейших проблем, перед которыми стоит Япония.

Противники снижения рождаемости оставались на информационной обочине. Реклама противозачаточных средств заняла видное место на страницах газет и журналов. Супружеские пары с двумя детьми ставили в пример и называли их «культурными людьми». Тех же, кто противился сокращению рождаемости, квалифицировали как «безответственных». Средства массовой информации утверждали: важен не размер семьи, а ее финансовая стабильность, здоровье, культурный и образовательный уровень детей.

Пропагандистская компания предусматривала участие акушерок и медсестер, которые обходили дома японцев, убеждая их в необходимости планирования семьи. Вкупе с напором средств массовой информации их разъяснительная работа приносила плоды: сторонники такого подхода создавали своеобразные ячейки, вербовали сторонников, которые, в свою очередь, вовлекали в движение новых членов. Таким образом, использовались те же самые организационные формы, которые применялись ранее для пропаганды увеличения рождаемости. В движении за планирование семьи участвовали и крупные предприятия. На некоторых из них в конверт с зарплатой вкладывали материалы, разъясняющие преимущества маленькой семьи. Члены движения за ограничение рождаемости торговали презервативами по оптовым ценам и рисовали образ счастливой семьи, состоящей из двух родителей и двух детей. Иными словами, произошел колоссальный отлет от ценностей довоенного/военного времени. Тогда ценилась мощь государства, а «эгоистичного» японца пугали лозунгом: «Роскошь — наш враг». Те годы характеризовались в государственном дискурсе презрением к «гнилой» интеллигенции и антиинтеллектуализмом: считалось, что здоровые, послушные, многодетные и малообразованные крестьяне являются стержнем государства. Теперь же во главу угла ставилось образование, а в экономической сфере был взят курс на уничтожение сельского хозяйства и крестьянства взамен на развитие науки и наукоемкого производства с высокой добавленной стоимостью — развитие, которое осуществляется прежде всего в городе.

Слово «культура» понималось в довоенное/военное время прежде всего как лояльность по отношению к государству, но сейчас заговорили о той культуре, которая служит и самому человеку. И именно такой счастливый, преуспевающий, рациональный и уверенный в своей самостоятельности горожанин послужит основой успешной нации и процветающего государства, которое к тому же сильно сэкономит на социальных расходах. До войны рождение ребенка рассматривалось как служение государству, теперь же говорили о совпадении интересов семьи и государства. Разница в подходах была колоссальной, но не вызывает сомнения и преемственность: и в том, и в другом случае государство выступало в качестве «мудрой» направляющей и дисциплинирующей силы. До войны многодетные семьи награждали грамотами, теперь эта практика была упразднена. Пособия и льготы для многодетных тоже отменили.

Американская администрация практиковала системный, «научный» подход к уничтожению прежней Японии. Уничтожались не только армия и политическая система. Посчитав, что основой японского варианта тоталитаризма является патриархальная семья, американцы сделали ставку на формирование нуклеарной семьи, то есть той формы семьи, которая господствовала в США. В соответствии с новым гражданским кодексом упразднялась власть главы семьи, когда он своей волей мог вписать родственника в семейный реестр или вычеркнуть из него, а детям без его согласия невозможно было вступить в брак (мужчинам до 30 лет, женщинам — до 25). Теперь же каждый член семьи рассматривался как самостоятельная гражданская единица, и взрослые дети имели полное право на свободное (по любви) заключение

брака. Если раньше единственным наследником недвижимого имущества выступал старший сын, то теперь все дети обладали одинаковыми правами. Это нововведение привело к неожиданному демографическому последствию: крестьяне стали сокращать количество детей, поскольку не желали дробить свой крошечный земельный участок. Кроме того, внедрение новой сельскохозяйственной техники сокращало необходимость в рабочих руках. Стремительная индустриализация вытягивала крестьян в города, они там обзаводились семьями, но общий модус городского существования был таким же, как повсюду в мире, и препятствовал бесконтрольному размножению.

Разумеется, разрушение привычного порядка не могло не вызвать и определенного противодействия.

Японские коммунисты поначалу поддерживали политику ограничения рождаемости, но затем склонились к точке зрения, которая была распространена в СССР. Там вслед за К.Марксом и В.Лениным считалось, что абсолютной перенаселенности, о которой говорил Мальтус, не существует, а существует лишь «относительная» перенаселенность, происходящая ввиду «звериной» природы капитализма, заинтересованного в безработице. Эта перенаселенность легко преодолевается в «передовом» социалистическом обществе с помощью установления «справедливых» общественных отношений и «справедливого» распределения материальных благ. Понятие «мальтузианство» употреблялось в советском дискурсе исключительно как бранное и квалифицировалось как «система человеконенавистнических взглядов». На этом основании японские коммунисты, которые в то время еще смотрели на Кремль как на светоч, стали обвинять японскую политическую элиту в мальтузианстве, настаивая на том, что вопрос о количестве детей в семье является делом свободного выбора. Однако курс правительства оставался прежним. Задачей номер один считался срочный подъем жизненного уровня. Он воспринимался не только как важнейший показатель «цивилизованного» государства, но и как щит против коммунистов, которые пользовались тогда большим влиянием.

В 1954 г. директор государственного института общественного здоровья Коя Ёсио прямо заявлял: «Плодить голодных — значит создавать проблему “покраснения” страны». Его поддержал профессор Хаяси Такаси: «Левые и коммунисты призывают плодиться и размножаться. Когда людей станет слишком много и мы очутимся на самом дне, все сами собой станут мыслить по-коммунистически, и тогда страна окажется в их руках».

Некоторые уважаемые и вполне «системные» люди высказывали опасения относительно новшеств в семейной политике. Одним из них был считающийся основателем японской этнологии Янагита Кунио. Он пользовался большим авторитетом, был награжден орденом культуры. Янагита обвинял японцев в отсутствии критического мышления и полагал, что новые брачно-семейные порядки ослабят заботу детей о родителях — едва ли не основную добродетель прежнего (конфуцианского в своей основе) кодекса поведения. Эти правила также облегчат вступление в брак и развод, понизят чувство ответственности, что скажется на благополучии детей. Распад патриархальной семьи, считал Янагита, увеличит количество абортов и ослабит связи между братьями и сестрами. И если раньше в случае смерти одного из них или при возникновении неблагоприятных обстоятельств (болезнь, потеря трудоспособности) ответственность за детей принимали на себя родственники, то теперь непременно вырастет число беспризорников, что потребует создания сети детских домов.

Янагита был на редкость самостоятельным в своих оценках человеком, однако, если рассматривать ситуацию в целом, оппонентов политики снижения рождаемости оказалось мало, и японцы в очередной раз продемонстрировали уникальную подверженность правительственной пропаганде.

Разъяснительная работа и пропаганда принесли ошеломляющие результаты: бэби-бум удалось остановить по историческим меркам почти мгновенно. С начала пропаганды малой семьи прошло всего три года, а средняя фертильность японки упала с 4,6 до менее трех детей уже в 1952 году. В 1957 году рождаемость сократилась до уровня простого воспроизводства и составила чуть более двух детей.

Внедрение противозачаточных средств происходило медленно. Так что

уменьшение рождаемости произошло в первую очередь за счет абортов: с 1949-го до 1955 г. их ежегодное количество возросло со 101 тысячи до 1 миллиона 170 тысяч, во второй половине 50-х годов количество абортов составило 70% от рождений. Критики утверждали, что многие молодые женщины делали аборт многократно и обращение в абортарий расценивали точно так же, как поход к парикмахеру.

Японское общество по-прежнему демонстрировало высочайшую степень управляемости. Ни в одной стране мира так называемый «демографический переход» к обществу с низкой рождаемостью и низкой смертностью не произошел с такой скоростью, с какой он случился в Японии. При этом правительство не прибегало к запретительным мерам (как это произошло впоследствии в Китае), никакой дискриминации многодетных семей тоже не проводилось. Управление репродуктивным поведением населения ограничивалось убеждением, то есть словесным воздействием, своего рода лингвистическим программированием.

Так получилось, что проблема многодетности была решена, а Япония получила международное признание в качестве страны, где в фантастически короткое время сумели обуздать рождаемость. Японию стали ставить в пример всем остальным развивающимся странам, где бедность и плодовитость шли рука об руку. Период бурного роста населения, который испытала страна после революции Мэйдзи, принято квалифицировать как «демографическую революцию». Ситуацию в послевоенной Японии можно определить как «демографическую контрреволюцию».

Как и рассчитывали проектировщики демографической политики, снижение рождаемости сопровождалось экономическим подъемом, ростом благосостояния и продолжительности жизни, которые выступали в качестве базовых ценностей новой Японии. Если в 1947 году продолжительность жизни составляла 50 лет (мужчины) и 54 года (женщины), то в 1957-м эти показатели возросли до 64 и 68 лет, а в 1967-м подскочили уже до 69 и 74 лет, соответственно. Это произошло за счет улучшения качества жизни: питания, здравоохранения, жилищных условий. В 1967 году японцев стало больше 100 миллионов. Их становилось больше не из-за подъема рождаемости, а из-за роста продолжительности жизни. Демографическая программа 1941 года по поощрению рождаемости предсказывала, что это произойдет в 1961 году. При успешном выполнении программы по снижению рождаемости Япония достигла этого уровня всего на шесть лет позже.

Япония совершила фантастический рывок в экономике, за счет чего простые японцы значительно повысили свой уровень жизни. Но сама эта жизнь стала совсем другой. Демографическая контрреволюция привела к колоссальным изменениям в японском обществе. Это касается не только численного состава семьи, но и картины мира в целом. В 1950 г. 67% родителей рассчитывали на помощь детей в пожилом возрасте, в 1963-м их стало 33%, а в 1975-м — 26%, сейчас — еще меньше. Поскольку детей становилось все меньше, они становились все более «дефицитны». Если раньше в паре родители/дети главенствующее положение занимали родители, о которых были обязаны впоследствии заботиться дети, то теперь родители вкладывали все больше средств в немногочисленных детей, главной обязанностью которых было хорошо учиться.

Прогресс восторжествовал, «косные» конфуцианские ценности были побеждены, количество домов престарелых постоянно увеличивалось. В настоящее время Япония относится к странам с наиболее низкой рождаемостью в мире (1,4 ребенка на одну женщину) и наиболее высокой продолжительностью жизни (81 год для мужчин и 87 для женщин). Послевоенная демографическая политика предполагала сокращение числа иждивенцев за счет снижения рождаемости. Однако в настоящее время число иждивенцев все равно растет ввиду стремительного старения нации.

Распад традиционной семьи не означал, что семейная метафора потеряла силу. Государство перестало восприниматься как семья во главе с императором (что было характерно для довоенной Японии), но семейная метафора перекочевала в производственные отношения — именно после войны расцвела японская концепция менеджмента: фирма — это семья с пожизненным наймом и «родственным» участием в прибылях. Однако это было лишь подобие семьи, ее суррогат. Предназначением традиционной семьи является принесение потомства, псевдосемья порождает товары и услуги. В том числе и для детей, которые все-таки увидели этот свет.

Евгений Абдуллаев

Верлибр, и снова верлибр

«Один идёт прямым путем,/ Другой идёт по кругу...»

Вот и у нас сейчас все потекло по кругу. В поэзии и окрестностях.

Вышла в прошлом году антология «Современный русский верлибр», составленная Лилией Газизовой[1]. Составлена добросовестно, множество замечательных поэтов и отличных стихов. Интересные рассуждения авторов о верлибре, помещенные после подборок...

Но в «барометровских» колонках книги меня интересуют не сами по себе, а как повод к разговору о погоде. О литературной нашей погоде.

«Эта антология должна была появиться больше года назад», — пишет в предисловии Лилия Газизова (не вышла тогда из-за пандемии).

Первая мысль, возникшая при знакомстве с книгой: эта антология должна была появиться не год и не два — а лет двадцать назад.

Именно в то время вопрос о выборе между силлаботоникой и верлибром еще имел какое-то осмысленное литературно-эстетическое наполнение. Которого затем лишился: верлибр был впитан современной русской поэзией. Перестал восприниматься большинством пишущих как что-то чуждое и инородное; породил множество промежуточных форм с силлаботоникой.

Это признает и сама составительница.

«...Яростное противостояние сторонников силлаботоники и свободного стиха осталось в прошлом. Многие приверженцы силлаботонического стихосложения периодически обращаются к верлибру, а порой в текстах современных авторов нет чёткой грани между регулярным и свободным стихом».

Об этом же пишет и большинство авторов. Нина Александрова, Иван Ахметьев... И далее по алфавиту.

Это подтверждают и подборки. Наиболее яркие они у поэтов, пишущих *не только* верлибром. А в случае Инги Кузнецовой, Марии Галиной, Вадима Муратханова, Светы Литвак — вообще обращающихся к нему нечасто. И, разумеется, не потому, что не-верлибр лучше верлибра. «Лучше» и «хуже» — вопрос не формы, а таланта и мастерства. Само понятие свободного стиха предполагает момент *освобождения* от аскезы более жестких форм. В противном случае — если освобождаться не от чего — повышается риск появления «прозы, да и дурной» (в сборнике — видимо, из соображений стилистической толерантности — в небольшом количестве представлена и она).

Но для того, чтобы лишний раз убедиться, что «качество верлибра зависит от калибра»[2], вряд ли сегодня требовалась отдельная антология.

Интереснее была бы, скажем, антология чисто силлабического стиха, гораздо более у нас редкого. Или современного русского сонета. Или дву- и трехстрочий. А верлибр... «Верлибром сейчас в российском поэтическом сообществе никого не

[1] Современный русский верлибр: Антология / сост. Л.Р.Газизова. — М.: Воймега, 2021. — 428 с.

[2] Как заметила в своем ответе, сославшись на неназванного поэта, Хельга Ольшванг.

удивишь» (Сергей Бирюков). Более того: «и от верлибра, как мне кажется, уже есть определенная усталость» (Мария Галина).

Напомню, то же писал о верлибре в «Дружбе» еще семнадцать лет назад Алексей Верницкий: «Сейчас это такой же равноправный размер в русской поэзии, как, например, пятистопный ямб» (2005, № 7).

Можно вспомнить даже более раннюю статью Юрия Орлицкого «Русский верлибр: мифы и мнения» («Арион», 1995, № 3). Орлицкий вообще относит «время верлибра» к 1980—1990-м. Приводит — как и в нынешней антологии — высказывания поэтов, пишущих свободным стихом, которых тогда же опрашивал.

Прошло более четверти века, и мы опять прибываем на ту же станцию.

С другой стороны... Споры о верлибре последние года два вроде как снова оживились. Снова пытаются как-то увязать писание или не-писание верлибром с политической позицией автора[1]. Верлибра — соответственно, с либеральной, а силлаботоники — с консервативной.

Споры вокруг этого (в основном, в соцсетях) последний год кипели, выкипали и, кажется, еще не выкипели до конца; так что даже два серьезных критика сочли нужным упоминать о них в подведении итогов года.

«Консервативная общественность, — пишет Иван Полторацкий на "Литературе" (№ 190, январь 2022 г.), — по-прежнему борется за превосходство силлаботоники перед свободным стихом».

Ну, консервативная — равно как и либеральная — общественность у нас с чем только в соцсетях не борется; сбылась, наконец, вековая мечта русского (и не только) человека бороться, не вставая с дивана... Вопрос — насколько все это имеет отношение к литературе, к ее развитию. На мой взгляд — приблизительно такое же, как шумные споры «физиков и лириков» на рубеже 1950—1960-х. А еще точнее — споры остроконечников и тупоконечников из «Путешествия Гулливера».

То есть — никакого. Псевдопроблема.

Впрочем, и в начале 2000-х тоже была попытка как-то привязать отношение к верлибру к политическим взглядам. О чем также писал Верницкий: статья его, напомню, так и называлась «Спор (не) о верлибре».

Лев Оборин на «Полке» (31 декабря 2021 г.) отмечает, что «неприятие верлибра почти не согласуется с тем, что иногда называют неоконсервативным трендом в поэзии» (и с этим можно только согласиться). Но далее Оборин вводит довольно странное деление. Традиционный стих, оказывается, связан с «предпочтением метафизического, натурфилософского». А верлибр, стало быть — с предпочтением социального...

Даже не знаешь, куда поместить при таком раскладе искрящую от социальности традиционную силлаботонику Иртеньева, Кабанова, рифмованные катрены Херсонского — или Строцева с его почти целиком рифмованным «Монахом Верой» (да и в консерватизме ни одного из них не обвинишь...).

А с другой стороны — как быть с метафизическими миниатюрами Александра Макарова-Кроткова или написанными длинной, с трудом останавливающей себя строкой, — но не менее метафизичными стихами Александра Бараша? Или — из более молодого поколения — Даниила Артёменко? Пишут они, напомню, верлибром.

Собственно, единственное различие между верлибром и не-верлибром — в степени *прозаизации* поэтической речи. Неудобно, но придется сослаться на свою почти десятилетней давности статью.

«...Прозаические обороты проникают в стих. Поначалу они не разрушают традиционную метрику, но в начале XX века добираются и до нее, что и приводит к доминированию верлибра в форме неритмизованного безрифменного стиха в современной европейской и американской поэзии. Это обычно рассматривается как

[1] Неслучайно Александр Марков в рецензии на антологию замечает, что она «деидеологизирует отношение к верлибрам» («Литература», № 190, январь 2022 г.).

проявление модернизма, что не совсем верно. Действительно, как один из приемов по демонтажу традиционных форм и приемов верлибр связан с поэтическими поисками начала XX века. Но в корпусе текстов русского поэтического авангарда верлибров как таковых очень мало... Лишь после канонизации неоклассики в 1930-е годы верлибр начинает восприниматься как признак "идеологически чуждого" авангардизма[1]. Каковым он, в действительности, не был. Почему и "задержался" в европейской поэзии после того, как авангардные течения давно отошли в прошлое» («Вопросы литературы», 2013, № 2).

Откуда же берутся попытки как-то привязать верлибр к политике или к одному из ее лагерей?

Отчасти, да, поколенческий момент. И Оборин, и Полторацкий родились в конце 80-х и — при всей своей эрудиции — дискуссий о верлибре конца 90-х — начала нулевых могут просто не помнить. Не застали.

Вообще, верлибр — причем предельно прозаизированный (на грани той самой «прозы, да и дурной») — стал своего рода опознавательной меткой для некоторых поэтов, стартовавших в последние годы.

Ощущение, опять же, легкого дежавю. Не так давно еще посмеивались над стихотворной публицистикой а-ля Евтушенко. И вот, друг за дружкой появляются молодые евтушенки обоего пола, с нахмуренной серьезностью и громокипящей гражданской лирикой. Разве что место нехитро сработанной силлаботоники поэта-шестидесятника занял у них еще более примитивно устроенный верлибр. Который вместо средства освобождения поэзии становится средством освобождения *от* поэзии. Критерии оценки — как своих, так и чужих стихов — вытесняются за пределы поэтического в область политического.

Один из недавних примеров — коротенькая рецензия стихотворца и критика Максима Дрёмова на книгу Алексея Алёхина «Свидетель оправдания» (2020)[2].

«Характерная примета текстов из сборника "Свидетель оправдания" — сквозящее отовсюду *презрение к современности*... Выходом из этой бездонной бочки сублимации становится своего рода *внутренняя эмиграция* в знакомое и уютное пространство, *не требующее осмысления категорий политического и медиального*... По аналогичной *ретроэскапистской траектории* движется и само письмо — собирание нехитрых нарративных паззлов...» («Воздух», 2021, № 41, *курсив мой*).

Вот почти и весь отклик — плюс несколько стихотворных отрывков из «Свидетеля оправдания».

Соглашусь, пожалуй, лишь с тем, что у Алёхина действительно сложно найти «осмысления категорий политического и медиального». Только не вижу в этом никакого греха. Осмысление оных категорий — это вообще по другому ведомству: социологии, политической философии... Да и не обязана поэзия заниматься «осмыслением категорий» — это ее с помощью категорий можно осмыслять, но не наоборот.

В целом же рецензия Дрёмова — на мой взгляд, типичный случай *подмены*. Поэтическая оценка подменяется идеологической, политической, квази-социологической. И дело даже не в отдельных клише, вроде «внутренней эмиграции», живо напомнившей погромную речь Семичастного против Пастернака. Или «презрения к современности» (из хрестоматийного высказывания Горького о «пессимисте» Лермонтове). Дрёмов — литератор молодой (1999 года рождения) и прелести советской идеологической критики не застал.

Дело в самом примитивно-социологическом способе мышления. В результате рецензия пишется языком РАППа, лишь слегка подмакияженным. Про «бездонную

---

[1] Поэтому мне не очень нравится обложка антологии верлибра — с репродукцией супрематической композиции Ольги Розановой. Сама по себе неплохая, она, тем не менее, «работает» на закрепление предрассудка об «авангардности» верлибра.

[2] Алексей Алехин — для тех, кто вдруг не в курсе, — один из мастеров верлибра (пишущий им почти полвека), участник вышедшей антологии.

бочку сублимации»[1] и «ретроэскапистскую траекторию» критики-рапповцы, знамо дело, не писали...

А вот и верлибры самого Дрёмова («Воздух», 2019, № 38) — в которых, вероятно, и происходит искомое «осмысление категорий политического и медиального».

Послушаем.

> что вы думаете о поэте _____е?
> что вы думаете о методе его работы с политическим?
> что вы думаете о поэтике памяти в его
> последнем тексте, что вы думаете о возможных
> интертекстуальных связях, которые непременно
> обнаруживаются — стоит только окинуть самым беглым
> взглядом его читательский круг и прочесть на фоне
> _____. что вы думаете о методе совершения
> его последней акции прямого действия, об оперативной
> реакции силовых структур, о последующем аресте,
> широко освещённом независимыми СМИ, о реакции
> непопулярных блогеров левого толка, на которых мы
> всё равно все вместе подписаны и знаем, о ком идёт
> речь, даже не называя имён? [2]

Собственно, почему бы нет... Медийный язык может быть — и не раз бывал — материалом для поэтического высказывания. Вспомним хотя бы чудесный «Сонет-статью» Генриха Сапгира:

> Большая роль в насыщении рынка това-
> рами принадлежит торговле. Она
> не обычный посредник между произво-
> дством и покупателями: руково-
>
> дители торговли отвечают за то,
> чтобы растущие потребности населе-
> ния удовлетворялись полне-
> е, для этого надо развивать гото-
>
> вые связи, успешно улучшать проблемы улучше-
> ния качества работы, особенно в отноше-
> нии сферы услуг, проводить курс на укрепле-
>
> ние материально-технической базы, актив-
> но внедрять достижения техники, прогрессив-
> ные формы и методы организации труда на селе.

Но тут — кроме поэтического мастерства — есть еще одно важное отличие от текста Дрёмова: ироничное дистанцирование самого автора от этого стиля, даже на уровне тезауруса. Что у Дрёмова совершенно отсутствует — или скрыто так глубоко, что не смог уловить. Он просто берет медийные, отчасти социологические клише и лепит из них стихотворение. И полуфабрикат так и остается полуфабрикатом.

Но это уже не вопрос о верлибре как форме. Написанным с претензией на глубокомыслие и напичканным политической риторикой может быть и силлаботонический текст. А верлибры...

«Верлибры, — как пишет в антологии, с которой был начат этот разговор, Иван Ахметьев, — это такие стихотворения, <...> которые бывают иногда у некоторых авторов очень хороши».

Сказано немного простодушно, но добавить к этому ничего не могу.

---

[1] Что, учитывая, прямое значение термина «сублимация» — «возвышение, вознесение» (это присутствует и в его психологической трактовке), — звучит довольно забавно.

[2] Цитирую не полностью: там еще много; если возникло желание ознакомиться целиком, вот ссылка: http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2019-38/dremov/view_print/

Борис Минаев

Дон-Жуан прощается

В конце спектакля «Моцарт "Дон-Жуан". Генеральная репетиция» наступает темнота, и из рук Главного режиссера выскальзывает светящийся телефон. Он тихо и плавно поднимается вверх, куда-то к потолку (к небу), и исчезает.

Зал замирает в изумлении. Нельзя проще и понятнее сказать о душе — и о смерти ее. Душа, заключенная в коробочку «устройства», со всеми ее «контактами», связями, информацией, ежедневным расписанием и новостями мира куда-то улетает — да, это мощный символ.

Дмитрий Крымов, чьи спектакли за последнее время удивили и в каком-то смысле даже потрясли театральную Москву, выпустил книгу своих режиссерских сценариев («Своими словами: Режиссерские экземпляры 9 спектаклей, записанные до того, как они были поставлены». — М.: НЛО, 2022). В ней каждый может еще раз перечитать тексты, которые стали основой для постановок, — перечитать, чтобы понять и еще раз увидеть в своей памяти и воображении.

Ведь это не в прямом смысле тексты, диалоги с режиссерскими ремарками — скорее некие коллажи, куда включены и фрагменты классических пьес, и ремарки, и тексты самого Крымова. Собственно, так в большинстве своем выглядят и сами эти знаменитые спектакли — «старые тексты» в них являются лишь материалом. В спектакле «Все тут» театра «Школа современной пьесы» американская драма «Наш городок» Торнтона Уайлдера вроде бы играется фрагментами — но главное действие заключено не в ней, а в окружающих ее «рефлексиях»: воспоминаниях о том, как пьеса смотрелась в Москве 1970-х, как маленький Дима Крымов прибежал домой и заставил родителей пойти ее смотреть, как ходил на нее много раз, в описании тогдашних и сегодняшних чувств, в попытке заглянуть в свой мир, в свое «я», тогда и сейчас. Причем очень часто эти рефлексии и воспоминания в свою очередь заглушаются самоиронией, горьким скепсисом.

И это какой-то совершенно новый театр, театр внутри театра, герметичный жанр, целью которого является изображение не «внешнего», а именно внутреннего мира — мира человека, который находится целиком внутри «театральной коробочки» и как бы бесконечно переставляет находящиеся внутри нее предметы.

Правда, заключенная в предмете, в вещи всегда была философией крымовских спектаклей — здесь не было в прямом смысле «декораций» или «оформления сцены», бумага или картон, дерево или металл, стулья или игрушечные машинки по сути всегда были главными героями, в них было все дело, они в изначальном театре Крымова выдвигались на первый план, чтобы сообщить нечто неожиданное и шокирующее.

Для меня всегда это было сложно — ведь такой, поданный как «фокус», как «аттракцион», театральный предмет сам по себе не несет в себе никаких смыслов, он не разговаривает сам по себе, все смыслы, все слова зритель должен добавлять в него сам, выбирая из множества вариантов.

...Ну, скажем, вот этот уплывающий телефон, «про что» он?

Самый простой вариант — вот оно, то самое «материальное воплощение» души, духа, о котором столетиями говорили философы и ученые. Вот оно, нашлось! Сколько весит телефон — столько весит и человеческая душа. Мы буквально переходим «в цифру», это уже прогноз на завтра, об этом говорят ученые как о будущем: мозг человека можно будет «оцифровать», и что это тогда — вечная жизнь? Глупость какая-то: может быть, напротив, улетающий вверх телефон Главного режиссера — это похоронный гимн прежней, до-цифровой, гораздо более человечной реальности? Или это все-таки обычная история о смерти, о ее печали, о ее бесконечной загадке?

...Рядом со мной сидела немолодая пара.

— Ты знаешь, — сказал мужчина своей спутнице, когда аплодисменты отгремели, — я не знаю, что это такое, но это гениально...

— Мне первое действие не понравилось, — откликнулась она.

— Но без первого не было бы второго, — возразил мужчина.

Самая короткая и самая точная рецензия на Крымова, которую я когда-либо слышал. Мы не знаем, не понимаем, с чем имеем дело, когда смотрим его спектакли, это всегда в логическом смысле загадка. Но почти всегда испытываем восторг, когда их смотрим: восторг первооткрывателя этих смыслов, вновь возникающих прямо на наших глазах.

Я вспоминаю, с каким недоумением смотрел «Тарарабумбию» в театре «Школа драматического искусства» на Сретенке: по узкой, специально проложенной «тропе» (что-то типа ковровой дорожки на низком подиуме она собой представляла) туда-сюда непрерывно ходил военный духовой оркестр с бравурными маршами и время от времени какие-то дамы и мужчины что-то отдельное выкрикивали, больше ничего не происходило. Абсурд. Но это и есть мир чеховских «Трёх сестёр» — вечное нервное ожидание чего-то большего, что никак не происходит. Отрезая от этого мира «человеческое» и оставляя лишь «внечеловеческое», Крымов переворачивает картинку нашего привычного восприятия, и мы... ну, мы с ужасом смотрим на этих людей, которые как будто бы все время идут на войну.

Перелистывая страницы книги крымовских «режиссерских сценариев», я вдруг осознал, в какой именно смысловой точке все они пересекаются.

...В беседах с одним моим другом-писателем мы часто шутим, что каждый из нас, наверное, является «устаревшей моделью человека». И это касается не только возрастных болячек или бытовых вещей, не только тотального наступления цифровой реальности, не только не совсем очевидных для нас (проживших в совершенно другом мире) постулатов «новой этики», это касается не только мировой политики, которая буквально сегодня и сейчас разрушает те основы бытия, которые казались незыблемыми, нет...

Это касается чего-то самого главного для нас.

Главный режиссер из крымовского спектакля «Моцарт "Дон Жуан". Генеральная репетиция» (поставленном в «Мастерской Петра Фоменко») в самой первой части первого действия достает ружье и буквально расстреливает одного за другим артистов, которые «пробуются» на роль (вы уж простите мне, что я это все пересказываю своими словами, на самом деле пересказать *это* все равно невозможно). Грубый фарс, грубая ирония довольно часто приходит на помощь режиссеру Крымову в его тонких и воздушных спектаклях, таковы правила игры.

Это «ружье» — тоже один из волшебных крымовских предметов, вещей-метафор, которые нужно разгадывать, добавляя в них свои смыслы. Здесь вроде бы все просто — режиссер всегда диктатор, театр или его закулисье — место жестокое, цель творчества — самоотдача, а не награда, не успех, ну и так далее.

Но когда на финальных секундах улетает в небо его душа-телефон, а сам он, как и положено герою оперы Моцарта, проваливается в преисподнюю, то есть под сцену, с огнем и дымом, — мы вдруг понимаем, что это прощание не просто с персонажем,

с идеей театра как учреждения, но и «типом человека», вот с этой «устаревшей моделью», которой, возможно, уже никогда не будет.

Это прощание с «устаревшей моделью» человека, который принадлежал только творчеству. Жил только в нем. С человеком, который считал, что творчество, «работа» (тоже понимаемая как творчество), служение чему-то важному (культуре, литературе, театру, музыке) оправдывает все. Собственно, таким человеком является и сам Крымов, и многие из тех, кто читает этот текст, и я сам, и мои друзья.

«Генеральная репетиция» — в каком-то смысле прощание с этими нашими иллюзиями.

Кстати говоря, в спектакле «Все тут», который, как я уже сказал, является большим оммажем или большой эпитафией старому театру и пьесе «Наш городок», Крымов довольно ясно описывает тот момент, когда он сам был вынужден отказаться от идеи «делать свой театр». Он делал его, как все мы знаем, много лет, выстраивая буквально по кирпичику: сначала курс в ГИТИСе, потом первые спектакли на сцене театра на Сретенке, потом «свой подвал» на Поварской, с буквально двумя-тремя десятками человек в зале, потом «большие спектакли» с «настоящими актерами», потом «управление» всем этим хозяйством, «ремонт подвала» и «разные договора», в общем, весь этот ужас, который висит на худруке, когда нет полноценного директора или он не может себе его позволить. Короче, «свой театр».

Ну а потом...

В спектакле «Все тут» Крымов подробно рассказывает, как в его жизни наступил перелом: он услышал «звук лопнувшей струны», означающий, по его мнению, что твоя жизнь, та, какою она была, вдруг внезапно превратилась в прошлое, вся. И надо начинать новую главу.

В этом куске он сначала подробно описывает похороны.

А потом — окидывает взглядом кресло. Старое, доставшееся в наследство — из детства. «Кресло это в связи со многими нашими переездами и ремонтами я перевез в театр, где я работал — "Школа драматического искусства", — да так там и оставил... вместе с надписью "ВКПб", когда уходил: поставить в нашей квартире это тяжелейшее чудовище было негде. Это (показывая на кресло, стоящее на сцене) — имитация, сделанная по памяти».

Вот так, без лишнего пафоса, но очень ярко, как всегда с помощью детали, Крымов показывает, как навсегда ушел из «своего» театра и стал просто «режиссером». Освободился от прошлого.

Казалось бы, сюжет очень личный. Казалось бы — это «совсем про себя». Но почему это волнует?

После «Генеральной репетиции» я задумался о том, почему все же главным сюжетом, героем в этих спектаклях всегда является театр? Почему это всегда такой «театр в театре»?

Во «Все тут» мы вспоминаем Анатолия Эфроса и его друзей, старые гастроли, спектакли, погружаемся в атмосферу немного истерического обожания, которая всегда следует за великим режиссером, здесь масса подробностей, масса деталей из этого, казалось бы, уже немного пыльного театрального прошлого; в «Генеральной репетиции» — вообще огромный миф о режиссере как о Дон-Жуане, соблазняющем, нет, не женщин, а артистов, исполнителей своей нечеловеческой воли, сжигающем их буквально в этом «огне творчества».

...Театр как целостное явление (а уж тут, в «Генеральной репетиции», он именно как целостное явление показан во всей красе) становится для режиссера Крымова последней громадной метафорой — умирания всей нашей старой модели существования. Все становится лишь «материалом» для показа этого умирания «системы прежней жизни» — тексты, персонажи, старые трактовки, старые смыслы.

Из огня возникает новый человек и новый режиссер, основная идея которого — узнать, понять, как же жить-то в этом «новом прекрасном мире», без театра, без культуры, а главное — без самой «человечности»?

Summary

Alexander GRINEVSKIJ. Kondratjev and Lelja

The setting of the novel is the second half of the 1990s. The protagonists are: a stuff member of a metropolitan brokerage business dreaming to leave to Canada and a strange woman looking like a local freak with a doll-face. He – about her: "A psychologist. I tried to ask where she works – she darks. Says that from time to time consults some firms on some problems. When we began to date something happened to me – I believed her". She – to him: "Don't relax, don't believe anybody or anything and what is most important – no friendships. Only when you make your first million you may begin to think of what to do further". It's a story of searching the way to oneself and to each other.

Poetry

Peering into the maze of the life Efim BERSHIN is meditating on the blindness of times going round in circles. Mariam KABASHILOVA is also in the search of a human being. As well as Sukhbat AFLATUNY, who, belonging to the same circle of time full of incompatibilities, paradoxes and semblant impossibilities, hopes that "glory comes to those who do not wait for it".

Alexander MESHCHERYAKOV. Demographical Experience of Japan: from Large Families to Long Life

"Japan has made a fantastic breakthrough in economics. As a result the ordinary Japanese people have considerably raised their living standards. But the life has become perfectly different". The well-known Russian japanologist, translator and writer describes the amazing phenomenon of the Japanese demographic policy which has taken place in the period of time unprecedentedly short by historical standards.

Boris MINAEV in the rubric "Rules of Play"

shares his impressions of the latest performances directed by Dmitrij Krimov and his book "In One's Own Words: Acting Versions of 9 Performances Written down Before They Are Staged".

The final of the play "Mozart. *Don Juan*. General rehearsal". In the darkness the luminous telephone slips out of the stage director's hand, flies upward to the ceiling (heaven) and disappears. It's difficult to tell easier and clearer about the soul and its death. The soul enclosed in the box of a gadget with all its "contacts", connections and information flies away somewhere. A powerful symbol".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно приобрести на

http://дружбанародов.com

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17,
вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

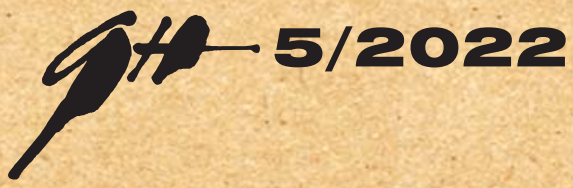
Корректура: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250



Читайте:

Илья Фаликов. Повесть «Косуля пробежала»

«По Генрих-Бёлль-Штрассе едет мусоросборочная машина с колокольчиком. Она приезжает каждый вторник, привозя ко мне — Грузию. Подобный колокольчик будил меня каждое батумское утро. ...Шел 1988 год, грузинская интеллигенция говорила о независимости. Россию поливали как могли, как будто нас, русских, в этот момент не было рядом. ...Мы утонули в гостеприимстве. ...В одном из застолий я влип в нехорошую ситуацию. Попытавшись достойно ответить на пылкие дифирамбы в наш адрес, я заговорил о русских поэтах, влюбленных в Грузию, и прочел наизусть мандельштамовский стишок о том, что человек бывает старым, а барашек молодым. Наступила непонятная тишина.
В той образованной компании, где мы оказались, Мандельштам был персоной нон-грата.
Мне глухо объяснили, что Мандельштам полюбил Армению и не полюбил Тбилиси. О, боже.
Мы полюбили Тбилиси...»

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2022 • №4 • 1—272